

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИИР

НОВОБЫИ
МИИР

1982

1



1982



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
БАХТИЯР ВАГАБЗАДЕ — Моей стране, стихи. Перевела с азербайджанского Рымма Казакова	3
В. КАВЕРИН — Верлиока, сказочная повесть	6
Д. САМОЙЛОВ — Три стихотворения	87
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — Вальс, стихи	88
НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ — Гонконг, роман	90
НА ТРАССАХ ПОИСКА — Сергей Бобков, Карен Джангиров, Николай Добрюха, стихи	158
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
«ХУДОЖНИК, ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ И ЗОРКИЙ». К 90-летию со дня рождения К. А. Федина. Публикация Н. Фединой. Предисловие Е. Краснощековой	161
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — «Во Имя...». Публикация и комментарии Д. Тевекелян	176
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
Г. ГЕРАСИМОВ — Физиогномика ядерного Марса	197
В МИРЕ НАУКИ	
КОНСТАНТИН ФЕОКТИСТОВ, ИГОРЬ БУБНОВ — В ближнем и дальнем космосе	208
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Л. ЛАЗАРЕВ — Долг и мужество. Заметки о поэзии Константина Симонова	232
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	246
В. Камянов. Из первых рук.— Ст. Рассадин. Биография легенды.— Сергей Чуприян. Дар бескорыстия.	
<i>Политика и наука</i>	257
С. Тихвинский. Древнекитайская философия и политическая борьба в КНР.— А. Преображенский, М. Курмачева. История и публицистика.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: А. Панкин.— Д. Е. Фурман. Религия и социальные конфликты в США. ♦ А. Гордин.— Восстановление памятников культуры (Проблемы реставрации). ♦ Н. Климонтович.— Тимур Зульфикаров. Поэмы странствий. ♦ Ирина Шевелева.— Равиль Бухараев. Редкий дождь. Стихи. ♦ Е. Хомутова.— А. Л. Осповат. «Как слово наше отзовется...». ♦ А. Майкапар.— Исполнительское искусство зарубежных стран. ♦ Эр. Ханпир.— В. П. Козлов. Колумбы российских древностей	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

Ах, коллега, пусть даже портрет будет мил
в представленье твоём о прекрасном,
ты, художник, натуру свою омертвил
своим пристальным взглядом пристрастным

Цепенею под ним и бездумно молчу.

Даже время застыло как будто.

Стой, художник! —

тебе бессловесно кричу
я в порыве внезапного бунта.

Если думать и чувствовать нам не дано,
если пусто в глазах —

жизнь ли это?

Жизнь ли то, что наносишь ты на полотно?

Отвечай!

Ну а лучше ответа —

о, художник, скорее отбрось свою кисть,
всей душою собой недоволен,
от портрета бессмысленного отрекись,
от лица, где ни страсти, ни боли!

На портрете твоём это вовсе не я,

не мой тот прищур, эта складка...

Пораженьем закончилась, вижу, твоя
с тайной творчества ярая схватка.

Нарисуй —

когда двигаюсь,

мыслю,

горю,

когда жизнь не идет стороною,

сотвори мой портрет,

где я тоже творю,

нарисуй,

нарисуй меня мною!

Перевела РИММА КАЗАКОВА.



В. КАВЕРИН



ВЕРЛИОКА

Сказочная повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой автор представляет читателям Розового Кота и Шотландскую Розу, утверждающую, что пенсия и одиночество всегда были в прекрасных отношениях. Ошибка паспортистки.

Эта история начинается разговором Шотландской Розы с Котом Филей, причем нет ничего удивительного, что они понимали друг друга с полуслова.

Шотландская Роза считала себя — и не без оснований — хозяйкой дома.

На первом этаже в столовой был овальный фонарь, ряд высоких — от пола до потолка — окон, и даже в этом просторном фонаре Розе было тесновато.

Красавицы обычно знают, что они красавицы. Знала и Шотландская Роза. Даже привыкший ко всему на свете солнечный свет медлил, скользя по ее стройным, упругим ветвям, хотя ему-то, без всякого сомнения, не полагается медлить. И нельзя сказать, что она तोпила его: они нравились друг другу. Зато всех других влюбленных она останавливала равнодушным взглядом.

Что касается Филиппа Сергеевича, или Фили (как называла она своего собеседника), можно смело сказать, что знаменитый Кот в сапогах в сравнении с ним был недалекий малый. Ухоженный, гладкий, розовато-рыжий, с большим, похожим на лиру пушистым хвостом, он считал, что ловля мышей — это не больше чем хобби для уважающего себя, еще молодого, но уже завоевавшего солидное положение Кота. Хитрость соединялась в нем с честолюбием, а нечто хулиганское — с мудростью и благородством Дон Кихота.

— Я люблю детей, — сказала Шотландская Роза. — И в конце концов, почему ты думаешь, что Платон Платонович перестанет заботиться о нас, если в доме появится мальчик?

— А тебе кажется, что он все-таки появится?

— Да.

— Почему?

— Ты понимаешь, в неотступном, многолетнем желании есть что-то загадочное, — задумчиво продолжала Шотландская Роза. — Оно как бы начинает жить отдельно от человека и в конце концов достигает цели. Ты помнишь жену Платона Платоновича?

— Еще бы, — с отвращением проворчал Филя.

— Целые дни она сидела перед трельяжем, так что однажды он даже пожаловался мне, что больше не в силах смотреть на ее вздернутый нос и глупые капризные губки. С первого взгляда было видно, что она не любит детей, а ведь природа наказывает таких женщин,

и, как правило, строго. Тебе хочется спросить: «За что?» Милый мой, это ясно: за отсутствие воображения. Детей не было, а когда она умерла, одиночество бесшумно пробралось в дом, и нет ничего удивительного в том, что хозяин часами ходит из угла в угол и мечтает о сыне.

— А что ты думаешь об ошибке паспортистики?

Шелест прокатился по упругим веткам Шотландской Розы — можно было подумать, что она рассмеялась.

— Ах, это очень забавная история, — сказала она. — Чей-то паспорт лежал рядом с паспортом Платона Платоновича, и рассеянная девушка в графе «Дети» записала «сын Василий» сперва в один паспорт, а потом в другой. А ведь иллюзия... Ты знаешь, что такое иллюзия?

— Спрашиваешь! — соврал Кот.

Шотландская Роза деликатно помолчала.

— Это то, что существует в воображении, но гораздо ближе к действительности, чем кажется. Хозяин не стал исправлять ошибку, потому что мальчик, которого он вообразил, уже занял свое место во времени и пространстве. Ты веришь в судьбу?

— Нет, — ответил Филипп Сергеевич. — Я материалист и убежден в том, что не бывает действия без причины.

— Напрасно. А я считаю, что сама судьба вмешалась в эту историю, а спорить с ней бесполезно и даже опасно. Хозяин ушел на пенсию, а ведь пенсия и одиночество всегда были в прекрасных отношениях. Если бы его желание исполнилось... Ты представляешь, как изменилась бы не только его, но и наша жизнь! Осталась неделя до Нового года, хозяин купил бы для мальчика елку, и я поболтала бы с ней — нам, комнатным растениям, всегда интересно узнать, что происходит в лесу. Он помогал бы Ольге Ипатьевне поливать цветы — с каждым днем ей все труднее поднимать тяжелую лейку.

— Ты оптимистка, — возразил Кот, — а я так и вижу, как он привязывает к моему хвосту консервную банку и гоняет по саду, пока та же Ольга Ипатьевна не надерет ему уши.

И Кот громко, с негодованием мяукнул — так живо представилась ему эта сцена.

— Тише, — сердито сказала Шотландская Роза, — хозяин сегодня принял сильное снотворное, и, если ты его разбудишь, у него разболится голова.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой Платон Платонович принимает снотворное, но не может уснуть.

Но хотя лекарство действительно было сильное, Платон Платонович не спал. Он лежал с открытыми глазами и думал. Разговора между Котом и Шотландской Розой он не слышал, но тишину как раз слышал, и это была безнадежная, ничего не обещающая академическая зимняя тишина. Академической она была не потому что поселок Сосновая Гора был построен для академиков, а потому что, сохраняя их покой, она глубоко сознавала свое значение. Впрочем, зимогоров было немного, и они все как один немного побаивались Платона Платоновича, хотя уважали его как знаменитого астронома. А он побаивался их, подозревая, что они смеются над его внешностью, действительно не совсем обыкновенной. Дело в том, что Платон Платонович чем-то напоминал бяку-заколяку из стихотворения Корнея Чуковского:

Ну, а это что такое
 Непонятное, чудное?
 С десятью ногами,
 С десятью рогами?
 Это бяка-заколяка кусачая.

Правда, у Платона Платоновича были только две ноги, а в пышной, торчавшей во все стороны шевелюре едва ли удалось бы различить рога. Однако он почему-то не позволял подстригать торчавшие из носа и ушей волосы, в которых несомненно было что-то «кусачее». Рыже-седая голова курчавилась грозно, из-под мохнатых бровей поглядывали свирепые маленькие глазки. Только очень пронизательный человек мог разглядеть в них доброту, простодушие, благородство и грусть. И Ольга Ипатьевна была совершенно права, когда говорила: «Он и во сне комара не убьет». Маленький, коренастый, с большой квадратной головой, он ходил по дому, цепляя по-медвежьки ногу за ногу, и думал. Иногда он начинал петь:

Из-за острова на стрежень...

Таким глубоким басом мог похвастаться только бяка-заколяка.

...С вечера ему удалось уснуть, а потом сон стал прибегать на минутку и убегать — торопился от стариков к детям, которые, не доставляя ему никаких хлопот, превосходно спали.

Платон Платонович встал и подошел к окну. Зима открылась перед ним, свободно раскинувшись в саду среди жасмина, голубых елей и американских кленов. Лунный свет осторожно вошел в детскую и стал распоряжаться в ней, притворяясь, что у него и без того немало дела.

В доме не было детей, но детская была.

Минуло пятнадцать лет с тех пор, как неопытная паспортистка подарила Платону Платоновичу сына, назвав его Васей, и теперь стало ясно, что пора убрать из комнаты надувных зверей, оловянных солдатиков, коня с пушистым хвостом и аккуратно подстриженной гривой.

Все могло быть иначе. И он представил себе, что бродит по дому в халате не потому, что снотворное не помогло, а потому, что он ждет сына, задержавшегося на школьном вечере. Какое счастье было бы волноваться за него! Успокоиться, убедившись, что он вернулся! Волосы Вася отрастил бы до плеч — и ни одного слова упрека. Он позволил бы ему носить брюки дудочкой и не очень удивился бы, если бы Вася заказал себе зеленый или лиловый пиджак. Хриплый бас старого негра доносился бы по вечерам из его комнаты, и Платон Платонович терпеливо слушал бы спиричуэлз, которые он ненавидел.

Прошло уже добрых пятнадцать лет с тех пор, как молодые люди перестали носить короткие брюки дудочкой и не гоняли из одного конца города в другой, чтобы записать Луи Армстронга. Но Платон Платонович, сидя у своего телескопа, не замечал времени и существовал в шестидесятых годах.

Из-за острова на стрежень...

Платон Платонович удивился, услышав звук пастушеской дудочки, который сперва нерешительно, а потом все более смело стал вторить ему. Как, пастушеская дудочка накануне Нового года? Когда еще зима украшает заборы снежными змеями? Когда голубые елочки, укутанные с головы до ног, стоят, как монашенки перед амвоном? Когда американские клены только и ждут знакомых белочек, которые стряхнут с погнувшихся веток надоевший, равнодушный, бесчувственный снег?

Он слушал и не верил ушам.

Но вот что-то стало складываться, соединяться в полутемной комнате — неясные очертания головы, рук и ног, как будто кто-то

пытался нарисовать их мелом на плывущей по воздуху черной доске. Дудочка все пела, и можно было подумать, что все это ее дела.

Пушинки кружились в лунном свете. Очертанье тонкой фигуры становилось все отчетливее, но оно еще плавало по воздуху вместе со школьной доской, как будто не решаясь от нее отделиться. Но вот удалось: доска исчезла, и с замирающим сердцем Платон Платонович ясно увидел мальчика, спокойно стоявшего у окна и терпеливо ожидавшего, когда его спросят, откуда он взялся. Но Платон Платонович думал о другом: он боялся, что снотворное все-таки подействовало, и ему было страшно, что он сейчас проснется.

— Добрый вечер.

— Добрый вечер,— неуверенно ответил Платон Платонович, все еще думая, что спит.

Он повернул выключатель — и ничего не изменилось: ночь не перешла в день, зима — в лето, очевидно, земной шар летел вокруг солнца с прежней быстротой; но у окна стоял высокий рыжий мальчик с голубыми, широко расставленными глазами.

«Сейчас проснусь,— с сожалением подумал Платон Платонович.— Спрошу, как его зовут, и проснусь. Нет, лучше не буду спрашивать. Тогда, может быть, не проснусь».

— Меня, кажется, зовут Вася,— как будто угадав его опасения, сказал мальчик. Он немного запинаясь.— Впрочем, что такое «кажется»? Это надо будет выяснить, правда?

— Правда,— тоже запинаясь (от волнения) ответил Платон Платонович.

— Да? Как хорошо! Значит, когда я вырасту, меня будут звать Василием Платоновичем.

Он смотрел прямо в глаза и в то же время как будто немного косил. «Может быть, от усталости»,— с нежностью подумал Платон Платонович.

— А что у вас делают, когда устают с дороги? Ложатся спать?

Платон Платонович с трудом удержался, чтобы не спросить: «А что у вас?»

— С дороги умываются и перед сном чистят зубы,— осторожно ответил он.

Мальчик подумал.

— А это интересно — чистить зубы?

— По меньшей мере полезно.

— Полезно в первый раз или всегда?

— Всегда. Впрочем, в первый раз может быть и бесполезно. Ты ужинал?

— Нет еще. А ужинать интересно?

— О да! В особенности когда хочется есть.

— А ведь мне, кажется, хочется. Вот видите! Опять кажется. Это потому, что, кажется, когда-то я все это прекрасно знал. И что ужинают, когда хочется есть, и что перед сном надо чистить зубы. Кстати, кто-то сунул мне в карман зубную щетку. Не вы?

— Нет.

— Вот это действительно очень забавно! Откуда же она взялась? Мы еще подумаем об этом, правда?

— Непременно,— снова пугаясь, что это сон, ответил Платон Платонович.— Сейчас я разбужу Ольгу Ипатьевну, и она приготовит нам ужин.

— Что вы! Ни в коем случае не надо никого будить. А кто такая Ольга Ипатьевна? Она добрая? Не рассердится, что я появился?

— Ну что ты! Она будет очень рада.

— А вы интересный,— задумчиво разглядывая Платона Платоновича, заметил мальчик.— У вас все не на месте, а между тем очень даже на месте.

Платон Платонович засмеялся.

— Прекрасно! — закричал Вася. — У вас прекрасный смех, очень добрый. Вообще-то вы ведь страшилище, одной бороды можно испугаться, но смех — прекрасный. У Ольги Ипатьевны тоже есть борода?

— Ольга Ипатьевна — пожилая, почтенная дама, — с достоинством ответил Платон Платонович.

— Ах дама? Женщина? Вы знаете, мне кажется, что я когда-то видел много женщин и у них действительно не было бороды.

Не спрашивая, откуда в третьем часу ночи в доме появился рыжий мальчик с голубыми глазами, Ольга Ипатьевна приготовила яичницу, подала хлеб, масло, сыр, и Вася с аппетитом поужинал, а Платон Платонович выпил чашку кофе.

«Но ведь паспортистка действительно ошиблась, — думал он, глядя, как Вася, почистив зубы и умывшись до пояса холодной водой, с наслаждением растирает мохнатым полотенцем узкие плечи. — А может быть, нет? Ведь нет же никаких сомнений, что это не сон».

Он принес свою пижаму, которая повисла на Васе, как на вешалке, постельное белье, одеяло, подушку. Кровать, стоявшая в детской, была коротка для Васи, но он без колебаний лег на нее, просунув через никелированные прутья длинные ноги. Потом уютно устроился, натянул на плечи одеяло и мгновенно уснул.

И Платон Платонович задремал под утро, но вскоре проснулся, потому что, как ему показалось, не мог удержаться от смеха.

Но смеялся кто-то другой. Смеялся Вася, рассматривая надувных мишек, белочек и обезьянок. Под детским столиком стояли заводные игрушки, на стене висела полочка с книгами: внизу сказки Маршака и Чуковского, а наверху книги из «Библиотеки приключений», в том числе Стивенсон и Жюль Верн.

И вдруг Вася замолчал. «Неужели догадался?» — с радостным удивлением подумал Платон Платонович. Детская была для него живой хронологией. Мальчик вырастал в его воображении. Сперва он покупал для него погремушки и надувных зверей, а потом детские книги.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой объясняется, что макаронические стихи не имеют никакого отношения к макаронам. Лейка для цветов превращается в родник, но остается лейкой.

Конечно, следующий день был отдан Васе, а потом покатались десятки и сотни других, повторяющих первый. Прежде жизнь Платона Платоновича состояла из научных занятий — днем он писал свои книги, а по ночам три-четыре часа проводил у телескопа. Как у каждого персонального пенсионера, у него было немало общественных забот и хлопот. А теперь все эти заботы как-то незаметно отделились, а совсем другие, непривычные, окружили Васю. Случались дни, когда Платон Платонович даже боялся надоесть ему — ведь, как известно, родители надоедают детям. Тогда он начинал старательно учиться не обращать на него никакого внимания. Впрочем, все быстро привязались к нему — и Кот, и Шотландская Роза, и Ольга Ипатьевна, даром что она постоянно ворчала и курила трубку, напоминая старого бывалого солдата. Всем, кто видел ее впервые, хотелось сказать: «Ать-два!» Что касается Васи, то не в лунном, а в солнечном свете он казался обычным розовощеким, смешливым, добродушным мальчиком, который бродил по дому, не зная, куда девать свои длинные руки и ноги. Всех, и даже Шотландскую Розу, он о чем-нибудь спрашивал, и, случалось, на его вопросы было трудно

ответить. Но спрашивал он как-то странно: казалось, что, спрашивая, он что-то припоминает. Так или иначе, все было новым для него в доме, построенном по проекту Платона Платоновича, хотя (как я упомянул) он был не архитектором, а астрономом: маленькие лестницы карабкались из комнаты в другую, главная лестница, украшенная резными перилами, с достоинством шагала на второй этаж, а потом в круглую башню, отведенную под большой телескоп. Книжки, книжки — на окнах, на столах, на стеллажах, то привольно развалившиеся, то дружески прижавшиеся друг к другу. Карта звездного неба, перед которой Вася стоял часами.

Новым был сладкий запах трубочного табака — Ольга Ипатьевна курила только «Золотое руно». Новыми были занятия с Платоном Платоновичем, который до поры до времени решил не отдавать мальчика в школу.

Всем в доме Вася бросался помогать — и нельзя сказать, что у него это получалось удачно. Он сломал мясорубку, помогая Ольге Ипатьевне делать котлеты, а когда она чистила ковры, отнял у нее и разобрал пылесос. Потом он долго, терпеливо собирал его, и пылесос снова стал работать, хотя и немного хуже, чем прежде. Коту он предложил вместе ловить мышей и огорчился, а потом долго смеялся, когда Филипп Сергеевич сказал ему по-латыни: «*Quod licet Iovi non licet bovi*», — что, как известно, значит: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». В бывшей детской Вася все переделал, не отказавшись, однако, от оловянных солдатиков и заводных игрушек.

— Мы так и не выяснили, что значит «кажется», — сказал он Платону Платоновичу. — Но так или иначе, у каждого человека должно быть прошлое, даже если он не может вспомнить, было оно в действительности или нет.

Погремушки — между ними были забавные — Вася подарил Иве, и она сказала, что они напоминают ей макаронические стихи, которые ей всегда хочется читать, когда у нее плохое настроение. К макаронам эта шуточная поэзия, в которой смешиваются слова из разных языков, не имела ни малейшего отношения.

Кто такая Ива — об этом речь пойдет впереди.

В доме жил еж, который по ночам бегал, стуча лапками, и Вася сшил ему тапочки, когда Платон Платонович пожаловался, что это «стук-стук-стук» мешает ему наблюдать звездное небо. Еж поблагодарил, но, к сожалению, стал часто терять тапочки и, разыскивая их по всему дому, стучал еще громче.

Но странности начались несколько позже. Дымя трубкой, Ольга Ипатьевна поливала цветы, и Вася случайно обнаружил в ней сходство со старым солдатом. Ему захотелось скомандовать: «Ипатьевна, стройся!» — но он удержался и только спросил:

— Ольга Ипатьевна, вы ведь в молодости служили в армии, правда?

Старушка обиделась и ушла, а Вася стал поливать Шотландскую Розу. Цветы любят воду, согревшуюся в комнате, и лейка, как всегда, стояла в столовой. Вася поднял ее, наклонил, вода полилась, обрадованная Роза вежливо сказала: «Благодарствуйте». Но когда через две-три минуты лейка должна была опустеть, она снова оказалась полной. Вслед за комнатной водой полилась холодная, родниковая и это огорчило Шотландскую Розу. «Каким же образом, — подумала она, — лейка снова наполнилась, не заставив Васю бежать к водопроводному крану?»

Вася смутился, хотя свидетелем этого случая был только Кот, который долго в недоумении хлопал глазами. Хлопала бы, без сомнения, и Шотландская Роза, если бы у нее были глаза. Не зная, как поступить, Вася стал поливать другие цветы, и вода бежала и бежала, как из родника, не останавливаясь и даже начиная еле слышно лепетать, бормотать... Словом, ничего больше не оставалось, как по-

ставить полную лейку на пол и подумать, стоит ли рассказать об этом Платону Платоновичу или нет.

— Пожалуй, не стоит,— наконец сказал он себе.— Тем более что поливкой цветов занимается Ольга Ипатьевна, а ведь у нее лейка до сих пор никогда не превращалась в родник.

И жизнь пошла своим чередом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой автор представляет читателям Иву в квадрате и (в приложении) ее рассказ, опубликованный в семейной стенной газете.

Ученые, занимавшиеся историей их первого знакомства, расходятся в решении вопроса, когда оно состоялось. Что касается меня, то я ни минуты не сомневаюсь в том, что впервые они встретились на снежной горе, с которой Вася не решился бы съехать, если бы его не толкнули в спину. Он не попал в проложенную лыжню, покатился по нетронутому снегу и не только упал, но завяз в сугробе и выбрался только потому, что кто-то протянул ему руку.

Высокая девочка в лыжном костюме стояла перед ним и смотрела, как он молча расстегивал крепления и снимал лыжи.

— Это ты меня толкнула?

— Не толкнула, а подтолкнула.

— Зачем?

— А мне было интересно, трусишь ты или нет.

Вася помолчал.

— На первый взгляд ты, пожалуй, не очень глупа,— задумчиво сказал он.— Хотя все-таки, кажется, глуповата. Я действительно боялся, но гораздо проще было спросить меня: «Боишься?» И я бы честно ответил: «Да». А потом все-таки съехал бы, потому что когда я вижу девочек, мне почему-то хочется перед ними покрасоваться.

— Ах так? — немного покраснев, с иронией спросила девочка.— Почему-то? А ты, случайно, не дебил?

— Что такое дебил?

— А это у которых в голове не того,— быстро ответила девочка, покрутив у виска указательным пальцем.

— Кажется, нет. Напротив, я думаю, что у тебя в голове не того, если толкаешь человека с горки, надеясь таким образом узнать, трус он или нет.

— Возможно. Но зато теперь ты сам можешь решить этот вопрос. Как тебя зовут?

— Вася. А тебя?

— Ива в квадрате. Догадался?

— Подумаешь, задача,— сказал Вася.— Ива Ива-нова.

— Молодец. Если бы я знала, что ты такой умный, я бы не стала тебя толкать. Возможно, что ты даже смелый парень. Хочешь попробовать еще раз? Ведь, в сущности, это не гора, а горка. До Канченджанги ей далеко, не говоря уж о Джомолунгме.

Вася молча затянул крепления и стал подниматься, стараясь подражать Иве, которая ловко ставила свои лыжи елочкой. Такие елочки были разбросаны по всей горе, которая как будто плыла куда-то в молочно-розовом тумане.

Рассказ

Он стоял на горе, и Чинук, решив, что у него не хватает смелости, подтолкнула его. Конечно, он застрял в сугробе, и она помогла ему выбраться. Разговор, состоявшийся между ними, нельзя назвать образцом вежливости, поскольку, подумав, он сказал:

— Дура.

— Я бы не сделала этого, если бы знала, что ты только третий день как ходишь на лыжах.

— Откуда ты знаешь, что третий?

— Ха-ха! Я вижу, что ты не в силах представить себе, на что способна Замбезари Чинук. Ее основной чертой является любопытство. Она уверена, что это движущая сила как истории, так и современности. Лишенный этого чувства человек не стал бы изобретать колесо или иголку.

— Может быть, ты права,— ответил он, стараясь понравиться Чинук и чувствуя, что это ему не удастся.— Но скажи, откуда взялось твое странное имя?

— В стране Вмепережкуа оно никому не кажется странным. Моего младшего брата, например, зовут Придсу один.

Мальчик вздохнул и сказал:

— А меня, к сожалению, зовут просто Вася.

Он был рыжий, как свежелокрашенный каким-нибудь чудаком забор, ярко-голубые глаза его не без успеха подражали ясному зимнему небу.

— Да, у тебя скромное имя,— заметила Чинук.— Впрочем, Александра Македонского родители и друзья называли, без сомнения, просто Саша. Хочешь, я прочту тебе монолог из «Принцессы Турандот»?

Чинук сняла варежки, сунула их Васе и, гордо подняв голову, сложила руки на груди.

— Остановитесь! — властно сказала она.— Этот человек

...не будет мне супругом. Я хочу
Задать ему три новые загадки,
Назначив день. Мне слишком малый срок
Был дан...

Ну и так далее. Ты читал «Принцессу Турандот»?

— Нет. Я еще почти ничего не читал.

— Почему?

— Еще не знаю.

— Ну ладно,— холодно сказала Чинук.— Возможно, что ты даже смелый парень. Хочешь попробовать еще раз? Ведь это, в сущности, не гора, а горка. До Канченджанги ей далеко, не говоря уж о Джомолунгме.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой доказывается, что знаменитый Кот в сапогах в сравнении с Котом Филей был недалекий малый.

— Прошло уже почти полгода после их первой встречи, — сказала Шотландская Роза. — А они еще не понимают ни себя, ни друг друга.

— Ах, боже мой, когда я слышу такой вздор, мне хочется заткнуть уши,— возразил Кот.— С тех пор случилось так много, что они даже не узнали бы в лицо свою первую встречу. Она растаяла вместе с апрельским снегом.

— Но как ты думаешь, они уже назначают друг другу свидания?

— Почему бы и нет? Их сблизила, мне кажется, карта звездного неба. Все вечера они вместе с Платоном Платоновичем проводят у телескопа. Вася сожалеет, что не может по-своему переставить планеты, а Ива пишет стихи о падающих звездах.

— Кстати, что ты думаешь о ее стихах?

— Они похожи на нее,— ответил Кот.— Сразу видно, что она еще, как говорится, не устоялась. То прелестна, грациозна, умна. То

обидчива, резка, нетерпелива. Впрочем, это как раз характерно для детей и поэтов.

— У меня плохая память,— заметила Шотландская Роза.— Но одно из ее стихотворений я запомнила наизусть. Мне нравится последняя строфа:

Пусть же клятву принимает
Мной зажженная звезда,
Карандашик вынимает
Из смешного никогда¹.

— Ну и плохо,— сказал Кот.— Из «никогда» ничего нельзя вынуть. Ни карандашик, ни шариковую ручку.

— Ты не любишь поэзию?

— Нет, люблю. Но хорошую.

— У тебя холодный, скептически-трезвый ум,— с отвращением возразила Шотландская Роза.— И я больше никогда не буду говорить с тобой о поэзии. Вернемся к Иве. Мне кажется, что с Васей у нее будет много хлопот. Ведь она не может жить без неожиданно-стей. Все, что происходит на свете, для нее происходит в первый раз.

Кот засмеялся — вы никогда не замечали, что смеются и коты, а не только собаки?

— Ты забыла, как в его руках обыкновенная лейка превратилась в родник. Дело в том, что к его душевному складу присоединяется загадочная черта, которая убедительно доказывает, что в природе многое решительно сопротивляется любому объяснению.

— Ты слишком умен для кота,— с упреком сказала Шотландская Роза.— По меньшей мере для кота, который спит шестнадцать часов в сутки.

— Милый друг, во сне-то и приходят самые занятные мысли! Среди котов встречаются незаурядные философы — это убедительно доказал еще Эрнст Теодор Гофман. Что касается Васи, он просто еще стесняется своей способности совершать чудеса. Его мучает застенчивость, он краснеет — иногда без причины. Но это пройдет. Словом, не знаю как ты, а я чувствую в нем волшебную волю.

— Волшебную?

— Да,— твердо сказал Филя.— Бывает воля сильная, непреклонная, неодолимая. Но все эти свойства скрестились в волшебной воле, которая давно перебралась из сказок в самую обыкновенную жизнь.

Шотландская Роза вздохнула.

— Так ты думаешь все-таки, что он влюбился в Иву?

— Мяу! — иронически рывкнул Кот.— По крайней мере, она ни минуты не сомневается в этом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой с одного берега на другой перебрасывается соломенный мостик, а Ива получает последнее яблоко в одичавшем саду.

Да, жизнь шла своим чередом, и если время от времени моя история приостанавливалась, так только потому, что Ива и Вася были слишком заняты, чтобы участвовать в ней. Не знаю уж, кто из них занимался усерднее. Очевидно, Ива, потому что Вася, к изумлению Платона Платоновича, схватывал с первого взгляда то, что другому мальчику в его возрасте стоило бы немалого труда.

Это произошло летом, когда они были свободны: Ива перешла в девятый класс, а Вася получил свидетельство об окончании школы. Вокзал был Киевский, им хотелось когда-нибудь поехать вместе на юг. Свернутые бумажки с названиями станций лежали в Васиной кепке. Конечно, это придумала Ива, которой хотелось, чтобы их сви-

¹ Стихотворение, как и все последующие, принадлежит Кате Кавериной.

дания не были похожи на все другие свидания в мире. Она обрадовалась, вытянув Кутуары.

— Мне кажется, что я сама придумала это прекрасное название,— сказала она.— Именно здесь жил знаменитый граф Кутуар. Если нам удастся обойти этот скучный поселок, развалины его замка встретят нас во всем своем мрачном величии.

Неясно было, существовал ли когда-либо граф Кутуар и чем он был знаменит, но Вася в ответ только улыбнулся: очевидно, в этот день Ива старалась изобразить свою бабушку и нельзя сказать, что это ей не удавалось.

Но, как ни странно, прошло полчаса, и они действительно наткнулись в большом одичавшем саду на развалины каменного дома. Несколько лет назад фруктовые сады Подмосковья пострадали от жестокого мороза. Пострадал и тот, по которому они бродили. Грубые стволы старых яблонь почернели и покрылись мертвенным серым налетом. На голых ветках, торчавших в разные стороны, сидели равнодушные галки, и можно было смело сказать, что не исчезнувший замок, а этот грозный в своем напрасном сопротивлении сад был проникнут тем «мрачным величием», о котором упомянула Ива. Но на одной яблоне сохранилась молодая, упругая ветка, а на ней большое яблоко нежно-воскового, зеленоватого цвета.

Осталось неизвестно, спросил ли Вася: «Хочешь, я сорву его для тебя?»,— или он прочел это желание в глазах Ивы; но едва он подошел к дереву, как ветка склонилась и вложила яблоко в его руку. Вася смутился, покраснел, полез в карман за носовым платком, вытер лоб и только потом предложил яблоко Иве.

Что касается Ивы... Она подчас сама устраивала неожиданности, когда они заставляли ее ждать слишком долго. Но такой неожиданности она не ожидала.

— Боже мой! — с радостным изумлением сказала она.— Да ты, оказывается, волшебник?

— Ива, это ничего не значит,— пробормотал Вася.— То есть я сам не знаю, что это значит.

— Но ты подумал или даже догадался, что мне хочется съесть это яблоко?

— Ну, допустим, подумал,— с досадой сказал Вася.— Но когда лейка превратилась в родник, я вообще думал черт знает о чем, а между тем вода лилась и лилась.

И он рассказал о том, что случилось, когда Ольга Ипатьевна попросила его полить Шотландскую Розу.

— Это просто значит, что тебе бессознательно не хотелось идти за водой,— сказала она.— Нет, ты волшебник, это ясно. Впрочем, поставим эксперимент.

— А именно?

— Вернемся к речке... (Разыскивая замок графа Кутуара, они наткнулись на какую-то маленькую речку.) Допустим, что это были две необъяснимые случайности,— сказала Ива.— Но вот перед нами речка. Ты можешь перекинуть через нее хотя бы узенький мост?

— Не знаю.

— Попробуй. А я буду тебе помогать: закрою глаза и увижу этот мост в воображении. Он будет старинный, горбатый, с резными перилами, и мы, взявшись за руки, пройдем на тот берег, как Ромео с Джульеттой.

Вася замолчал. Он был бледен, но стал еще бледнее. Клок рыжих волос упал на высокий лоб. У него было лицо человека, вспоминающего что-то давно забытое, может быть случившееся в далеком детстве. Он склонил голову, как будто здороваясь с тем, что в нем происходило. Но в его задумчивости было и что-то задорное, даже дерз-

кое, и Ива, которая украдкой приоткрыла один глаз, не то что совсем не узнала его, но узнала с трудом.

И вот длинные узкие параллельные линии стали медленно устраиваться над рекой, как будто кто-то невидимой рукой протянул их с правого берега на левый. Это был еще далеко не мостик, линии казались не толще соломинок. Впрочем, это и были соломинки, которые без сомнения сломались бы под ногами Ромео, в особенности если бы он потащил за собой Джульетту. По такому мостику мог бы, пожалуй, пройти только тополиный пух, да и то если бы у него была не одна, а две ножки.

— Не вышло,— прошептала Ива.— Но теперь я поняла. Это просто талант такой же, как музыка или поэзия. И тебе надо его развивать. Я, например, убеждена, что Мёрлин..

— Какой Мёрлин?

— Эх ты! «Янки при дворе короля Артура» не читал. Так вот этот Мёрлин, можно не сомневаться, основательно поработал над собой, прежде чем стал волшебником, о котором до сих пор пишут романы.

— Талант? — задумчиво спросил Вася.— Но он мне совсем не нужен.

— Не скажи! Ты ведь на биологический?

— Да.

— Так вот, возможно, что на экзаменах твой талант может пригодиться. Но надо работать,— строго прибавила она.— Надо учиться колдовать по меньшей мере два-три часа в день. Обещаешь?

— Обещаю,— смеясь, сказал Вася.— А теперь пойдем вдоль берега. У тебя купальник с собой?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой Кот Филя с тонкой улыбкой шурит глаза, а Вася читает солнечному зайчику стихотворение Ивы.

Талант! Но что делать с талантом, который перебрасывает две соломинки через речку или заставляет старое дерево вежливо предложить яблоко Иве?

По-видимому, на свете не было школы, в которой Вася мог бы изучать подобные предметы. Оставалось вообразить ее, это было трудно. Директором он назначил Платона Платоновича. Завучем — Филю. А все наглядные пособия с успехом заменила Ольга Ипатьевна, особенно когда, покуривая трубку, занималась уборкой или когда Васе просто хотелось сказать ей: «Ать-два!» Правда, эта школа существовала только в воображении, но без нее ему чего-то не хватало. Впрочем, Филя что-то подозревал. Недаром же он с тонкой улыбкой шурил глаза и одобрительно мурлыкал, когда в доме случалось то, что ни в коем случае не могло случиться.

Для начала Вася решил воспользоваться завтраком, который состоял из гречневой каши, двух яиц всмятку и подсушенного хлеба с маслом. Но в этот день гречневая каша по дороге из кухни в столовую превратилась в овсянку. «Вышло»,— весело подумал Вася, хотя он прекрасно знал, что такое маленькое чудо можно различить только через сильную лупу.

Вечером, когда весь дом смотрел «Клуб кинопутешествий», Вася, не подходя к телевизору, заменил первую программу на вторую. И это вышло, хотя Кот, подмигнув Васе, заметил, что надо позвонить в ателье.

Но заставить Платона Платоновича надеть правую туфлю на левую ногу, а левую на правую долго не удавалось, может быть, потому, что Вася спал в детской и ему пришлось ставить этот опыт, так сказать, умозрительно, в воображении. Но в конце концов удалось.

Плохо было только, что Ольга Ипатьевна расстроилась, когда хозяин перепутал туфли. Может быть, он перепутал ноги?

— Тронулся,— сказала она шепотом и перекрестилась.

Дерзкая мысль превратить солнечного зайчика в самого настоящего зайца сорвалась, хотя Вася очень старался. Пришлось снова заняться мелочами. Яйца, сваренные всмятку, по дороге из кухни в столовую превращались в крутые. Платон Платонович подстриг свою грозную курчавую бороду и очень помолодел — конечно, он не подозревал, что и это было одной из Васиных проделок.

Прошло добрых два месяца, когда Вася снова вернулся к солнечному зайчику, неизменно посещавшему его по утрам. Однажды он проснулся, повторяя шепотом стихотворение Ивы, которое ему понравилось, хотя Кот, без сомнения, не нашел бы в нем никакого смысла. Оно уснуло вместе с Васей и проснулось, едва он открыл глаза.

Но для тех, кто знал, что Ива попыталась передать в нем впечатление от сцены, вышитой на старинном ковре (висевшем в ее комнате), стихотворение, может быть, не показалось бы странным:

Сидят Король и Рыбка вместе
И Гиря где-то возле них.
Они поедут все к невесте
Сказать, что умер ее жених.

Повторяя это стихотворение, Вася не сводил глаз с солнечного зайчика. И вот ему померещилось, что у зайчонка выросли ушки и появились лапки. И мордочка удивленная, но не испуганная — может быть, потому, что Вася задумал не пугливого, а ручного зайца, которого можно погладить хотя бы для того, чтобы убедиться, что он действительно существует.

Одну строфу, в которой рассказывалось, что жених вовсе не умер, а находится в плену, Вася пропустил и сразу перешел к Доммику, в котором жила невеста:

А добрый Домик, он не знает,
Какая им грозит беда,
И он усердно созерцает
Ущелье, села, города.

Зайчонок пошевелился и стал с трудом открывать глазки. Он был похож на детский рисунок, но что-то солнечное застряло в его взъерошенной желтенькой шубке. Он вздохнул — очевидно, в первый раз,— прыгнул со стены к Васе в постель и устался на него косыми изумленными глазками. И Вася погладил его и даже поцеловал в теплую мохнатую мордочку с раздвоенной губкой. Потом широко распахнул окно — и зайчонок прыгнул в сад и исчез, мелькнув где-то вдалеке среди серебристых елей.

Что же это было? Почему опыт так долго не удавался и удался, когда Вася прочел солнечному зайчику стихи, которые не имели к нему никакого отношения? А если бы он прочел другие стихи? Между тем новый солнечный отблеск неторопливо устраивался на стене.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой обсуждается вопрос о том, связаны ли чудеса с музыкой или поэзией, а Кот утверждает, что Ива и Вася в сравнении с ним еще дети.

Можно ли назвать философским разговор, который на следующий день произошел между Котом, Ивой и Васей? Пожалуй, хотя глубины в нем, кажется, не хватало.

— Ничего особенного,— сказала Ива,— ведь говорят же «чудо поэзии». Одно чудо помогло другому — очевидно, добрые чудеса, как

добрые люди, всегда помогают друг другу. Но почему ты прочитал солнечному зайчику мое старое стихотворение? Я написала его, когда мне было двенадцать лет.

— Потому что оно мне нравится. Нет, это не так просто. Может быть, чудеса связаны с искусством и музыка или поэзия тайно участвуют в них?

— Конечно, связаны,— проворчал Кот.— Но это, к сожалению, решительно ничего не объясняет.

— Нет объясняет, киса,— ласково сказала Ива.— И вообще, мне кажется, что ты должен помалкивать, когда обсуждается такой серьезный вопрос.

— Кисами, как правило, называют кошек, а я, к счастью, принадлежу к противоположному полу. И вообще, терпеть не могу сентиментальных прозвищ. Что касается грубого совета помалкивать, так в сравнении со мной вы еще дети. Мне уже минуло восемь лет, а это почтенный возраст для домашнего млекопитающего из семейства, к которому относятся тигры и львы. Что касается связи между чудесами и искусством, я не сомневаюсь в ней, но объясняю ее совершенно иначе. Для того, чтобы совершить чудо, нужна прежде всего воля. Нравственная или безнравственная, но воля!

— Почему нравственная или безнравственная? — спросили одновременно Ива и Вася.

— Потому что бывают чудеса добрые и злые. Вот мы говорим: поэзия — чудо. Но скажите, пожалуйста, были ли среди великих поэтов предатели, убийцы, воры? Я лично не вспоминаю никого, кроме Франсуа Вийона.

— Значит, я не поэт,— грустно сказала Ива.— Вчера, например, я стащила у своей подруги Лены Долидзе жевательную резинку.

— Вернуть,— строго сказал Кот.

— А я ее уже сжевала. Значит, чтобы писать хорошие стихи, непременно надо быть благородным человеком?

— Именно так. По меньшей мере это верно для тех, кто хочет быть настоящим поэтом.

— Но если ты и прав...— начал Вася и задумался так надолго, что Кот успел немного вздремнуть, а Ива вчерне записала несколько новых строчек.— Нет, это сложнее,— наконец сказал он.— Чудеса совершаются вне времени, а музыка или поэзия связаны с сегодняшним днем. Впрочем, я тоже думаю, что трусу или подлецу нечего делать в искусстве.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

в которой автор представляет читателям молодого человека, похожего на бабочку Аполлон.

Я еще ничего не рассказал о родителях Ивы, очевидно, по той причине, что их было трудно заметить. О таких людях говорят: не бросаются в глаза. Но ни Алексею Львовичу, ни Марье Петровне никогда даже не приходило в голову броситься кому-нибудь в глаза. Им как раз очень нравилось быть незаметными — редкий случай!

Известно, что воспитать одну дочку легче, чем двух или трех. Но воспитать Иву было еще легче, потому что ей не исполнилось еще десяти, когда она решительно потребовала, чтобы на нее не обращали никакого внимания. Ничего не оставалось, как втихомолку, огорчаясь, подписывать дневник, в котором были и двойки и тройки, никогда не вмешиваться в ее дела и — это было самое сложное — не удивляться неожиданностям. Родители только молчали, когда Ива начинала разговаривать белыми стихами, превращая утренний завтрак в сцену из комедии Лопе де Веги. Они привыкли к семейной стенной газете, в которой Ива ставила родителям отметки за поведение.

Но вот произошло то, что в старину называлось верхом неожиданности. Каждое утро из цветочного магазина стал приходить посыльный с красной розой в руках и запиской: «Иве Ивановой. В собственные руки». К завтраку она стала являться напудренная, с накрашенными губами, а когда Алексей Львович спросил ее, что, собственно, все это означает, ответила беспечно: «Ничего особенного. Я, кажется, влюбилась. Пожалуйста, мамочка, передай мне соль».

С Васей она встречалась по-прежнему, хотя однажды он сказал, что она стала похожа на парикмахерскую куклу.

— Пудриться, мне кажется, тоже надо уметь,— внимательно разглядывая ее, сказал он.— А ты не умеешь. Губы тебе идут как раз некрашенные. Ведь ты уже девушка, правда? Можно мне называть тебя Чинук?

Ива засмеялась.

— Ведь ты подписываешь свои стихи «Чинук»?

— Замбезари Чинук.

— Ну, это слишком длинно. Так почему ты начала пудриться?

— Потому что я стала танцевать в ансамбле, а там все девушки пудрятя и красят губы. Кроме того, за мной ухаживает один джентльмен.

— Мне не очень нравится, что он каждое утро присылает тебе красную розу.

— А мне нравится. Хочешь, я тебя с ним познакомлю?

Это было устроено так. Молодой человек с букетом красных и белых роз вышел из «мерседеса», подкатившего к Сосновой Горе, где его уже ждал Вася. Минут двадцать, поглядывая на часы, они, сходясь и расходясь, шагали вдоль платформы. Первым заговорил Вася.

— Простите,— сказал он,— но мне кажется, что она не придет. Дело в том, что это очень похоже на Иву. Ей захотелось, чтобы мы познакомились, и она решила нам не мешать.

Молодому человеку было лет двадцать пять, и хотя на нем было легкое светлое пальто и модная замшевая кепка, его можно было смело сравнить с Аполлоном. Но, пожалуй, скорее он был похож на бабочку Аполлон, которую энтомологи считают одной из красивейших в мире. В нем было что-то порхающее — плавно закругленные крылья так и чудились за его статными плечами. В сравнении с ним Вася выглядел караморой — так называется длинноногий беззащитный комар, который лениво бродит осенью по оконным стеклам и не очень сердится, когда ему отрывают ногу.

— Не придет, и это на нее похоже.

Ничего угрожающего или опасного не было в этих словах. Почему же молодой человек, взглянув на Васю, выронил из рук букет, побледнел, задрожал, отшатнулся? Почему его рот приоткрылся и он закрыл его, громко щелкнув зубами? Откуда взялись набрякшие складки, вдруг прорезавшиеся по сторонам его носа?

Едва ли кому-нибудь удавалось в одно мгновение постареть лет на двести, а ему удалось. Дрожь прохватила его с головы до ног. Он что-то сказал самому себе, и Вася запомнил его слова, хотя и не понял их — они были сказаны по-итальянски: «Non può essere!»².

Широко известно, что люди возвращаются к себе, прячась от посторонних глаз. Но на этот раз спрятаться было трудно.

— Вот вы и пришли в себя,— весело сказал Вася.— И я не буду спрашивать, почему, разглядев меня, вы так изменились. Это, в конце концов, ваше дело. Меня самого огорчает моя внешность. В школе меня иначе не называли как Рыжик, причем предполагался не гриб, а клоун. Значит, Иве захотелось, чтобы мы познакомились. Что ж, я не прочь! Вы москвич? Как вас зовут?

² Не может быть!

— Леон,— стараясь улыбнуться, ответил молодой человек.— А тебя?

— А меня просто Вася. Вы не москвич?

— Нет.

— Леон! Как красиво! Я бы сказал — слишком красиво. Вот вы явились на свиданье с букетом роз — тоже красиво. Я еще никогда не дарил девушкам цветы, а ведь, надо полагать, это им нравится? Просто не приходило в голову, а кроме того, мы видимся с Ивой так часто, что все мои деньги пришлось бы истратить на цветы. А их немного. Вы понимаете, я стесняюсь всякий раз просить деньги у Платона Платоновича, хотя он получает персональную или даже какую-то сверхперсональную пенсию. Ольга Ипатьевна говорит, что все ужасно подорожало. А вы богатый? Эта машина собственная — или вы хотели, как говорится, блеснуть?

Молодой человек, который снова стал похож на бабочку, вдруг ответил такой длинной фразой, что пока Вася дождался конца, он забыл начало. Конец был такой:

— ...и я был бы в восторге, если бы мои предположения оправдались, поскольку после надлежащего разъяснения вопрос мог бы решиться в положительном смысле.

— То есть в том смысле, что мы могли бы сделаться друзьями? Да, конечно. Но понимаете, мне почему-то кажется, что хотя мы встретились впервые, вы чувствуете ко мне что-то вроде отвращения.

В ответ он получил еще более длинную фразу, из которой ему удалось понять, что подобное предположение очень похоже на шутку и что, напротив, ему очень нравится такая вызывающая изумление откровенность Васи.

Короче говоря, разговор не вязался, и нет ничего удивительного, что молодой человек вдруг сел в свой «мерседес» и уехал. И, конечно, как только машина скрылась за поворотом, из кустов появилась Ива. Она была в легком платье и замерзла, пока пряталась в кустах. Нос посинел, и, поминутно вытирая его, она размазала по всему лицу губную помаду.

— Хороша! У тебя с собой зеркало?

— Я его разбила!

— Зачем?

— Мне хотелось убедиться в том, что можно разбить зеркало — и ничего не случится.

— И не случилось?

— Я подвернула ногу. Не очень. Как ты думаешь, Рыжик, почему он тебя испугался? Вы встречались?

— Во-первых, прошу не называть меня Рыжиком. А во-вторых, подслушивать подло.

— Я знаю,— жалобно сказала Ива.— Но, понимаешь, интересно!

— И вообще, ты напрасно позволяешь этому старику ухаживать за собой.

— Почему же старику? Двадцать пять лет! Он показывал мне паспорт.

— Нет, он старик,— упрямо возразил Вася.— Ему по меньшей мере лет сто. Или двести.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой похожий на бабочку молодой человек посещает Ивановых, а из Алексея Львовича вылетают искры.

«Мерседес», в котором сидела Ива рядом с молодым человеком, видели в эти дни не только на улицах Москвы, но в Абрамцеве, в Детском Селе — очевидно, Ива показывала своему новому другу достопримечательности столицы.

...В новом нарядном платье, с аккуратно покрашенными губами, она сидела за обедом и притворялась, что с аппетитом ест гороховый суп. Она вздрогнула, услышав шум подлетевшей машины, и когда Марья Петровна спросила, кто бы это мог быть, ответила:

— Не знаю.

Молодой человек легко подошел к подъезду, негромко постучал, а когда Марья Петровна открыла двери, поклонился ей так изящно, что она невольно почувствовала себя даже не в девятнадцатом, а в восемнадцатом веке.

— Прошу извинить меня, глубокоуважаемая Мария Петровна,— сказал он,— но некоторые черты в характере вашей прелестной дочери побудили меня явиться к вам без предварительного уведомления. Позвольте представиться: Леон Спартакович Пещериков.

— Пожалуйста,— только и ответила растерявшаяся Марья Петровна.

Гость прошел в столовую, где Алексей Львович встретил его с недоумением, а Ива — сдержанно, стараясь изо всех сил казаться старше своих лет и поэтому выглядывшая года на два моложе.

— Прошу извинить меня, глубокоуважаемый Алексей Львович, но обстоятельства, связанные с некоторыми чертами характера вашей дочери, не позволили мне предварительно осведомить вас о моем посещении. Меня зовут Леон.

Нельзя сказать, что это изысканное представление не понравилось Алексею Львовичу, который много лет читал лекции в Библиотечном институте и требовал от своих учеников, чтобы они говорили не запинаясь. Но называть своего неожиданного посетителя по имени, без отчества показалось ему неприличным.

— Очень приятно,— сказал он.— Но хотелось бы узнать, как вас все-таки по батюшке?

— Леон Спартакович,— с готовностью ответил молодой человек.

— А позвольте узнать, Леон Спартакович, чему я обязан вашим посещением?

Молодой человек засмеялся.

— Ах эта Ива, проказница, шалунишка! Неужели она не поставила вас в известность о нашем совместном намерении, не нуждающемся, по ее мнению, в вашем одобрении и согласии? Существует много вариантов того, что я считаю честью вам сообщить. Вопреки очевидной старомодности я предпочитаю два нижеследующих: сочетаться законным браком и предложить руку и сердце.

Другое старомодное, но сохранившееся понятие, а именно — «ошеломить», некогда означало «ударить по шелому». Для Алексея Львовича оно в эту минуту подходило, хотя никакого шелома не было, разумеется, на его почтенной седой голове.

— Позвольте, как же так? — спросил он.— Это невозможно! Моей дочери еще рано думать о замужестве. Она в десятом классе и ей только шестнадцать лет.

— Почти семнадцать,— заметила Ива.

— А давайте не будем заставлять ее думать,— мягко улыбаясь, сказал молодой человек.— Дело в том, что я — Главный Регистратор всех входящих и исходящих в городе Шабарша. Не следует думать, что это незначительная канцелярская должность. Можно смело сказать, что по моему служебному положению я не ниже, если не выше, любого подающего надежды министра. Я располагаю единственной в городе электронно-вычислительной машиной. Вот мы ее и заставим подумать.

Впоследствии Ива утверждала, что первая искра вылетела из Алексея Львовича именно в эту минуту. По-видимому, он уже начал вспоминать, что в годы войны командовал артиллерийской батареей.

— То есть вы, кажется, хотите сказать, что какая-то машина будет решать, за кого ей выйти замуж? — спросил он.

— Ну зачем же понимать мои слова так буквально? — осторожно заметил Леон Спартакович. — Ведь вопрос в основном как будто решен. Просто я считаю своим долгом заранее предусмотреть ссоры и недопонимания, без которых редко обходится семейная жизнь. Вот тут ЭВМ действительно может помочь. А впрочем... — Тут к его осторожности присоединилась деликатность. — Мы с Ивой считаем, что все это должно произойти не сегодня и не завтра, а, может быть, через два-три года, в заранее обусловленный срок. Если вы разрешите, я стану время от времени бывать у вас, мы познакомимся ближе и после надлежащего рассмотрения вопроса как вы, так и Мария Петровна, будем надеяться, убедитесь, что лучшего выбора ваша дочь сделать не могла.

Молодой человек мягко улыбнулся.

Но странно: все в комнате как бы нахмурилось в ответ на его улыбку, даже дубовый буфет, который лет пятьдесят стоял на своем месте не хмурясь. Календарю, висевшему на стене, захотелось перепутать все дни и месяцы, а занавески на окнах стали выглядеть так, как будто они повешены за какое-то преступление.

Что касается Кота Фили, гостившего у Ивановых, то он даже плюнул, что с ним случалось редко. Ему как раз не понравилось, что Леон Спартакович говорит слишком гладко.

Осталось неизвестно, когда именно взорвался Алексей Львович — после того как Кот плюнул или после того как будущий жених сказал:

— Итак, будем считать, что наша встреча прошла в дружественной обстановке, заложившей основу для будущих отношений, значение которых переоценить невозможно.

Так или иначе, было уже совершенно очевидно, что Алексей Львович отчетливо вспомнил свои боевые дела. Он еще не сказал ни слова — закашлялся от волнения, но искры уже вылетали из него, как пчелы из улья.

— Мать, а что же ты молчишь? — обратился он к растерявшейся Марье Петровне, которой, по-видимому, понравился жених, хотя она считала, что он слишком красив для мужчины.

— А что мне сказать, когда нечего говорить? — ответила она мудро.

— Нечего? — переспросил Алексей Львович. Теперь искры, подобно артиллерийским снарядам, стремительно летели прямо к Леону Спартаковичу, но почему-то по дороге гасли. — Ах, нечего? Вон откуда, канцелярская крыса! Вон, пока я тебя еще с лестницы не спустил! И чтобы я тебя никогда больше не видел! А то я тебе такую ЭВМ покажу...

Он снова закашлялся. Судя по искрам, которые уже не вылетали, а выбрасывались из него, как из «катюши», было совершенно ясно, какую ЭВМ он приготовит для молодого человека, если он явится снова.

Через две-три минуты Леон Спартакович, простившийся только с Ивой, сказав ей шепотом несколько слов, неторопливо спустился с лестницы, сел в «мерседес», кстати, украшенный почему-то черным флажком, и уехал.

И почти немедленно началось то, что ученые из Института Вьюг и Метелей выразительно называли бурей в маске. Хотя Сосновую Гору в это свежее осеннее утро можно было назвать одним из самых тихих мест на земле, здесь и там мачтовые сосны стали ломаться, как спички, а невидимая рука заставила кустарник, спасаясь, прильнуть к траве. Земля вздрогнула, а двери так задрожали, что Мария Петровна даже сказала, подумав, что кто-то стучится:

— Войдите!

Но никто не вошел, и через несколько минут в каждом доме стали повторяться слова «причудилось», «показалось». Однако лесники уже бежали к умирающим соснам, может быть еще рассчитывая помочь им, хотя на это не было никакой надежды.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

в которой Ива старается чувствовать себя счастливой и сердится, потому что чувствует себя несчастной.

Вася за минувший год изменился так, что, глядясь в зеркало, не узнавал себя. Он вырос, окреп и по настоянию Ольги Ипатьевны впервые в жизни побрился. Он получил свидетельство об окончании школы, и когда Платон Платонович спросил его: «Природа или история?» — ответил: «Природа», решив поступить на биологический факультет.

Все это были перемены, которые в полной мере укладывались в несложное утверждение «а жизнь идет».

Ива рассказала ему о Леоне Спартаковиче, и он смеялся так долго, от всей души, что Ива даже прикусила губу, чтобы не заплакать.

— Я не понимаю, ты влюблена в него или нет?

— Если бы я знала, что такое влюбиться,— вздрогнув, ответила Ива.— В седьмом классе я была влюблена в Окуджаву, а потом оказалось, что влюблен весь класс, и я охладела. Знаешь, как Леон Спартакович рассказал бы тебе об этом? «После надлежащего выяснения того обстоятельства, что весь состав класса относится к вышеозначенному Окуджаве так же, как я, мое увлечение из горячего превратилось в прохладное и наконец покинуло меня, удалившись в неизвестном направлении».

— Любопытно,— сказал заинтересованный Вася.— И он так говорит всегда?

— В том-то и дело! Я решила, что только интересный человек может выражаться так сложно. И потом, он был очень красивый.

— Был?

— Ну, не очень-то был. Мы условились переписываться. Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, я получаю от него письма.

— А где ты с ним познакомилась?

— Наш школьный ансамбль выступал в клубе железнодорожников, мы танцевали, и я ему понравилась, хотя Снегурочку исполняла Лена Долидзе.

— А ты не думаешь, что он просмотрел по меньшей мере десять ансамблей, прежде чем выбрать тебя?

— Ты сердисься?

Вася подумал.

— Кажется, нет.

Впервые в жизни он сказал неправду.

Было бы ошибкой думать, что слова лишены тени. Этот разговор отбрасывал длинную тень, в которой можно было различить то, о чем не было сказано ни слова.

Так или иначе, они продолжали встречаться, и даже чаще, чем прежде. С каждым новым стихотворением Ива прибегала к Васе. Они снова съездили в Кутуары. Соломенный мостик сохранился. Маленькое чудо оказалось прочным. Но ветка засохла — последнему яблоку она отдала последние силы.

Письма от Главного Регистратора приходили аккуратно, два раза в неделю. Они были написаны каллиграфическим почерком и чем-то походили на отчеты, доклады. Ни одного из них Ива не показала Васе. Может быть, она старалась считать себя счастливой и сердилась, потому что чувствовала себя несчастной? О «сцене изгнания» она упомянула мельком, хотя подумала, что Вася, вероятно, заинтересовался бы

искрами, вылетающими из Алексея Львовича — все-таки это было явлением, мало известным науке.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,

в которой Вася разговаривает с семейными фотографиями, а Ива просит его подарить ей свадебное путешествие.

Едва ли кто-нибудь помнит в наше время старинное выражение «зарыть талант в землю». Так вот, Вася не только не зарыл свой талант, но занимался им старательно и строго. Он прекрасно понимал, что теоретически необъяснимое прежде всего нуждается в практике, и постарался сделать ее веселой и разнообразной. Как иначе назвать его проделку с туманом, однажды окутавшим поселок? Отхватив от него изрядный кусок, он превратил его в клейстер, чтобы переклеить свою комнату — ему давно надоели птички, зайчики и медведята на выгоревших детских обоях.

Когда Платон Платонович входил в столовую, бокалы на буфете начинали мелодично перезваниваться, исполняя старинные романсы. Платон Платонович однажды удивился, услышав знакомый мотив, но потом привык — нельзя же все время удивляться.

Не надеясь научиться летать, Вася однажды все-таки прыгнул из окна второго этажа и сравнительно плавно опустился на землю. Он научился разговаривать с портретами в семейном альбоме, и случилось, что они рассказывали ему забавные истории. Бабушка Платона Платоновича, например, пересчитала всех гостей на своей свадьбе и упомянула, между прочим, что с ней танцевал тверской губернатор. О Платоне Платоновиче она рассказала, что до четырех лет он ходил в юбочке и горько расплакался, когда на него впервые надели штанишки. Среди дальних родственников Вася с удивлением нашел поэта Полонского — почему-то в мундире чиновника и даже с каким-то орденом на груди...

Была уже осень, бесцеремонно красившая деревья в желтые, красные, медно-красные цвета, как художник, которому надоело выписывать детали. Листья кленов подумывали о том, как слететь на землю: планируя или кружась? Голые ветки орешника сталкивались под налетевшим ветром, надеясь, что этот глуховатый стук чем-то похож на звук барабана в Большом государственном симфоническом оркестре.

...Это был день, который Платон Платонович провел в размышлениях о Васе. «Он читает все, что попадает под руку, — и каждую свободную минуту. У него нет товарищей, но он почему-то совершенно не тяготится этим. Он не интересуется спортом. Он научился играть в шахматы, но скоро ему стало скучно играть со мной, на пятнадцатом ходу он выигрывал, хотя я, помнится, был когда-то кандидатом в мастера. Правда, он, кажется, влюблен, но так влюбляются в музыку или поэзию».

— Впрочем, не слишком ли много я требую от него? — громко спросил себя Платон Платонович. — От мальчика, который сложился из ошибки паспортистки, звука пастушеской дудочки в зимнюю ночь, моего одиночества и пылинок, кружившихся в лунном свете?

Он задумался. Его беспокоила смутная догадка, что Вася может так же легко исчезнуть, как и появился. «Вот что необходимо: дождаться зимы и ночью посмотреть, видны ли в лунном свете пылинки. И прислушаться. Если дудочка заиграет...»

Он внезапно успокоился, вспомнив, что прошлой зимой Вася получил паспорт. Паспорт был бесспорным свидетельством, что Вася существует. Прежде чем исчезнуть, он должен будет сдать паспорт, и милиция, без сомнения, просто не позволит ему исчезнуть.

Но выйдя с книгой в руках на балкон и прочитав несколько страниц, Платон Платонович снова огорчился. «И ведь никаких вечери-

нок! И ни малейшего повода волноваться за него — к двенадцати часам он всегда дома. Мальчишки в его возрасте носят волосы до плеч, ходят как дикари, а он стрижется аккуратно раз в месяц».

Что-то белое, розовое, кружевное, что-то быстрое, молодое, в белых брючках и кружевной разлетайке появилось в саду под балконом. Это была Ива, которая весело поздоровалась с ним, а потом спросила:

— Вася дома?

Вася был дома. Платон Платонович подумал, что с Ивой, конечно, следовало бы поговорить. Но он решительно не знал, о чем говорить с девочками или мальчиками семнадцати лет. Это было труднее, чем, скажем, провести часок-другой в болтовне с Марсом или Единорогом. Впрочем, пока он размышлял, о чем бы спросить Иву, она исчезла за углом и три раза — это был условный знак — свистнула Васе.

— Здравствуй, Иван-царевич,— сказала Ива.— Ну вот что: вчера мне показалось, что, уходя, Главный Регистратор посмотрел на меня и облизнулся. Лучше я выйду за тебя. Конечно, если ты не возражаешь. Я знаю, это неприлично, что я первая заговорила об этом, но, понимаешь, объясняться в любви в наше время просто не принято. Девчонки помирают со смеху, когда им говорят «я тебя люблю» или что-нибудь в этом роде. Тем не менее не скрою, что мне хотелось бы услышать это от тебя. Теперь о Леоне Спартаковиче. Два раза в неделю, в понедельник и четверг, я получаю от него письма — разумеется, до востребования. Едва ли можно назвать их любовными. Во-первых, он их нумерует. Во-вторых, мне кажется, что он просто списывает их с каких-то старинных книг.

И она процитировала:

«Пусть это послание
будет свидетельством
взаимных чувств,
долженствующих
до поры до времени
быть известными только нам
и никому другому».

И вот что самое странное: к некоторым письмам приложена печать «с подлинным верно».

Вася расхохотался:

— Неужели?

— Честное слово! Но я пришла к тебе по другому делу. В октябре мне исполнится семнадцать лет. И тебе, может быть, захочется сделать мне подарок.

— Конечно!— сказал растроганный Вася.— Я уже думал об этом.

— Так вот: подари мне свадебное путешествие.

— То есть как?

— Очень просто. Мы можем пожениться через два или три года, а свадебное путешествие мы устроим сейчас. Подумай, как это будет интересно! Все будут говорить: «Вообразите только, такие молодые, а уже поженились». Ты будешь перекидывать мосты через непроходимые ущелья. Буревестники будут предсказывать нам не бурю, а спокойную, счастливую жизнь до серебряной или даже золотой свадьбы. А в гостиницах решительно все от директора до швейцара побегут надевать белые перчатки, едва лишь наша машина остановится у подъезда.

Вася задумался.

— Конечно, все это будет не так или не совсем так,— сказал он.— Буревестники еще никому не желали счастья, и с ними придется серьезно поговорить. Что касается белых перчаток — дай бог, чтобы у официантов были чистые руки. А какой маршрут? — спросил он.

— Еще не знаю. Сперва куда-нибудь по реке, ведь у тебя с водой

наладилась отношения. А потом в горы. Конечно, ты должен поговорить с Платоном Платоновичем. А что касается моих родителей, я просто убегу, оставив им записку. Из папы посыплются искры, но я надеюсь, что он успокоится, узнав, что я убежала с тобой. Или, может быть,— прибавила она значительно,— ты как-нибудь устроишь, что он не только успокоится, но будет просто в восторге?

— А мама?

— Ну, за маму я не беспокоюсь.

— Почему?

— Потому что она сама, когда ей было семнадцать лет, убежала из дому с папой. Она помнит об этом. А он забыл.

— Слушай, а может быть, не надо никакого маршрута? — сказал, увлекаясь, Вася.— Сядем в «Москвич» и махнем куда глаза глядят.

— Да, но нужно все-таки, чтобы они глядели в сторону Шабарши, где живет Главный Регистратор,— возразила Ива.— Дело в том, что мне просто до смерти хочется узнать, почему некоторые письма он кончает словами «с подлинным верно».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,

в которой рассказывается, как шофер автобуса чуть не сбил инвалида, заглядевшись на Иву. Платон Платонович с трудом отрывается от Малого Пса. Из Алексея Львовича снова летят искры. В дорогу!

Нельзя сказать, что Вася выбрал удачную минуту, чтобы поговорить с Платоном Платоновичем. В новом костюме, он расхаживал по своему кабинету и празднично свистел. Волосы в носу и ушах были подстрижены. Он был причесан и надушен. Накануне ему удалось установить, что начиная от созвездия Единорог Млечный Путь тянется не через Малого Пса и Близнецов, а огибая их, о чем астрономы всего мира не имели никакого понятия. Не удивительно, что, погруженный в астрономические размышления, он рассеянно выслушал Васю.

— Ах, путешествие? — спросил он.— Это прекрасно. Но свадебное?

— Как бы свадебное.

— То есть ты хочешь на ней как бы жениться?

— Я думаю, что это произойдет лет через пять,— сказал Вася.— А сейчас нам просто хочется проехаться на юг. Разумеется, если ты разрешишь воспользоваться своим «Москвичом».

— А как ее зовут?

— Кого?

— Как бы невесту. Паспорт у нее есть?

— Да. Но он нам не понадобится.

— Не скажи, не скажи. Она умна?

— Не знаю. Но она пишет стихи. И мне кажется — недурные.

— Вот это прекрасно. Надолго?

— Недели на две.

— Не акселерантка?

— Боже мой, да ты прекрасно знаешь ее! Это Ива! Она бывала у нас много раз, а на прошлой неделе ты пригласил ее к обеду.

Платон Платонович задумался.

— Да, это недоразумение,— сказал он.— Понимаешь, мне трудно оторваться от Малого Пса, Близнецов и Единорога. Я прекрасно помню Иву. Это ведь на нее нельзя смотреть и не улыбаться?

Как ни странно, Платон Платонович был совершенно прав: однажды шофер автобуса чуть не сбил инвалида, который тоже загляделся на Иву, причем оба не могли не улыбаться.

...Это было неожиданно, но больше всего пришлось повозиться с Котом. Во-первых, он решительно отказался надеть пальто, которое Ива сшила ему в дорогу.

— Я не какая-то паршивая болонка, чтобы носить пальто,— с негодованием сказал он.— Не хватает еще, чтобы Ольга Ипатьевна приготовила мне куриную котлетку. Не скрою, мне свойственно известное честолюбие: розовых котов не так уж и много на свете. И я люблю, когда меня рассматривают с удивлением и даже с восхищением. У каждого из нас есть свои слабости. Скажите спасибо, что я при этом не кокетничаю, как, например, Ива.

Во-вторых, он отказался спать на заднем сиденье. В ответ на возражения Васи, что заднее сиденье как будто нарочно устроено, чтобы на нем можно было спокойно спать, он гордо ответил, что время от времени намерен просыпаться и даже останавливаться, чтобы поймать полевую мышь или птичку. Словом, с ним было много хлопот и он согласился на поездку только после того, как Ива дала слово, что больше никогда не будет называть его кисой.

...Конечно, это было неприятно, что Алексей Львович, из которого (против его желания) летели искры, отказался проводить путешественников, но зато Марья Петровна набила багажник жареными курицами, пирожками, яблоками, апельсинами, вареными яйцами, а Ольга Ипатьевна испекла пирог, который, кстати сказать, Вася чуть не съел, разбирая и укладывая две походные палатки — одну для себя, другую для Ивы.

Шотландская Роза, которой показалось (и не без основания), что Филя заважничал, простилась с ним холодно, а Платон Платонович, вдруг огорчившись, потребовал, чтобы путешественники посылали ему телеграммы из каждого населенного и даже малонаселенного пункта.

Разумеется, никому не пришло в голову украсить «Москвич» цветными лентами или посадить на радиатор куклу — свидетельство будущей счастливой семейной жизни. Кот справедливо заметил, что это пошлость. Но связку воздушных шаров, по его мнению, все-таки необходимо было взять в дорогу.

— Во-первых, при виде воздушных шаров работники ГАИ все-таки могут принять вас за новобрачных,— рассудительно заметил он.— А во-вторых, нарушение правил уличного движения легче сходит с рук молодым людям, которые решились посетить Дворец Бракосочетаний.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

в которой Ворон-предсказатель рассказывает загадочную историю и предвещает Васе разъясняющий сон.

Симферопольское шоссе не то что Минское — у него менее официальный и более беспечный вид. Шоферы беззлобно ругаются, когда на развилке образуется пробка, сотрудники ГАИ неторопливо наводят порядок, и почему-то кажется, что не только люди, но сами машины вплоть до неуклюжих «МАЗов» стремятся как можно скорее окунуться в Черное море, даже если в путевках указан Белгород или Чернигов. Зато животные, в особенности бродячие собаки, не любят Симферопольское шоссе — того и гляди в этом шуме и толкотне попадешь под колеса. И птицы, хотя большинство из них предпочитают воздушные, а не земные пути, относятся к нему с известным предубеждением. Однако едва наши путешественники выехали из Москвы, над ними тяжело перелетела дорогу и уселась на телеграфном столбе угрюмая черная птица.

— Впервые в жизни вижу такую большую ворону,— сказала Ива.

— Я не ворона, глупая новобрачная,— ответила птица, и Вася так резко затормозил, что Кот проснулся.— Я — Ворон-предсказатель. Мой род занесен в Красную книгу.

— А что такое Красная книга? — спросила Ива.

— Хороша, но невежественна,— отрезал Ворон.— Может быть, твой жених — у него умное лицо — объяснит тебе, что такое Красная книга?

— Я не новобрачная, а он мой не жених. Мы просто друзья.

— Ваш род исчезает от старости или болезни? — спросил Вася.

— Нет. Нас убивают.

— Кто?

— У него много имен. Тогда он называл себя Джироламо. Я был ручным вороном Джулии. Она научила меня говорить. Ты помнишь ее, Лоренцо?

— Я не Лоренцо, а Вася.

Без сомнения, Ворон усмехнулся бы, если б был человеком. Но он не усмехнулся. Его суровые, старые, плоские глаза смотрели на Васю со странным выражением. Можно было подумать, что они когда-то встречались.

— Те же густые рыжие волосы, те же широко расставленные голубые глаза. Я рад, что ты вернулся к жизни, Лоренцо. А девушка, которая сидит рядом с тобой, напоминает мне Джулию. На нее тоже трудно было смотреть не улыбаясь.

Как дети приставляют кубик к кубику, так он приставлял слово к слову.

— Будьте добры, не говорите загадками,— сказал Вася.— Вы называете имена, которые я слышу впервые.

— Джироламо был шпионом Совета Десяти. Он написал ложный донос на тебя, и ты был приговорен к казни. Он ночью шел к тебе, чтобы убить тебя спящим. Я крылом погасил в его руке свечу, а потом разбудил тебя. Вы дрались в темноте, и ты тяжело ранил его. Я любил Джулию, а она любила тебя. Ты бежал в Падую. А через несколько лет погиб в бою с генуэзцами. Он отомстил мне и мстит до сих пор.

— Ну хорошо,— терпеливо сказал Вася.— Допустим, что какой-то человек когда-то где-то — по-видимому, в Италии — был приговорен к казни и остался жив, потому что вы помешали убийце. Вы погасили в его руке свечу. Почему же он не зажег ее снова?

— Ты рассуждаешь, как будто пятьсот лет назад ничего не стоило купить спички в бакалейной лавке.

— А ведь он прав! — заметил Кот.— Кажется, спички появились только в девятнадцатом веке.

— У Джироламо был трут и кремень. Но пока он пытался снова зажечь свечу, ты со шпагой в руке выбежал ему навстречу.

— Молодец! — закричала Ива.

— Тогда-то Джироламо поклялся отомстить всему нашему роду. Нас убивают. Стрела поражает каждого из нас, кто произнесет его подлинное имя.

— Какой мерзавец! — с иронией сказал Кот.— На вашем месте я обратился бы в Общество защиты животных.

— Но ведь это было очень давно. Неужели он живет до сих пор? — спросил Вася.

— Он бессмертен.

— Но бессмертных людей не существует.

— Он не человек.

— Послушайте, человек он или нет, все равно необходимо отдать его под суд,— не унимался Филя.— И, кстати, не поможет ли нам обыкновенный адресный стол? Впрочем, для этого нужно знать не только имя и отчество, но год и место рождения.

Ворон с презрением посмотрел на него.

— Я рад, что ты вернулся к жизни, Лоренцо,— повторил он.— Из всех живых существ на земле лишь немногим дано это право. Минувшая жизнь прячется в сны. Сегодня ночью ты увидишь то, что я не сумел рассказать.

— Но если вы боитесь вслух произнести подлинное имя Джироламо, напишите его клювом на песке. Кто знает, может быть, мы встретимся и тогда я заставлю его расплатиться за преступления.

Ворон спрятал голову под крыло — так он поступал всегда, обдумывая важное решение.

Пьяцца, собор святого Марка, палаццо дождей, над которым он всегда смеялся — оно казалось ему перевернутым вверх ногами.

Венеция появилась перед его потерявшими цвет от старости плоскими глазами. Он увидел Джулию, светлую красавицу с черными глазами. Как звонко она смеялась, когда, подражая ей, он невольно коверкал слова! Он увидел Лоренцо в белой атласной маске, бродившего под балконами, где куртизанки болтали с ним, просушивая на солнце волосы, окрашенные золотистой и медной краской.

— Нет,— наконец ответил Ворон.— Для тебя еще не пришло время узнать это имя. Ты отважен и добр. Но оно грозит тебе смертью. Зачем рисковать? Прощай!

И широко, свободно расправив крылья, он взлетел в небо, еще хранившее отблески утренней зари.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

в которой Ива передразнивает старого Ворона, а Вася видит предсказанный сон.

— Не верю ни единому слову,— сказал Филя, когда в стороне от дороги было выбрано место для ночлега (и, надо сказать, прекрасное место в березовом лесу, где успокоительно журчал родник и уютно пахло грибами).— Свеча, погашенная вороньим крылом! Какой-то Джироламо, который, видите ли, вечен, хотя ничего вечного нет на земле! И все это свалилось нам на голову, едва мы выехали из Москвы. Мяу! Нет, приходится сознаться, что наше путешествие началось неудачно.

— Тише, ты разбудишь Васю,— ответила Ива.

Палатки стояли рядом.

— Все было совершенно ясно. Паспортистка ошиблась, Платон Платонович вообразил, что у него растет сын, дом остро нуждался в детях — и мальчик явился, потому что был нужен решительно всем. А кому нужен какой-то Лоренцо, да еще убитый четыреста лет назад?

— Нет, интересно,— задумчиво возразила Ива.— Березы — белые, трава — зеленая, а не какая-нибудь малиновая или голубая. Скоро осень. Грибы. Дождь. Облака. Все как-то обыкновенно. И вдруг старый Ворон, предсказывающий сны! Жаль, что мы с тобой не попросили его что-нибудь предсказать.

— С тобой трудно разговаривать,— возразил Филя.— Во-первых, ты женщина, а во-вторых, пишешь стихи. Я тебе говорю, что наша поездка началась неудачно, а ты отвечаешь, что березы — белые, трава — зеленая, растут грибы, плывут облака.

Ива засмеялась.

— «У Джироламо был тр-рут и кр-ремень»,— картавя, сказала она, и Кот поразился тому, как верно она изобразила старого Ворона.— Это очень странно, но, слушая его, я все время вспоминала Пещерикова. Господи, когда я называю эту фамилию, мне сразу хочется казаться, что меня тащат в какую-то пещеру. Теперь я жалею, что влюбилась в него. Мы приедем в Шабаршу, и я спрошу, почему свои письма он иногда кончает словами «с подлинным верно».

Они помолчали.

— Ты думаешь, я сама была виновата?

— Еще бы! Ты, без сомнения, кокетничала с этим франтом, похожим на крысу.

— Был грех,— вздохнув, сказала Ива.— Но он очень красивый и похож на бабочку, а не на крысу. Знаешь что, давай-ка лучше спать. Вася сказал, что завтра надо встать в шесть утра, а это для меня сложная задача. И потом,— продолжала она, залезая в спальный мешок и устраивая Кота под боком,— а вдруг это правда, что Вася действительно уже жил когда-то, да еще не где-нибудь, а в Венеции? Тем более что насчет пылинок и паспортистики... Конечно, все возможно. Но мне почему-то кажется, что кому-то было необходимо, чтобы он появился на свет. Не знаю кому. Но не только Платону Платоновичу. Мне, тебе, всем людям на свете и даже растениям и животным.

Как немногие счастливые люди, Вася умел засыпать и просыпаться в назначенный час.

— Неужели предсказание исполнится во сне? И мне станет ясно, о чем он говорил? И почему он считает, что для меня еще не пришло время узнать подлинное имя того, что так страшно отомстил ему? И что это за странное существо, которое существует с тех пор, как существуют люди?

Он уснул, но, к сожалению, увидел не Венецию, а захлащенный двор какого-то незнакомого дома. По огромным мусорным кучам бродили злобные, важные, неторопливые крысы. Во сне ему не удалось бы превратить их в бабочек, хотя он ненавидел крыс. Но вот чья-то неведомая рука стала торопливо раскрашивать этот двор, и мусорные ямы, и крыс с их длинными резиновыми хвостами. Перед ним уже был не двор, а дворик, выстланный черно-белыми плитками в шахматном порядке. Высокий юноша, в котором он с удивлением узнал себя, стоял на балконе, обнесенном мраморными перилами, и незнакомые люди проходили мимо него — монахи, вельможи в малиновых кафтанах, обшитых золотом и отделанных мехом, девушки в маленьких треуголках, вызывающе сдвинутых набок. Смеются, громко разговаривают, снова смеются. «А ведь это, в сущности, весело»,— подумал во сне Вася, хотя ему было почему-то тревожно и грустно.

Но вот перед ним горбатые мостики над полусонной водой, фасады дворцов, украшенные драгоценными коврами, сотни гондол, покрытых алым шелком.

Смеркается. Снова дворик, но уже другой, напоминающий зал жилого дома. Выложенный широкими черными плитами, он выглядит мрачно под быстро темнеющим небом. В глубине — двухэтажное здание. На открытом балконе прячется, мелькает красное пятно — кто-то спит на диване, набросив на себя красное покрывало? Очень тревожно. Надо проснуться. И он просыпается потому, что какая-то птица, может быть ворон, громко каркая, кричит над его головой: «Лорренцо, откр-рой глаза! Лорренцо, опасность!»

Человек в синем плаще осторожно несет в руке свечу, прикрывая ее полой, чтобы пламя не задуло ветром. За ним шагает еле заметная, но тоже чем-то грозящая тень. И ничего изменить нельзя. Кто-то будет убит, и об этом узнает только последний отблеск заката, скользящий по окнам. Надо торопиться, скрыться, уйти. Но поздно: свеча мерцает еще далеко, потом все ближе и ближе.

«Так, значит, все это было?» — прислушиваясь к сильно забившемуся сердцу, но не просыпаясь, думает Вася.

Не веря глазам, он видит молодую женщину, белокурую, похожую на Иву, с большими испуганными глазами. Она шепчет кому-то: «Беги». И вдруг сверху, с неба, на землю, бесшумно планируя, падает и низко летит над землей большая черная птица. Сейчас она начнет кричать и биться о стены. Но она не кричит. Пролетая над человеком,

идушим по дворику, она крылом гасит свечу. И кто-то прыгает с балкона со шпагой в руке. И все исчезает.

Вася очнулся, услышав свой собственный голос: «Тот, кого я не смею назвать». И снова уснул. Венеция превратилась в Сосновую Горю и растворилась в снегу. Тишина, зимний покой, звездное небо. В эту полумертвую тишину стремительно врывается буря. Кто знает, может быть, она началась потому, что молодой человек, похожий на бабочку, явился к Ивановым и получил обидный отказ? Но что же общего было между взмахом крыла, погасившего свечу четыреста лет назад, и прошлогодней бурей в Сосновой Горе, переломившей десятки маттовых сосен?

Долго, долго ворочался с боку на бок Вася и в конце концов снова уснул, так и не связав этих два происшествия, бесконечно далеких друг от друга.

Весь следующий день Ива молчала. Ни Кот, ни даже Вася не пытались разговаривать с ней — догадывались, что она сочиняет стихи. Но к вечеру, когда они остановились на берегу какой-то широкой реки, развели костер и поужинали, Ива повеселела.

— Прочтешь? — как бы между прочим спросил Вася.

— А откуда ты знаешь, что я его написала?

— Догадался.

Кот мгновенно заснул после ужина, и пришлось его разбудить. Возможно, что, если бы этого не случилось, чтение обошлось бы без саркастических замечаний.

Стихотворение было короткое. Однако оно убедило Васю, что Ива, так же как он, задумалась над загадками, которые заставили его провести тревожную ночь.

Я сон о фиолетовом растенье
И о свече, что не горит, но светит,
В глубоком сохранию полузабвенье:
Его никто из близких не заметит.
Сон вышит гладью на ковре, подобно
Венецианской шелковой галере.
И он рассказан чересчур подробно:
Что это сон, никто уже не верит.

Кот зевнул.

— Так себе, — сказал он. — Сон нельзя вышить на ковре, да еще гладью. Добро бы крестиком — это проще. Свеча не горит, но почему-то светит. Здравый смысл говорит, что это невозможно.

— Поэзия и есть возможность невозможного, — возразил Вася. — Мне эта строчка как раз очень нравится. Во сне трудно довести до конца то, что видишь. Все мерещится, ускользает, плывет.

— Если трудно довести до конца, не надо и начинать, — возразил Кот.

— Вот и видно, что ты ничего не понимаешь в поэзии. Как раз надо начинать, как бы это ни было трудно.

Кот фыркнул.

— Я сам сочинял стихи, — сказал он. — И если бы умел писать, давно издал бы собрание своих сочинений. В поэзии самое главное — здравый смысл. И польза. Для себя и других. Я бы сравнил поэзию с ловлей мышей. Когда я ловлю мышей? Когда хочется есть. И писать стихи надо, когда хочется есть.

Вася покраснел.

— Я очень сердит, — сказал он. — И, откровенно говоря, с трудом удерживаюсь, чтобы не надрать тебе уши. Может быть, ты хочешь узнать, почему я удерживаюсь?

— В самом деле, почему? — спросил заинтересованный Кот.

— Потому что ты старик в сравнении со мной и я почувствовал бы себя неловко, надрвав старику уши.

— Мяу! Если тебе так уж хочется, пожалуйста, — надменно ска-

зал Кот.— И меня, кстати, еще нельзя назвать стариком. Мне только что минуло девять. Но я спросил «почему?» в смысле «за что?».

— Ты действительно не понимаешь или притворяешься, киса? — спросила Ива.

— Во-первых, я тебе не киса. А во-вторых, с какой стати стал бы я притворяться? То, что я сказал, это современный взгляд на поэзию. А вы, ребята, даром что вы ребята, живете в девятнадцатом веке. Ну вот, например, ты пишешь:

...подобно
Венецианской шелковой галере.

Между тем галера — военное судно, на котором обычно гребцами были каторжники.

— Гондола не рифмовалась.

— Почему? На «гондолу» сколько угодно рифм. Например, «радиола».

— Не обращай на него внимания, Ива,— сказал Вася с досадой.— Стихотворение хорошее. Тебе не кажется, что каждый раз, когда мы встречаемся, между нами что-то происходит? И хотя сегодня четвертый день, как мы не расстаемся, тоже что-то произошло.

— Может быть, мне удалиться? — иронически улыбаясь, спросил Кот.

— Я видел сон, который как будто шагнул ко мне из первой, давно забытой жизни. И ты угадала его в своем стихотворении. Неужели старый Ворон сказал правду и я четыреста лет назад действительно был молодым венецианцем и ухаживал за девушкой с золотыми волосами, на которую, как на тебя, нельзя было смотреть не улыбаясь?

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

в которой Коту не удается отведать свежей рыбки, а лодочнику не удается отделаться от Васи. С незнакомца слетает шляпа, и лоза бьет его по лицу.

Это было свежее сентябрьское утро — осеннее равноденствие, когда ночь, которая долго гналась за днем, наконец догнала его и стала неторопливо перегонять минута за минутой.

Дорога шла вдоль какой-то речки, по высокому берегу, спускавшемуся к воде ровными террасами, которые как будто просили, чтобы их назвали этим полузабытым словом.

Филя, давно соскучившийся по свежей рыбе, попросил остановиться. Он заметил лодку у противоположного низкого берега, а в лодке человека в кожане, очевидно ловившего рыбу.

— Точнее сказать, наловившего,— облизнувшись, сказал Филя.— Держу пари, что здесь водятся щучки. Он наловил их на блесну, а теперь направляется прямехонько к нам.

Вот уже стал виден и человек, сидевший в лодке,— худой, с длинной шеей, с голой грудью. Вася различил даже крестик под распахнувшимся тулупом. Для теплого осеннего дня лодочник был одет очень странно; но еще страннее показалось то, что, уже приблизившись к берегу, на котором остановился «Москвич», лодка круто развернулась и пошла обратно, пересекая реку.

— Забыл что-то, шляпа! — с досадой заметил Кот.— Эй ты, дядя! Рыбу продаешь?

Но пришлось ждать долго. Часа полтора, не трогаясь с места, они наблюдали за этой переправой, даже Ива, которой не терпелось поскорее тронуться в путь, замолчала, быть может надеясь на новую неожиданность — ведь прошло два дня после встречи со старым Вороном и она уже начинала скучать. И надежда оправдалась.

Туда и обратно! Что-то не только бессмысленное, но непоправимое, обреченное было в этом повторяющемся движении. Туда и обратно!

На середине реки лежал маленький островок, поросший лозой, — почему лодочник так далеко обходил его, хотя островок выглядел приветливо и мирно? Лодка сновала, как челнок на швейной машине, — туда-назад, туда-назад. И хотя время от времени человек в тулупе, отдыхая, сушил весла, не проходило и двух-трех минут, как он снова пускался в свой бесконечный путь.

Недолго думая Вася сбежал вниз, разделся и, дождавшись, когда лодка приблизится к берегу, прыгнул в воду и схватился руками за борт.

— Здравствуй! — сказал он весело. — Мне на ту сторону. Не перевезешь?

Это был бородатый угрюмый человек, который не говорил, а бормотал, отводя в сторону глаза, тощий — кожа да кости, — с длинной голый шейей. Он что-то промычал и отрицательно качнул головой, на которую была небрежно нахлобучена заношенная солдатская ушанка. Но отделаться от Васи было не так-то просто. Он легко перекинул себя в лодку и спокойно уселся на корме.

— Ты не бойся, — сказал он лодочнику, перехватив его костлявую руку, в которой блеснул самодельный нож. — А лучше расскажи, что с тобой случилось. И не врать! — строго прибавил он, — ты думаешь, я не понимаю, что ты неспроста гоняешь лодку с правого берега на левый?

Рыбак молча спрятал нож.

— Ты ко мне не вяжись, — хрипло сказал он. — Помочь мне нельзя. Я взверенный.

— От слова «зверь»? — спросил любивший ясность Вася.

Рыбак не ответил.

— А почему ты взверенный? Есть же какая-нибудь причина?

— Потому что заговоренный.

— Кто же тебя заговорил? Я полтора часа стоял, все смотрел, как ты лодку гоняешь, и никого, кроме тебя, не видел.

Лодочник плакнул в воду.

— Завороженный, — объяснил он с округлившимися от страха глазами, из которых вдруг закапали крупные слезы. — Да я бы давно подох, если бы не дочка. Хлеб и картошку каждый день в лодку кидает. Жаловаться ходила. Не верят, смеются.

Это было нелегко — из аханья, оханья, кряхтенья, мычания и продолжительных пауз, когда лодочник справлялся со слезами, понять, что случилось.

Вот что услышал Вася.

Однажды, когда лодочник удил рыбу, он увидел человека, который окликнул его и попросил перевезти на тот берег. «Нездешний и в шляпе» — вот и все, что удалось узнать о нем Васе, и то лишь потому, что шляпа, случайно сбитая веткой, упала в воду. На свою беду, лодочник подошел очень близко к островку, густо заросшему ивой. Пока, перегнувшись через борт, приезжий доставал свою шляпу, лодка завертелась, и ему достался новый удар, на этот раз очень сильный. Гибкая, упругая лоза хлестнула его по лицу, оставив багровый след. Лодочник заохал, попросил прощения, и приезжий, казалось бы, не очень рассердился: мало ли что бывает! Он только протянул руку, и в ней откуда-то появилось зеркальце, которое, мельком взглянув на себя, он швырнул за борт. «Ну вот что, — сказал приезжий, когда лодка, миновав осоку, подошла к мосткам. — Вина невелика, да воевода крут. Будешь теперь с весны до зимы воздух возить. А задумаешь до берега вплавь добраться — пойдешь ко дну, как камень». И он ушел, приложив платок к распухшему лицу, а лодка с тех пор

ходит туда и назад, туда и назад, а ровно за три шага до берега поворачивает обратно.

— Почему же тебе люди не помогут? — спросил Вася. — Взялись бы впятером, вшестером — и подтянули лодку.

— Приходили люди. Канатами тащили. Потом отступились. Обходят. Говорят, замороженный.

— А ну, дяденька, — сказал Вася, — дай мне весла, а сам садись на корму.

И хотя вода превратилась в ядовито-зеленый сироп, он опустил в нее весла, которые показались ему такими тяжелыми, точно были выточены из каменного дуба.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,

в которой Кот дополняет то, о чем автор умолчал в главе шестнадцатой, и доказывает, что риск — благородное дело.

Вася еще спал в своей палатке — весь день после встречи с лодочником он чувствовал себя усталым. Спала бы и Ива, если бы Кот не стал возиться и мяукать — конечно, чтобы разбудить Иву. И она проснулась, но не совсем.

Это было в дубовом лесу, еще не уступившем осени и с достоинством встречавшем утреннее, прохладное солнце. Его узорные листья были украшены капельками серебристой росы. Он чуть слышно шумел под легкими налетавшими порывами ветра, и от этого нежного шума у Ивы слипались глаза.

— Спи, милый, — сказала она Коту. — Еще рано.

Но Филя сделал вид, что не расслышал.

— А я считаю, что Вася умно поступил, запретив лодочнику рассказывать об этой истории, — сказал он. — Представляешь себе, какая кутерьма началась бы, если бы узнали, на что способен Вася!

— Ничего особенного, — зевая, возразила Ива. — Это всегда интересно. Новые люди.

— Не притворяйся. Ты просто честолюбива. Тебе до смерти хочется, чтобы о тебе говорили: «Боже мой, какая красавица!» Впрочем, все красавицы, даже самые скромные, честолюбивы.

— Котик, не говори глупостей. Я не красавица и не честолюбива. Так больше не будем спать?

— Какой же сон! Скоро в дорогу.

— А как ты думаешь, кто наказал лодочника так жестоко?

— Трудно сказать. Демон, вурдалак, чародей или просто черт, разумеется не из тех, о которых говорят: «А черт его знает!» Лодочник говорил, что он был недурен собой. А у вурдалаков, например, красные глаза и губы вытянуты трубочкой, потому что им постоянно хочется крови.

— Но каков же наш Вася! — с восхищением сказала Ива. — Схватиться с нечистой силой! Довести до берега лодку, в то время как вода превратилась в ядовито-зеленый сироп!

— Ничего особенного, — возразил Кот. — Просто он дьявольски умен. Кому бы пришлось в голову по-дружески поговорить с водой? Ты слышала их разговор?

— Нет.

— Вася сказал, что, в сущности, вода и он братья или по меньшей мере близкие родственники. «Ты знаешь, сколько в человеческом организме воды? — спросил он. — Мы оба часть природы, только ты в одном, а я в другом воплощении. Вот почему я прошу тебя как брата: расступись, пожалуйста, и позволь мне доставить этого несчастного человека на берег». Но, разумеется, этого было мало! Он хотел, чтобы вода стала водой, — и она подчинилась.

— Ах, он хотел? В том-то и дело. Но любопытно, почему он на этот раз не воспользовался моими стихами?

— Милая моя, тут было не до поэзии. Не на поэзию он вынужден был опираться, а на то, что видел своими глазами: перед ним был измученный человек, ему представилось, как девочка бросает в лодку хлеб, а потом сидит на берегу, стараясь не плакать. Для него это было испытанием. Он встретился с враждебной силой, которая могла превратить воду не в ядовитый сироп, а в расплавленный свинец, и тогда никто больше не увидел бы ни лодки, ни лодочника, ни Васи. Схватившись не знаю с кем — с демоном, вурдалаком, самим дьяволом, — он мало сказать рисковал: он неопровержимо доказал, что риск — благородное дело.

Кот приосанился и погладил лапкой усы. Ему самому нравилась тонкость, с которой он рассуждал.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,

в которой оловянные солдатики маршируют, а как бы новобранных встречает директор гостиницы с грустными глазами.

Достаточно было, чтобы в этот день Ива деликатно напомнила Васе, что они все-таки отправились не в обыкновенное, а как бы в свадебное путешествие, чтобы баба, у которой они купили ведро яблок, оказалась в белых перчатках. Конечно, это устроил Вася, но неосторожно устроил: во-первых, баба, вообразившая бог весть что, запросила втридорога, а во-вторых, яблоки, от которых сводило челюсти, пришлось выбросить в канаву.

Город, в котором Иву и Васю должны были принять за новобранных, назывался Котома-Дядька.

— Некрасиво, — сказала Ива. — Напоминает какого-то горбатого дядьку, который тащит на спине котомку с прокисшей капустой.

— Ну что ж, — только и сказал Вася.

Окраины были невзрачные, но чем ближе «Москвич» приближался к центру, тем яснее становилось, что городок действительно нуждался в переименовании.

Девушка, появившаяся в дверях бензозаправочной станции, казалось, только и ждала наших путешественников. Более того, когда они заправились, она попросила их расписаться в книге автографов.

— Страсть люблю автографы, — застенчиво сказала она.

Дома хотелось назвать домиками, у них был уютный, привлекательный вид, хотя некоторые двух- и трехэтажные, пожалуй, обиделись бы, если бы их так назвали. Правда, на улицах было пусто — рабочий день, — но зато бабы с полными ведрами попадались на каждом углу: счастливая примета, впрочем, подсказавшая скептическому Коту догадку, что в Котома-Дядьке с водопроводом неладно.

Ива попросила остановиться перед магазином «Детский мир» — она любила игрушки.

Воздушные шары давно томились в багажнике, проклиная судьбу, но что-то неуловимо новобранное, очевидно, все же мелькало в наших героях, потому что хозяйка «Детского мира» ласково встретила их и лично показала свой двигающийся, стреляющий, шагающий многоцветный товар. Ива попросила снять с полки оловянных солдатиков, и целый взвод в парадной форме немедленно выстроился перед ней на прилавке. Они были похожи, как родные братья, однако иные смотрели вперед остолбенело-деревянным взглядом, а у других в крошечных глазках заиграло что-то живое и веселое, когда они увидели Иву. Бравый командир, затянутый в мундир, лихо отдал честь, и взвод, строевым шагом двинувшийся вдоль прилавка, посыпался бы на пол, если бы онемевшая от удивления хозяйка не загородила ему дорогу.

— Что это значит? — спросила она, схватившись за сердце, и девушки-продавщицы, которые видели этот не совсем обыкновенный марш, откликнулись хором:

— Что это значит?

— Ничего особенного,— вежливо объяснил Вася.— Просто им надоело стоять на полке и они решили немного пройтись.

— Только вчера получила товар,— растерявшись, сказала хозяйка.

— Вот и прекрасно! А сегодня мы его у вас купим.

И солдатики отправились в багажник, где они впервые в жизни встретились с воздушными шарами.

«Все это будет так или не совсем так»,—обещал Вася. И действительно: буревестники, например, не прилетели. Но зато они прислали гларусов, и большие, белые, добродушные птицы пожелали Иве и Васе счастья, а потом стали неторопливо устраиваться возле печных труб — надо было отдохнуть после утомительной дороги.

А когда воздушные шары, давно просившиеся на волю, важно покачиваясь, поплыли над «Москвичом», не было ни одного прохожего, который не сказал бы: «Подумайте, такие молодые, а уже пожелтели».

Праздник так праздник! Пора было пообедать, и когда машина остановилась у ресторана, навстречу выбежал — не вышел, а именно выбежал — директор, высокий, стройный, с седой шевелюрой и аккуратно подстриженной седой бородой.

— Здравствуйте,— весело сказал он, опередив швейцара, который хотел распахнуть двери.— Милости просим.

«Седой как лунь,— подумал Вася.— А лицо молодое». Он, кстати, знал, что лунь — это птица с крыльями голубовато-пепельного и белого цвета.

— Но грустные глаза,— угадав его мысли, прибавила Ива.

Директор предложил им на выбор лучшие номера в гостинице, и они выбрали один для Васи, а другой для Ивы с Котом.

Конечно, не только директор, но все официанты были в белых перчатках, а на официантках накрахмаленные фартуки нежно похрустывали при каждом движении.

— К сожалению, мне не удалось достать перепелок,— мягко сказал директор, когда путешественники уселись за самый лучший столик у окна, из которого был виден уютный сквер.— Сезон кончился охота запрещена. Я могу предложить суп жульен по Похлебкину, котлеты де-воляй, а на третье сливочное мороженое со свежей клубникой. Что касается вашего спутника...— Он в затруднении посмотрел на Кота.

— Щуки есть? — стараясь быть вежливым, спросил Кот.

— Щук, извините, нет.

— А карпы?

— Карпы имеются.

— Живые?

— Недавно уснувшие,— осторожно ответил директор.

— Ну гоните хоть уснувших,— сказал Кот и сердито посмотрел на Васю. «Если ты заставил шагать оловянных солдатиков,— подумал он,— мог бы, кажется, устроить мне пару свежих щучек».

От салфетки, которую Ива хотела повязать ему на шею, он решительно отказался и, помогая себе лапками, с аптитом съел под столом двух небольших, но жирненьких карпов.

Директор приходил и уходил — присматривал, все ли в порядке.

— Как ты думаешь, удобно спросить, почему у него такие грустные глаза? — спросила Ива.

— По-моему, нет. Незнакомый человек, ну как об этом заговоришь? Наверное, какое-то горе.

Кот отказавшийся от мороженого и дремавший под столом, открыл глаза и прислушался. Потом, мурлыча что-то себе под нос, стал прилежно расчесывать усы.

— Ты куда, котик? — спросила Ива, когда он вылез из-под стола.

— Кто куда, а я в сберкассе,— невежливо ответил Кот, давая

понять, что не всегда прилично спрашивать, куда и по какой причине направляется человек или кот.

Он отсутствовал довольно долго, а когда вернулся, глаза его взволнованно блестели, а шерсть хотя еще и не стояла дыбом, но кое-где уже и стояла.

— Узнал,— сказал он.

— Что узнал?

— Все. Поседел в один час. Потерял сына. Или не совсем потерял, потому что сын в городском музее. Не двигается, не говорит, не ест, не пьет — словом, фактически не существует.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,

в которой рассказывается о том, что случилось в городе Котома-Дядьке в прошлом году. Директор пьет капли Вотчела, а девушка-экскурсовод — валерианку.

Ежеминутно хватавшийся за сердце директор почти ничего не прибавил к тому, что сообщил Филя.

— Извините,— сказал он,— но когда я начинаю говорить об этом, приходится немедленно вызывать «скорую помощь».

— Я посоветовал ему принять десять капель Вотчела,— продолжал Филя,— и разговор состоялся. Дело в том, что прошлым летом он имел честь принять почтенного посетителя. Элегантный молодой человек в светлом костюме и модной шляпе с узкими полями остановился в гостинице, и официантки в один голос решили, что он «красивый, как Евгений Онегин». Говорил он гладко, сладким голосом, длинными, изящными фразами. Точнее, говорил, пока не напился.

— Напился?

— Да. Кстати, его фамилию, имя и отчество сообщил мне портье, и это может раздвинуть наши представления о Главном Регистраторе, как он себя называл. Леон Спартакович Пещериков собственной персоной. На его лице был замечен след от удара. Правда, еле заметен. Очевидно, кто-то ударил его по лицу тростью.

— Или лозой,— сказал Вася.

Ива слушала их, открыв рот. Собираясь в дорогу, она постриглась, и над розовыми ушами появились крошечные завитки. Она была похожа сейчас на юношеский портрет Байрона. Но, к сожалению, никто не оценил этого сходства.

— Но я не понимаю...— начала она.

— Молчи, девушка,— сурово сказал Кот.— Смысл вышесказанного дойдет до тебя в свое время. Это еще далеко не все,— помолчав, продолжал он.— Вышеуказанный Главный Регистратор... (дурной пример заразителен: я, кажется, начинаю говорить его языком) Главный Регистратор, как было упомянуто, напился за обедом и стал приставать к Славе, сыну директора, который забежал к отцу после тренировки. Он требовал, чтобы Слава разделил с ним компанию. Но спортсмен отказался, и тогда Пещериков стал оскорблять его, крича: «Верзила! Оглобля! Дыда!» — и так далее. По словам отца, Слава проявлял завидное терпенье, и только когда Пещериков крикнул: «Коломенская верста!» — слегка стукнул его. Очевидно, это старомодное прозвище показалось самым обидным. Взяв его за шиворот и вытащив из ресторана, он осторожно положил его в глубокую лужу. Кстати, лужа была не только глубокая, но единственная в своем роде, поскольку именно она помешала городу Котома-Дядьке выйти на первое место в области по чистоте.

Кот замолчал. Ему хотелось заложить лапки за спину, как это делают люди, но не удалось, и он только молчаливо со значительным лицом прошелся из угла в угол.

— Да-с,— сказал он,— вот такие пироги! На следующий день должна была состояться товарищеская встреча между «Спартакoм»

и котома-дядькинским «Динамо». И протрезвевший Пещериков посетил ее. Возможно, разумеется, что к чувству мести присоединился тот факт, что он болел за «Спартак» и ему не хотелось, чтобы выиграла котома-дядькинская команда. Короче говоря, встреча близилась к концу со счетом восемьдесят три — восемьдесят два в пользу гостей, когда за секунду до финального свистка двухметровый игрок «Динамо» Слава Кочергин оказался рядом с корзиной, в которую неминуемо забросил бы мяч, если б не превратился в статую из розового туфа.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,

*в которой бокс сравнивается с баскетболом и рассказывается
о некоторых достоинствах розового туфа.*

У девушки-экскурсовода городского музея Кати Соловьевой, которую всем хотелось называть просто Катенькой, было здоровое сердце, но и она могла произнести только несколько слов.

— Позвольте мне сначала выпить двадцать пять капель валерианки,— сказала она.

Кто не знает поговорки «глаза на мокром месте»? Так вот в этом случае она не могла пригодиться: несмотря на валерианку, Катя не удержалась от слез.

Зато книга отзывов и пожеланий оказалась на высоте — почти каждая страница завершалась возмущенными и даже дерзкими замечаниями, обращенными к городским властям. «В нашей стране нет и не должно быть колдунов,— писал подполковник в отставке Эпштейн.— Грубо говоря, людей нельзя безнаказанно превращать в камень. Это вам не цирк!» «На каком основании до сих пор не объявлен всесоюзный розыск преступника?» — спрашивал следователь из Уржума. «Я очень рюбрю рюски рюди,— писал турист-японец.— Но зачем не указать, кто производит эта работа? Вериковый скульптор сдерар эта верикая работа». «Почему не приглашены для экспертизы ученые из Министерства Необъяснимых Странностей?» — с негодованием замечал киевский студент.

Все они были совершенно правы, кроме, может быть, японца, который решил, что «Баскетболист с мячом» — произведение искусства. Но одновременно все они ошибались: милиция и угрозыск усердно (хотя и безуспешно) занимались этим загадочным делом. Врачи не решились определить так называемый летальный исход, хотя реаниматор, немедленно вызванный на стадион, решительно заявил, что ему здесь нечего делать. Загс попытался вручить осиротевшему, как он полагал, отцу справку о смерти, и он с негодованием вернул ее, упрекнув заведующего в бюрократизме.

Двухметровый юноша стоял, подняв мяч над головой, в позе стремительного, но оборванного движения. Он напоминал знаменитую статую дискобола, разумеется если бы скульптору пришло в голову распрямить юношу и поднять ему руки, вложив в них не диск, а мяч. Но еще больше он напоминал своего отца, конечно если бы тот расстался со своей длинной, седой бородой.

— Значит, котомадядькинцы выиграли бы, если б этого не случилось? — спросил Вася Катю Соловьеву.

— Для этого не хватало только двух очков,— ответила она, утирая слезы.

— У меня к вам большая просьба,— сказал Вася.— Может быть, вам удалось бы на некоторое время удержаться от слез. Дело в том, что я совершенно не могу видеть хорошеньких плачущих девушек. Мне хочется погладить их или даже поцеловать, а это неудобно и даже невозможно.

— Вот еще новость,— возразила Ива.— Пожалуйста, немедленно поцелуй и погладь!

— Спасибо, не надо. Я уже не плачу.

— Ты его знала? — показывая на статую, спросил Вася.

— Еще бы не знать! Мы должны были пожениться.

И Катя рассказала. Они познакомились на танцевальной площадке. Слава все говорил: «Куда мне до тебя, я простой шофер, а ты...» Он, между прочим, не простой шофер, а механик на автобазе. Он был капитаном команды, и его даже приглашали в Москву.

— Может быть, ему завидовали?

— Ему-то? Какая же может быть зависть в баскетбольной команде. Это не бокс. Ему вообще никто не завидовал, все любили в городе и на работе. Завидовали мне, — прибавила она и покраснела.

Трудно сказать, когда Ива и Катя успели близко познакомиться, но пока Вася и Кот советовались, что делать, они, уединившись, рассказали друг другу если не все, так уж немало из того, что произошло и происходит в их жизни.

Катя заметила, что ей каждую минуту хочется умереть, а Ива стала горячо убеждать ее, что еще не все потеряно и надеяться никогда не поздно. Кот, поговорив с Васей, сидел то у одной, то у другой на руках и слушал их, снисходительно улыбаясь. Возможно, что он в эту минуту был чем-то похож на знаменитого Чеширского Кота из «Алисы в стране чудес».

А тем временем Вася стоял перед статуей из розового туфа и думал. Ведь вернуть жизнь Славе Кочергину — это, без сомнения, было посложнее, чем помочь лодочнику, договорившись с водой. «Розовый туф, из которого строят дома, не вода, — сказал он себе. — И напрасно я стал бы верить его, что человек и камень — братья. Но все-таки хорошо, что он не превращен в статую из мрамора или гранита. В туфе все-таки есть что-то человеческое. Он мягкий, теплый, его цвет означает надежду. Может быть, он не станет так уж сопротивляться».

Вася сразу понял, что прежде всего надо постараться взглянуть окаменевшему баскетболисту в глаза. Но даже это было не так-то просто! Во-первых, он был на голову выше Васи. Во-вторых, в прыжке он поднял глаза вверх — конечно, чтобы прицелиться и без промаха отправить мяч в корзину.

— Катенька, в музее не найдется стремянки?

Он поднялся на третью, четвертую ступеньку и, оглянувшись, попросил оставить его одного — ему надо было, как он объяснил, собраться... С пятой ступеньки он увидел глаза Славы и поразился: даже круто загнутые длинные ресницы окаменели. «Но глаза, — подумал он, — просят о помощи. И я тебе помогу».

Он поднялся на шестую и седьмую ступеньку и не только увидел глаза, но, заглянув в них, с восторгом почувствовал, что могучая добрая воля вспыхнула в нем и с каждым мгновением стала разгораться и разгораться.

— Ты снова станешь человеком, — сказал он, не узнавая своего голоса, в котором зазвучала и властная и страстная нота. — Потому что ты без вины виноват. Потому что справедливость есть на земле. Потому что мера всему — душа. Потому что я жалею тебя, а жалость давно породнилась с любовью. Потому что статуи из мрамора и гранита уже оживали в произведениях великих поэтов, а ведь мягкий туф даже нельзя сравнить с мрамором или гранитом. Конечно, я самый обыкновенный человек, мне восемнадцать лет, я только что окончил среднюю школу. Но мне выпал счастливый жребий стать волшебником, а раз это случилось, было бы странно, не правда ли, не помогать людям, попавшим в беду?

Оттенок согласия мелькнул в остановившихся глазах — или это только померещилось Васе?

— Еще недавно это было только забавой. Но однажды мне удалось спасти человека, которого ожидала неизбежная смерть, и это заставило меня — уже не в первый раз — серьезно задуматься о себе. Сейчас я расскажу тебе своими словами стихотворение. Его написа-

ла девушка, которую я люблю. Это не заклинание. Это пароль, на который я прошу тебя отозваться.

И он рассказал о том, как Эхо бродило по лесам и горам, ища человеческий голос, на который ему хотелось отозваться. Два или три раза удалось, но это был очень тихий голос — кто-то объяснялся кому-то в любви, а в таких случаях не говорят слишком громко. Эхо заглядывало в ущелья, проводило ночи в каштановых лесах, но отзывалось только на шум дождя или на порывы ветра. Шли годы, и оно выросло, превратившись в рыжего юношу с голубыми глазами. Возможно, что оно так и не услышало бы человеческого голоса, если бы не попало в городок, которому был очень нужен молодой человек, попавший в беду.

Слава внимательно слушал его, и вдруг оттенок какого-то чувства — согласия? понимания? — мелькнул в окаменевших глазах.

— И тогда Эхо услышало множество голосов, повторявших: «Слава, вернись!..» Дело в том, что ты нужен решительно всем — и отцу и Катеньке, недаром же вы решили пожениться? И баскетбольной команде, потерявшей лучшего игрока. Что касается меня — трудно даже представить, как важно для меня, чтобы ты вернулся к жизни. Ты понимаешь, я не то что настоящий волшебник, но судьба подарила мне... не знаю, как тебе объяснить... Кот, с которым я надеюсь тебя познакомить, назвал эту способность волшебной волей. Так вот эта воля приказывает тебе: Слава, вернись!

Множество оттенков разбежалось по окаменевшему лицу — красных, как кровь, лиловых, как сирень, — оттенков, как бы еще не стоворившихся друг с другом, но пытающихся превратить розовый цвет камня в цвет загорелого человеческого тела. А потом — и это произошло так же естественно, как просыпается человек после тяжелого сна, — глаза вздрогнули и стали раскрываться все шире и шире. Не прошло десяти минут, как Слава ловко спрыгнул с подножия и сказал, весело хлопнув Васю по плечу:

— А здорово это у тебя получилось!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ,

в которой Кот произносит хвастливую, а Вася скромную речь.

Конечно, недурно было бы рассказать о событиях, которые произошли в течение трех ближайших дней в городе Котома-Дядьке. Но, к сожалению, я должен признаться, что событий, по меньшей мере исторических, не было. Если не считать, что когда Слава вернулся домой, директора гостиницы хватил такой сердечный приступ, что врач «скорой помощи» нашел положение безнадежным. Или если не считать, что, когда Вася сказал: «От радости не умирают», директор заплакал и, несмотря на свою длинную седую бороду, подпрыгнул, как мальчик, чтобы обнять сына. Если не считать, что близкие и дальние родственники, друзья и знакомые, не говоря уж о Катеньке, не могли наглядеться на Славу. Если не считать...

Словом, надо было немедленно удирать, и, может быть, это удалось бы, если бы котомадядькинцы оставили наших путешественников хоть на минуту. Как бы не так! Дом крестьянина был спешно переименован в Дворец бракосочетаний, причем родители Славы, в честь молодых посадившие перед зданием дикий виноград, были поражены, увидев, что за одну ночь он украсил фасад сплошным курчавым ковром от земли до крыши.

К Васе выстроилась длинная очередь: одни с его помощью надеялись помириться с соседями, другие надеялись выдать замуж зрелых дочерей, третьи — спросить, не продаст ли он свой «Москвич». Карлику надоело быть карликом, акселерантке — акселеранткой. Маленький мальчик хотел стать космонавтом и удовлетворился парой пирожных. Меланхоликам хотелось перекинуться словечком с Ивой —

по городу немедленно разнесся слух, что достаточно взглянуть на нее, чтобы по меньшей мере полгода чувствовать себя беспричинно счастливым. Старые дамы-кошатницы втайне надеялись с помощью ярко-розового Кота умножить свои коллекции и т. д. Разумеется, все до одной получили вежливый, но решительный отказ и тем не менее почему-то остались очень довольны.

Приглашения к завтраку, обеду, ужину, на охоту, на матч-реванш сыпались ежеминутно, и среди них первое место с достоинством занимала карточка, напечатанная на бристольской бумаге и приглашавшая на свадьбу Кати и Славы.

Сильно хлебнувший валерианки Филя произнес длинную хвастливую речь, утверждая, что знаменитый тайландский кот Фу-Фу-Чаанг перед ним просто собака. К тому же, заметил он, все желающие могут любоваться им совершенно бесплатно, тем более что именно он, Филя, принимал ближайшее участие в появлении на свет и надлежащем воспитании Васи. Тут Ива сунула ему в рот сардинку, и, нырнув под стол, он томно потянулся, закрыл глаза и уснул.

Были многочисленные тосты, в которых, почтительно называя Васю Василием Платоновичем, сравнивали его почему-то с Александром Македонским. Был терпеливо выслушан заяка, которому за полчаса удалось сказать только: «И я, так сказать, поздравляю». Были возгласы «горько, горько!», заставившие застенчиво улыбавшегося Славу поднять хрупкую Катеньку на добрых полметра от пола, осторожно поцеловать ее и еще более осторожно опустить на пол.

Ни много ни мало — все пять тысяч котомадядькинцев пировали в гостинице и на площади перед гостиницей, и нет ничего удивительного, что Вася решил удрать именно в эту ночь, когда дома остались только старики и дети. Он поблагодарил за добрые пожелания и произнес речь, которую можно было, пожалуй, назвать прощальной.

— Дорогие друзья, мне кажется, многим из вас хочется спросить меня, как все это — вы знаете, о чем я говорю, — удалось. Один мудрый человек сказал: «Только простое может бросить свет на сложное». Передо мной была сложная задача, но я решил ее очень просто. Дело в том, что Катенька ни на минуту не забывала о своем женихе — в наше время это само по себе было чудом. Надеюсь, вы слышали о так называемой цепной реакции? Одно чудо, как правило, тянет за собой другое. Несмотря на то, что мы приехали только три дня назад, я узнал о Славе очень много. Когда мальчишки кричат ему: «Дядя, поймай воробышка!», — он не сердится на них, а ловит воробья и, накурмив досыта, отпускает на волю. За работой он поет — это очень важно. Он отважен — спас грудного ребенка из горящего дома. Не доверяя местной старенькой «скорой помощи», он на руках принес свою мать в больницу. Своими сильными руками он насадил целый парк в одну ночь. Словом, у меня ничего не вышло бы, если б город не хранил о нем благодарную память. Любовь нетрудно было соединить с памятью. А благодарная память, в сущности, и есть любовь, только в другом воплощении. Что касается поэзии, то она для меня такое же орудие, как топор для плотника или игла для портного. Не скрою, что к памяти, любви и поэзии мне пришлось прибавить еще кое-что, но об этом как-нибудь в другой раз. А теперь позвольте мне еще раз поздравить молодых и проститься.

Но проститься не удалось, потому что приглашенный оркестр пожарной команды грянул в честь Василия Платоновича известную «Славу».

— Слава, слава! — кричали котомадядькинцы, показывая руками, что это не имя, а слово, означающее всеобщее признание, и что Славе они тоже будут кричать «слава!», когда он со своей командой покажет «Спартаку», где зимуют раки.

Тем временем Вася разбудил Кота и шепотом рассказал о своем плане.

— Мяу! — только и ответил Кот и прибавил, подумав: — Блеск!

И, взглянув на Иву, он крепко зажмурил левый глаз: на языке, о котором никто, кроме них, не имел никакого понятия, это значило «возьми меня на руки — важная новость».

Эта новость заставила Иву извиниться перед молодыми и, сославшись на головную боль, удалиться в свой номер.

Конечно, надо было проводить ее, и это было бы сделано, если б Филя не захотел снова блеснуть, а Вася не опасался, что он снова напьет. Решив поразить котомадьядкинцев своей вежливостью, Кот подал каждому из них лапку и сказал, как говорят врачи: «Будьте здоровы». Эта церемония отняла довольно много времени — драгоценного, потому что (как вскоре выяснилось) надо было спешить. Наконец, когда у него уже начал заплетаться язык и он вместо «будьте здоровы» стал говорить для краткости просто «будьте», а потом уже только «будь», что было почти неприлично, Вася взял его на руки и поднялся на второй этаж. Осторожно, стараясь не разбудить Иву, он приоткрыл дверь, чтобы Филя мог досмотреть свой сон на своей постели. Но осторожность уже не могла пригодиться. Комната была пуста. Ива исчезла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ,

в которой котомадьядкинцы предлагают Васе объявить всесоюзный розыск.

Над словом «ясно» почему-то принято шутить. «Ясно, как карандаш», — говорит один остряк. «Ясно, как шоколад», — вторит ему другой. «Ясно, как пуговица», — замечает третий. Но для того, что случилось с Ивой, следует, мне кажется, остановиться на вразумительном, справедливом сравнении: «Ясно, как день». Тут было не до шуток! Ясно, как день, что Ива не растаяла в воздухе и не провалилась сквозь землю. Она была похищена тем, кто под именем Л. С. Пещерикова избрал ее среди участниц московских школьных ансамблей и не сомневался в том, что она считает его своим женихом.

...Прежде, когда Вася думал о себе, перед его глазами как бы возникал неоконченный холст. Как белое на белом, едва намеченная фигура лишь угадывалась на расплывчатом фоне. Теперь холст определился, кисть прошла по нетронутым местам. Он перебрал в памяти все свои встречи с Ивой. Всякий раз что-то случалось между ними, угадывалось, передавалось. Не пропуская ни одной, он мысленно как бы провел их (как детей, взявших за руки) перед своими глазами. Ветка протянула ей единственное яблоко в одичавшем саду. Ива читала свои стихи, бледнея от волнения. Незагорелые виски с крошечными завитками стали видны, когда она остриглась, собираясь в дорогу. «Все это было, — подумалось ему. — Не только мелькало, чтобы исчезнуть, не только мерещилось, чтобы ускользнуть, но было! И вернулось ко мне теперь, когда надо ее искать и спасти».

Он не видел себя в эти минуты. Но умный Кот, у которого грозно и горестно повисли усы, понял, что перед ним не юноша, смелый от застенчивости, в глубине души стеснявшийся своего дарования, а решительный человек из тех, о которых в старину говорили «мужествен во бранях». Котомадьядкинцы предложили ему отправить телеграмму в Москву с просьбой объявить всесоюзный розыск, но Вася отказался.

— Я сам найду ее, — сказал он.

И, охая и вздыхая, котомадьядкинцы стали собирать его в дорогу.

Если судить по географической карте, Шабарша отмечена таким крошечным пятнышком, что его с трудом могут различить даже самые опытные путешественники, и то с помощью электронного микроскопа. От Котома-Дядьки этот городок лежит в четырехстах километрах — ни много ни мало! Горючего должно хватить, но кто знает, что может случиться в дороге? Есть ли заправочные станции? «Кажется, есть», — отвечают котомадядькинцы, которые почему-то никогда не бывают в Шабарше и в разговорах избегают называть ее, как суевверные люди в старину старались не упоминать черта и крестились, когда нечаянно все-таки упоминали. Почему? Но нет времени расспрашивать. Важнее знать, например, встречаются ли по дороге реки и перекинуты ли через них мосты? И каменные или деревянные эти мосты? И если деревянные — сильно прогнили или не очень? А если не очень — выдержат ли они «Москвича» или он, не дай бог, провалится в реку?

Надо срочно послать телеграмму в Сосновую Гору — из каждого населенного пункта посылались телеграммы, правда короткие, но содержательные: «Все хорошо» или, если это поручалось Коту, просто «Блеск» — (он любил это слово). Но не поднимается рука, чтобы написать, что Ива пропала! Что делать? Кот предлагает послать телеграмму в стихах. Кот пылко доказывает, что сама стихотворная форма покажет, что с Ивой ничего не случилось. Но Вася, вздохнув, пишет: «Ближайший пункт Шабарша» — и обиженный Филипп Сергеевич со всех ног летит на телеграф.

Подарки, подарки! «Москвич» не автобус, багажник не резиновый, разве затолкнешь в него все, что натащили и навезли Васе призначательные котомадядькинцы в заплечных мешках, на тележках и в тачках?

Слава предлагает принести еще один багажник — на крышу, — и приносит, и возится с ним, хотя времени мало! Времени мало, но нельзя же отказаться от модели звездолета, которую приносит мальчик, мечтающий стать космонавтом. Мальчик уверяет, что его модель способна долететь до Сатурна вдвое быстрее, чем это удалось американцам, — Василий Платонович не был бы Василий Платоновичем, если б отказался от такого подарка! Баскетбольная команда дарит разноцветный кожаный мяч, а Катенька — трудно поверить! — свое белое венчалное платье.

— Мы одного роста, — утирая слезы, говорит она. — А ведь через два-три года Ива выйдет за тебя, и тогда мой подарок ей пригодится.

Короче говоря, город Котома-Дядька не то что опустел после отъезда Васи, но как-то потускнел, заскучал, нахмурился: мужья в этот день поругались с женами, многие школьники получили двойки и тройки. Дворец бракосочетаний снова превратился в Дом крестьянина, а дамы-кошатницы почему-то надели на рукава траурные повязки. Грустно-счастливы были только Катенька и Слава.

А между тем «Москвич» был уже далеко. Из многочисленных происшествий, которые произошли в Котома-Дядьке, Вася и Филя увезли только одно: загадочное исчезновение Ивы.

О ней насвистывал ветер, заглядывая в открытые окна. Золотисто-рыжее утреннее облачко, скользившее над добродушными лиловыми холмами, от души пожалело, что Ива не полюбовалась им. Даже телеграфные столбы, смутно помнившие, что когда-то они были соснами с царственными кронами, а не торчали на обочине пыльной дороги, казалось, беспокоились, спрашивая себя: «Что же случилось с Ивой?» Ответить на этот вопрос могла бы, пожалуй, только большая птица, устало летевшая за «Москвичом» и наконец обогнавшая его, когда солнце, как часовой, встало над холмами, окрасив их в медно-золотистый цвет.

Филя, беспокойно дремавший подле Васи, решил, что видит эту птицу во сне. Он открыл глаза — она не исчезла. Более того, он ясно услышал карканье, ворвавшееся вместе с порывами ветра в окна машины.

— Вася, слышишь? — пробормотал он. — Мяу! Только этого выдумщика нам не хватало!

Но Вася уже понял, чьи крылья отбрасывают тень на убегающую под колесами дорогу. Он затормозил, и на крышу «Москвича», тяжело дыша, опустился старый Ворон.

— Привет, Лоренцо, — усталым голосом сказал он.

— Доброе утро, — приветливо сказал Вася, за спиной показывая кулак Коту, который передразнил старика, прокаркав:

— Пр-р-ривет, Лор-р-ренцо!

— Привал! — приказал Вася.

Но Кот помедлил, прежде чем отправиться за хворостом для костра в ближайший лесок. Ему хотелось на равных правах участвовать в серьезном разговоре.

Известно, что коты (не говоря уж о кошках) склонны к сплетням, легкомысленны, любознательны и ленивы. Я бы не сказал, что это было характерно для Фили. Его жизненный опыт умерял легкомыслие, а любознательность успешно боролась с ленью.

— Я знал почти все, что должно было случиться с тобой после нашей встречи, — сказал старый Ворон. — Но стоит ли предсказывать то, чего нельзя изменить?

Вася промолчал. «Конечно, стоит, — подумал он. — Если бы знать, что в Котома-Дядьке Ива исчезнет, может быть, удалось бы...»

— Ты увидел предсказанный сон. Теперь ты понимаешь, почему я называю тебя Лоренцо?

— Признаться, не очень, — ответил Вася. — Сон оборвался, и я так и не узнал, что случилось с молодым человеком, которого вы называли Лоренцо.

— Ты слишком похож на него, чтобы я называл тебя иначе.

— А вы называйте его Василием Платоновичем, — съязвил Кот.

— Филя! — строго прикрикнул Вася, и Кот лениво поплелся за хворостом.

По дороге он поймал полевую мышь, поиграл с ней и съел.

— Хорошо, пусть Лоренцо, — продолжал Вася. — Допустим, что это не случайное сходство. Но для меня гораздо важнее узнать другое — имя, которое вы не решились назвать...

Старый Ворон оказался вегетарианцем, и, таким образом, сразу пришлось отменить курятину, индюшатину, свинину, которыми котомадьядкинцы набили багажник «Москвича» до отказа, и ограничиться овсянкой. Но так или иначе, ее надо было сварить, и, следовательно, Коту то и дело приходилось бегать в лесок за хворостом, а собирая хворост в лесу, находившемся шагах в двухстах от привала, трудно было понять, о чем рассказывает Ворон. Между тем история была занятная, и всякий раз, когда надо было отправиться за хворостом, Кот старался поскорее вернуться. Впрочем, ему мешала одна на первый взгляд незначительная причина. Он не знал, что такое руно, а между тем это загадочное слово ежеминутно упоминалось в рассказе. В конце концов он все-таки догадался, что это просто овечья шерсть. Правда, она была золотая и, вероятно, именно поэтому называлась так странно.

Легендарные герои, полулюди-полубоги, в глубокой древности отправились в далекую Колхиду, чтобы добыть золотое руно, — согласно понятиям нашего Кота, они все как один были по меньшей мере мастерами спорта. Корабль их назывался «Арго». Самым ловким, смелым и сильным среди них был Ясон.

Тут хворост прогорел, и Филя побежал в лесок, а когда он вернулся, аргонавты уже были в Колхиде. Однако оказалось, что овладеть золотой шерстью не так-то легко, а с точки зрения практического Кота почти невозможно. Царь Колхиды согласился отдать ее Ясону, но при условии, что он вспашет поле железным плугом при помощи медноногих, дышащих огнем быков, а потом засеет его зубами дракона, из которых вырастут тяжело вооруженные, закованные в броню воины. Но и этого мало: Ясон должен был сразиться с ними и перебить всех до одного — задача, которая, по мнению Кота, была не по плечу даже спортсмену мирового класса.

Тут Филиппу Сергеевичу пришлось снова отправиться за хворостом. На этот раз он летел со всех ног туда и обратно — ему смертельно хотелось узнать, кто победил: Ясон или воины. Но когда он вернулся, Ворон, взглянув на него, не стал продолжать свой рассказ.

— Я очень стар, и мне трудно говорить, — сказал он, помедлив. — Эта история полна предательства, хитрости, притворства и крови. И меня раздражает мелкое любопытство в глазах твоего Кота. Попроси его, пожалуйста, закрыть глаза или удалиться.

— Предпочитаю второе, — надменно сказал Филипп Сергеевич. — Я не мальчик чтобы слушать сказки с закрытыми глазами. Мне, если хотите знать, девятый год.

И, презрительно подняв хвост, он прыгнул в машину, уютно устроился на заднем сиденье и притворился спящим.

— Ясон победил воинов. Дочь царя Колхиды Медея влюбилась в него и подарила ему зелье, которое сделало его неуязвимым, — неторопливо и горделиво, глотая овсянку, рассказывал старый Ворон. — Но для нас с тобой, Лоренцо, важно совсем другое. Один из воинов, выросших из зубов дракона, не был убит. Он только притворился мертвым. Ему удалось бежать, и с тех пор он бродит по земле, меняя облик, но оставаясь самим собой. Когда я видел его в Венеции, он под именем Джироламо служил шпионом Совета Десяти и торговал рабами. Он ревновал к тебе, потому что ты нравился Джулии, дочери богатого дворянина. Он написал на тебя донос в Совет Десяти. Во дворце дождей еще сохранилась приоткрытая пасть льва, в которую опускали доносы.

— А что такое Совет Десяти?

— Это десять самых влиятельных венецианских дворян. Они могли судить самого дожа.

— А кто такой дож?

— Высший правитель Венеции, который, принимая это звание, должен был обручиться с морем.

— С морем? — переспросил восхищенный Вася. — Как интересно! Похоже на сказку! Значит, Венеция и море становились мужем и женой? Да? Вернусь домой и первое, что я сделаю, — прочитаю историю Италии. Так что же сделал Совет Десяти?

— Совет приговорил тебя к смерти, но не решился на открытый процесс. Ты был из знатной семьи, за тебя могли заступиться. Ты видел во сне свой дворец. Они поручили Джироламо убить тебя тайно, но это не удалось ему, потому что я крылом погасил свечу. Ты бежал в Падую и погиб как храбрый солдат в бою с генуэзцами, а через четыреста лет снова появился на свет. Ты дошел до нас, как свет погасших звезд доходит до Земли. Теперь между вами новая Джулия, но никто не поверит новому доносу.

«Ну, это еще бабушка надвое сказала», — подумал Кот, который не упустил из этого рассказа ни слова.

— В чем обвинить тебя? Ты прост, как ребенок. Лоренцо обвинили в том, что он сторонник учения Джордано Бруно о множественности миров, а теперь это знает каждый ребенок. Джироламо написал, что ты еретик, что, по твоему мнению, Христос охотно избежал бы

смерти, если бы это было возможно. А ты, может быть, впервые слышишь это имя.

— Не впервые! — весело возразил Вася. — Ольга Ипатьевна то и дело поминает Христа. И я слышал, как одна скупая старушка сказала нищему: «Христос подаст».

— Есть зло, которое не боится, что его назовут по имени, потому что оно умеет искусно притвориться добром, — продолжал Ворон. — С ним можно спорить, его можно уговорить, хотя это случается редко. Я бы назвал его талантливым, как ни странно, оно чем-то связано с искусством. Но есть другое зло, бездарное, основанное на пустоте, плоское и тупое. Его трудно понять, потому что оно чуждо природе.

Ворон замолчал, задохнулся. Кубики-слова перепутались, когда он снова хотел заговорить, и он с трудом нашел для каждого из них свое место.

— В тебе живет и действует соединение пастушеской дудочки с пылинками в лунном свете, одиночества старого ученого с ошибкой неопытной паспортистки, — продолжал Ворон. — Тот, подлинное имя которого ты должен узнать, — ошибка не паспортистки, а природы. Таких, как он, немного, но становится больше и больше. Пришло время, когда они перестали нуждаться в зубах дракона, чтобы появляться на свет. Для одних достаточно соединения фальшивой ноты в оркестре с униженной честью, для других — соединения предательства с проливным, доводящим до отчаяния осенним дождем.

Посеревшие от старости веки опустились — Ворон боролся с непреодолимым желанием уснуть. «Или умереть», — невольно подумал Вася.

— Но почему ты думаешь, что я непременно должен отплатить ему? Мне как раз кажется, что я совершенно не мстителен по природе.

— У тебя короткая память, — сказал Ворон. — Или думаешь, что Ива растаяла в воздухе?

У старого Ворона не было сил удивляться, но он все-таки удивился, увидев, с каким бешенством Вася выкатил свои голубые глаза, какая грозная, свинцовая бледность покрыла его лицо. Он стоял, расставив крепкие ноги, опустив сжатые в кулаки железные руки.

— Тебе предстоит бой, — сказал Ворон. — И я хочу подарить тебе оружие. Знаешь ли ты, что произойдет, когда будет названо его подлинное имя? Он потеряет свободу выбора в своих превращениях. Он снова станет воином, который, сражаясь с Ясоном, притворился мертвым, чтобы остаться в живых. Не знатным венецианцем, торговавшим рабами, не Главным Регистратором в городке Шабарша, а грубым солдатом, растерянным, нищим и беспомощным в современном мире. Но надо, чтобы это имя было брошено ему в лицо, надо, чтобы он услышал его от человека, который не боится смерти.

Ворон вздохнул и умолк.

— Самоубийцы подчас оставляют записку: «Прошу в моей смерти никого не винить», — продолжал он. — Грустно думать, что после моей смерти никто не вспомнит о старом Вороне, который дорого расплатился за необъяснимую любовь к человеку. Я знаю, ты не веришь в бога. Но все же мне будет легче умереть, зная, что в каком-нибудь костеле ты отслужишь по мне заупокойную мессу.

— Почему же в костеле?

— Потому что я католик, — с достоинством ответил Ворон. — И крещен в Ирландии, где до сих пор лучшие из моих братьев сражаются за истинную веру.

— Это будет сделано, — сказал Вася. — Даю честное слово. Но почему вы заговорили о смерти?

— Потому что теперь я убедился в том, что твое мужество равно твоему светлому разуму. Потому что я верю, что ты не отступишь и даже, может быть, победишь. Судьба подарила мне долгую жизнь, но было бы нерасчетливо умереть, не дождавшись твоего появления на

свет. Надо, надо оставлять за собой надежду или хотя бы ее тень. Ты тень моей надежды, вот почему я сейчас назову это имя.

Ворон распахнул крылья, гордо поднял голову с хищным окостеневшим клювом, и открылась усталая, как устает металл, серо-стальная грудь.

— Верлиока!— громко каркнул он.

Раздался пронзительный свист — как будто флейта взяла самую высокую ноту,— и остро мелькнувшая в воздухе стрелка ударила Ворона в грудь.

«Верлиока, Верлиока»,— отозвалось эхо и, вернувшись, побежало вдоль придорожных кустов. И там, где оно пробегало, листья свертывались и желтели, а между ветвями, отшатнувшимися с отвращением, оставался черный выжженный след.

Ворон шагнул вперед и с полуопущенными крыльями остановился, шатаясь. Вася бросился к нему, хотел поддержать, но жизнь уже покидала свинцово-тяжелое тело умирающей птицы. Перья теряли зеленовато-металлический блеск, огромные плоские глаза с желтым зрачком еще смотрели, но уже ничего не видели, свет дня, отражавшийся в них, угасал, ноги судорожно подкосились.

Васе показалось, что, умирая, он простился с ним, прошептав какое-то иностранное слово.

— Vale!

Это значило по-латыни «прощай!».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,

в которой Кот Филя пугается пятен на солнце.

Никому, к сожалению, не известно, как полагается хоронить слонов, оленей, альбатросов и других благородных птиц и животных, не говоря уж о неблагородных. Но Вася просто вышел из затруднительного положения. Неподалеку виднелся высокий холм, на котором росли молодые дубки, находившиеся — это было видно с первого взгляда — в прекрасных отношениях. Вася и Кот поднялись на холм, вырыли могилу и положили на сухое песчаное ложе старого Ворона, и в смерти сохранившего спокойный, представительный вид. Филя, который не столько помогал, сколько мешал хозяину, постоял возле могилы на задних лапках — это был, очевидно, почетный караул, и, к своему удивлению, Вася убедился в том, что лапками он трет глаза, едва удерживаясь от слез. Над сложным вопросом, ставить ли над покойником крест,— Вася задумался: старик об этом его не просил. Но отметить его могилу было решительно необходимо. И Вася вспомнил, что путешественники в таких случаях складывают гурий — так называется каменная пирамида, отмечающая место гибели товарища или покинутое становище.

С помощью Кота, который так усердно работал, что даже вспотел, потеряв свой ослепительно розовый цвет, Вася соорудил гурий над могилой сурового, рыцарски-благородного старика, поручившего ему исправить ошибку природы. Перед гурием они постояли — торжественная минута молчания — и, сверившись с компасом, отправились — нет, не отправились, а рванулись — к неведомому городку, отмеченному крошечным пятном на географической карте.

Здравствуйте и прощайте, леса и перелески, летящие по сторонам дороги! Привет, грозовая туча, как будто надвигающая огромный железный шлем на ясный лик утреннего неба! Мы уйдем от тебя, свинцовый дождь, которым она без суда и следствия собирается хлестать ни в чем не повинную землю. До свиданья, глухие собаки, встречающие нас громким лаем и кидующиеся под колеса! До свиданья, проспавшие зарю пегухи в мелькнувшей справа деревне и откликнувшиеся в левой — кто знает, может быть, на обратном пути мы еще увидимся с вами?

— Непременно увидимся!— кричит Кот.— Ведь ваше кукареку, я надеюсь, значит «желаю счастья»!

Прощайте, долины, лощины, ложбины, луга, горы,— к сожалению, у нас нет времени, чтобы полюбоваться вами! Ведь время не останавливается, оно летит вместе с нами. Не проезжала ли, не пролетала ли мимо вас девушка, которая невольно заставляет всех улыбаться?

Вот и новый привал, короткий отдых в тени — и снова дорога, и новый привал уже превращается в старый и остается далеко позади. Прощай, уходящее сияние дня, здравствуй, медленно темнеющее небо! Покажи нам свою звездную карту, ведь мы не забыли, как любовались ею через волшебные стекла телескопа. Может быть, в эти минуты и наш Платон Платонович рассматривает ее, чтобы убедиться в том, что никуда не убежало созвездие Пса и что Большая Медведица по-прежнему нежно заботится о Малой. Как-то он? Небось беспокоится, тоскует? Полярная звезда, скромная умница, мы с тобой старые знакомые, скажи нам, пожалуйста, ведь мы не сблизись с пути?

Девушки на заправочных станциях, не надо спрашивать, почему мы торопимся! Вы только ахнете — такое, грозно насупившись, брякнет вам Кот.

Поднажми, милый «Москвич», ведь ты знаешь, что нам нельзя терять ни минуты! Кто знает, что случилось с Ивой? Жива ли она? Кто знает, какие замысловатые уловки, какие коварные ловушки подготовил для нас Верлиока?

Верлиока, Верлиока! Как бороться с тобой? Какие еще никому не известные волшебные средства и силы разведать, придумать, найти, чтобы освободить от тебя усталую, дивную, добрую землю?

Почему дорога, что ведет в Шабаршу, вдруг стала изгибаться, как вопросительный знак? На этот вопрос решительно отказался ответить указатель, который с удивлением рассматривал Вася. Было ли то наемком на хитрость и изобретательность шабаршинцев? Или дружеским советом серьезно задуматься, прежде чем за вами шмякнется, неумолимо отрезая прошлое, полосатый шлагбаум?

Высокий костлявый дед, почему-то повязанный красным бабьим платком с торчащими концами, вышел из дорожного домика, недоброжелательно поглядывая на приезжих. Его длинный нос под старость почти сошелся с острым подбородком, глазки тускло моргали под густыми, вьющимися, седыми бровями, из-под платка выглядывал приложенный к щеке грязный мешочек.

— Здорово, дед! — крикнул ему Филя. — А ну-ка действуй!

Держась за щеку, старик задумчиво посмотрел на Васю.

— А не влетит? — спросил он.

— За что?

— Кабы знать.

— Почему ты за щеку держишься, дедушка? — мягко спросил Вася. — зуб болит?

— Не болит, а как бритвой режет. Третий день. Горячую соль прикладываю, а она стынет.

— А вот и не болит, — как бы между прочим сказал Вася.

Дед крепко зажмурился, открыл рот и слегка присел, как будто собираясь нуститься вприсядку.

— Помилуй мя, господи, — пролепетал он и перекрестился. Потом замер, трогая языком больной зуб. — А ведь вроде отпустило?

— Конечно, отпустило, — улыбаясь, подтвердил Вася.

Дед сорвал с головы платок, швырнул в сторону мешочек с солью, взялся за край веревки, чтобы поднять шлагбаум, — и не поднял, опустил руки.

— А может, не поедете, а? Или Кот пушай, а ты, мужчина, поживи у меня.

Это было сказано так сердечно, что наши путешественники с недоумением посмотрели друг на друга.

— Но почему? — спросили они одновременно.

Дед помолчал.

— Туда-то так, да оттуда-то как? — подняв шлагбаум, сказал он, и крошечное пятнышко на географической карте вскоре стало превращаться в населенный пункт, хотя на его улицах не было видно ни одного человека.

Известно, что уездные городки редко строились по определенному плану. Их улицы как будто падали с неба и не разбегались от центра, а, как слепые щенки, тыкались друг в друга. Ничего подобного не увидели в Шабарше наши путешественники.

Городок был похож на геометрический чертеж со всеми характерными для этой науки квадратами, углами и треугольниками. Зелени почти не было, но редкие скверы были расположены в форме круга или прямоугольника и обнесены решетками. От единственной площади, на которой, по-видимому, находились учреждения, радиусами расходились улицы, на первый взгляд ничем не отличавшиеся друг от друга.

Я совсем забыл упомянуть, что еще в Котома-Дядьке Вася купил для себя парик, а для Фили ярко-зеленую жокейскую шапочку, хотя эти предметы, казалось, не могли пригодиться в дороге. Парик был женский — мужских не оказалось, и местному парикмахеру пришлось превратить его в мужской. Но зато он был черный, как уголь, и до неузнаваемости изменял розово-свежую внешность Васи. К парикку прибавилась эспаньолка, и Вася так преобразился, что даже Кот не узнал его, забился под сиденье, а узнав, обнаглел и долго смеялся.

— Но к чему все это? — спросил он. — Ведь, если не ошибаюсь, глубокоуважаемый Леон Спартакович тебя и в глаза не видел?

— Видел, Филия, видел, — Васиним голосом сказал незнакомец. — А пока условимся: никому ни слова.

Впрочем, до поры до времени и эспаньолка и парик были сняты и исчезли в тайниках «Москвича». За ними последовала жокейская шапочка, хотя Кот, которому она очень понравилась, уверял вопреки очевидности, что иногда коты носят легкие головные уборы.

Однако в Шабарше эти театральные принадлежности вновь появились и были, как говорится, использованы по назначению. Молодой человек, видимо испанец, хотя и с коротким, слегка вздернутым русским носом уверенно вел «Москвич», а рядом с ним сидел Кот в жокейской шапочке, лихо надвинутой на левое ухо. В таком виде наших путешественников с трудом узнал бы даже Платон Платонович, не говоря уж об Ольге Ипатьевне и Шотландской Розе.

Однако на улицах стали появляться люди, которые могли бы если не узнать, так по меньшей мере заинтересоваться ими. Еще полчаса назад город был пуст, хоть шаром покати. А теперь почти из каждого дома выходили люди с портфелями, сумками, а то и просто с толстыми папками — часы пик! Более того, за ними послушно летели бумаги, сталкиваясь и скреживаясь, однако стараясь не потерять из виду то лицо, в распоряжении которого они, видимо, находились.

В глубоком изумлении смотрели наши путешественники на это странное зрелище. Оно было даже более чем странным, потому что время от времени не бумаги летели вслед за человеком, а человек вслед за бумагами с беспокойным и даже испуганным лицом.

— Мяу! Мне страшно! — пробормотал Кот.

— Да полно, — спокойно ответил Вася. — Что же тут особенного? Бумаги легко оживают, в особенности если человек вкладывает в них душу. Есть даже такое выражение: бумажная душа. Эти люди

просто старательные канцеляристы, которым трудно надолго расстаться со своей работой.

Но Филя не успокоился. Он не мог побледнеть, как человек, но его розовая шерсть так вздыбилась, что он впервые в жизни стал выглядеть, как драный дворовый кот.

— Плевал я на канцеляристов,— прошептал он.— Взгляни на солнце!

Вася поднял голову. День был ясный, на небе ни облачка, но, очевидно, солнцу было не то что противно, но по меньшей мере неприятно освещать Шабаршу. Кто не знает поговорки «и на солнце есть пятна»? Так вот можно было не сомневаться, что этим-то пятнам солнце и поручило заняться городком. Окна, витрины, посуда, выставленная в них магазинами, хромированные детали проезжавших машин не блестели, а робко поблескивали, как будто между ними и солнцем стоял пепельный туман. Счастливым исключением был только осколок разбитой бутылки, валявшейся в канаве, который по своему беспечному характеру просто не мог не блестеть...

Случалось ли вам слышать выражение «видеть все в темном свете»? Именно этот темный свет неподвижно стоял над геометрическими улицами Шабарши, и Вася по контрасту невольно вспомнился Котома-Дядька, где не темный, а розовый свет озарял все, что так грустно началось и так счастливо и грустно кончилось и где добродушные двухметровые баскетболисты не обижаются на детей, которые дразнят их: «Дядя, поймай воробышка», а вместо ответа действительно ловят воробья и, накормив досыта, отпускают.

Однако пора было подумать о гостинице, и Вася, пройдясь по улице (трехэтажные дома, которые почему-то напоминали небоскребы), остановил задыхающегося толстяка, с трудом тащившего туго набитый портфель.

— Простите, не скажете ли вы, где у вас тут гостиница? — спросил он.

Это была минута, когда из-за угла вылетел и за другим углом скрылся «мерседес» с черным флажком — пожалуй, родители Ивы, не говоря уж о ней самой, узнали бы его с первого взгляда. И толстяк онемел. Выронив портфель, он пытался вытянуться во фронт — руки по швам, — но живот, не привыкший к этой позиции, отказался втягиваться, и толстяк только вздохнул, глядя вслед исчезнувшей машине, как ни странно, с восторгом и благоговением.

Очнувшись, он показал Васе, где найти гостиницу, носившую сравнительно редкое название «Отдохновение души», и, пыхтя, отправился по своим делам.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой из окна отеля «Отдохновение души» открывается картина, необыкновенная во всех отношениях.

Путешествовать приятно. Недаром же французы сложили песенку, в которой загадочно, но вполне убедительно оценивают разницу между любителями и нелюбителями путешествий:

Кто любит путешествия,
Те дон-дирон-ди-ди,
А те, кто их не любит,
Те просто бри-ди-ди.

Впрочем, надо прямо сказать, что, оказавшись в Шабарше, и Кот и тем более Вася почувствовали себя не путешественниками, а едва ли не лазутчиками, перед которыми стоит вполне определенная цель.

Очевидно, прежде всего необходимо было охватить город общим взглядом, составить его план, а уж потом разрабатывать стратегию и тактику. Впрочем, и стратегия и тактика заключались в одном-единственном вопросе: где Ива?

Города бывают сдержанные и хвастливые, вежливые и хамоватые, болтливые и молчаливые, любящие приврать и склонные к скромности и правде. Есть города-карьеристы и города-гуляки. Но любое из этих определений мгновенно отлетало в сторону от Шабарши.

Из окна номера люкс (впрочем, более чем скромного), в котором устроились наши путешественники, открывался вид на центральную площадь, полупустую в дневные часы и неизменно оживляющуюся, когда служащие появлялись на ней после работы.

— Да это куклы! — закричал Филя, отсыпавшийся на подоконнике после дороги.

И действительно, что-то кукольное было в этих фигурах, бережно поглядывавших на свои портфели и шагавших неторопливо, как будто дома их ждали не жены и дети, а другая, не менее важная работа. Но вот они разошлись, и множество бумаг, очевидно потерявших своих хозяев, закружилось в воздухе, накидываясь друг на друга. Было бы понятно, хотя и не очень, если бы они вели себя сдержанно, как и полагается официальным документам. Какое там! То, что происходило на площади, можно было назвать обыкновенной дракой, когда бьют куда ни попадя или идут стенка на стенку. Впрочем, это продолжалось недолго. Милиционер (отличавшийся от своих собратьев в других городах только тем, что носил за поясом маленький топорик) вынул топорик из кожаного чехла и, размахнувшись, бросил в беснующуюся свору бумаг. И они немедленно разлетелись в разные стороны — испуганные, вдруг сложившиеся по полам, словом, мгновенно потерявшие свой воинственный вид. Но площадь не опустела. В центре ее неподвижно лежал тощенький старичок с безжизненно раскинутыми руками.

Кот ахнул, Вася сурово посмотрел на него. В том, что этот старичок выпал из груды бумаг, не было никаких сомнений. То, что он, как говорили в старину, отдал богу душу (а в наше суровое время говорят «сыграл в ящик»), тоже было совершенно ясно. Но хотя из глубокой раны должна была по законам природы хлынуть кровь — топорик рассек грудь от плеча до пояса, — ничего похожего не случилось. Покойник лежал сухонький, чистенький, с седым хохолком, упавшим на лоб, не придавая, казалось, никакого значения тому, что с ним случилось. Очевидно, так думал и милиционер. Подняв с мостовой топорик, он аккуратно надел на него кожаный чехол. Но дальнейшее его поведение было совершенно необъяснимо. Он достал из кармана спички, зажег одну из них и поднес ее к правой ноге покойника. Нога вспыхнула. Другой спичкой он деловито подпалил левую. Почивший старичок на глазах превращался в маленький костер, слабо раздуваемый ветром. А когда превращение закончилось и костер погас, милиционер, зайдя в ворота ближайшего дома, вернулся с метлой и лопатой. Небольшая кучка пепла была аккуратно подметена и с помощью лопаты отправлена в свежепокрашенную урну. Милиционер закурил, постоял и принялся задумчиво прохаживаться вдоль площади. Его подтянутая фигура излучала достоинство — достоинство человека, с честью исполнившего свой служебный долг.

Жизнь продолжалась.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ,

в которой Вася сомневается, что в Шабарше никому ни до кого нет никакого дела, и в ближайшее время доказывает, что он совершенно прав.

Не скрою, что Вася с трудом удержал Кота, который хотел выскочить из окна, чтобы доказать милиционеру, что он поступил по меньшей мере бесчеловечно.

— Во-первых, вспомни, Филя, поговорку: со своим уставом в чужой монастырь не суйся! Во-вторых, старичок был... как бы выразиться точнее... ну, скажем, из папье-маше, хотя в далеком прошлом, вероятно, ничем не отличался от нас с тобой. В-третьих, ты не мог не заметить, что операция — воспользуемся этим осторожным словом — была совершенно бескровной... Короче говоря, чтобы разобратся в том, что произошло, надо, так сказать, разгадать Шабаршу, понять ее как явление. Вот мы сейчас позавтракаем, а потом не спеша займемся этим любопытным делом.

Нельзя сказать, что появление незнакомца с эспаньолкой и кота в лихо сдвинутой на правое ухо жокейской шапочке произвело заметное впечатление на обитателей городка, хотя баба, у которой они покупали мороженое, с оттенком интереса спросила Васю:

— Это у вас кот или нарочно?

Вместо ответа на этот загадочный вопрос Вася вежливо спросил: — Простите, не скажете ли вы, где живет Главный Регистратор?

И немедленно произошло превращение. Баба, в которой на первый взгляд было даже что-то добродушное, превратилась в каменную бабу — как известно, так называются грубо вытесанные фигуры, с древних времен украшающие южнорусские степи. Она распрямилась, ударившись головой о потолок ларька, вытянулась как по команде «смирно» и спросила подозрительным, доносительским, хриплым голосом:

— А зачем вам нужно знать, где живет Его Высокопревосходительство Господин Главный Регистратор?

— У меня к нему дело.

— Ах дело! — пугаясь, сказала баба. — Так, так!

Заложив два пальца в рот, она пронзительно свистнула — точно так, читатель, как мы с тобой это делали в детстве, — и немедленно как из-под земли вырос дворник.

— Вот тут какие-то с котом спрашивают, где живет Его Высокопревосходительство, — сказала ему баба.

Дворник был старый, с сизыми табачными усами.

— Ну и что? — лениво спросил он.

Баба молчала.

— Одно дело — спрашивать, а другое — не отвечать, — мудро заметил дворник и погрозил мороженщице пальцем. — Не отвечать! Ясно?

— Слушаюсь, — вздрогнув, сказала баба.

И дворник ушел. Ничего особенного Вася в нем не заметил, но Кот утверждал, что из-под его табачных усов блеснули острые волчьи зубы.

Так или иначе сразу же стало ясно, что шабаршинцам было строго приказано скрывать, где живет и работает Его Высокопревосходительство Господин Главный Регистратор, хотя на всех учреждениях висели эмалированные дощечки, не позволявшие перепутать пункт охраны порядка с зубопротезной мастерской или загс с трестом зеленых насаждений. Дощечки как бы стремились убедить, что Шабарша ничем не отличается от других городков районного масштаба, однако нельзя сказать, чтобы это им удавалось. Было, например, что-то обидное в том равнодушии, с которым были встречены наши путешественники, хотя в этом населенном пункте вряд ли часто появлялись жгучие, похожие на испанцев брюнетки с эспаньолками или ослепительно розовые коты, носящие жокейские шапочки.

Да, да, можно было, пожалуй, не сомневаться в том, что единственное чувство, которое невозможно было не заметить как в самой Шабарше, так и в ее обитателях, было именно равнодушие. Равнодушные, пересекающиеся под острыми или прямыми углами ули-

цы состояли из равнодушных однообразных домов, и угадать, в котором из них живет Его Высокопревосходительство, было решительно невозможно. Казалось, что даже умеренно пропахший бензином воздух дышал полнейшим равнодушием и заполнял свободное пространство просто потому, что ему больше ничего не оставалось.

Вечерами после работы шабаршницы гуляли парами по Пещериковской, а за ними, тоже парами, шли ухоженные, откормленные таксы и фокстерьеры. Встречая Филю, они не гнались за ним, как поступили бы нормальные, уважающие традиции собаки, а только значительно, степенно поджимали губы.

— Сукины дети! — с отвращением говорил Филя. — В буквальном и переносном смысле слова. И вы знаете, Василий Платонович, я, кажется, догадался, в чем дело: в этом городишке никому ни до кого нет никакого дела. Всем все равно: смеяться или плакать, любить или ненавидеть, жить или умереть.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво отвечал Вася. — Думаю, что это не так или не совсем так.

И время — можно даже сказать, ближайшее время — показало, что он был совершенно прав.

В конце концов осталось неизвестно, как они нашли дом Главного Регистратора, хотя Филя накануне рассказал о случайном свидании с хорошенькой кошечкой, которая, очевидно, не осталась равнодушной к его появлению в городе. Она была молода, дух скуки и безразличия еще не успел овладеть ею — вот почему она замерла от восторга и удивления, увидев перед собой Филиппа Сергеевича, розово вспыхнувшего на ее жизненном горизонте. Встреча кончилась тем, что она не только рассказала, где живет Леон Спартакoвич, но и показала на Пещериковской его дом, который решительно ничем не отличался от своих соседей справа и слева.

Кошечку звали поэтически — Розалина, и каждое утро ее можно было видеть взволнованно бродящей по заборам вблизи отеля «Отдохновение души». Не входя в сущность их отношений, я должен все-таки рассказать читателю, что после долгого мучительного разговора Филиппу Сергеевичу пришлось поступить с нею круто.

— Послушай, милочка, — сказал он ей. — Ты прелестна, и я даю слово, что буду хранить о тебе самые нежные воспоминания. К сожалению, нам придется расстаться — надеюсь, на время. Дело в том, что я очень занят. — Он поцеловал ее. — Чао!

Вася никогда не позволял себе вмешиваться в его личную жизнь, и хотя Филе смертельно хотелось похвастаться своей удачей, он сказал только, что одна знакомая девушка («Между прочим, хорошенькая, темно-дымчатой масти») сообщила ему таинственный адрес. Сдержанно поблагодарив Кота, Вася лишь заметил, что пора приниматься за дело.

Поздней ночью Филипп Сергеевич шмыгнул под ворота и прежде всего внимательно осмотрел подвал. Он не был голоден, но, пожалуй, полакомился бы встретившейся мышкой, если бы его не остановила здравая мысль: «Позвольте, господа, а ведь мы еще не знаем, что случилось с Ивой. Зная ее характер, трудно допустить, что она согласилась стать супругой Его Высокопревосходительства. И тогда он... Да боже мой, разве можно угадать, какая мысль придет в голову этому злодею? А что, если он превратил нашу Иву в эту изящную, кроткую и, без сомнения, очень вкусную мышшь?»

Дом, что, впрочем, было ясно с первого взгляда, состоял из двух этажей. Но дальнейшее тщательное и осторожное изучение показало, что деловая жизнь Его Высокопревосходительства была сосредоточена в первом этаже, а личная — во втором. В свою очередь первый этаж делился на приемную, кабинет секретаря и уборную с

холодной и горячей водой. В кабинете вдоль стен стояли шкафы, а у окна обыкновенный канцелярский стол, на котором скучала деревянная вазочка с карандашами и лежали очки — странные, надо сказать, очки, запачканные сургучом, с очень длинными оглоблями, заставляющими вообразить, что уши их владельца находятся неестественно далеко от носа. В приемной не было ничего, кроме ряда чинно выстроенных стульев.

Зато второй этаж... О, второй этаж мог, как выражались в старину, поразить самое смелое воображение! Во-первых, он был гораздо больше первого — это несоответствие удачно скрывалось скромным фасадом. Шесть комнат, соединенных коридором, выходили в сад, кончаясь просторной застекленной верандой.

Как известно, коты превосходно видят в темноте. Но то, что увидел Филипп Сергеевич, ослепило его, разумеется не в буквальном, а в переносном смысле. Первую комнату можно было назвать гостиной, хотя к ней, пожалуй, больше подходило старинное слово «салон». Под потолком сверкала люстра из горного хрусталя, на стенах блестяли канделябры из золоченой бронзы, над огромным камином сияло зеркало в раме из китайского фарфора.

Вторую комнату Филипп Сергеевич мысленно назвал комнатой зеркал — и действительно стены, пол и потолок были покрыты венецианскими зеркалами, повторявшими бесчисленные отражения: не один, а тысячи котов с изумлением смотрели на себя справа и слева, сверху и снизу.

Повторял себя тысячу раз и аквариум, в котором между большими рыбами с бородачатыми зверскими мордами суежились маленькие, хорошенькие, разноцветные, но, к сожалению, с личиками приговоренных к смерти. И недаром. Время от времени бородачи как бы между прочим глотали их и плыли дальше, помахивая своими, тоже зверскими, плавниками.

В соседней комнате в черных шкафах стояли старинные книги — за стеклами были видны их кожаные корешки, украшенные золотыми виньетки. Лежали ковры («Должно быть, персидские»), — подумал Кот, цепляясь за длинный ворс коготками). Вокруг стола, покрытого скатертью с цветными кистями, стояли кресла на ножках, напоминавших львиные лапы.

— Н-да, — с невольным уважением сказал себе Кот. — Книгохранилище. Библиотека.

Он собирался подняться на крышу, когда его остановил приглушенный храп, донесшийся из комнаты, в которой он еще не был. Очевидно, храп доносился из спальни, и Филя, с трудом протиснувшись под тяжелыми складками портьеры, наткнулся на высокие дубовые двери. Он осторожно тронул их лапкой — двери были плотно закрыты и, без сомнения, заперты. В маленькой комнатке рядом, гардеробной, висели в шкафах одежды, связанные, очевидно, с воспоминаниями молодости, — трудно было в наши дни вообразить Его Высокопревосходительство в чулках и башмаках с серебряными пряжками, в расшитом камзоле, в атласных панталонах. Впрочем, среди старинных одежд был серый офицерский мундир с крестами на рукавах и петлицах.

Эту комнату можно было назвать и оружейной: на стенах скрестились сабли, шпаги с узкими гранеными клинками, мушкеты, карабины, штуцера и, что более всего поразило Филиппа Сергеевича, разбросанные тут и там тончайшие серебряные стрелки. Именно такую стрелку Вася вытащил из-под крыла старого Ворона, когда пытался спасти его, присыпав ранку стрептоцидом.

Выбравшись на крышу, Кот немного отдохнул, подремав под холодной кирпичной трубой. Ивы не было. «Куда же спрятал ее этот вурдалак? — с ненавистью думал Филя. — Может быть, он превратил ее в манекен из папье-маше?» Фигура худенького старичка

с хохолком на лбу, лежащего на мостовой с разрубленной грудью, мелькнула перед его глазами. Однако какое-то неопределенное чувство подсказывало ему, что Ива не из тех девиц, которые позволяют превратить себя в манекен. Так что же он сделал с нею? Филипп Сергеевич вздохнул.

— Ну ладно,— сказал он себе.— Так или иначе, первый заход сделан. И кое-что стало ясно или, точнее сказать, совершенно неясно.

И, стараясь вернуть себе спокойствие, он вернулся в отель «Отдохновение души» и рассказал о своих открытиях Васе.

— Надо держаться, Василий Платонович,— солидно заметил он в заключение, стараясь не очень жалеть бледного, осунувшегося Васю.— Не съел же он ее, в самом деле? И вот что, мне кажется, необходимо сделать: провести в этом доме не ночь, а день. Спрятаться, скажем, в кабинете секретаря и послушать, о чем он толкует со своими просителями. Короче говоря, повторить разведку, но не ночью, а днем.

Вася задумался.

— Возможно, ты прав,— сказал он.— Кстати, пока ты бродил по дому, я бродил по старому парку за домом. Сам не знаю, почему меня как магнитом потянуло в этот заброшенный парк. Ты не поверишь! Я до полночи просидел под молоденькой и, мне кажется, недавно посаженной ивой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ,

в которой читатель убеждается, что Филипп Сергеевич был не прав, утверждая, что в Шабарше никому ни до кого нет никакого дела.

В этом городке, освещенном пятнами на солнце, особенно неприятен был однообразный, шелестящий, непрерывающийся гул. Правда, днем его трудно было заметить, он как бы растворялся в звуках пролетающих самолетов, в шуршанье машин, в шарканье пешеходов. Однако он все-таки мешал Филиппу Сергеевичу, когда рано утром, еще до приема, он снова явился в дом Леона Спартаковича и занял наблюдательный пост в кабинете секретаря под шкафом. Не прошло и десяти минут, как он наострил не только уши, но, если можно так выразиться, и глаза, потому что за столом на соответствующем месте появился не секретарь, а странное существо, похожее на птицу.

Дело в том, что в мире животных — Кот этого не знал — существует птица, внешность которой убедительно доказывает, что все секретари в мире чем-то похожи друг на друга. Голова его (или ее) была украшена кисточками, похожими на кисточки для клея, а за ушами торчали гусиные перья, которыми, как известно, столетиями пользовались канцеляристы всех времен и народов. Остренькие кисточки, впрочем, висели и над глазами, заменяя брови. Голова этой птицы-секретаря была надменно втянута в узкие плечи, плоские глаза глядели недоверчиво, и вся скучная, неискренняя внешность — от горбатого клюва до цепких лап, крепко стоявших на полу, — как бы говорила: как вы там ни вертитесь, а без нас, секретарей, вам не обойтись.

Вот какую личность (впрочем, облаченную в длинный черный сюртук и щегольские серые брюки) увидел за конторским столом наш Филипп Сергеевич. Звали личность, как это вскоре выяснилось, Лука Порфирьевич — редкое, однако чем-то внушавшее известное почтение имя...

Первое дело, которым он неторопливо занялся, было связано с тем обстоятельством, что на его похожем на птичий клюв носу не держались очки. С помощью расплавленного сургуча он надежно укрепил их и, задумчиво почесавшись, нажал кнопку звонка.

Тот самый добродушный толстяк, который показал нашим путешественникам, где находится гостиница «Отдохновение души», боязливо, на цыпочках вошел в комнату и низко поклонился секретарю. И на этот раз он был с туго набитым портфелем.

— Доброе утро, Лука Порфирьевич,— сказал он, осторожно поставив портфель на пол.

— Здравствуй, Жабин,— равнодушно ответил секретарь.— Ну что? Надоела?

Толстяк скорбно вздохнул.

— Уж так надоела, что больше силы нет.

— А ты держись! Недокукой города берут.

— Вот уж как люблю раков, а вчера посмотрел на нее и подавился. Еле откачали. Главное, что бабе уже пятьдесят лет. Она же, нельзя не сказать, свое отжила.

— Ну смотри, Жабин. Потом не жалея. А то приходит всякий тут, просит ликвидировать, а потом плачется. Ведь один останешься!

У толстяка забегали глаза, и Кот, с изумлением слушавший эту более чем странную беседу, заметил, что круглый зад его так и заходил ходуном.

— Почему же один? — спросил он.— У меня есть племянница, и, между прочим, отличная хозяйка. Пончики жарит — объедение. Кончила курсы кройки и шитья.

— Знаем мы этих племянниц,— заметил секретарь.

— Лука Порфирьевич! — Толстяк сложил ладони.— Как перед истинным богом! Ведь она даже и не почувствует ничего. Другое дело, если бы она была на государственной службе и, как положено, превратилась бы постепенно в какой-нибудь документ — я, так и быть, дождался бы, что поделаешь! Так ведь она, сволочь, домохозяйка! Она трудовую книжку никогда в глаза не видела. И здорова! — Толстяк закатил глаза.— Еще пятьдесят лет проживет. Дозвольте, Лука Порфирьевич. А я вам... Я вас отблагодарю. Все ее побрякушки на другой день после поминок будут как пить дать у вас. А между ними, кстати, есть колечко... с таким бриллианчиком...

— Колечко,— проворчал секретарь.— Небось стеклышко какое-нибудь.

— Лука Порфирьевич,— положив руку на сердце, сказал толстяк,— благородное слово честного человека — полтора карата.

Секретарь почесал пером свои кисточки над глазами и задумался.

— Но, само собой, после того как она, так сказать, бух-булды,— никакой анатомии, вскрытия тела и прочей там науки,— одними губами прошептал толстяк.— И почему же только колечко? В виде признательности я вам...

Толстяк открыл портфель, и к однообразному шуму, который заинтересованный Филя почти перестал замечать, прибавилось легкое шуршанье.

Секретарь неторопливо пересчитывал деньги.

— Ладно,— проворчал он. Но тут же острый хохолок над его узким лбом встал, как клинок, выдернутый из ножен.— Но если...— Он показал на потолок.— Если Его Высокопревосходительство узнает... Ты знаешь, что я с тобой, гадина бесхвостая, сделаю?

— Господи! — охнул толстяк.— Неужели же я себе враг?

Секретарь успокоился.

— Договорились,— сказал он и, открыв ящик, смахнул деньги со стола.

Толстяк, пятясь, ушел, но прежде чем пригласить нового посетителя, Лука Порфирьевич, разинув клюв до ушей, с упоением погладил себя по неряшливым, упавшим на лоб косматым прядкам. Он смеялся — и это было страшно.

Новый проситель явился, и Кот, который в уме повторял первый разговор, почти не запомнил второго. Речь шла о споре с попом, который отказывался назвать новорожденного Ричардом Львиное Сердце. Секретарь приглашался присутствовать при крещении в качестве крестного отца.

— Триста,— скучно сказал Лука Порфирьевич.— Да ты же, помнится, говорил, что родилась девка.

— Оказалось, двойня. Девку вчера отпели.

Секретарь вопросительно поднял брови.

— Двоих трудно прокормить, Лука Порфирьевич, а потом — она ведь была, как собачка, с зубками. А где же видано, чтобы детки рождались с зубками? И не то что два-три, а полный набор. И с хвостиком.

— Врешь ты все! Пятьсот.

— Лука Порфирьевич, где же взять?

— Иди, детоубийца, иди. Придумает тоже! С хвостиком.

Кот присидел в конторе целый день и убедился в том, что секретарь, как говорится, дела не делал, но от дела не бегал. Перо он брал, только когда записывал доносы, и в этих случаях не ему платили, а он платил, и, надо полагать, немало.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,

в которой доказывается, что смерти нет дела до превращений, и объясняется, что произошло, когда милиционер бросил топорик в толпу поссорившихся бумаг.

Серебряное и золотое царство народных сказок вспомнилось Васе, когда он выслушал обстоятельный отчет Кота, посвященный одному рабочему дню секретаря Леона Спартаковича.

— Мы в бумажном царстве,— сказал Вася.— Бумага чужда природе. Она создана людьми и опасна потому, что белый лист не смеет возразить человеческой руке, которая может написать на нем все, что угодно. Ты читал «Мертвые души» Гоголя? — спросил Вася, совершенно забыв, что, несмотря на богатый жизненный опыт, Кот все-таки остался котом и не умеет ни читать, ни писать.— Он первый написал о мертвых душах, которые можно покупать и продавать, потому что они не существуют, а только значатся на бумаге. Повтори-ка, что сказал толстяк, которому хотелось отделаться от жены.

— Он сказал, что на службе она, как положено, постепенно превратилась бы в соответствующий документ.

— Вот видишь! Ты помнишь скандал на площади, который мы видели из окна в первый день приезда? Это были люди, превратившиеся в бумагу. Милиционер бросил в толпу топорик и убил одного из них. Но со смертью не шутят. Ей нет дела до превращений — вот она и вернула одному из документов его человеческую внешность. Теперь мне ясно, почему Верлиока...

Кот вздрогнул и, прижав уши, с ужасом втянул голову в плечи.

— Молчи!

— Почему? — смеясь, спросил Вася.

— Ты произнес его имя!

— Ну да! Не называть же его Высокопревосходительством. Кроме того, мне почему-то кажется, что у него кончились стрелки.

— Я видел их своими глазами,— прошептал Кот.— Он отменил стрелки, потому что придумал для тебя другую, более страшную казнь.

— Ну, это мы еще посмотрим!.. — беспечно отозвался Вася.— Так вот, я говорю, что мне ясно, почему он притворился, что влюблен в Иву,— это была еще одна попытка стать человеком.

— Ну, насчет Ивы — он у меня в руках, — все еще стараясь унять дрожь, заметил Филя.

— Кто он?

— Разумеется, Лука Порфирьевич.

— Не понимаю.

— Завтра я пойду к нему и поставлю перед выбором: «Или ты, братец, расскажешь нам, что случилось с Ивой, или я расскажу Леону Спартаковичу о том, что происходит в его бумажном царстве. Знаешь ли ты, — скажу я ему, — что означенный Леон делает с тобой, узнав, за что ты получил кольцо с бриллиантом в полтора карата? Коррупция, взятки», — грозно сказал Кот, подняв лапу, из которой вылезли длинные когти. — «А Ричард Львиное Сердце? А девочка-собачка, которую похоронили, потому что не хотелось выкармливать двоих?» Пошли.

— Куда?

— Разумеется, в контору.

Вася задумался.

— Ну вот что, мой милый, условимся, — сказал он. — Ты останешься в гостинице. Прости меня, но ты все-таки кот. А я должен поговорить с Лукой Порфирьевичем как мужчина с женщиной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,

в которой Лука Порфирьевич берет отгул, а Вася узнает, что случилось с Ивой.

А ведь однообразный шелестящий и, я бы сказал, шебаршащий, загадочный шум все продолжался — днем и ночью, ночью и днем, — и нашим путешественникам, может быть, так и не удалось бы догадаться о его происхождении, если б Филипп Сергеевич не соскучился по Розалине. Хотя он простился с ней и даже сказал «чао», но она почему-то постоянно попадалась ему на глаза, и в конце концов ему захотелось снова сказать ей «чао», но уже в смысле «здравствуй», а не «прощай». Кроме того, он надеялся, что она расскажет ему что-нибудь новенькое насчет характера и образа жизни Луки Порфирьевича — мало ли что еще могло пригодиться!

И после того как Филя сердечно и неторопливо приласкал ее, у них состоялся разговор.

— Что касается шума, — объяснила она, — вопрос решается просто. Шуршат, или, вернее, шелестят, бумаги. Одним хочется поскорее отправиться по назначению, другие боятся, что опоздают, а третьи уже опоздали, пожелтели и стараются напомнить о себе начальству. Вот они и ворочаются с боку на бок, толкаются и даже грозятся подать друг на друга в суд, хотя связываться с ним, вообще-то говоря, опасно. Судебные бумаги лежат свернутые в трубки, и среди них, говорят, поселились удавы.

Что касается Луки Порфирьевича, Розалина отозвалась о нем с похвалой.

— Влиятельный человек, — сказала она, значительно сложив губки.

Холост он или, может быть, вдов, этого Розалина не знает, потому что ей исполнилось только два года. Одевается он аккуратно, не пьет, и хотя в Шабарше семичасовой рабочий день, часто не оставляет своей конторы даже в воскресенье. Но иногда неожиданно берет отгул и сидит дома, завесив окна и никого не впуская.

Вот в такой-то день Вася, оставив дома Филиппа Сергеевича, дружески болтавшего о чем-то своем с Розалиной, отправился к секретарю Верлиоки.

Дом отличался от соседних домов только тем, что казался нежилым — ставни были закрыты и дом выглядел так, как будто восполь-

зовавшись отгулом, владелец куда-то уехал, может быть на охоту или рыбалку. Но поднявшись на крыльцо, Вася по-дружески поговорил с дверью, и она хоть и нехотя, но отворилась перед ним.

Просторная прихожая оказалась битком набитой мебелью: шифоньеры теснили шифоньеры, на полубуфете были беспорядочно навалены стулья. Зато в соседней комнате, почти пустой, сквозь окна, снаружи прикрытые ставнями, пробивались полосы света и неподвижно ложились на пол. Впрочем, на полу лежали не только полоски: он был покрыт пачками денег. Очевидно, и мебель-то была вынесена в прихожую для того, чтобы в этой комнате деньги чувствовали себя как дома. Здесь были не только наши сотенные, полусотенные, десятки, четвертные. Попадались кредитные билеты из иных земель. Вася, взявший с собой фонарик, разглядел на одном из них золотого льва под короной. Это был билет в сто фунтов стерлингов.

Мало кому случалось шагать по деньгам. И нет ничего удивительного, что под его ногами они запищали сперва еле слышно, а потом все громче и громче. «Понятно,— подумал Вася.— Недаром же о деньгах говорят: купюра достоинством во столько-то и столько-то. Стало быть, у них есть достоинство, а я как ни в чем не бывало попираю его ногами».

Вы думаете, что Лука Порфирьевич удивился, увидев Васю? Ничуть не бывало!

— А, молодой иностранец! — приветливо сказал он.— Милости просим. Налить?

На столе стояли две бутылки водки, одна уже почти пустая. А рядом — соленые огурцы, толстые ломти ржаного хлеба и распластанная на газете сеledка.

— Спасибо, нет. Я водку не пью.

— Шампанского не держим. Но как ты...

Лука Порфирьевич задумался. Он лежал, когда Вася вошел, а теперь снял со спинки кровати голые журавлиные ноги в задранных брюках и сел. Голова его покрутилась как на шарнире, серовато-мутные глаза несколько прояснились.

— Как ты сюда попал?

— А я с дверью по-дружески поговорил — и она распахнулась. Лука помолчал.

— Это бывает,— наконец сказал он.

Без сомнения, Лука Порфирьевич брал отгул для того, чтобы никто не мешал ему выпить, пропустить или тяпнуть — в русском языке есть много слов для обозначения этого нехитрого дела. Он приветливо встретил гостя, и Васе угрожать ему не хотелось. «Все-таки старый человек,— думалось ему.— И даже, может быть, птица».

— Лука Порфирьевич,— мягко заметил он,— вы знакомы со всеми делами Леона Спартаковича и часто бываете в его квартире. Скажите, пожалуйста, вы не встречали у него девушку?.. Ну, как вам о ней рассказать... Белокурая, загорелая, голубые глаза. Одета по-дорожному, в курточке и джинсах.

Лука Порфирьевич распечатал вторую бутылку, выпил и, крякнув, понюхал корочку хлеба.

— Была да сплыла.

— Где она, что с ней случилось?

Пятна и полосы солнечного света дрожали на стенах, потолке и на полу, становились то шире, то уже — можно было подумать что и они волновались не меньше, чем Вася.

— Не скажу. Государственная тайна! И вообще, кто ты такой? Откуда ты взялся на мою голову? Вот я бы сейчас пел или спал, а мне нужно с тобой разговаривать. Почему? За что? Берет человек отгул, запирается, чтобы его оставили в покое эти бумажные хари, выпивает, закусывает. Ну почему... — он смахнул слезу,— почему я должен выдавать тебе государственную тайну?

— Ну вот что,— тихим, страшным голосом сказал Вася,— или вы мне скажете, где она, или я сейчас докажу, что мне известны некоторые если не государственные, так весьма опасные для вас тайны.

— Ох, испугал!

— Считаю: раз! — Он помедлил.— Два!

Секретарь ухмыльнулся, выпил еще стаканчик и закусил селедкой.

— Три. Ну, Лука Порфирьевич, теперь держитесь. Кстати сказать, вы верующий?

— А тебе какое дело? Ну, допустим, да!

И он демонстративно перекрестился.

— Так вы считаете, что поп не должен называть новорожденно-го Ричардом Львиное Сердце?

Вам случалось видеть, как трезвеют очень пьяные люди? Нежные, пушистые шарики хмеля вылетают из головы и растворяются в воздухе, как в раскрашенном сне, а некоторые, прежде чем растаять, по-детски гоняются друг за другом. Сразу же все становится на свои места, откуда-то появляется ясность, похожая на грубый, неотесанный камень,— ясность, которая дает понять, что с ней шутки плохи.

Именно это произошло с нашим секретарем, когда он услышал об упрямом попе. Но он сдался не сразу.

— Какой такой Ричард? — спросил он беспечно и слегка задрожавшей рукой поставил на стол стакан.— Не слышал!

— И даже удалось ли Жабину отравить жену, не слышали? — с любопытством спросил Вася.

Плоские тусклые глаза человека-птицы вспыхнули от страха и изменили цвет, вылезли из орбит, и откуда-то появились длинные, мелко хлопающие ресницы. Все это, казалось, дошло до предела и не могло удвоиться. Однако удвоилось, когда Вася спросил:

— И неужели вы, наивный человек, поверили, что покойная девочка была похожа на собачку?

Остолбеневший Лука Порфирьевич со стуком, тяжело рухнул на колени.

— Сколько?

— Не продается,— громко ответил Вася и так стукнул кулаком по столу, что бутылки и стакан подпрыгнули и скатились на пол.

Секретарь горестно покачал головой.

— Его Высокопревосходительство посадили ее в землю,— одними губами прошептал он.— В парке за домом, под флаговой сосной.

И вдруг легкое, счастливое чувство охватило Васю. Он вспомнил ночь, которую провел в парке. Вот почему его как магнитом тянуло к молодой иве!

Взъерошенная гряда перьев, из которой торчали горбатый клюв и длинные голенастые ноги, лежала перед ним.

— Еще один вопрос, Лука Порфирьевич,— сказал Вася.— На полу в соседней комнате лежат деньги... Я понимаю, это взятки. Но почему вы положили их на пол?

— Сушу,— еле слышно ответил секретарь.— В подвале сыро. Плесневеют, будь они прокляты.

Вася засмеялся и вышел.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ,

в которой рассказывается, что случилось с Ивой.

Конечно, было бы гораздо лучше, если бы Ива сама рассказала о том, как она оказалась в Шабарше. Но, к сожалению, она об этом ничего не знала. Появление «мерседеса» не осталось бы незамеченным в Котома-Дядьке. Поездом Леон Спартакович воспользоваться не мог — станция Шабарша не значится в железнодорожных расписаниях. Остается предположить, что он усыпил Иву, а потом уле-

тел вместе с нею по воздуху, хотя регистраторам, даже в чине Главного, летать категорически запрещено.

Так или иначе, она очнулась в незнакомой комнатке, в незнакомом доме и увидела незнакомого человека, который старательно гладил белье на старомодной, обитой войлоком доске. Да полно, человек ли это? И если человек, то женщина или мужчина? На лысоватой головке лежали в беспорядке какие-то кисточки, похожие на перья, нос был удивительно похож на клюв, однако на нем сидели очки. Из широких штанов торчали крепкие птичьи лапы. И — самое удивительное — на нем был грязный, перетянутый поясом длинный передник. Бутылка водки стояла на окне, время от времени он прикладывался к ней и негромко напевал:

Ни про друга, ни про недруга,
Ни про милого, ни про немилую.

Несмотря на странную внешность, в нем было что-то уютное.

— Простите,— сказала ему Ива,— не скажете ли вы, где я? И что со мной случилось?

Человек, похожий на птицу, набрал в рот воды, спрыснул лежавшую на доске рубашку, расправил ее и снова взялся за утюг.

— В городе Шабарша,— приветливо ответил он.— Заснула в одном городе, а проснулась в другом. С моей точки зрения, это только приятно. А где? В доме Его Высокопревосходительства Леона Спартаковича Пещерикова. Он-то тебя и пригласил. И слава богу. Живем, как монахи, ни единой женщины в доме. Ну годится ли это, скажите на милость? А я, позвольте представиться, его секретарь. И одновременно, так сказать, разнорабочий.

— Ах, так это Леон Спартакович! — закричала Ива. — Давайте его сюда! Живо!

Без сомнения, Леон Спартакович стоял за дверью, он появился в каморке, едва Ива произнесла его имя.

Вот когда он действительно был похож на Аполлона, причем каким-то образом и на бабочку и на статую одновременно.

— Ах эта Ива, проказница, плутовка! — сказал он весело.— Все-таки заставила меня совершить необдуманый шаг со всей решительностью, присущей молодости.

Ива вскочила с кровати.

— Так это сделали вы,— ледяным (как ей показалось) голосом ответила Ива. — Вас-то мне и надо! Во-первых, скажите, пожалуйста, почему все свои письма вы кончаете словами «с подлинным верно»?

Леон Спартакович рассмеялся.

— «С подлинным» потому, что я питаю к тебе подлинное, а не притворное чувство. А «верно» потому, что верность в наших будущих семейных отношениях должна играть существенно важную роль.

— Ах в семейных? Прекрасно. Что вы там пили? — спросила она птицу-секретаря. — Водку?

— Что пил, где пил? — засуетился тот. — Белье водой спрыскивал! Не пил!

— Опять! — грозно сказал ему Леон Спартакович. — На работе?!

— Ваше Высокопревосходительство! — И секретарь грохнулся перед ним на колени. — Клянусь святой божьей матерью и всеми угодниками — не пил. Один глоток — для бодрости. Что для меня водка? Тьфу!

И он с отвращением плюнул.

— Вы сунули бутылку в белье. Давайте ее мне! Живо!

И так как секретарь медлил, Ива быстро разворошила лежавшую на полу кучу белья и достала бутылку.

— Так, семейных? — повторила она и трахнула Леона Спартаковича бутылкой по лицу.

Секретарь ахнул. Перья на нем встали дыбом.

— Где у вас тут телефон? — кричала Ива. — Я сейчас же вызову милицию! По какому праву вы уволокли меня из Котома-Дядьки?

Искры летели из нее снопами, и с каждым мгновением она все больше становилась похожа на отца в те далекие времена, когда он командовал артиллерийской батареей.

Но и в Леоне Спартаковиче произошла заметная перемена. Под глазами появились чуть заметные синеватые мешки, подбородок потяжелел, и, как показалось Иве, он стал немного ниже ростом.

Человек, как известно, может в редких случаях постареть в несколько минут. Похоже было, что с Его Высокопревосходительством произошла именно эта неприятность. Но все-таки он, что называется, собрался и снова заговорил, хотя язык не очень-то слушался его и слова разбегались в разные стороны, как шарики ртути.

— Ах эта Ива, затейница, оригиналка! Не хочет исполнять свои обещания. Ну что ж! Тогда придется ей посидеть дня два-три в этой жалкой каморке, в то время как ее с нетерпением ждет превосходная квартира.

И он вышел, бесшумно притворив дверь.

Ива села на кровать. Искры больше не вылетали из нее, но сходство с отцом сохранилось и даже стало еще сильнее.

Ползая на коленях, Лука Порфирьевич искал закатившуюся под кровать бутылку, и Иве невольно пришлось снова оценить его странную внешность: из проносившихся штанов торчали тощие перья.

Наконец он вылез из-под кровати с бутылкой в руках, сделал долгий глоток и заплакал.

Ива удивилась.

— Эх вы! — с презрением сказала она. — Мужчина, а плачет. Впрочем, может быть, вы не мужчина?

— Мужчина, — глотая слезы, сказал секретарь. — Да ведь задушит! Или сожжет! Он мне давеча уже грозил зажигалкой.

— Как это сожжет?

— Очень просто. У меня левая лапа уже поддалась, и он об этом знает.

И, задрвав штанину, он показал корявую птичью лапу.

— Не посмотрит, сукин сын, что я сорок лет служу ему верой и правдой.

— Слушайте! Я ничего не понимаю, — сказала Ива. — Человек вы или птица? Почему у вас вместо ног птичьей лапы? Человека можно поджечь, только если облить бензином. Птицу, правда, можно, но это называется не поджечь, а опалить. Впрочем, похоже, что вашу ногу или лапу действительно кто-то сделал из папье-маше. Я не понимаю, почему он на вас-то взъелся? Если вы действительно алкаш, как теперь принято выражаться, так вас надо лечить, а не поджигать.

Секретарь с горечью махнул рукой.

— Эх, барышня!.. Чего тебе принести? Чайку или кофе?

— Отпустите меня, дяденька, а? — как маленькая попросила Ива.

Он испуганно замахал руками.

— Да что ты, в своем ли ты уме? Как я могу тебя отпустить? Я тебя накормлю, а потом — на засов. И хорошо еще, коль не буду спать у тебя под дверью, как собака.

Он вышел, а через полчаса вернулся с подносом, на котором были хлеб, масло, сухарики и дымящая вкусным паром большая чашка кофе...

Конечно, следовало бы рассказать о том, как Ива провела этот беспокойный день. Но рассказывать не о чем. Ива с аппетитом позавтракала и уснула. А когда она открыла глаза, была уже ночь и в узкое окно смотрел молодой внимательный месяц. Он-то, без сомнения, сразу же разгадал первую мысль, которая не пришла, а со всех ног прибежала к Иве в чердачную каморку: «Удрать!» Но как?

Дверь была закрыта на засов, это она разглядела в щелку. Кроме того, было вполне вероятно, что секретарь действительно спит на полу.

Ива зажгла лампочку, свисавшую с потолка на шнуре, и огляделась: проходить сквозь стены удавалось до сих пор только одному молодому симпатичному немцу в фильме «Человек проходит сквозь стену». Оставались потолок, до которого без лестницы невозможно добраться, и пол. Ива задумалась: пол был дощатый и между досками щели. Увы! Для того чтобы проскользнуть через самую широкую из них, Иве надо было превратиться в собственную тень. Что делать? Она посмотрела на гладильную доску, которую Лука Порфирьевич приставил к стене. И доска ответила ей лохматым отзывчивым взглядом. «А ведь она-то, пожалуй, пролезет в щель,— подумала Ива.— Если с края оборвать войлок». Она сделала это, извинившись,— все-таки доска изрядно пострадала. А потом, просунув ее в щель узким концом, прыгнула на широкий. Половица крикнула, но поддалась: очевидно, была прибита непрочной.

Уж не знаю, сколько раз пришлось Иве повторить свое гимнастическое упражнение,— кстати, в школе она занималась легкой атлетикой и даже с успехом участвовала в состязаниях. Но четыре половицы были отодраны и под ними открылась Неизвестность, темная и полосатая. Надо полагать, что Лука Порфирьевич, прикончив вторую бутылку, очень крепко спал под дверью, потому что его разбудил бы грохот, с которым, прыгнув в Неизвестность, Ива проломила потолок и приземлилась в комнате, расположенной под каморкой.

Испуганная, с исцарапанным лицом, она немного посидела на полу, прислушиваясь: нет, все тихо! Вслед за ней сквозь пролом пробрался, тоже немного поцарапавшись, слабый свет лампочки, которую она не погасила.

По-видимому, она попала в библиотеку: золоченые корешки старинных книг смутно виднелись за стеклами массивного шкафа. Две двери были широко открыты: одна в соседнюю комнату, другая в коридор. Ива выбрала вторую — в первой темнота была страшнее. Длинный коридор привел ее к двери, и Ива осторожно приоткрыла ее. Это была спальня. За прозрачными занавесками, в глубокой нише лежал какой-то старик, а над ним висел шар, чем-то похожий на глобус. Неясные очертания материков, морей, океанов проступали на глобусе, озаренные изнутри золотистым светом.

Старость, как известно, бывает разная: достойная и недостойная, спокойная и беспокойная. Это была грозная, безнадёжная старость из тех, что с каждым вздохом приближают к смерти.

Случалось ли тебе, читатель, видеть когда-нибудь трагическую маску античного театра: скорбно изогнутый рот полуоткрыт, голый лоб упрямо упирается в брови, каменные складки щеки тяжело свисают по сторонам острого носа? Лицо старика напомнило Иве эту маску.

Окно было распахнуто настежь, за ним притаились свежие сумерки парка.

Бесшумно пройдя мимо спящего, Ива уже приближалась к окну, когда старик, крихтя, вдруг повернулся на другой бок, и она поняла, что он видит ее. Она хотела выскочить в окно, но самый воздух стал таким плотным, вязким, свинцовым, что как она взглянула

на старика, полуобернувшись, так и застыла в стремительном, но окаменевшем движении.

Между тем он, побряхтывая, неторопливо вставал с постели.

— Ах эта проказница, выдумщица, баловница,— сказал он, усмехнувшись.

И, похолодев от ужаса, Ива узнала голос Леона Спартаковича. Это был он, он — в длинной, обшитой кружевами рубашке, свисавшей с костлявых плеч до самого пола.

— Захотелось прогуляться?

Он помолчал. Лоб его страшно разгладился, глаза сузились. Он думал.

— Я выбрал тебя, надеясь, что ты поможешь мне победить мою старость. И если бы ты согласилась стать моей женой...

— Но ведь я ничего не обещала,— одними губами прошептала Ива.

— Ты подарила мне, а потом отняла надежду. Это преступление, а за преступления по моему приказу вливали в ухо яд и бросали под мельничные жернова. — Он снова усмехнулся. — Но я этого не сделаю. Дело в том, что ты очень похожа на женщину, которую я когда-то любил. Когда-то — это не очень давно, не больше полутысячелетия. Ты красива, у тебя своеобразный ум. Ты решительна и — эту черту я больше всего ценю в женщинах — беспечна. Но тебе еще многому надо научиться, и прежде всего — терпению. Я не задушу тебя. Я посажу тебя в землю — надо же тебе оправдать свое древесное имя. Ты подрастешь, и — кто знает — может быть, через пять-шесть лет мне удастся убедить тебя стать моей женой.

Он еще не договорил, когда память, похожая на маленькую старинную арфу, медленно отделилась от Ивы. Человеческие мысли, торопясь и даже прихрамывая от торопливости, отлетали, и последние слова, которые ей еще удалось расслышать, были: «Я с тобой, Чинук». Это был виолончельный голос мамы.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ,

в которой к Иве возвращается память.

Главное было — не волноваться. Но как раз это-то Васе и не удавалось. «Одно дело — вернуть жизнь баскетболисту, превращенному в розовый туф,— думал он.— И совсем другое — вмешаться в жизнь природы. Деревцо, да еще молодое, задумывается, размышляет, грустит. Оно привыкло быть самим собой, а ведь это далеко не всегда удается даже человеку. Кто знает, может быть, Ива не захочет расстаться с миром природы, в котором, я уверен, она чувствует себя прекрасно. Она любит неожиданности, а уж большей неожиданности, чем та, которая случилась с ней, нельзя и придумать. И вообще... Может быть, я уже давно не волшебник? Всякое дело требует практики, а между тем нельзя же считать чудом, что в доме Луки Порфирьевича я приказал двери распахнуться — это, в конце концов, мелочь».

Но что-то подсказывало ему, что Ива не откажется снова стать человеком хотя бы потому, что на иву можно смотреть не улыбаясь, а на Иву — с большой буквы — нельзя. «Беда, конечно, в том,— думал Вася,— что я совершенно не умею объясняться в любви, а ведь недурно бы, хотя это и не принято в наше время!»

Кот навязывался стоять на стреме, как он грубо выразился, но Вася решительно отказался.

— Мы должны быть одни,— сказал он.

Иве стало смешно, что мать назвала ее именем, которым она подписывалась в семейной стенной газете. «Значит, я вернусь»,— еще успела подумать она, а потом маленькая арфа, которая была

ее памятью, стала таять и таять. Она почувствовала, что руки стали ветвями,— они могли теперь подниматься, только когда начинался ветер. Но ничто не мешало ей оглядеться, и стало ясно, что ее посадили в запущенном парке, где было много кленов, берез, орешника, дикого шиповника, дикой малины. Сосна была только одна — флаговая, с могучими, изящно изогнутыми ветвями. Птицы пели, перекликались, заботились о птенцах — словом, чувствовали себя как дома. И это никому не казалось странным — они и были дома.

— А, новенькая,— сказал старый дятел. — Могу позволить себе предоставиться — Отто Карлович. Я германец и с трудом научился говорить с русски птица. Но это не беда. У тебя молодой, свежий кора, в которой еще не поселился разный мошка, и мы можем познакомиться просто так, для удовольствия. Какой-то сорока говорил, что ты был девочка, на который каждый улыбался. Это правда? Еще она говорил, что тебя посадил какой-то шарлятан, хотя очень много шарлятан бесполезно живут на наша планета. Вот их и надо посадить, а тебя снова сделать девочка и выдавать замуж...

Самое трудное, оказалось, пустить корни, но зато жизнь сразу стала гораздо интереснее, когда иве это удалось. Дело в том, что под землей тоже плетутся сплетни, интриги, зреют скандалы, склоки и заговоры, а порой происходят даже тайные убийства, прорастая мухоморами, сатанинскими и другими ядовитыми грибами. Новости разносили белочки (в особенности когда они линяли) и гномики — маленькие, носатые, в бархатных куртках, в красных штанах и шапочках из желудей: гномики были франты. Но ива не любила сплетничать, она мечтала о другом: ей очень нравилась флаговая сосна — вот бы познакомиться и даже подружиться с ней! Однажды она громко сказала об этом, и ветер, который считал себя — и не без основания — хозяином леса, услышал ее слова.

— А я-то на что? — обронил он.

И мигом полетел к флаговой сосне, которая без его ходатайства едва ли пожелала бы познакомиться с обыкновенной молоденькой ивой. В ветреную погоду они разговаривали, и ива от души удивлялась, что эта королева парка совершенно не замечает своей красоты. Она была величественна, рассеянна и печальна.

— О чем вы грустите? — как-то спросила ее ива, и сосна призналась, что не может примириться с тем, что выросла флаговой, а не мачтовой.

— Ведь мачтовые сосны становятся мачтами и пересекают моря и океаны.

— Простите, но ведь тогда вам пришлось бы расстаться с жизнью?

— Что жизнь! Я бы охотно променяла свою бесполезную, неподвижную жизнь на один переход через Средиземное море.

И хотя ива не осмелилась возражать, но она была решительно не согласна. Как это «что жизнь»? Жизнь прекрасна! Каждое утро раннее солнце появляется неизвестно откуда, и роса, которая ничуть не жалеет, что через несколько минут исчезнет, встречает его с такой уверенностью, как будто ей суждена вечная жизнь. Птицы начинают свой бессвязный оглушительный хор, и Отто Карлович, который когда-то окончил лесную консерваторию в Вюртемберге, в ужасе всплескивает крылышками и, схватив клювом первую попавшуюся веточку, начинает дирижировать: «Ля, ля, ля». Гномики снимают свои шапочки и опускаются на колени, ведь все они как один религиозны — кто католик, кто протестант. Каждая травинка распрямляется и потягивается, надеясь, что она похорошела за ночь. У ежей по утрам переполох, ежики перепутывали мужей, и самая молодая и хорошенькая жалуется, что ей подсунули инвалида вместо жениха, у которого иглы вдвое длиннее.

— Говорят, что ты был поэт,— сказал однажды иве старый дятел. — В молодости я тоже писал очень хороший поэм.

И он прочитал:

Маленький собачка с великий злость
Грыз кость.
Большой собака приходиль
И маленький собачка спросиль:
«Маленький собачка, почему ты с такой великий злость
Грызешь кость?»
Маленький собачка отвечал:
«Мне хозяин давал»³.

Дети играют в парке, и иве начинает казаться, что они похожи на нее, но девочки больше, чем мальчики, и это кажется ей очень странным. Подбежать бы к ним, окликнуть, поболтать — но нет, она не может сделать ни шагу. И печальная дремота охватывает иву. Ей чудится, что она не всегда была такой, что когда-то — совсем недавно, может быть, три или четыре дня назад — она умела ходить, оглядываться, смеяться. Боже мой, неужели кто-то когда-то говорил ей, что она нетерпелива? Неужели она всегда стояла среди других деревьев, не обращавших на нее никакого внимания? Неужели кто-то думал о ней, тревожился, волновался? Неужели мама, по вечерам рассматривая ее дневник, говорила с огорчением: «Ну вот, Чинук так я и знала: у тебя опять по алгебре двойка».

Но вот ночь у длинных ногам сломя голову прилетает в парк и терпеливо укладывает маленькие, но все растушие тени на зеленый подлесок. Издалека, а вот уже ближе, доносится грустно-настойчивый голос кукушки, предсказывающей кому-то долгую, а кому-то короткую жизнь. Дятел Отто Карлович спит в густых ветвях молоденькой ивы. Он поленился закрыть оба глаза, правый остался открытым, и перед этим широко открытым немигающим зеленым глазом открывается такое зрелище, которое он не увидел бы даже в знаменитом парке Вюртемберга. Какой-то высокий рыжий мальчик подходит к иве, ласково гладит ее ветви, а потом становится перед ней на колени. Mein Gott! Он говорит с ней, как будто они давно знакомы! Конечно, старый немец только хлопает крылышками, стараясь понять, о чем они говорят, но читатели этой истории, без сомнения, не только расслышали, но и поняли каждое слово.

— ...Теперь мне кажется,— говорил Вася дрожащим от волнения и восторга голосом,— что нам даже нужно было расстаться... Не знаю, как тебе объяснить. Сегодня руки у меня развязаны, а вчера мне казалось, что они стянуты проволокой, которая больно резала кисти. Я дышу одним воздухом с тобой, а между тем вообразить это вчера было почти невозможно. Ты думаешь, я знаю, как вернуть тебе жизнь? С баскетболистом Славой это было просто, может быть, потому, что я почти не волновался. А сейчас... Ты понимаешь, ведь я еще очень неопытный волшебник и мне впервые приходится превращать дерево в человека. И, наверно, для того чтобы это произошло, надо прежде всего успокоиться. Мне мешает волнение.

Он помолчал. Ночь была тихая, но откуда-то прилетел ветерок, без сомнения, только для того, чтобы самая длинная ветка дотянулась до Васи и погладила его по плечу.

— Mein Gott,— снова сказал старый дятел,— это невероятно, но мне кажется, милый юноша хочет слушать ответ.

— У нас было счастливое прошлое, правда? Ты не думай, это очень важно. Помнишь, как мы бродили по одичавшим садам в Кутуарах и ветка, угадавшая мое желание, предложила тебе яблоко — единственное в замерзшем саду? Помнишь, как у меня не получился мостик через речку и ты строго сказала: «Надо учиться!»? Помнишь, как я однажды поцеловал тебя, воспользовавшись тем, что мы остались одни

³ Пародия принадлежит В. Далю.

у телескопа? Так слушай же,— звонким, успокоившимся голосом сказал Вася.— Я вызываю твою потускневшую память. Я требую, чтобы ты стала прежней Ивой, с большой, а не с маленькой буквы. Вспомни все, чему ты радовалась, удивлялась, чем огорчалась. Я требую, чтобы твоя отлетевшая память снова верно служила тебе.

Вася справился с волнением, и контур маленькой старинной арфы вдруг возник ниоткуда и стал медленно приближаться к иве. Может быть, арфа оробела, оказавшись в темном незнакомом лесу, да еще ночью, когда человечество спит, намаявшись за день, или принимает снотворное, стараясь уснуть. Она пыталась было удрать, замешавшись в толпе лежавших на земле теней, но Вася ласково сказал: «Куда, куда!» — и подтолкнул ее к иве.

— Еще мгновение — и она растворится в тебе. И ты станешь собой, Ивой, на которую нельзя смотреть не улыбаясь. Прислушайся: Ива!

Дерево вздохнуло, встрепенулось, легкая дрожь пробежала по ветвям, нерешительно протянувшимся к Васе.

— Кто зовет меня? Это вы, Отто Карлович?

Вместо ответа испуганный дятел закрыл второй глаз и притворился спящим. А потом на всякий случай перелетел на соседний клен.

Вася, хотя это было сказано на лесном языке, понял Иву, и его веселый голос зазвенел в ночной тишине:

— Да нет же! Ты не узнаешь меня? Это я, Вася.

Контур памяти стал проясняться — сперва медленно, потом все быстрее. Он таял, сливаясь с ивой, и арфа вдруг еле слышно заиграла. Может быть, это была прощальная песня, ведь память уже не принадлежала себе.

Не думаю, что Васе удалось погасить все звезды и заставить луну нырнуть в облака,— наверное, это произошло случайно. Так или иначе, в парке вдруг стало темным-темно, и никто не видел, как ива превратилась в Иву. Это продолжалось довольно долго — некоторые ветки не слушались. Одна оказалась особенно упрямой, и когда на месте деревца появилась сонная растрепанная Ива, Вася заметил, что из левого рукава торчит украшенная серебристыми листьями ветка. Пришлось властно взглянуть на нее — и ветка превратилась в руку.

— Что же это со мной случилось? — вздохнув, зевая и прикрывая рот рукой, сказала Ива.— Это ты, Васенька? Зачем ты разбудил меня? Все было так хорошо, что лучшего, кажется, и вообразить невозможно. У меня были друзья: поползень, снегирь, коноплянка. Мои корни сплетались с корнями других деревьев, и теперь они будут скучать без меня. Видишь, вон там, на клене, сидит Отто Карлович — это мой друг. Познакомьтесь, пожалуйста. И не удивляйтесь, что я превратилась в девушку. Это сделал Вася. Он еще молодой, но подающий надежды волшебник.

Дятел посмотрел на Васю. Он был немного испуган — а вдруг этот молодой волшебник и его превратит в человека? Но это не помешало Отто Карловичу с достоинством поднять свою пушистую головку и произнести длинную сердечную прощальную речь. В ответ Ива только засмеялась и послала ему воздушный поцелуй. Лесного языка она уже не понимала.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ,

*в которой предстоящая встреча Леона Спартакевича с Васей
приобретает убедительно-стройные очертания.*

Без сомнения, Филипп Сергеевич очень соскучился без Ивы, потому что когда она взяла его на руки, он томно замурлыкал, хотя к нежностям относился скептически и даже несколько презрительно. Потом он попросил ее рассказать, как ей жилось в лесу,— и, увы, ничего не услышал! Лесная память бесследно исчезла, когда маленькая

буква уступила свое место большой. Но зато о том, что произошло в доме Его Высокопревосходительства, Ива не только рассказала, но изобразила. Особенно удалась ей финальная сцена, когда она увидела старика, спящего под светящимся глобусом, и поняла, что перед ней Леон Спартакович, постаревший на тысячу лет.

— Уж и на тысячу? — усомнился Вася.

— Нет, именно на тысячу. И вообще, не перебивай меня. Мне самой интересно. Лучше спроси, почему я не выскочила в окно?

— Почему, в самом деле?

— Потому что он остановил меня взглядом.

Заключительную реплику Леона Спартаковича она сократила, заметив, однако, что насчет ее нетерпеливости он был совершенно прав. Так что нет худа без добра.

— Ведь я действительно была нетерпелива!

Вася молча слушал ее, и Филипп Сергеевич поглядывал на него с тревогой: он не был похож на себя. Угроза редко соединяется с грустью, но на этот раз ей это удалось, потому что его лицо было одновременно и грустным и грозным.

Дважды в течение этого дня Ива, не расставаясь с Котом, спускалась в ресторан — сперва выпить кофе, потом пообедать. Вася не пошел с ними. И прежде, узнавая о предательстве или насилии, он чувствовал легкую тошноту. А в этот день, слушая Иву, он едва справлялся с горечью, подступавшей к горлу. Ива принесла мороженое, которое он любил. Он и от мороженого отказался.

Вечером, когда Ива, простившись, ушла к себе, Филипп Сергеевич устроился у нее в ногах с твердым намерением охранять свою хозяйку до утра, не смыкая глаз, и немедленно уснул. Вася тоже лег в постель и стал думать.

Города, как люди, иногда бывают в плохом настроении, а иногда в хорошем. Ни того, ни другого нельзя было сказать о Шабарше. Но город нервничал. Город был в ожидании событий. Люди сидели по домам, а бумаги сцеплялись на улицах без малейшего повода, а иные улетали, хотя погода была безветренная и даже моросил дождь. Под утро прояснилось, и Филипп Сергеевич, у которого было острое зрение, увидел несколько бумаг, плавающих в пространстве и, очевидно, подумывающих о возвращении домой. С неба свалился и начал шататься по городу большой плакат на тоненьких, но выносливых ножках, потому что его видели одновременно в пяти-шести местах. Постоял он и перед окнами гостиницы, так что наши путешественники могли ознакомиться — это было утром — с его содержанием. Крупными зловещими буквами на нем было начертано: «За неосторожное обращение с огнем — смертная казнь».

И что еще странно, по неизвестной (на первый взгляд) причине над городом образовались две туманности: одна стояла над гостиницей «Отдохновение души», прямо над номером Васи, а другая — над крышей дома, который ничем не отличался от других, а на самом деле, как мы знаем, загадочно отличался.

Скажем сразу: туманности эти были прямым следствием размышлений, с трудом пробившихся через чердачные помещения и кое-где потрескавшийся шифер: Вася думал о том, что он скажет Леону Спартаковичу, а Его Высокопревосходительство думал о том, что он ответит Васе.

Я забыл упомянуть, что Вася давно отказался от женского парика, искусно переделанного в мужской, не говоря уж об эспаньолке. Что касается Кота, то он, отправляясь на свиданье с Розалиной, иногда надевал жокейскую шапочку, хотя и без шапочки имел большой успех, и не только у Розалины.

Мы помним, как равнодушно отнеслась Шабарша к появлению наших путешественников. Но сейчас они чувствовали, что за ними неотступно следит чей-то внимательный взгляд. Их уже знали, и гри-

мироваться было не только смешно, но бесполезно. Вот почему Ива не выходила на улицу и пряталась в шкаф, когда горничная по утрам убирала номер. Превращение маленького «и» в большое должно было оставаться тайной. Надолго ли? Кто знает. Во всяком случае, до тех пор, пока не состоится Большой Разговор, ради которого Вася приехал в Шабаршу.

Наутро после возвращения Ивы было устроено совещание, на котором обсуждалась предстоящая встреча.

— Нет, судьба — это слишком неопределенно, — возразила Ива, сохранившая еле слышный смолистый запах леса. — Не судьба, а справедливость, без которой, в конце концов, скучно жить, а умирать, мне кажется, еще скучнее.

Филипп Сергеевич ядовито усмехнулся.

— Философия, — заметил он. — И почему ты думаешь, дитя мое, что без справедливости скучно жить? Кому скучно, а кому весело.

— А может быть, надо попытаться доказать Леону Спартаковичу, что совесть все-таки есть? — предложил Вася. — Даже если у него ее нет.

— Совесть? — возразил Кот. — Товарищи, вы смеетесь? Его Высокпревосходительство — человек дела.

— Мне кажется, начать надо так, — сказал Вася. — «Наконец-то мы встретились! И вы знаете, я ведь очень сержусь на вас и требую, чтобы вы помогли людям, которым так жестоко отомстили! И за что? Как вам не стыдно! Перед лодочником вы должны не только извиниться, но выхлопотать для него пенсию, даже если ему еще нет шестидесяти лет. Для баскетболиста Славы вы можете сделать многое: пускай его команду пригласят на состязания в Москву и она выиграет у ЦСКА или «Динамо». Как никак вы подло поступили, разлучив его на полгода с невестой. Ведь если бы не я...» Впрочем, упоминать, пожалуй, обо мне еще рано. Ну как?

— Жалкий лепет интеллигента девятнадцатого века, — с отвращением сказал Кот. — Чудак, у тебя в руках единственное оружие, которого он боится. Ты можешь потребовать от него полмира...

— И пару коньков в придачу, — прибавила Ива, вспомнив Андерсена.

— А ты собираешься просить пенсию для лодочника! На твоём месте я начал бы так: «Послушайте, вы, кажется, считаете себя воплощением мирового зла? Ха, ха! Вы — просто мелочь! Едва ли Мефистофель стал бы болеть за «Спартак» или позволил бы себе напиться и оказаться в грязной луже, как это случилось с вами!»

— А по-моему, Филя, ты не прав, — возразила Ива. — Не такое уж это страшное оружие! Даже если бы Леон Спартакович превратился в солдата, который сражался против Ясона, он не пропал бы в стране, где на каждом углу висит объявление: «Требуются сторожа, дворники, разнорабочие». Кроме того, к нему вернулась бы молодость, а он — это я слышала своими ушами — только и мечтает об этом.

Вася задумался.

— Ну нет, — сказал он наконец. — Если бы это было так просто, пылинки не кружились бы в лунном свете и пастушеская дудочка молчала бы, когда я появился на свет. И Леон Спартакович не был бы поражен, убедившись, что я похож на молодого человека, которого он некогда оклеветал и пытался убить. «Он потеряет свободу выбора в превращениях, — сказал старый Ворон. — Но надо, чтобы это имя было брошено ему в лицо человеком, который не боится смерти». А я, между прочим, боюсь смерти. Это так естественно: любить жизнь и бояться смерти! Смешно говорить о себе: «Я предназначен». Но уверяю вас, что он щадит меня, хотя знает, что мне известно его подлинное имя. Больше того, он ждет нашего разговора.

— Как бы не так, — проворчал Кот.

— Эта гостиница, например, могла сгореть, хотя за неосторожное обращение с огнем грозит смертная казнь. И вместе с гостиницей — туристы, занимающие номер люкс. А мы — в безопасности.

— Ой ли!

— Сейчас ты скажешь, Вася, что и он предназначен, — возразила Ива. — А я думаю, что все это для него просто игра. И если бы ты увидел его — не днем, разумеется, а ночью, — ты бы со мной согласился.

Надо заметить, что в конце этого разговора, который продолжался почти весь день, основные детали предстоящей встречи с Леоном Спартаковичем мало-помалу определились — и туманность над номером люкс приобрела убедительно-стройные очертания. Этого нельзя сказать о туманности над крышей Его Высокопревосходительства. С каждым часом она все больше темнела. Казалось, она тяжело дышит и, как загнанное животное, не знает, куда податься.

«Будем откровенны хоть раз в жизни, — думал Леон Спартакович, поглядывая на полупустую бутылку лучшего в мире коньяка «Давид Сасунский». — Был ли ты шпионом Совета Десяти, или мафиозо в Сицилии, или обергруппенфюрером в Баварии, ты прежде всего чувствовал страх, а потом уже ненависть и наслаждение... Боги все еще недовольны тем, что, сражаясь против Ясона, я обманул их и притворился мертвым. — Он налил коньяк в высокую узкую рюмку. — Умилостивить их — что может быть безнадежней? Но бояться этого мальчика смешно! — сказал он себе, стараясь справиться с дрожью, которая так и прохватила его с головы до ног. — Держу пари, что мне удастся договориться с ним. Я верну ему девочку и на Всесоюзном конкурсе школьных ансамблей выберу себе другую. В конце концов, ничего не стоит доказать, что зло неизбежно и что я всегда действовал согласно естественному ходу вещей. Ну, скажем, не я, а Совет Десяти приговорил его к смерти, а старый Ворон лгал, говоря, что он крылом погасил свечу. Свеча погасла под ветром. Он владел шпагой лучше, чем я. И пострадал не он, а я, провалявшись в постели три месяца...»

Мысли спутались, он опустил голову на руки и задремал, не заметив этого, как часто бывает со стариками.

«Да, но ведь это случилось очень давно, — подумал он, просыпаясь. — И в Италии, не в России. Его звали Лоренцо, он был просто-душен, доверчив, влюблен. А этот Вася... Бр-р!..» И он встал и прошелся из угла в угол, стараясь справиться с чувством отвращения и страха. «Нет, нечего скрывать от себя, что он не случайно появился на свет! Судьба не в шутку заставила эти проклятые пылинки соединиться с пастушеской дудочкой, хотя не только зимой, но и летом в поселке Сосновая Гора нет ни коров, ни баранов. Ей не до шуток! Она вернула ему жизнь, чтобы прикончить меня».

Давно пора упомянуть, что для этих размышлений Леон Спартакович избрал зеркальную комнату и мысленно разговаривал со своими отражениями, повторявшимися в сверкающих стенах. Ему показалось, что одно из них, спрятавшись за аквариум, совсем было собралось возразить ему, но когда он подошел поближе, струсило и промолчало.

В ярко освещенном аквариуме большие рыбы с бородатыми зверскими мордами, величественно двигая плавниками, мимоходом глотали маленьких, уютных, разноцветных рыбок, и безошибочность, с которой они это делали, немного успокоила Леона Спартаковича. Но один из малышей ловко увертывался — он любил жизнь и не собирался с нею расставаться. «Говорят, от судьбы не уйдешь, — глядя на него, подумал Леон Спартакович, — но попробовать можно».

В дверь осторожно постучали, и вошел Лука Порфирьевич, подтянутый, гладко причесанный, в длинном черном парадном пиджаке и в штанах с генеральскими лампасами.

— Здравствуй, собака,— сказал Леон Спартакович.— Ну, как дела?

— Волнуются, Ваше Высокопревосходительство,— ответил секретарь, держа руки по швам и боязливо моргая.— Говорят — надоело! Говорят — откуда он взялся на нашу голову? Больше не желаем превращаться в бумагу, Говорят — живут же люди!

— Неблагодарные скоты! — с горечью заметил Леон Спартакович.— Я хотел построить для них театр — отказались! Предложил пригласить гастролеров — «на что нам они?». Скучать, видите ли, полезно! «Скука — отдохновение души!» А почему, я вас спрашиваю, они превращаются в бумагу? От скуки! Еще что говорят?

— Простите, Ваше Высокопревосходительство! — Лука Порфирьевич скорбно вздохнул.— Говорят — чего там долго думать? Нас много, а он один. Навалимся и задушим.

Леон Спартакович усмехнулся и подошел к окну. Смеркалось, но в сумерках еще были видны здесь и там белые пятна. Это были бумаги. Одни кружились в воздухе, нерешительно приближаясь к дому. Другие с трудом переваливались через забор и ползли по парку, извиваясь между деревьями, как змеи. Третьи пытались шагать, но не удавалось: они еще были людьми, но уже плохо стояли на своих картонных ногах.

Леон Спартакович усмехнулся. Он налил в два фужера коньяк, один предложил секретарю, другой неторопливо выпил. Потом сел в кресло и закурил.

— Ну вот что: иди домой, уложи чемодан и возвращайся.

Когда Лука Порфирьевич ушел, он поднялся в гардеробную, открыл сундук и бережно вынул из него пересыпанный нафталином поношенный черный плащ, похожий на мантию, но с отороченными белым бархатом рукавами. Нафталин он отряхнул, а плащ повесил в прихожей.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ,

в которой у Ольги Ипатьевны плохо курится трубка, а Главный Регистратор превращает поношенную мантию в ковер-самолет.

«Что-то мне сегодня плохо дышится,— подумал Платон Платонович, выходя после завтрака в сад, украшенный первым выпавшим ночью снегом.— И погода, кажется, хороша. И сосны не забывают, что они растут на Сосновой горе,— воздух смолистый, сухой и свежий. И спал я, кажется, недурно. Ах да! Плохо дышится, потому что давно нет известий от Васи».

«Что-то моя трубка сегодня не курится,— думала Ольга Ипатьевна, подметая столовую и принимаясь чистить диван пылесосом.— Табак, кажется, не мог отсыреть, ведь я держу его на полке у плиты, в жестяной коробке. Правда, мне плохо спалось — вчера, как на грех, налила в тесто рыбий жир вместо постного масла. Но ведь Платон Платонович съел пирожок, заметив только, что он напомнил ему поговорку «ни рыба, ни мясо». Ах нет! — вдруг спохватилась она.— Трубка не курится, потому что я беспокоюсь за Васю!»

«Кажется, уж такое светлое утро, что светлее и вообразить нельзя,— думала Шотландская Роза.— Первый снег выпал, и его нежный цвет соединился с уверенным солнечным светом. А у меня темно в глазах, как сказала бы я, если б была человеком. Пустая лейка стоит подле меня на полу — может быть, я сегодня забыла сказать воде «доброе утро»? Нет, сказала! А темно у меня в глазах, и тесно в просторном фонаре, и не радуюсь тому, что согревшаяся в комнате вода освежила корни, потому, что мне вспомнились печальные времена, когда на свете еще не было Васи. Где-то он теперь? Правда, с ним Филипп Сергеевич, который отличается от умного и опытного человека только тем, что он кот, а не человек. Но это, в сущности, не так уж и важно».

Не стану рассказывать о том, что творилось на соседней даче,— стоит ли повторяться? И там плохо спали, и там Алексею Львовичу не дышалось, а у Марьи Петровны не курилась бы трубка, если б она ее курила. Единственное, что ей оставалось,— прятать от мужа запяканные глаза и перечитывать письма, которые приходили все реже. Впрочем, Алексей Львович немного успокоился после того, как академик Булатов доказал ему, что согласно теории вероятности с Ивой ничего плохого случиться не может.

Да, в Сосновой Горе день только начинался, а в Шабарше уже приближались сумерки, те самые, которые французы затейливо называют временем между собакой и волком. Но в воздухе и здесь и там господствовал белый цвет — в Сосновой Горе шел неторопливый первый снег, а по улицам Шабарши крутился бешеный бумажный вихрь.

Документам, как известно, не положено летать по воздуху, а эти летали. Документам не положено походить ни на птиц, ни на летучих мышей, а эти были похожи. В истории человечества, кажется, не было случая, чтобы канцелярские документы восстали против своего повелителя, который даже любовные письма кончает словами «с подлинным верно», но эти восстали. Шабарша была охвачена бунтом бумаг.

Приближаясь к дому Его Высокопревосходительства, Вася убедился в том, что почти все документы, поднявшись в небо, бесстрашно пикируют на дом, который на глазах превращается в бесформенную кучу бумаг. И Пещериковская (вдоль которой шел Вася) была завалена бумагами, но пожелтевшими, очевидно давно перевалившими за пенсионный возраст. Летать они уже не могли, но ползли со зловещим шипеньем, и тоже не куда-нибудь, а к дому, который уже трудно было разглядеть, только труба, прикрытая колпаком, еще торчала над крышей.

Нельзя сказать, что Вася растерялся. Но тщательно обдуманый разговор, двигавшийся к Леону Спартаковичу вместе с Васей, приостановился и как бы пожал плечами: в самом деле, что делать?

— Пожалуй, сегодня ему не до меня. Даже если я решил бы все-таки поговорить с ним, мне просто не удастся пробраться к дому.

И действительно, бумаги буквально запеленали дом, как в старину пеленали детей, плотно прижимая к телу ручки и крепко стягивая ножки. Но высокая труба еще не была завалена, и как раз в ту минуту, когда Вася взглянул на нее, жестяной колпак рванулся в сторону, отброшенный чьей-то сильной рукой, и из трубы вылетел тысячелетний, но еще могучий старик в черной мантии, мгновенно расстелившийся под ним, как ковер-самолет. В одной руке он держал горящий факел, а в другой — глобус, на котором проступали неясные очертания материков и океанов, озаренные изнутри золотистым светом. Он бросил факел на крышу — мгновенно вспыхнувший огонь побежал по бумажной горе, но не вверх, а вниз, повинувшись неведомой воле. А за ним выкарабкался, отмахиваясь от бумажных стрел, Лука Порфирьевич, нимало, казалось, не озабоченный, а скорее обрадованный тем, что случилось. Он устремился за своим повелителем, тяжело размахивая черными крыльями и бесстыдно вытянув голые журавлиные ноги.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,

в которой доказывается, что доброе дело в воде не тонет и в огне не горит.

Трудно сказать, в какую сторону, выезжая из Шабарши, направился бы наш «Москвич», если б сторож в бабьем платке — тот самый, которого Вася избавил от зубной боли, — не показал, куда направился Его Высокопревосходительство со своим секретарем-домработницей — птицей. Правда, старик из осторожности махнул

рукой сперва налево, а потом направо, но, поднимая шлагбаум, он крепко зажмурил именно правый глаз, и это решило дело. Догадывался он или нет, что Вася твердо решил догнать Леона Спартаковича и поговорить с ним как мужчина с женщиной, мы не знаем. Но так или иначе, он долго смотрел вслед укатившему «Москвичу», бормотал: «С богом» — и вернулся в свою сторожку тогда, когда машина исчезла.

Впрочем, предстоящей встречей, очевидно, интересовались не только на земле, но и на небе.

Хорошо известно, что на небе иногда происходят удивительные явления. В ясный день облака, преимущественно перистые, начинают негромко, но внятно звучать, и некоторые композиторы, обладающие сверхабсолютным слухом, пользуются музыкой небесных высот для своих сонат и прелюдий. Но то, что произошло, когда «Москвич» повернул направо от Шабарши, оценили бы художники, а не музыканты. Справа над горизонтом поплыло, переваливаясь, розовое облако, похожее на добродушную толстую бабу, непричесанную, только что вставшую с постели и потянувшую за собой изорванную, тоже розовую простыню. Но хотя она была изорвана, на ней можно было (не без труда) разобрать слова: «Счастливого пути». Это напутствие успела прочитать только Ива, потому что Кот спал, а Вася осторожно вел машину по неровной дороге. Дорога вела на юг, но не к радушному Черному морю, а в сторону пустыни — сухое жаркое дыханье встретило их, едва они покинули Шабаршу.

Если судить по географической карте, никакой пустыни не было в этих местах, а между тем вдали уже показались верблюды, мерно шагавшие вдоль унылых песчаных холмов. Впрочем, и Шабарша — крошечное, еле заметное пятнышко, которое прежде все-таки можно было разглядеть молодыми глазами, — исчезла, к удивлению наших путешественников, с географической карты. Перекинулся ли огонь с дома Леона Спартаковича на другие дома, сгорела или нет Шабарша — наша история туда не вернется. «Москвич» летит вперед, недаром же Ива назвала колеса катушками, наматывающими пространство. Горючего полный запас, но вода в радиаторе быстро убывает, и «Москвич», который давно привязался к Васе, осторожно предупреждает его об этом. Но не зря же розовое облако, вставая с постели, пожелало нам счастья! Как ни потянет, ни завязывается узлом дорога, но приводит к зеленой лужайке между холмами, защищенной от ветра и солнца. Больше того: она приводит к поросшей зеленым мхом скале, из которой бьет веселый, вечно молодой прозрачный родник. Газели, никогда не видевшие людей, бродят вокруг, приветливо поглядывая на них круглыми детскими глазами. Гигантский крестовник раскинул здесь свои высокие ветви, острый запах мешает уснуть. Но уснуть все-таки надо!

Освежившись родниковой водой, они устраиваются на ночь. И прежде всех засыпает Филипп Сергеевич с недоодеженной куриной ножкой в зубах. Засыпают Ива и Вася — и сладко спит путникам в загадочном краю, исчезнувшем с географической карты.

Опомнитесь, дети! Что ждет вас впереди? Что заставляет искать встречи с демоном, который тысячелетиями не был самим собой, которому ничего не стоит ускользнуть от вас, превратившись в черного пса или жабу! Но даже во сне они знают, как ответить на этот вопрос: иначе нельзя! Иначе стыдно будет смотреть в глаза Платону, Платоновичу, Ольге Ипатьевне, Шотландской Розе и всему человечеству в придачу.

Первой проснулась Ива — от жары, которая заставила ее сочинить во сне прохладное стихотворение. Одну строфу она запомнила, а все другие зачеркнула в уме.

А снег все медлит, превращаясь в дождь,
Смертельно простужая мостовые,
Дома, заборы, арки, бдюки клеш,
Зонты, такси и зеркала кривые.

Потом побежал к источнику Вася — и вернулся свежий, размахивая махровым полотенцем. А потом Ива попыталась разбудить Кота, который лег на спину, вытянул лапы и ждал, надеясь, что Ива потреплет ему животик, — это было давно принято между ними. Но когда Ива просто сказала: «Пора вставать, Филя», он свернулся клубком и снова крепко заснул. Впрочем, едва был приготовлен завтрак, он вскочил как встрепанный и первый оказался за столом, если можно назвать столом раскинутую на траве клеенку.

Но вот кончен завтрак, все уложено, и, простившись с лужайкой, родником и газелями, наши путники уже снова мчатся по еле заметной под ядовито-желтым песком дороге.

...Пустыня потому и называется пустыней, что на первой же развилке некого спросить — ехать прямо или повернуть? И если повернуть — то куда? Но, может быть, на этот вопрос ответит придорожный куст, выросший из земли, едва «Москвич» показался вдали? Да полно, куст ли это? Высокая молодая женщина с неподвижно-гордым лицом стоит у дороги. Изорванная, полинявшая шаль свисает с ее покатых плеч. Она смертельно бледна — смертельно, потому что мертва. Между лохмотьев истлевшей шали можно заметить нож, глубоко, по самую рукоятку всаженный в грудь.

Кто она? Где и когда убита? Своей ли рукой зарезал ее Главный Регистратор или послал наемного убийцу, который, сделав свое подлое дело, бежал, заслышав шаги приближающегося прохожего, карабинера, полисмена? Где это случилось — на улицах Лондона, Барселоны, Берлина? Было это мстью, расплатой или справедливым возмездием? За что? В чем она провинилась и провинилась ли? Нет, будь она виновна, не подняла бы мертвую руку, указывая дорогу. Праведный гнев пережил ее. Гнев заставил ее поднять эту страшно выглядывающую из разноцветного тряпья руку.

У Кота закатились глаза от страха, и он потом долго не мог уговорить их вернуться на место. Ива вздрогнула и едва удержалась, чтобы не закричать. Но Вася спокойно встретил взгляд давно остановившихся глаз. Он хотел сказать: «Благодарю вас». Но перед ним уже снова был обожженный солнцем придорожный куст.

Вперед! Перед машиной вырастает черная стена тумана — откуда в такой сухой пылающий день? Но Вася, разогнав машину, пробивает стену и оставляет ее далеко за собой. Вперед! Поднимается ветер, вьется и кружится песок. Кружится и вьется, слетаясь и разлетаясь, сплетаясь и расплетаясь, как кружево, сквозь которое пробивается, причудливыми пятнами ложась на землю, солнечный свет.

Еще десять — пятнадцать километров — и черный кипящий ручей перерезает дорогу. Неужели вода? Нет, смола, над которой стоит распадающийся на клочья и снова сливающийся воздух. Ни Вася, ни его скромный «Москвич» не умеют летать, а если не перелететь этот ядовитый поток...

Но уже стелются по земле неясные тени, похожие на толпу грязных, оборванных нищих, поднявшихся из могил, разбросанных по всем пяти частям света, — стелются, и, вырастая, подползают к машине. Им не страшна кипящая смола, мертвые не чувствуют боли. Их много: отравленных, повешенных, задохнувшихся в газовых камерах, погибших от голода и страха. Они знают, что мертвые могут помочь живым, и на несколько минут оживают забытые надежды, возвращаются потерянные силы.

С закрытыми глазами сидят в машине Ива, Вася и Кот, который как никогда прежде чувствует себя человеком.

Тени поднимают машину и, шатаясь, бредут через ручей по поясу в ядовитой смоле. Они ставят ее на дорогу так осторожно, что колеса с трудом догадываются, что можно продолжить путь. Ива и Вася одновременно открывают глаза, открывают окна, чтобы поблагодарить и проститься. Но некого благодарить и некому сказать: «Прощайте!»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой Главный Регистратор жалеет, что у него никогда не было мамы.

Но как живется в своем дворце на краю суконного поля Демону Бюрократии Леону свет Спартаковичу? Плохо живется. Скучает он, томится и кашляет — простудился дорогой. Достается от него Луке Порфирьевичу, который уже снова надел штаны и превратился в человеко-птицу. Дворец давно не ремонтировался, теперь уже едва ли кто догадается, что он был задуман в духе венецианских палаццо — с узорными балконами, с высокими овальными выходами на другие маленькие балконы. Много окон, но цветные стекла в одних потрескались от времени, в других разбиты ветром.

Шаркая ночными туфлями, в расстегнутом, свисающем до полу ватном халате, бродит из комнаты в комнату Главный Регистратор. Забытая мысль тревожит его, он жмется, и ежится, и дрожит, пытаясь вспомнить ее. «Ах да! Лоренцо. Красивый мальчик, он, помнится, тяжело ранил меня? Скоро увидимся. Что делать, если ни стена тумана, ни песок пустыни, ни кипящая смола не остановили его! И ничего больше не остается, как постараться доказать, что пастушеская дудочка и пылинки в лунном свете случайно соединились на Сосновой горе. Случайно — и тогда все остается по-прежнему. Он не называет мое подлинное имя — и способность к превращениям, без которых я не могу жить, не оставляет меня».

— Лука!

Глухой, неясный голос отозвался откуда-то снизу.

— Принеси мне коньяк, там еще полбутылки осталось.

«И чего эти проклятые документы на меня навалились? — продолжает размышлять Леон Спартакович. — Устроил им спокойную, обыкновенную жизнь. Обыкновенную — ведь это ценить надо! Что ж такого, что в старости они иногда превращаются в бумагу».

«Придется скрываться, ведь меня могут узнать! Куда бежать?» — спросил он золотистый шар, на котором очертания суши терялись, потонувшие в беспредельном пространстве воды. И глобус молчаливо ответил: в основании Апеннинского полуострова, который всем школьникам кажется сапогом, в Италии, на берегу Адриатического моря зажглась прозрачная точка. Венеция! Все ли изменилось в Венеции? Нет, по-прежнему стоят лошади на соборе святого Марка, по-прежнему он сверкает цветными отблесками при свете вечерней зари. И шаги в глухих переулках звучат по-прежнему как будто из заколдованной дали.

— Лука!

Секретарь нехотя приоткрыл дверь.

— Зайди! А может быть, где-нибудь еще осталась бутылочка?

— Откуда же? Только в энзе.

— Ну и что ж! Пополним при случае. Тащи!

Лука Порфирьевич ушел и вернулся с подносом, на котором стояли бутылка, две рюмки и лежал нарезанный, слегка позеленевший сыр. Они выпили и закусили. Леон Спартакович вздохнул.

— Послушай, у тебя когда-нибудь бывает тоска?

— Бывает.

— А запой у тебя от чего? От тоски?

— От страха.

- Боишься?
- Боюсь.
- А чего ее бояться? Мне, например, даже хочется иногда умереть.
- За чем же стало?
- Не выходит!.. У тебя когда-нибудь была мама?
- Помилуйте, Леон Спартакович, какая же у меня может быть мама? Ведь я не то человек, не то птица. Таких, как я, закажи — не выродишь.
- И у меня не было.
- Они выпили не чокаясь и налили опять.
- Послушай, Лука... Я давно хотел спросить... Ты верующий?
- Верующий.
- Значит, ты считаешь, что боги все-таки есть?
- Не боги, а бог.
- Нет, брат, он не один. Их много. И они, понимаешь, на меня сердятся.
- За что?
- А я их обманул. Должен был умереть и не умер. Ш-ш-ш! — стуча зубами, еле выговорил Леон Спартакович.— Слышишь? Едет!
- Кто едет?
- Известно кто! И как это может быть, что человеку ничего не надо?
- Почему ничего? Ему много надо.
- Ты думаешь? А тебе не страшно? Ведь ты без меня пропадешь.
- Здравствуйте! Почему же я без вас пропаду? Опытный человек всегда пригодится. Тем более птица.
- Может быть. А ты знаешь, я только теперь догадался, что им было очень больно.— Леон Спартакович бледно улыбнулся.— Как ты думаешь, почему я все это делал?
- На этот вопрос Лука Порфирьевич ответил мудро:
- Не черт копал, сам попал.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ,

в которой Главный Регистратор доказывает, что иногда даже опытные предсказатели ошибаются.

Зимой, надеясь вздохнуть свежим, прохладным воздухом, люди из раскаленных под солнцем городов едут в пустыню. Но не пустыня, а пустота простиралась вокруг так далеко, как может видеть человеческий взгляд. Ни одна самая маленькая травинка не могла пробиться через кремнистую почву, и тяжелый танк прошел бы по ней, не оставив следа.

Поле, на краю которого стоял дом Главного Регистратора, было покрыто толстым сукном — ведь через сукно не прорастает трава, плотно закрытая от воздуха и света.

Вася был сдержан и молчалив — он обдумывал предстоящую встречу. Кот пугливо моргал, подкручивал лапкой усы, притворяясь, что готовится к бою. Ива? Вот кто был искренне удивлен, увидев потемневший, обветшалый дом, на фасаде которого два балкона — маленький и большой — с тоской поглядывали друг на друга. Почему-то почти всю дорогу она повторяла знаменитый пушкинский стих:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...

Увы! Ни лукоморья, ни златой цепи, ни кота, которого она надеялась познакомить с Филей! Неужели в этом доме с проломившейся черепичной крышей действительно живет старый волшебник, проживший такую опасную и занимательную жизнь?

Вася выскочил из машины, быстро поднялся по ступеням веранды, постучал, и пришедшийся Лука Порфирьевич — в парадном скюртуке, в галстуке, повязанном бантиком, в штанах с шелковой генеральской полоской — широко распахнул дверь.

— Боже мой! Кого я вижу! — закричал он, стараясь, чтобы кисточки, появившиеся теперь и над губами, не мешали ему улыбаться. — Радость-то какая! Именины сердца! Недаром мой-то все твердит: «Где мой Лоренцо?» Или даже иногда: «Где мой Василий Платоныч?»

Как ни странно, почему-то обрадовался и Вася. Впрочем, Лука Порфирьевич не дал ему открыть рот.

— Как изволит поживать ваша, с позволения сказать, подруга? Ах, вот и она! Надеюсь, что ей не повредило пребывание в другом естестве? Ну как же! Лес! Живая природа! Органический мир.

— Мяу! — рывкнул Кот.

— Ах, и Филипп Сергеевич здесь? Очень приятно! Как поживаете, дорогой Филипп Сергеевич?

— Мяу! — повторил Кот, и это было грозное «мяу», напомнившее Васе, куда и зачем он приехал.

— Мне бы хотелось увидеть Леона Спартаковича, — твердо сказал он.

— Да ради бога! Милости просим! Пожалуйста! Ваше Высокопревосходительство, где вы? Да что же я вас, Василий Платоныч, на пороге держу! Милости просим!

— Я жду его здесь, — твердо сказал Вася.

— Ах здесь? Почему же здесь? Тогда я мигом.

И он вынес из дому два плетеных кресла и поставил между ними стол.

— Но здесь же как-то неудобно, а? Негостеприимно, а? И я очень боюсь, что Его Высокопревосходительство, так сказать, не в силах выйти сюда, вот именно к вам, дорогой Василий Платоныч. Он в данную минуту занят. Или даже болен.

— Лежит?

Лука Порфирьевич замялся.

— Скорее, так сказать, наоборот, висит. И что касается меня, я, как говорится, оторвать его... ну, скажем, не смею...

— Вы сказали, что я его жду?

— Вот именно. Он, впрочем, сам догадался, И тогда-то... — Лука Порфирьевич сострадательно развел руками. — Тогда и повис.

— Повесился?

— Боже сохрани! Просто вцепился в потолок и повис. Так что если вы хотите его видеть, придется вам все-таки войти.

К изумлению Ивы, наблюдавшей эту (немую для нее) сцену из окна «Москвича», Вася неожиданно поднял одно из плетеных кресел и с такой силой трахнул им об пол, что оно немедленно рассыпалось.

Первая комната была пуста. Лука Порфирьевич, семенящий за Васей, стараясь не очень стучать когтями, забежал вперед и распахнул дверь в другую.

Здесь стоял, скучая, тяжелый деревянный стол и вокруг него, тоже скучая, тяжелые, грубые стулья. Но в этой скуке был какой-то оттенок тревожного ожидания.

— Где он? — спросил Вася, крепкой рукой схватив Луку Порфирьевича за узкую грудь.

Вместо ответа секретарь поднял руку: вцепившись в щели досок, моргая взволнованными глазками, на потолке висела огромная летучая мышь. Кожа ее была покрыта густой взъерошенной шерстью, ноздри раздуты, уши стояли как на страже над коротким курносым рылом. Она тяжело дышала, и от ее дыхания Васе чуть не сделалось дурно.

— Ты можешь даже съесть меня,— голосом Главного Регистратора сказала летучая мышь.— Я крылан, из породы съедобных.

— Спасибо, я сыт,— ответил Вася.— Пожалуйста, вернись к своему обличью. Мне трудно разговаривать, задирая голову вверх.

— Меня нельзя отменить,— пугливо возразила летучая мышь.

— Нет можно. За случайный удар лозой по лицу ты заставил бедного рыбака днем и ночью гонять лодку от одного берега реки до другого. Я отменил это подлое чудо. Ты отомстил юноше-баскетболисту, превратив его в статую из розового туфа. Я вернул ему жизнь. Судьба подарила мне единственное в мире орудие против тебя. Сейчас я назову твое подлинное имя — и ты раз и навсегда потеряешь свободу выбора в своих превращениях.

Летучая мышь сложила крылья и один за другим вырвала из потолка цепкие когти. Комната разделилась на темную и светлую половины, и из темной, тяжело ступая, вышел Главный Регистратор. На нем была просторная мантия, новая, ничем не напоминавшая волшебный ковер. В руках он держал золотистый глобус, и, если бы не черные кости, проступавшие, как на рентгеновском снимке, через тонкую кожу лица, его можно было, пожалуй, принять за римского сенатора или даже за самого Цезаря, если б ему удалось прожить тысячелетия. Сходство поддерживалось взглядом пронизательных, остро мерцавших глаз.

— Бывают предсказатели, которые умеют так отрешиться от настоящего, что будущее, которое не терпит пустоты, само идет им навстречу,— сказал он.— Старый Ворон, к сожалению, не принадлежал к их числу. Он ошибался. Он не знал — и я не знаю,— что произойдет, когда ты назовешь мое имя.

— Нет! — возразил Вася.— Ворон сказал правду. И тебе не удастся обмануть меня и судьбу.

— Может быть. Ну что же! Тогда ко мне вернется молодость, и это будет невообразимым счастьем. Что касается моих превращений... Боже мой, да я давно устал от них! Более того, в последнее время у меня что-то не идет это дело.

Конечно, он лгал. Дело шло.

Вася стоял в двух шагах от Главного Регистратора: он был осторожен. Однако он не заметил, что деревянный стол попробовал, может ли он ходить: сделал маленький шагок сперва одной, потом другой ножкой.

Эх, Вася! Берегись, Вася! Вспомни, что тебе советовал умный Кот. Скажи: «Ха-ха! Послушайте, вы, кажется, считаете себя воплощением мирового зла? Вы просто мелочь и мелочь».

— После моего исчезновения ничего не изменится в мире,— говорил Леон Спартакевич.— Я действовал согласно естественному ходу вещей. Разве не естественно, например, бояться смерти?

Ожили и стулья, медленно распрямляясь, похожие на долго сидевших на корточках людей. Старинная вешалка — тяжелые оленьи рога — отделилась от стены и стала медленно приближаться к Васе.

— Ты своими глазами видел, как я легко перешел из темной стороны комнаты в светлую. Так же, торжественно клянусь, я перейду границу между злом и добром. Люди живут в мире зла, и самое страшное, что они этого не замечают.

— Так надо сделать, чтобы они его замечали.

— Это еще никому не удавалось. Опомнись, Лоренцо! Кот был совершенно прав: я — мелочь. Едва ли Мефистофель позволил бы себе болеть за «Спартак» или после пьяной драки оказаться в грязной луже! Ты слышал когда-нибудь о графе Калиостро? Мы были друзьями. Взгляни на этот светящийся шар! Игрушка, не правда ли? Но занятая игрушка. Человечество веками останавливалось перед вопросом «что делать?». Мой шар легко отвечает на этот вопрос. Я подарю его тебе. Посоветуйся с ним! Не пожалейшь!

Он говорил значительно, веско, неторопливо, и плохо пришлось бы Васе, если б необъяснимое чувство не заставило его обернуться.

Он увидел все сразу — взбесившийся стол, поднявшиеся во весь рост стулья, олени рога, опасно висевшие над его головой. И глядя прямо в глаза Главного Регистратора, он громко крикнул:

— Верлиока!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ,

которая убеждает читателя, что старый Ворон действительно ошибся.

Все замерло на мгновение, мебель, рванувшаяся к Васе, остановилась, олени рога странно повисли в воздухе. Это было, впрочем, как раз естественно. Но то, что произошло с Главным Регистратором, как говорили в старину, не поддается описанию. Он не превратился в древнегреческого воина, как предсказывал старый Ворон. К нему не вернулась молодость. О том, что он мог бы наняться сторожем, дворником или разнорабочим, не могло быть и речи. Он выронил из рук светящийся шар и рассыпался на множество маленьких верлионок, отвратительно розовых, как новорожденные мыши. Однако эти мыши были ростом с двухлетнего ребенка, и нельзя сказать, что между ними и исчезнувшим Демоном Бюрократии не было никакого сходства. Хотя, как и полагается новорожденным, они были совершенно голыми, в руках у них были, черт возьми, не что-нибудь, а дротики и копья.

Сбив с ног Луку Порфирьевича, который как из-под земли появился у порога, Вася подхватил светящийся шар и выбежал на веранду. Вовремя!

Невнятно, но грозно ворча, верлиоки ринулись вслед за ним.

— Беги! — услышал он отчаянный крик Ивы.

Она выскочила из машины, и Кот, который попытался удержать ее, был отброшен с такой силой, что перелетел через «Москвич» — это случилось с ним впервые. Впрочем, оценив всю серьезность положения, он не обиделся на свою хозяйку.

Верлиоки с их злобными мордочками чем-то напоминали собак, и Филипп Сергеевич поступил так, как всегда поступал в таких случаях: в одно мгновение оказался на крыше. «Раздавить их колесами, — дрожа от ненависти, думал он, глядя, как из дверей дома горохом сыплются верлиоки. — Если бы я в свое время получил любительские права...»

— Беги! — крикнул и он.

Но, к его удивлению, Вася и не собирался бежать. Сильно размахнувшись, он бросил шар в поле, и верлиоки побежали за шаром, сталкиваясь и топчась друг друга.

Знал ли Вася о том, что именно так поступил Ясон, бросив в толпу врагов тяжелый камень, на который они набросились, оставив вожда аргонавтов в покое? Может быть, может быть! Но мне кажется, что ему самому пришла в голову эта остроумная мысль! Тем более что даже очень тяжелый камень все-таки не волшебный шар, который, если верить Владыке Бюрократов, принадлежал графу Калистро!

Что же происходило вокруг этого шара, заброшенного в поле сильной рукой и катившегося все дальше и дальше?

Дротики и стрелы не могут пригодиться, когда бойцы находятся в двух шагах друг от друга. Однако они могут заменить — и заменили — ножи, верное оружие в рукопашном бою.

Одни, добравшись до шара, с торжеством плясали на нем. Другие, схватываясь уже на бегу, подставляли подножки, хватили за ноги и падали, задыхаясь от злости и боли. Третьи, шагая по трупам, продолжали свой суетливо-беспорядочный бег.

Можно ли не заметить собственной смерти? Эта странная мысль

пришла в голову Васе, который убедился через несколько минут, что маленьких чудовищ становилось все меньше и меньше.

Он и Ива стояли рядом на крыльце. Филипп Сергеевич, трезво оценив обстановку, неторопливо спустился с крыши и присоединился к ним, стараясь показать хозяйке, что он не сердится на нее за то, что она перебрала его через машину, а, напротив, очень доволен.

Случалось ли вам когда-нибудь видеть бешеную собаку? Оскаленная морда в пене, хвост опущен и прячется где-то между задних ног. Что-то бешеное было и в свалке, развернувшейся перед их глазами. Конечно, верлиоки не помнили себя — иначе, убивая друг друга перед волшебным шаром, они не катили бы его все дальше и дальше.

— И ведь ни капли крови!

— Нет, кое-где заметны красные пятнышки, — возразила Ива.

— А это в папашу, — объяснил снова возникший невесть откуда Лука Порфирьевич. — Бывало, я его брею, рука задрожит, соскользнет — и порезу. Ну, думаю, пропал! А он смеется: «Испугался, собака?» И вижу — порез глубокий, а крови нет. «Почему же это?» — спрашиваю. «А потому, — отвечает, — что у меня в жилах не кровь, а муравьиная кислота». И действительно: капнул он мне однажды этой кислотой на руку — прожгла, сволочь, до кости.

Шар по-прежнему светился изнутри таинственным золотистым светом, верлиоки еще сражались подле него, но схватка уже подходила к концу.

— Сколько я от него натерпелся, сил моих нет, — продолжал Лука Порфирьевич. — Ну, теперь крышка. Теперь я вольная птица. Хочу — хожу, хочу — лечу. И знаете ли, дорогой Василий Платоныч, что я сделаю? Пойду к вам служить. В секретари, а? Не пожалеете!

— Ну нет!

— Это почему же? — с искренним недоумением спросил Лука Порфирьевич. — Я ведь не кто-нибудь. У меня стаж. Мне, может быть, до пенсии немного осталось. А опыт? Ведь я как-никак птица. Секретари, которые не нуждаются в транспорте, вы меня извините, на улице не валяются.

— Да не нужен мне секретарь, — возразил Вася. — Я только что кончил школу. Я собираюсь в университет поступить. Дел у меня немного, и я как-нибудь с ними сам управлюсь. Вам бы в какое-нибудь учреждение, Лука Порфирьевич.

— Нет уж, увольте. Меня от этого бюрократизма всегда воротило, и в Шабарше я, поверьте, даже с удовольствием смотрел, как эти люди-бумаги горят. Ой, Василий Платоныч, пожалеете! Ведь не хватаясь скажу: второго такого, как я, вам не найти.

— Это, пожалуй, верно, — смеясь, сказал Вася. — А я, Лука Порфирьевич, пожалуй, и не стану искать.

Секретарь грустно щелкнул клювом и задумался. Кисточки над глазами, заменявшие брови, и кисточки на губах, заменявшие усы, печально повисли. Похоже было, что теперь он не мог сказать: «Как вы ни вертитесь, а без нас, секретарей, вам не обойтись».

— Что же делать? — беспомощно спросил он.

Вася подумал.

— А вы посоветуйтесь с глобусом.

— Каким глобусом?

— Да вон с тем волшебным шаром. Покойный Леон Спартакович говорил мне, что он может дать дельный совет.

Если бы Лука Порфирьевич сразу поверил Васе, он, может быть, успел бы поговорить с волшебным шаром, наделенным чудесным свойством помогать человечеству, когда оно попадало в трудное положение. Но он не поверил. Он поморгал своими плоскими глазами, посмотрел на шар, с которого скатывались последние мертвые верлиоки, потом на Васю, потом снова на шар. И вдруг вспорхнул и как был — в штанах и пиджаке — полетел по воздуху к шару. Но

опоздал! Надоело ли тому быть игрушкой в руках отвратительных карликов или он давным-давно задумал покинуть грешную землю, но не прошло и полчаса, как в космическом пространстве появилось новое небесное тело. И возможно, что не кто иной как Платон Платонович первый разглядел его с помощью своего маленького, но зоркого телескопа на вершине Сосновой горы.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ,

повествующая о чудесах, происходящих без всякого вмешательства волшебных сил.

Может быть, иной читатель вообразит, что я выдумал эту историю? Нет и нет! Ни слова неправды. Рассказывают, что какой-то человек добрался до Луны и с полчаса бродил по ней, утопая по колено в пыли. Вот этому я бы, пожалуй, не поверил.

Но как же все-таки наши путешественники вернулись домой из пустыни, которая даже не значится на географической карте? Очень просто: она свертывалась за ними, как ковер, и это, представьте себе, нимало не противоречит современным понятиям о пространстве.

Впрочем, и на обратном пути не обошлось без приключений: недалеко от Котома-Дядьки «Москвич» остановился — не от усталости, как поэтически предположила Ива. Сломалась важная деталь, и Вася с первого взгляда убедился в том, что он не может помочь беде — ведь коленчатый вал не принадлежит к живой природе. Ему было далеко не только до речной воды, но даже до розового туфа.

Именно в эту минуту на пустынной дороге показался велосипедист — и уж тут не было никакого чуда! Я, например, не хвастаясь скажу, что, не пользуясь ни почтой, ни телеграфом, безошибочно догадываюсь, как живет мой друзьям и не нужна ли им помощь. Догадался и Слава. Так или иначе, уже через пять минут после того, как сломался коленчатый вал, он уже вертел своими длинными ногами педали велосипеда, а через двадцать пять радостно пожимал Иве и Васе руки, а Филиппу Сергеевичу лапу. Надеюсь, вы не забыли, что он был первоклассным механиком на городской автобазе? За седлом его велосипеда был привязан новенький, еще в заводской упаковке коленчатый вал.

Это было трудно — не остаться в Котома-Дядьке хоть на два дня. Отказаться от парадного обеда, который котомадядькинцы непременно хотели устроить в честь Ивы, перед которой они чувствовали себя виноватыми — ведь Верлиока утащил ее у них из-под носа. Не отметить новоселье — Слава и Катя получили прекрасную однокомнатную квартиру с отдельным санузелом, выложенным метлахской плиткой. Не увидеть футбольный матч Котома-Дядька — «Спартак», который твердо надеялись выиграть хозяева поля.

Но наши путешественники, как вы знаете, справлялись и не с такими трудностями. Надо, надо было спешить! В Сосновой Горе, как это вскоре выяснилось, решительно все заболели.

Скука, или скукота (согласно словарю Даля), является результатом отсутствия занимательности, развлечений, веселья. Но скука по детям, не указанная в этом словаре, не имеет ничего общего с отсутствием развлечений.

Долго покряхтывая, ежился, хмурился и наконец свалился Платон Платонович. Единственным лекарством от всех недугов для Ольги Ипатьевны всю жизнь была ее трубка. Но на этот раз не помогла и трубка. Прекрасно зная, что Платон Платонович не может видеть плачущих женщин (не говоря уж о детях), она то и дело всхлипывала, теряя сходство со старым солдатом и превращаясь в самую обыкновенную старушку. Шотландская Роза стала сохнуть, а что касается родителей Ивы, они опасно замолчали — опасно, потому что, вместо того чтобы сказать хоть слово, начали вздыхать, причем так часто,

что вздохи и звуки подозрительного сморканья сталкивались в воздухе, больно ушибая друг друга.

Но вот наступил день, которому смертельно не хотелось переходить в другое время суток по той простой причине, что он был единственным в своем роде, а ведь неповторимое нельзя повторить.

Вы, может быть, думаете, что старенький, страдающий одышкой «Москвич» с трудом вскарабкался на Сосновую гору? Ничуть не бывало! На последнем километре Вася превратил его в старинные расписные сани с ковровым верхом, с заиндеветшей медвежьей полстью, на которой спал Филя, любивший предзимний легкий морозец. Сани скользили вслед за стройной белой лошадкой, скромно и горделиво склонившей голову с подстриженной челкой. Сани остановились сперва возле одного дома, потом (после того как Иву едва не задушили в объятиях) возле другого.

Как вы думаете, что могут сделать четыре обыкновенных слова? Многое. Они могут заставить знаменитого астронома подняться с постели и, выпив чашечку кофе, весело поздороваться с Большой Медведицей, не говоря уж о Малой. Они могут вернуть старушке ее солдатскую выправку, а ее трубке — способность бодро бормотать что-то табачное на своем табачном языке. Они могут заставить двух почтенных пенсионеров, мужа и жену, хватить по рюмочке и — вы не поверите — поцеловаться, поздравляя друг друга. Они могут преобразить Шотландскую Розу, украсив ее цветами независимо от времени года.

Эти слова были:

— Здравствуйте! Вот и мы!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ,

в которой на сцену является новое действующее лицо.

Конечно, можно занимательно кончить эту длинную историю. Можно, например, заставить читателя подождать три-четыре года и рассказать о том, как Вася уговорил Иву выйти за него замуж... Да, да, уговорил! Дело в том, что в подобной развязке Ива не находила ничего неожиданного. Более того: она казалась ей заурядной.

— Но есть и более серьезная причина,— говорила она.— Я тебя люблю, но выходить замуж за волшебника... Это просто опасно. А вдруг у нас будут дети и тебе захочется превратить их в крольчат? Разумеется, это была шутка.

Можно рассказать о праздничном обеде в честь наших путешественников, на который откуда-то прилетел Лука Порфирьевич, служивший теперь швейцаром в Министерстве Необъяснимых Странностей и явившийся в облачении, напоминавшем форму генерала дореволюционных времен. Можно упомянуть, что на этом обеде Филипп Сергеевич нырнул под стол, надеясь вздремнуть, и встретился лицом к лицу с крошечным верлиоккой, голым и розовым, как только что родившийся мышонок. Он хотел съесть его, но тот удрал — и настроение было испорчено, заснуть не удалось.

Можно рассказать... Но нет, нет и еще раз нет! Ни слова о том, чего нельзя подтвердить документами, свидетельскими показаниями или другими доказательствами, заверенными подписью и печатью! На полную историческую достоверность могут рассчитывать только два разговора. Первый — между Филиппом Сергеевичем и Шотландской Розой, а второй — между Васей и Почтенной Дамой, незримо сопровождающей нас день за днем и час за часом.

— Ты знаешь, а ведь я немного боюсь за Васю,— сказала Шотландская Роза.— В самом факте его существования есть что-то непрочное. Я бы предпочла, чтобы он появился на свет в самом обыкновенном родильном доме.

— А ты не думаешь, что вымысел выше правды? — задумчиво возразил Кот. — Если отнять, например, вымысел у науки, она тут же начинает хромать на обе ноги. Впрочем, это уже трюизм. Вторая жизнь Василия Платоновича не упала с неба. Она слишком неправдоподобна для родильного дома. Ведь тогда пришлось бы возиться с его матерью: кто она, откуда взялась, как зовут отца, не собирается ли она подать на него в суд или из гордости отказывается от алиментов, желая остаться матерью-одиночкой.

— Но зато этот вариант... Как бы яснее выразиться... Он ничем не грозит Васе.

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, что появление ребенка на свет связано с долгим ожиданием, осторожностью, опасностью... Ну, словом, ты мужчина и этого не понимаешь.

— Милая моя, а почему ты думаешь, что пылинкам так уж легко было соединиться с пастушеской дудочкой, да еще глубокой зимой? Ну, скажем, одиночество и академическая тишина как-то тянутся друг к другу. Но грифельная доска, плавающая в воздухе! Но снотворное, которое не помогло Платону Платоновичу! Все это и есть та очевидность невероятного, без которой было бы скучно и даже невозможно существовать.

— Может быть. А тебе не кажется, — спросила, вздохнув, Шотландская Роза, — что Вася может так же легко исчезнуть, как появился?

— Не думаю, — веско ответил Кот. — Во всяком случае, он сумеет постоять за себя.

Они помолчали.

— Так ты говоришь, что им только кажется, что они влюблены друг в друга? Неужели они ни разу не поцеловались дорогой?

— Нам, душенька, было не до поцелуев, — строго ответил Кот.

— Я понимаю. Но все-таки...

— Ох эти женщины! Ну да, да! Целовались. Но нельзя же забывать, что это современные молодые люди, которые стараются, чтобы поцелуи не мешали, а помогали делу.

Таков был первый разговор. Он был не похож на второй. Более того: между ними была пропасть, в которую легко мог угодить мой Вася, если бы он в свое время отступил перед испытаниями, выпавшими на его долю. Но он, как вы знаете, не отступил. Он воспользовался ими, чтобы заглянуть в самого себя, а это в иных случаях не только полезно, но необходимо. Разумеется, ему было далеко до Сократа, который настоятельно требовал этого от каждого умного или даже не очень глупого человека. Но все же, заглянув в себя, Вася сумел недурно подготовиться к встрече с Дамой, незримо присутствующей на каждой странице нашего затянувшегося повествования.

Кстати, это была действительно дама — ее ни в коем случае нельзя было назвать гражданкой или просто женщиной, как это, к сожалению, случается у нас в очередях.

Поздно вечером, когда Вася засиделся над своими учебниками — он был уже студентом Московского университета, — легкий стук оторвал его от работы.

— Войдите, — сказал он.

Дверь бесшумно отворилась, и в комнату неторопливо вошла пожилая, но еще хорошо сохранившаяся Дама в длинном черном платье, похожем на современное макси, но одновременно ничуть не похожем, потому что именно такие платья носила Мария Стюарт. Дама была гладко причесана, прямой пробор разделял черные, слегка поседевшие волосы, заколотые гребнем в виде змеи с алмазными глазами. Полные овальные плечи прикрывала соболья накидка, которая, по мнению знатоков, никогда не выходит из моды. Драгоценные серьги украшали узкие изящные уши, а на четвертом пальце левой

руки блестел золотой перстень с печаткой. Пожалуй, можно было подумать, что этой печаткой она скрепляет указы, меняющие — к лучшему или худшему — жизнь народов.

— Добрый вечер, Вася,— сказала она.

— Добрый вечер, сударыня.

Он был достаточно проникновенен, чтобы рассчитывать, что этот визит когда-нибудь состоится, и заранее решил называть Судьбу сударыней — это было бы и вежливо и скромно.

— Ну что же, Вася,— продолжала Судьба.— Ты, должно быть, догадываешься, зачем я к тебе заглянула. Я подарила тебе вторую жизнь, потому что мне смертельно надоел Верлиока. Ты понимаешь, у меня не было ни одной свободной минуты, чтобы расправиться с ним. Прошел год с тех пор, как ты появился на свет. Дудочка молчит, пылинки в лунном свете не соединяются с академической тишиной. А если это так...

— А если это так, значит, я выполнил предназначение, да? — спросил Вася.— И мне придется снова расстаться с милой землей?

— Что делать!

— Это было бы очень грустно. И, знаете ли, сударыня, крайне несправедливо.

— Почему?

— Потому что вы зашли слишком далеко. В самом деле: очевидно, не без вашего участия я познакомился с Ивой, мы искренно полюбили друг друга, а ведь это для двадцатого века очень редкий, почти исключительный случай. Если она узнает о моем исчезновении...

— Я не тороплюсь. Вы можете проститься.

Из глубоких карманов своего платья Дама вынула янтарные четки и стала неторопливо перебирать их — очевидно, это помогало ей оставаться бесстрастной.

— Проститься без надежды на новую встречу? На такую жестокость не только вы, но и я не способен. А Платон Платонович? Он просто умрет без меня, и тогда астрономия в СССР не просто обеднеет, но обнищает. Шотландская Роза засохнет от огорчения, Кота хватит удар, а котомадьядькинцы до конца своих дней станут носить траурные повязки.

— Мелочь,— равнодушно возразила Судьба.

— Нет, не мелочь! Вы завязали вокруг меня такой узел, что его нельзя сравнить не только с морским, но даже с гордиевым узлом. Он не развяжется, он станет еще прочнее после моего исчезновения.

— Время возьмет свое,— перебирая четки, ровным голосом сказала Судьба.

— Свое — да. Но это — чужое. Моя история рассказана! Кто знает, может быть, человечество запомнит ее на полстолетия.

— Полстолетия — мгновенье.

— И это немало! Простите,— спохватился Вася,— я не предложил вам сесть.

Судьба величаво села в кресло. Расправив складки платья, она снова принялась за четки. Похоже было, что ей не хотелось уходить.

— И наконец, есть важное обстоятельство, о котором я обязан упомянуть. Не знаю, какого мнения вы о моем коте Филиппе Сергеевиче...

Нельзя сказать, что Судьба улыбнулась, хотя приходится иногда слышать: такому-то улыбнулось счастье. Легкое, еле заметное движение тронуло суровые, резко очерченные губы.

— Он хвастлив, обидчив, честолюбив, грубоват, но редко лжет, особенно людям. Так вот он клянется, что когда мы вернулись, он на праздничном обеде своими глазами видел под столом маленького верлиоку. Он хотел съесть его, но тот увернулся. Согласитесь, что когда он вырастет и сделает карьеру, мне — и никому другому — придется...

— История не повторяется.

— Может быть! Но ведь если мне придется снова схватиться с ним, это будет уже совсем другая история. И кроме того... Извините, что я вынужден напомнить вам... Вам не хочется оценить то, что я сделал?

— Тебе хочется, чтобы я наградила тебя? — холодно спросила Судьба. — А разве возвращение к жизни юноши, убитого не помню когда, кажется, в четырнадцатом или пятнадцатом веке, — не награда?

Настольная лампа вдруг погасла, в комнату, ровно ступая, вошел равнодушный лунный свет, в котором, увы, не мелькали пылинки. Одиночество? О нем не могло быть и речи! Платон Платонович сидел у своего телескопа, Ольга Ипатьевна, которой не спалось, сложив ноги, как турок, с трубочкой в зубах сидела на постели, Шотландская Роза чутко дремала, Кот сладко похрапывал, и ночь, к сожалению, опасно не напоминала ту, которая была украшена появлением в доме рыжего мальчика с голубыми глазами.

— Ты погаснешь, как падающая звезда, — безмолвно и безоглядно. Будь мужчиной, Вася! От судьбы не уйдешь.

И, взявшись за руки, в комнату вошли Безмолвие и Безоглядность. Они были двоюродными братьями, и что-то родственное почувствовалось в них, когда, невидимые в темноте, они осторожно приблизились к Васе и бережно положили к его ногам Последние Мгновения. Он вздохнул.

— Послушайте, сударыня, — сказал он с отчаяньем, которое и не думал скрывать. — Но разве вам не хочется узнать, что случится со мной, если вы отложите свое решение хотя на три-четыре года? Ведь вы немало повозились со мной, а я, например, терпеть не могу, когда работа пропадает даром. Обо мне рассказана повесть, и, может быть, найдутся люди, которые не без интереса станут ее читать. Вы заставили меня гоняться за Верлиокой и не заметили, как я волей-неволей оказался в литературе, а литература, согласитесь, бессмертна. Да и вообще, самое занятное, в сущности, только начинается. Вы сделали меня волшебником — неужели вам не хочется узнать, что получилось из этой затеи? Догадываетесь ли вы, например, что я намерен, извините, перехитрить вас, а для этого нужно по меньшей мере несколько лет. Широко известно, что время от времени вы серьезно ошибаетесь. Так вот, окончив философский факультет, я собираюсь написать книгу на тему «Ошибки судьбы».

Стоит упомянуть, что даже намек на подобную мысль никогда не мелькал в размышлениях Васи. Но утопающий хватается за спасательный круг, даже если он существует только в его воображении.

В темной комнате вдруг появился слабенький огонек, похожий на уголь, просвечивающий сквозь пепел. Тускло, вполнакала зажглась Васина настольная лампа. И робкий желтенький огонек заставил Безмолвие и Безоглядность шага на два отступить от Васи.

— Забавно, — заметила Судьба.

Нельзя сказать, что именно в эту минуту она решила расстаться со своей неприступностью. Но все-таки она была женщиной, которая, собираясь заглянуть к молодому человеку, не забыла напудриться и слегка тронуть помадой губы. В гордых глазах мелькнуло и медленно разгорелось любопытство.

— Я докажу, что вас можно обмануть. Я найду тысячи убедительных примеров, когда вы были вынуждены отступить перед самым обыкновенным мужеством и более чем обыкновенной, но искренней любовью.

Он замолчал, и это была минута, когда все остановилось если не в целом свете, так по меньшей мере на Сосновой горе. Минут десять назад пошел снег, и снежинки неподвижно повисли в воздухе, пренебрегая давно открытым законом земного притяжения. Филя проснулся и почему-то встал, прислушиваясь, на задние лапки. Часы в сто-

ловой, собравшиеся отметить полночь, остановились на одиннадцатом ударе. Все ждали, что скажет опасная Дама, глядевшая на Васю со странным выражением любопытства и — вы не поверите — восхищения. Так художник подчас смотрит на свой неожиданно-негаданно удавшийся холст.

— Ты заинтересовал меня,— сказала наконец Судьба.— А это труднее, чем справиться с Верлиокой. Обо мне написано много книг. В одних меня благословляют, в других проклинают. Но о моих ошибках еще никто, кажется, не писал. Хорошо, я подожду. Может быть, мы еще встретимся. А пока желаю счастья.

И она исчезла. Жизнь продолжалась.

Снежинки уютно устроились на земле, Филя уютно улегся и снова заснул, часы в столовой пробили полночь, заставив Последнее Мгновение растаять в ярком свете вспыхнувшей настольной лампы. Что касается Безмолвия, то ему пришлось убежать со всех ног, потому что кто-то бросил в окно Васиной комнаты снежок и стекло зазвенело. Конечно, это была Ива. В шубке, накинутой на халат, в ночных туфлях, надетых на голые ноги, с заплетенной на ночь косичкой, она стояла под окном и лепила другой снежок, который, без сомнения, разбил бы окно, потому что был не меньше теннисного мяча, а может быть, и побольше.

— Добрый вечер,— сказала она сердито.— Мне что-то не спится. С тобой ничего не случилось?

— Нет, случилось. Но ничего серьезного.— Он ласково обнял ее за плечи.— Беги домой. Ты простудишься. Завтра я все тебе расскажу.

Он проводил ее и, вернувшись, глубоко задумался над книгой.

Между тем снежок, который до сих пор нежно и неуверенно опускался на землю, постепенно превратился в набирающую скорость снежную бурю, которая, ошалев, накинулась на Сосновую Гору. Снег уже не падал, а вываливался горами, как будто кто-то забросил на небо громадные самосвалы и они, рыча, огрызаясь, одновременно опрокидывали свои кузова на Сосновую Гору. Не думаю, что это было случайностью. Так или иначе к утру поселок был по окнам завален снегом. И мне пришлось очень долго работать лопатой, чтобы достать из-под него повесть, которую вы прочитали.

2 июня 1981.



Д. САМОЙЛОВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Памяти Сергея Наровчатова

ГОЛОСА ЗА ХОЛМАМИ

Голоса за холмами!
Сколько их! Сколько их!
Я всегда им внимаю,
Когда чуток и тих.

Там кричат и смеются,
Там играют в лапту,
Там и песни поются,
Долетая отту...

Да! За холмами теми,
Среди гладких полян —
Там живут мои тени,
Среди гладких полян.

Голоса за холмами
Раздаются в тумане,
То ли ищут потери,
То ли в прятки играют...
Кличут давние тени,
А потом замирают.

* * *

Нет слова ужасней, чем это
Мучительное «никогда».
Со дня сотворения света
В нем времени к людям вражда.

Отбытие в нем без прибытья,
Оно убивает и рвет,
Как зверь на загривке события,
Ломающий лапой хребет.

* * *

...Я был не слишком добрым,
Но доброго был нрава,
Обязанности ставя
Всегда превыше права.

Я предан был искусству
И жил не очень густо.
Себя молве вручаю,
Которая стоуста.

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ



ВАЛЬС

Серый денек.
Белый летит снежок,
Сердце мое
Он на лету обжег.

Помнишь ли ты
Наш удивленный сад,
Наши мечты
Тысячу лет назад?

Я по тебе
Буду грустить всегда.
Помни о том,
Помни во все года.

Перешагни
Через один пролив,
Переступи
Через один разрыв.

Желтый денек.
Белый летящий шар.

Переступи
Через один пожар.

Я здесь один,
Ветки твоей побег.
Между чужбин
Русский порхает снег.

Белый снежок,
Белый летит снежок.
Сердце мое
Он на лету обжег.

Помнишь ли ты
Наш убеленный сад,
Наши мечты
Тысячу лет назад?

Я по тебе
Буду грустить всегда.
Помни о том,
Помни во все года.

СИНЯЯ ВЕСНА

Вечер синий. Дважды синий
Оттого, что он в снегу.
Это все последний иней —
Подожду, поберегу.

Если выйду и задену
Ветку в инее большим,
То куда себя я дену
В мире близком и чужом?

Оседают наст. И сразу
Обнажается листва.
Через день доступна глазу
Прошлогодня трава.

А не выйдешь, только глянешь
Из окна из-под ресниц —
Колыхание застанешь
Веток, далее и синиц.

БАРЕЛЬЕФ

Баллада

Владимиру Луговскому

То было над Ялтой, в чуть призрачном доме,
Где плыл из окна полумрак-полусвет.
Меня в полузренье и в полудреме
Там резкий тогда посетил силуэт.

НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ

★

ГОНКОНГ

Роман

ОТ АВТОРА

Один из читателей задал мне в письме вопрос: «Если все, что вы пишете, правда, то почему наших детей не учат этому в школах?» Речь шла о моих романах про освоение Приамурья.

Я не пытался писать исследования, но изображение чувств людей и их отношений в романах становилось для меня тем интересней, чем значительней оказывались события, в которых они участвовали.

В послесловии к переводу романа «Цунами», вышедшего в издательстве «Асахи» в Токио, писатель и переводчик Согзи Нишимото сообщает: «В 1881 году, или в 14-м году эры Мейдзи, правительство Японии наградило одного русского Орденom Восходящего Солнца... Орден учрежден в 8-м году эры Мейдзи... Награждаются мужчины, имеющие выдающиеся заслуги. Имя этого русского, который был признан имеющим выдающиеся заслуги, Евфим Васильевич Путятин. Он является одним из иностранцев, выступавшим в роли деятеля открытия Японии... Однако неизвестно, получили ли от японского правительства подобный орден американец Перри и англичанин Стирлинг, которым предстояло сыграть такую же роль».

Это новые сведения.

До сих пор считалось, что все так называемые Ансейские договоры, то есть договоры, заключенные Японией с иностранными государствами в эпоху Ансей (в середине и конце пятидесятых годов прошлого столетия), были для Японии неравноправными.

В наши дни в японской деревне Хэда, на океанской стороне острова Хонсю, построен музей «Памяти адмирала Путятина, японо-советской дружды и начала японского судостроения западного образца». Учителя, врачи, рыбаки и крестьяне этой деревни после войны вспомнили, что в Хэде впервые в истории Японии моряками Путятина и японскими плотниками построен был корабль европейского типа.

В современных условиях история Дальнего Востока попадает в фокус интересов большой международной политики. Во многих странах ученые и общественные деятели, каждый по-своему и в своих целях, задают вопросы, как, когда, почему русские, двигаясь на восток от Москвы, вышли на Тихий океан, к его удобным гаваням. Герцен в «Колоколе» приветствовал это событие. Он писал: «Трактат, заключенный Муравьевым, со временем будет иметь мировое значение». Энгельс в статье «Успехи России на Дальнем Востоке» писал о значении в будущем свершившегося выхода русских к южным гаваням Приморья.

...Действие романа «Гонконг» происходит в 1855 и 1856 годах, на заре наших тихоокеанских отношений.

В 1853 году между Россией и Турцией началась война. Общественное мнение Англии и Франции заговорило в пользу турок, газеты и парламентские ораторы видели в действиях России экспансионизм. Англия ввела сильнейший в то время в мире флот в Черное море, заключив союз с Францией и готовясь защищать свои сферы влияния и торговые пути. Эскадры паровых и парусных кораблей союзников подошли к Крымскому полуострову, и вскоре были высажены десанты.

Война эта известна в истории как Крымская, грандиозная по значению в мировой истории, но ограниченная по масштабам. Союзники, стремясь нанести поражение России, но помня неудачу Наполеона, избегали углубляться на ее территорию. Франция Луи Наполеона Бонапарта, разжигаемая шовинистической пропагандой, жаждала реванша за московский поход 1812 года. Для Наполеона III это был вопрос престижа династии.

Неудачная для России война показала слабость монархической системы и дала сильный толчок развитию общественной мысли во всей стране.

Война шла в Крыму, но военные действия происходили у всех побережий России.

В Балтийском море мощные флоты союзников осаждали Кронштадт, бомбардировали и уничтожили крепость Свеаборг. Эскадры входили в Белое море. На Тихом океане открылся новый «театр войны», как тогда выражались. Столкновения у берегов нашего быстро осваиваемого Дальнего Востока постепенно становились все значительней и оказались зародышем великих событий, предсказанных Герценом.

Летом 1855 года молодые дипломаты, офицеры и матросы экспедиции Путятина, потерпевшие кораблекрушение у берегов Японии, ушли в плавание, ожидая встречи с родной, куда уже прибыл на построенном в Японии корабле сам адмирал с частью команды...

Глава 1

БРЕМЕНСКИЙ БРИГ «ГРЕТА»

Большая часть международных бед происходит... оттого, что народы слишком мало знают друг друга.

Н. Чернышевский, «Рассказ о Крымской войне».

Налетал ветерок, паруса слабо заполнялись и тут же провисали. Судно «Грета» едва двигалось. По левому борту на траверзе видна щетинистая возвышенность северной оконечности острова Сахалин. В море военный пароход, он быстро приближается. На мачте виден Полосатый Джек, как называли британский флаг наши матросы. С парохода сделали два выстрела. Бриг лег в дрейф.

Лейтенант Алексей Сибирцев надеется, что вид его не выдает, в двадцать два года, кажется, пора научиться владеть собой. За время перехода из Японии его тяготил не голод, не грязь и теснота...

Есть пословица: кто чего боится, то с тем и случится.

Жаль было уходить из Японии. Но раз ушли, то ушли. Как и все, он желал скорей к своим берегам. Возвращение к родному гнезду лечит и заглушает впечатления от того, что осталось за кормой.

Когда завиделись горы Сахалина, Алексей словно увидел отца и мать, боль и тоска по далекому еще дому дали знать себя с новой силой. Невесте он расскажет обо всем прямо и открыто. До Петербурга еще не близко...

И вдруг этот английский крейсер!

— Немедленно спускайтесь в трюм! — обращаясь к русским морякам, собравшимся в этот солнечный час наверху, кричал, бегая по палубе бременского брига, шедшего под американским флагом, шкипер Тауло.

Кричал яростно на обескураженных людей, и они невольно повиновались. Странно, впрочем, что даже в этот горький час у Алексея сохранился интерес к происходящему.

Все офицеры нервничали. У всех дома семьи или невесты. Все истосковались по России, и, наверно, гораздо больше, чем Алексей. Ведь им не жаль было уходить из Японии.

Матросы поглядывают на офицеров, словно хотят спросить, что же будет приказано: дать сдачи или сдаваться? В плен никому не хотелось.

— Только бы подойти к ним, Алексей Николаевич, — сказал Маслов, рослый и плечистый детина с толстой шеей, по приказу адмирала произведенный в Японией в унтеры, — мы бы им, сволочам... Неужели нельзя взять пароход? Нас триста. Нет, никому и в голову не приходит. Неужели нельзя заставить немца подойти к ним, обмануть?..

Приказано всем спускаться в трюм. Маслов знал, что хорошим признаком характера представляется офицерам умение с достоинством подчиняться обстоятельствам, посчитаться с силой вовремя.

Плотными рядами улеглись и уселись на настиле в трюме триста матросов и офицеров. Здесь же все вещи. У немногих оружие.

Штурманский поручик Петр Елкин прикреплял к кожаной сумке

тяжелую гирию. Не меньшая тяжесть и на душе. Три года вел гидрографические заметки, снимал карты. В этой сумке дело всей жизни: плавания, описи, открытия. Надо решиться и расстаться со всем навсегда.

— Господа! Вот мне действительно можно впасть в отчаяние! Вам-то что! Просидите в плену, и все. А у меня отберут все мои описи. Все наши секреты не в ваших глупейших канцелярских бумагах и рапортах, а у меня на картах...

— Куда, зачем они всюду идут? Кто их тут просит? — говорил Янка Берзинь.

— Придут с досмотром, — сказал белокурый матрос татарин Махмутов, — сразу схватить и дать предупреждение на пароход, что всем головы отрежем, если хоть раз выстрелят. Пусть пропустят в Россию. Пообещаем, что там отдадим всех живыми!

Пароход приблизился, но не подходил, словно его капитан угадывал мысли путятинских матросов. Отвалила шляпка с вооруженной командой. По выброшенному штормтрапу поднялся офицер, за ним матросы с ружьями и кинжалами.

Шкипер Тауло, рослый немец с лысиной во всю голову, поздоровался, сделал вид, что удивился, зло ощерился и пригласил офицера в рубку. Курс проложен на карте.

— Национальность судна? Какой груз? Пожалуйста, документы. Почему пыгались уйти? Почему под американским флагом?

Тауло надел очки, подал бумаги, объясняя, что идет в поисках американских китобойных судов по просьбе их консула в Японии для продажи продовольствия, полагал, что американский флаг гарантирует безопасность.

— Есть ли на судне люди, кроме команды?

— Нет...

Матрос Тунчжинг, гонконгский китаец, считавший себя англичанином и произносивший свою фамилию на английский лад, молча стоял в дверях рубки позади Тауло и уже несколько раз подмигивал офицеру, как бы показывая при этом куда-то вниз.

— Откройте люки! — велел офицер, выйдя из рубки и обращаясь к своим людям.

Тунчжинг удовлетворенно кивнул и отошел в сторону. Матросы подняли крышку. Офицер заглянул в люк.

— Эу! — неподдельно изумился матрос с нашивками и, отступив шаг, перекинул карабин на руку.

— Так вот кто здесь! — воскликнул офицер и взглянул на растерянного Тауло.

На настиле в трюме сплошной массой теснились люди. Матросы навели ружья на люк.

— А ну выходите все! Кам, кам аут! — сказал английский матрос с нашивками на плече, смотревший и сам испуганно.

Матросы стали подыматься из трюма на палубу. Они жмурились от солнца.

— Кладите оружие! — предупредил по-русски.

Но оружия ни у кого не было — все брошено в трюме; подымались разоруженными.

Офицеров просили отходить в сторону. Матрос с нашивками считал и записывал. Люди все шли и шли.

Поодаль, наведя карабины на пленных, стоял целый строй британских матросов.

«Первый враг, которого я вижу в эту войну!» — печально подумал Алексей Сибирцев.

— Что вам? — обернулся английский офицер к подошедшему лейтенанту Мусину-Пушкину.

— Я команду экипажем погибшего корабля «Диана», — заговорил Пушкин на французском. — Согласно международной конвенции

о терпящих бедствие на море вы не вправе задерживать нас. Вы видите — мои люди безоружны...

Английский лейтенант, с жесткими русыми усами на сильно загоревшем лице и с редкими морщинками, молчал, кажется, не понимал французскую речь.

Николай Шиллинг перевел по-английски.

— Я не веду никаких переговоров,— ответил офицер.— С этого момента вы пленные.

— В таком случае я должен говорить с вашим командиром,— сказал Пушкин.

— Ждите.

— Сто пятьдесят шесть, сто пятьдесят семь...— считал матрос у трапа.

Поднялся Петр Елкин, красный как рак, решительно и быстро прошагал к борту, вздохнул и с размаху выбросил в море кожаную сумку с грузом, как персидскую княжну. К нему кинулись двое английских матросов.

— Полегче, полегче,— запальчиво заметил Елкин, показывая взглядом на свои офицерские эполеты.

— Что он выбросил?— с беспокойством спросил офицер. Он приостановил движение у люка.— Что вы выбросили?

«Чего они боятся?»— раздраженно подумал Сибирцев.

— What is the matter for you?— со злом и насмешкой ответил он.— The letters of his sweetheart¹.

Лейтенант гляделся в Алексея и отошел. Можно было понять как совет или предупреждение не осложнять дело дерзостями.

Уже двести! Сколько их еще там?.. Каков груз продовольствия доставлял немец под чужим флагом!

Когда трюм опустел и вся масса матросов столпилась на палубе, лейтенант переписал фамилии офицеров и Гошкевича.

Старшие матросы осматривали трюм, ощупывали некоторые из тюков, велели поднять наверх ящики Гошкевича и Елкина. Лейтенант попросил открыть их. Потом, обращаясь к Шиллингу, сказал, что шлюпка сейчас отходит. Пушкин взял с собой Сибирцева и Шиллинга.

Английский крейсер «Барракута» с большими пушками на носу и корме и с высокой трубой выглядел все значительнее, по мере того как приближался. Все эти дни на «Грете» офицеры спали в одной каюте вповалку. Матросы — в трюме и на палубе, где по ночам веяло холодом еще не согревшегося северного моря; ели кое-как, всухомятку: у Тауло не было порядочного камбуза, на бриге не хватало воды.

Командир «Барракуты» лейтенант Артур Стирлинг оказался очень молодым человеком; кажется, сверстник Алексея. Он при палаше, с короткими усами, в форменной фуражке с коротким козырьком, посаженной как по ватерпасу.

— Я старший офицер фрегата «Диана»,— представился Пушкин.

— Идемте,— ответил Стирлинг по-французски и, взглянув на «Грету» в дрейфе, пошел вперед.

Алексей подумал, что все еще может обойтись, не поторопился ли Елкин выбросить сумку. Офицеры чуть оживились.

В небольшом салоне Пушкин повторил свои доводы. Стирлинг перестал смотреть ему в лицо.

— Я иду в Хакодате... Там можете передать свои претензии командующему эскадрой адмиралу,— сказал он.

До некоторой степени Алексей понимал Стирлинга. Но от этого не легче! Когда завидели пароход в море, Сибирцев сам полагал: за-

¹ Какое вам дело? Это были письма его возлюбленной.

чем же прятаться в трюм? «Надо было всем быть на обычных местах и твердо сказать при опросе, что не считаем себя военнопленными, мы безоружны, потерпели кораблекрушение и с нами не воюют. С толку сбил проклятый Тауло, накинувшись с криками: «Поспешней, как можно поспешней всем в трюм! Я знаю, что им сказать!» Боялся, видно, что с парохода начнут стрелять по «Грете», если увидят на ней русских моряков. Спрятались, хотя и унижительно! В общем-то, все равно, хрен редьки не слаще; все устали! Что же теперь? Из рук вон плохо! Если в плен, то уж долго никуда не вырвемся. Какие бы доводы ни приводили, нас уж некуда будет девать, кроме как держать в плену».

— Мы заявляем решительный протест против нарушения международного права! — настаивал Шиллинг.

Все волновались, и это выгодно подчеркивало хладнокровие англичан.

— Вы сами отказались от статуса потерпевших кораблекрушение! — резко возразил Стирлинг.

— У нас больные в команде, в том числе заразные! — продолжал Шиллинг. — Зачем же транспортировать их в Хакодате? Экипаж полгода жил после катастрофы в Японии. Какой смысл вам доставлять больных в Хакодате, когда рядом Аян и Охотск? Вы в первую очередь обязаны свезти их на берег.

Он говорил не только как лейтенант с лейтенантом, он говорил как барон.

На эскадрах южных морей заразными болезнями никого не удивишь.

— Вы говорите по-английски? — обратился Стирлинг к Сибирцеву.

— Немного.

— Было ли в японском порту Симода совершено вами нападение на французское судно?

— Нападения на французское судно не было.

— А что же было?

— Предполагаю, что эти опасения высказывались находившимися в Японии одновременно с нами американцами. Французское судно сразу ушло, узнав от американцев, что мы в Японии.

— Где вы были в Японии?

— В порту Симода.

Стирлинг слушал внимательно, глядя глаза в глаза.

— Вы пережили там катастрофу?

— Да.

— Вы не говорите по-английски? — обратился Стирлинг к Мусину-Пушкину.

— Ответьте ему, что я говорю на трех языках с детства, но по-английски не говорю и говорить не хочу.

— Лейтенант Пушкин не говорит по-английски, — перевел Шиллинг.

Офицеры уже знали от взявшего их в плен лейтенанта Гибсона, что командир парохода Артур Стирлинг — сын командующего флотом адмирала Джеймса Стирлинга, который сейчас находится в Хакодате, и что «Барракута» была в Аяне, в те дни там стояла плохая погода и был снег.

— Какой же смысл, капитан, когда Аян рядом, доставлять нас в Хакодате, чтобы потом отправлять в Россию? — заговорил Сибирцев.

— Вы уверены, что так будет?

— Да, вполне. Мы все уверены, что это лишь недоразумение.

«Может быть, они правы, но отпускать нельзя», — полагал Стирлинг.

Неожиданно подали, как говорят у них, «освежение», и довольно обильное. Отказываться не надо, тем более что не считаем себя пленниками, да и голодны, чего нельзя, однако, показать. При виде мяса, вина и фруктов скулы сводит.

Стирлинг, подымая бокал, сказал:

— Absent friends!²

Попросил рассказать про кораблекрушение. Заговорил Шиллинг. Сибирцев иногда добавлял. Все слушали с возрастающим интересом. Когда дошла очередь до сорока оборотов, которые сделала «Диана» на своих якорных канатах, проносья у подножья скал вместе с крутящейся водой бухты, старший офицер, до того немой как рыба, что-то закричал и вскочил, подняв обе руки со сжатыми кулаками. Все хладнокровие с них как ветром сдуло. Стали расспрашивать...

Алешу грызла мысль, что все это не поможет, к делу никакого отношения... «А матросы наши про нас сказали бы: «Ну жрут!»...»

— А где адмирал Путятин? — спросил старший лейтенант. Он высок и худощав, с большим носом и нафабранными усами.

— Ушел из Японии ранней весной и теперь находится в России, — ответил Пушкин. — На корабле, который мы построили в Японии.

Гибсон спросил про Гошкевича и про коллекции, где он набрал такие прекрасные экземпляры, кто набивал чучела птиц и рыб.

Стирлинг заметил, что хотел бы видеть коллекцию, сказал, что отдает приказание идти в Аян:

— Там коммодор Эллиот — командующий отрядом кораблей.

Ясно. Все должно решиться начальством. Аян близок, а до Хакодате далеко.

— Но я прошу вас, господин Пушкин, дать мне честное слово, — сказал Стирлинг по-французски, — что вами и вашими офицерами и людьми не будет предпринято никакой попытки к освобождению силой или к какому-либо сопротивлению. В противном случае я должен буду принять меры строгости.

— Я даю вам честное слово, капитан Стирлинг, что ни я, ни мои офицеры и матросы не позволят себе никакой попытки к насилью, чтобы добиться освобождения. По прибытии в Аян я надеюсь выручить свою команду, убедив коммодора освободить нас на законном основании.

Стирлинг подумал, что лейтенант, не зная языка, не знает и английских морских правил. «У нас нет закона, на который он мог бы рассчитывать».

— Пожалуйста, лейтенант Пушкин, можете остаться с офицерами на пароходе. Вам будут предоставлены какоты.

— Благодарим вас, капитан. В настоящем положении не могу воспользоваться вашей любезностью. Мы должны разделить участь с нашими матросами.

Пошли садиться в шлюпку. Взаимные вежливости соблюдены.

Если до сих пор лично к офицерам неприятельского флота Алексей не испытывал неприязни, то сейчас, когда сходил в шлюпку, они показали ему тюремщиками, которые втолкнули его обратно в камеру.

...Артур Стирлинг у себя в салоне обратился к старшему лейтенанту:

— Поезжайте на «Грету». Смените Гибсона. Возьмите с собой сорок матросов. Подайте на «Грету» два цепных каната. Возьмите ее на буксир! На ночь поставьте сильный караул к буксирам, рубке и люкам на палубе. Людей разделите на две вахты.

— Да, сэр!

Когда старший офицер принял «Грету», все предосторожности были взяты и цепные канаты закреплены, лейтенант Гибсон возвратился на «Барракуту».

² За отсутствующих друзей!

— Благодарю вас, Роберт! — сказал Стирлинг. — Поздравляю вас! Ваш второй приз в эту кампанию.

— Благодарю вас, — почтительно ответил Гибсон. За несколько дней перед этим он догнал и захватил шлюпку русского брига в лимане Амура. А само русское судно было сожжено его же командой.

Гибсон — ирландец. Никто не присылал Артуру Стирлингу распоряжений предоставлять возможности отличиться офицерам-ирландцам. Он сам все понимает. Во всех случаях где возможно ирландцев поощряют, так как в Ирландии сильное недовольство зависимым положением, еще не забыты подавленные восстания. «При таких обстоятельствах, возвышая честных ирландцев-офицеров и поощряя матросов, даешь понять, что они равны с нами вполне, такие же британцы».

— Что говорят ваши люди?

— Сержант Джонсон сказал, что все пленные вполне дисциплинованные, хорошего физического сложения, но голодны и многие нездоровы. Некоторые довольно серьезно. Доктор подал рапорт, что заразных нет.

— Сказали офицерам, что им предстоит в Аяне встреча с французским кораблем «Константин», который был в Симодэ?

— Да, сэр.

— Как они приняли?

— Они устали и безразличны ко всему.

Янки уверяют, что русские приняли их корабль «Поухаттан» за француза, напали, но поняли, что нарвались, и вовремя ушли. Артур на месте Путятина и его офицеров, может быть, поступил бы так же, но постарался бы тщательно рассчитать и взвесить все, хотя, однако, времени у них не было, приходилось решать мгновенно. Их можно, можно понять.

Отличные коллекции натуралистов, книги, множество японских прекрасных предметов рекомендовали умственные интересы пленников, как и вывезенный ими ученый молодой японец, как и знание ими языков.

Кампания этого года была не очень удачной. Отец командует флотом из двадцати семи вымпелов. Его консорт, французский адмирал, — четырнадцатую...

Что же произошло с «Барракутой» до встречи с русскими, возвращавшимися из Японии?

Ранней весной соединенный флот из двух союзных эскадр под командованием адмирала Брюса вошел в Авачинскую бухту. Этот флот был усилен отрядом кораблей, откомандированных из Хакодате из эскадры адмирала Стирлинга. В составе отряда находилась «Барракута». В Петропавловске русского флота не оказалось: город эвакуирован.

«Барракута» и фрегат «Пик» под командованием капитана Никольсена 1 июня были отряжены в Охотское море в поисках русского фрегата «Аврора». А сам адмирал Брюс со своей эскадрой ушел на поиски исчезнувшей «Авроры» в Русскую Америку.

При тяжелых штормах и встречных ветрах «Пик» и «Барракута» достигли мыса Лопатки 15-го и на другой день под берегом острова Парамушир вошли в Курильский пролив. Разведя пары, «Барракута» проследовала в сплошном тумане в Охотское море. «Пик» открылся снова лишь 25-го, капитан Никольсен сообщил, что был у берега Сахалина, встретил американский китолов, у которого на борту якобы побывал офицер с русского фрегата «Аврора». Впал в глубочайшую ярость, когда выяснил, что судно не английское. С досады разорвал в клочья американские судовые документы. Про эту «Аврору» все только и говорят, и всем слухам невозможно верить, кажется, шкипер мог приплести «Аврору» из-за того, что корабельные до-

кументы не в порядке... Теперь все можно сваливать на «Аврору»! Китобой рассказывал басни про «Аврору». Как и все американцы! На прощанье выложил:

— Well, sir, I trust you don't believe all we say if you do, sir, you have strong digestion I do say³.

Зная нрав Никольсена, можно представить, как он это выслушал.

Янки нашли над чем посмеяться. Давно нет свежей пищи. Матросы питаются солониной и сухарями, многие страдают запорами. Офицеры тем более: неподвижность и плохое настроение. Будь рабарбар, все поправились бы и ожили.

Встреча американца с «Авророй» якобы произошла в семидесяти милях от северной оконечности острова Сахалин — мыса Елизаветы. Шкипер уверял, что в тумане сама «Аврора» не была видна.

15 июля «Пик» и «Барракута» ушли из Аяна, и на другой день в открытом море увиделась эскадра. Друзья или враги? К величайшей радости офицеров и синих жакетов, оказался отряд из четырех кораблей под командованием коммодора Чарльза Эллиота.

Опять невероятные новости. Оказалось, что коммодор нашел «Аврору». Она совсем не в Америке! «Аврора» обнаружена была в заливе Де-Кастри, черт знает как далеко они успели уйти. Залив Де-Кастри напротив западного берега Сахалина, южнее устья Амурса. Коммодор надеялся ее захватить, послал к адмиралу Стирлингу за подкреплением, но тем временем «Аврора» ушла. Залив Де-Кастри опустел.

Куда ушла «Аврора»? Единственно возможный путь — в Амур, через северный Амурский залив, где есть вход в реку. Ведь, как известно, с юга нет входа, там перешеек, точнее — обсыхающие мели, как доказал Крузенштерн.

Коммодор, обойдя Сахалин, намеревался войти в Амур с севера в поисках скрывшейся русской эскадры. Эллиот слышать не хотел о передвигающихся мелях, непроходимых лабиринтах и погибших судах.

— Мне нужна «Аврора»! — заявил он.

Коммодор принял команду над соединенной эскадрой.

Матросы «Барракуты», кажется, неохотно возвращаются из-за пленных к берегам Сибири. В Гонконге давно отцвел мицдаль. Уже есть молодая красная китайская картошка, очень вкусная, любимое кушанье синих жакетов. Уже есть персики. Всюду в Южном Китае — в Кантоне, на Жемчужной и в колонии — абрикосы, ягоды. Все это должно быть и в Японии! А в Аяне? Старая, проросшая картошка в подпольях, уже сладкая, как перезрелые бананы. Когда расклеивали прокламации к русскому населению, призывающие возвращаться, то в одном из домиков нашли глиняную корчагу с соленой черемшой...

«Барракута» вела захваченный бриг через дожди и туманы на север. У рубки вооруженные английские матросы. Лейтенант на мостике отдает распоряжения шкиперу Тауло. Иногда обращается к Шиллингу, просит отдать приказание, чтобы пленные помогли, и тогда русские матросы поднимаются на мачты.

...Вокруг «Греты» английские корабли. На фрегате коммодорский флаг. Видно французское парусное судно. У берега целый флот американских китобойных судов.

Оставляя «Грету», английский лейтенант предупредил офицеров и Гошкевича, что здесь французский бриг «Константин», который, как говорят в Гонконге и Шанхае, защитил в Японии и спас в бою гигантский китобойный корабль «Наполеон III».

— От кого? — спросил Сибирцев.

³ Хорошо, сэр, я вижу, вы не хотите верить всему, что я говорил. Если так, должен вам сказать, что надолго получите запор.

— Мы в жизни не видели в глаза «Константина»,— добавил Гошкевич.

— Как изменился пейзаж. Холмы и долины теперь, в середине лета, свободны от снега,— говорил за столом молодой лейтенант Тронсон, только что возвратившийся на «Барракуту» с берега.— Деревья оделись густой листвой, и все лужайки сплошь покрыты прекрасными цветами.

— Здесь отличная порода камчатских собак,— заметил старший офицер с нафабранными усами.

— Порода совершенно не та, что на Камчатке. Это коммодорские собаки. С Коммодорских островов.

— Как здесь оказаться могут коммодорские собаки? Здесь охотская порода собак! Это сибирский хантер.

Вся кают-компания вовлечена в спор.

Вино придавало горячности. Раздавались голоса, что необходимо добросовестное научное исследование новых пород, открытых на сибирских побережьях океана. И справочники с рисунками. Это долг эскадры!

— Наши синие жакеты уже обогнали своих офицеров, в палубах есть собаки всех местных пород.

— Но синие жакеты их портят! Они перекармливают своих любимцев и этим лишают их качества. Их собаки — прообраз будущей демократии пьянства и обжорства.

— При чем тут пьянство? Вы заговариваетесь.

— Нет, это доказательное сравнение, и я его рекомендую,— заявил штурманский офицер Фрэнсис Мэй.

Глава 2

КОММОДОР ЧАРЛЬЗ ЭЛЛИОТ

На квартердеке, то есть на шканцах, корабля «Сибилл», стоя перед коммодором и двумя капитанами, Пушкин все объяснил. Его густые усы и бакенбарды, выпадавшие ниже выбритых щек двумя пышными клоками, правильная французская речь и манера держаться с достоинством обнаруживали человека света и вкуса. Коммодор видел — в плен попал серьезный офицер. Убежден в несправедливости арестования корабля, потерпевшего крушение. Вышедшего в плавание до объявления войны. Команды безоружной, исполнявшей свой долг — возвращение в отечество... Нельзя прерывать его доказательную речь. Переводчик едва поспевал.

Эллиот выслушал и ответил, что отпустить офицеров и команду не может. Готов на снисхождение. Согласен освободить больных и всех слабых, священника, доктора, Гошкевича, переводчика-японца. Разрешит отправить письма в Россию через Аян.

— Что же за снисхождение, господин Эллиот? — перевел Шиллинг по-английски.— Я не вижу ничего подобного...

— Я сказал.

— Но вы взяли нас незаконно и уклоняетесь признаться!

— Как незаконно? — ответил Эллиот, багровея.— Мой дорогой,— обратился он к Артуру Стирлингу,— зачем в таком случае вы их ко мне доставили? Мне не о чем говорить! Что вам еще тут надо? — грубо обратился он к Пушкину.— Я все сказал! Большого снисхождения не будет.

Пушкин сошел в вельбот. Шиллинг задержался.

Чарльз Эллиот — живая легенда. Старая морская собака! Долгие годы Эллиот считался грозой Китая. Когда, командуя эскадрой, забрал в свои руки слишком большую власть, опиоторговцы Джордин и Матисон, создатели старейшей и самой большой фирмы, тор-

говашей индийским зельем, стали добиваться отстранения Эллиота под предлогом, что он недостаточно гуманен. До того Эллиот вел необъявленную войну на Кантонской реке. Он захватил остров Гонконг, на котором теперь построен город Виктория.

Матисон и Джордин жаловались в Лондон до тех пор, пока Пальмерстон не убрал Эллиота и не объявил войну Китаю. Все закончилось бомбардировкой Кантона и укреплений и полным разгромом китайцев. Все успехи Эллиота сильные люди потом приписали своим ставленникам, захват острова и основание Гонконга были узаконены мирным договором с Китаем. Адмирала Эллиоту не дали. Как известно, чин коммодора равен генеральскому. Но он получил орден Бани. А Джордин и Матисон теперь фактические хозяева нового города на острове и колонии. Долго считалось неприличным в Кантоне и Гонконге упоминать имя Эллиота. Но он жив и снова явился. Прошло шестнадцать лет с его удаления, оказалось, что на ост-индской эскадре, а также на Виктории⁴ его помнят.

За эти годы он был губернатором Тринидада, потом острова Святой Елены. С начала войны Чарльза Эллиота послали туда, где все было начато им, где его жизнь много раз висела на волоске. Он обрушился на Гонконг, как Зевс, и снова стал легендарной личностью. В Лондоне его недолюбливают до сих пор. Там люди высоких принципов. Чтобы получить адмирала, нужны новые заслуги.

Чарльзу Эллиоту за пятьдесят, но он еще очень свеж и молоджав. У него выхоленные усы, львиная грива, пышный галстук. В нем чувствуются большая физическая сила, храбрость и решительность. Он высок, ловок и подвижен. Видимо, отлично танцует, ездит верхом.

Шиллинг вспомнил японское изречение, которое ему очень нравилось. «Если старый человек хорошо танцует — это негодай!»

— Какое мне дело до всего этого! — ответил, выслушав доводы, коммодор и махнул рукой, не желая больше разговаривать. — Ступайте!

В глазах Шиллинга заискрились точки, словно в них закипало серебро. «Конюхи и рыбаки, возомнившие себя аристократами!»

— Вы позорите свой мундир бесчестным поступком!

— Что? — Эллиот, казалось, ополоумел. — Да я... я... Я вас велю повесить!

— Осмелюсь! Вы покроете себя еще большим позором. Я готов к любому вашему незаконному действию, так как знаю, с кем говорю, в чьих руках нахожусь. Я не стал бы тратить слов, если бы не считал долгом морского офицера напомнить вам о порядочности... Весь мир заговорит о вашем бесчестном поступке!

Эллиот обомлел. На миг ему показалось, что пленник знает всю его подноготную. Эллиот сбит с толку. Но ненадолго.

— Где «Аврора»? — вдруг спросил он.

— Не знаю.

— Не лгите! Где «Аврора»? — закричал Эллиот. — Дайте мне «Аврору» — и пойдете на берег... В противном случае — виселица! А берег рядом. Вот ваша страна... Идите домой, но скажите! Или... — Эллиот поднял свою большую тяжелую руку и торжественно показал на рею грот-мачты.

— Порядочный нахал! — сказал Пушкин, возвратясь на «Грету».

Лейтенант, доставивший на судно Пушкина и Шиллинга, подошел к Сибирцеву.

— Коммодор требует вас к себе!

Оказалось, что Эллиот сам явился на «Грету», желая видеть

⁴ Город, построенный на острове Гонконг, был назван именем королевы Виктории. Теперь город Гонконг состоит из островной части, которая называется по-прежнему Виктория, материковой части — Кулуна и так называемой Новой Территории.

пленных. Им приказали выстроиться. Коммодор обошел ряды, глядя в глаза матросам, и велел их распустить.

— У меня есть сведения, что вы знаете английский язык? — спросил он Сибирцева в рубке.

— Да, сэр. Немного.

— Вы знаете хорошо! Почему вы знаете наш язык? За свою жизнь я не видел ни одного русского, который знал хотя бы один язык! Зачем знаете? Отвечайте, коммодор с вами говорит!

— Лейтенант Шиллинг предупредил вас о последствиях... Будьте поосторожней!

— Что? Откуда вы знаете? Мы говорили один на один. Отвечайте, где «Аврора»?

Он как сумасшедший из-за этой «Авроры». Положение коммодора показалось Алексею смешным. Он почувствовал, что ярости, как Шиллинг, не испытывает, хотя предложение коммодора весьма недостоинное.

— Я не знаю.

— Вы служили на «Авроре»?

— Я служил на «Диане».

— Вы знаете, что «Аврора» была на Камчатке?

— Да, знаю, что в прошлом году «Аврора» приняла участие в обороне Петропавловска и что английский адмирал...

— Не рассказывайте чудесные истории! Скажите мне, куда «Аврора» ушла с Камчатки?

— Что вы мне предлагаете?

— Адмирал Стирлинг вам покажет... Я отдаю приказ, чтобы всех матросов и офицеров распределили по английским кораблям. Напишите и передайте вашему командиру.

— Это не мое дело. Лейтенант Пушкин здесь, и вы можете передать ему. У вас есть для этого офицеры.

— Не можете ли достать мне на берегу собак камчатской породы? Напишите записку вашему епископу, который приехал в Аян, чтобы он прислал собак.

— Здесь нет собак камчатской породы. Тут другая порода.

— Мне сказали, что епископ со своей свитой ехал в лодках, которые тащили, мчась по берегу, собаки такой же породы, как на Камчатке.

— Я не знаю никакого епископа. Я никогда не был на Камчатке.

— Жаль.

Эллиот уехал на «Сибилл».

Через некоторое время он приказал доставить шкипера Тауло.

— Кто хозяин «Греты»? — спросил Эллиот.

— Гамбургский купец Пустау.

— Кто? Где живет?

— В Гонконге.

— Все ясно! Зачем судно пошло в Японию? Кто подлинный хозяин судна?..

— В Гонконге составила шайка русских шпионов! — заявил Эллиот, собрав капитанов кораблей после допроса немца. — Там среди американцев обосновалась компания немецких дельцов, принявших американское подданство. Эта агентура Зибольда. А Зибольд куплен Петербургом. Мне кажется, американцы забирают бизнес в свои руки. У них банки, суда и они дотянулись к опиуму. Я уверен, что Пустау с компанией послал судно за русскими, чтобы потом получить от царя за фрахт и вознаграждение. Старайтесь узнавать, Артур, у русских офицеров в плавани все что можете.

— Да, сэр, — ответил Стирлинг.

— Доктор, священник и больные, прибывшие на «Грете», освобожаются и свозятся на берег для передачи русским. Священника отправим не сразу, пусть отслужит своей команде и примет пору-

чения. О больных надо снести с берегом. Русского доктора отправьте на берег, и пусть он сам все подготовит. Вы, Артур, желали взять лейтенанта Пушкина, Шиллинга, Сибирцева. С вами пойдет советник посольства мистер Гошкевич и ученый японец, с которым он не расстается.

— Вы дали слово освободить Гошкевича.

— Гошкевича нельзя освободить. Я рассудил и передумал. Он глава православного колледжа в Пекине. Я не могу отдать его противнику. Он будет нужен нам для точной информации. Также задерживаем японского переводчика. Я обязан всеми средствами нанести урон противнику.

— Мистер Гошкевич не служит в военном флоте. Он на гражданской службе.

— Он дипломат! Нельзя отпустить. У нас нет закона, позволяющего освобождать гражданских. Потом пусть решают адмирал и губернатор. Вы возьмете часть их людей, Стирлинг.

— Да, сэр. Я найду, где поместить сто человек.

— Держите их строго, чтобы не подняли мятежа.

Младший офицер записывал под диктовку. Эллиот с трубкой сидел сбоку стола в кресле.

— Два офицера и сорок людей — на «Спартан». Еще двадцать передадим галантному союзнику. Остающиеся офицеры и люди идут на «Сибилл». Лейтенант Гибсон и матросы, взявшие приз под его командованием, назначаются на «Грету» для следования в Гонконг. С ними переводчик мистер Тулли.

Эллиот отправился на берег осматривать обнаруженные следы батарей.

— Где орудия?

Сэр Фредерик, капитан «Эмфитрайта», сказал:

— Французы высказали предположение, что из-за невозможности транспортировать пушки в джунгли они закопаны.

— Их не могли увезти на лодках?

— Нет таких лодок. Река непригодна для плавания. Есть тропы, но непригодны для перевозок артиллерии.

Офицеры несколько задержались на батарее. Обступили инженера Уиттингэма с флагманского судна и выслушали его объяснения об устройстве скрытых фортификаций Аяна. Потом все пошло следом за коммодором и капитаном Фредериком на док.

Вокруг обнаженного фундамента валялись остатки взорванного русского парохода. Рядом на стапеле — готовая к спуску шхуна. Коммодор сказал, что надо и шхуну взорвать.

— Тут есть русский представитель от компании, он утверждает, что это частное владение, — сказал командир «Эмфитрайта».

Известно, что Российско-американская компания имеет обширные владения на Аляске и на побережье, всем командирам кораблей известно также, что эта компания находится как бы в самой тесной компании с Гудзонбайской компанией. Существует обязательство, которое умные и богатые люди в Лондоне и Петербурге заключили, начиная войну: Англия и Россия воюют, но Гудзонбайская и Российско-американская компании сохраняют мир, имущество той и другой остается неприкосновенным, территории и фактории их не захватываются, как и города и селения, корабли не подвергаются нападению и не уничтожаются. Флаги компаний охраняют их имущество повсюду. На территориях компаний война не ведется. Казалось бы, все ясно. На Аляску не вторгаются англичане. Канаду не трогают русские.

Но во время войны оказалось, что небольшие военные порты России на побережье Сибири и ее военный флот снабжаются кораблями компании и повсюду имеются ее фактории, чьи запасы могут быть предоставлены войскам. В Аяне пароход, построенный в эту зиму, по всем

признакам, как сказал взорвавший его Стирлинг, предназначался во время войны для плавания в реке и по морю. Служил бы военным целям и был ценным пособием противнику.

Склады компании, когда англичане пришли сюда в первый раз, были полны мехов и товаров, и по возможности их не тронули, приставив караулы для охраны. Хотя теперь может оказаться — все разграблено, если в них обосновались янки.

— Где этот представитель?

— Он здесь.

Коммодору был представлен инженер Гальшерт. Блондин, в шляпе, куртке и сапогах, как и полагается инженеру.

Гальшерт сказал, что шхуна — частная собственность начальника фактории господина Кашеварова и строилась лично для него. Он является известным писателем и ученым.

Сэр Фредерик знал, что Кашеваров, который со своими казаками отступил и находится в десяти милях от Аяна, по совместительству является начальником правительственного порта в Аяне. Он командовал тремя батареями, следы которых только что видели. Как быть? Как тут разделить интересы враждебного правительства и почти союзной компании?

Эллиот не хотел входить в подробности.

— Напишите, что даете обещание, что эта шхуна не будет спущена, пока идет война, и не будет участвовать в военных действиях. Пошлите записку в джунгли на подпись капитану Кашеварову, которого американцы принимают за генерала, и пусть поставит печать компании.

Гальшерт согласился. Тут служащие все же несравненно говорливее, чем в Китае.

Эллиот сказал, что свезет больных пленных на берег для отправки в Россию, но попросит передать письмо якутскому губернатору. Непременное условие освобождения — никто в случае выздоровления не примет участия в военных действиях.

Эллиот попросил Гальшерта открыть главный склад — большое помещение с железными ставнями и навесами.

Над железной крышей соседнего здания положится американский флаг. Американец Шарпер пригласил к себе, сказал, что платить можно наличными или чеками.

— Почему товар стал ваш? Это товар компании?

— Нет, это мой товар, ваше превосходительство! — заявил здоровенный плечистый Шарпер с лицом цвета печеного яблока и с сединой в курчавых густых волосах. — Компания разрешила мне торговать в ее помещении. Я составил договор на аренду. Вот он — висит на стене. Товары мои собственные, я доставил их на корабле для продажи китобоям в Охотском море.

— Я вижу здесь меха, висевшие в складе компании до вашего прихода, — сказал Артур Стирлинг.

— Очень дорогие меха, сэр, и не всем по карману, — отвечал американец.

— Вы знаете Кашеварова? — спросил Эллиот.

— Да, он мой друг. А вы знаете, ваше превосходительство, — американец вытащил из клеенчатых штанов огромный красный носовой платок, громко высморкавшись, вытер нос, — вы знаете... Кашеваров наполнил алеут. И получил в Петербурге образование в морском корпусе... Как вам нравятся эта русская система привлекать дружбой народов... Японцы написали в ученом труде, что все инородцы мелких племен льнут к русским, как муравьи на сахар. Я вам уступлю некоторые меха... Я выберу, коммодор.

В баре, отвечая на расспросы офицеров, инженер Гальшерт рассказывал, что климат страны суров, переносится с трудом, дети, несмотря на всю заботу об их здоровье, страдают золотухой в разных

формах и почти все население весной болеет цингой. Он упомянул фатерлянд, откуда уехал пять лет назад. Где этот фатерлянд, коммодор не спрашивал. Возможно, не в Пруссии. Скорей всего в Москве, Риге или Петербурге.

— Где остановился архиепископ? — спросил Эллиот.

— У его преосвященства квартира в доме сына священника, постоянно живущего в Аяне. Архиепископ Иннокентий — известный ученый, исследователь Аляски, знает языки народов Северной Америки и Сибири, издал в Петербурге словарь и учебники алеутского языка, изобрел письменность для колошей — индейского племени, обитающего в колониях компании. Английский путешественник Симпсон, познакомившись с ним, написал в своей книге, что епархия Иннокентия, в которую входят вся Восточная Сибирь, Камчатка, острова Тихого океана и вся Аляска и побережье Северной Америки до Калифорнии включительно, является самой обширной в мире...

Симпсон сообщает про случай, когда на судне, шедшем из Америки, умер шкипер. Преосвященный заменил его и вел корабль через весь океан.

Четыре француза с «Константина», как четыре императора Наполеона III, с бородками и усиками, копаются на огороде, и черные глаза их пылают. Длинными железными шестами они всюду тычут землю.

— Что ищете, галантные союзники? — спросил лейтенант Тронсон.

— Вражескую артиллерию, — ответил один из Наполеонов. — У них закопаны пушки трех батарей!

— Нет, сэр. Они сказали нам в баре, — заметил часовой у церкви, — что здесь закопан русскими железный ящик с золотом и серебром, и они перекопали весь Аян, как участок на собственной ферме. Мы шли вместе, и они признались, что найдут во что бы то ни стало и тогда пригласят нас в таверну.

Офицеры рассмеялись. Стирлинг открыл тяжелую дверь, и все вошли в церковь. Там шла служба и тускло горели свечи. Стихли и сняли фуражки.

Седой священник в облаченье стоял на коленях и, обращаясь к алтарю, с пафосом читал молитву, вздымая обе руки.

— Укрепи... силой своей... умножи славу победами над противоборствующими... сохрани воинство, пошли ангела своего, укрепляющего... и избави от огня и меча...

— Аминь! — тихо и согласно пропели стоявшие у стены. Выдавались детские и женские голоса.

Служили молебен о даровании победы над врагом. Гальшерт несколько раз перекрестился. Переводчик мистер Тулли пояснил, что служит архиепископ Иннокентий.

Коммодор и офицеры стояли твердо, как на вахте, решили ждать. Глаза после яркого солнца не сразу привыкали к потемкам, но уже могли рассмотреть молящихся.

С края две пожилые женщины, старик с детьми и худой белокурый подросток, стриженный в кружок, в длинной рубашке и ичигах, подалее видны лица и халаты тунгусов...

Служба закончилась. Прихожане подходили к епископу, он крестил их. Гальшерт подошел под благословение и сказал, что в церкви находится командующий эскадрой и намерен говорить.

Епископ ушел переодеваться и появился без облачения, в черной рясе. Он высок ростом, крепко сложен, в бороде, со свежим, энергичным лицом. Вид его приятен, тем более что Симпсон писал о нем как о храбром моряке.

Все поздоровались.

— Слушаю вас, — сказал Иннокентий.

— Мы рады видеть вас, ваше преосвященство, и познакомиться, — проговорил Эллиот. — Но по долгу службы я должен взять вас в плен. Иннокентий засмеялся, улавливая солдатскую шутку.

— Зачем же я вам нужен, скажите мне на милость? Неужели у вас своих забот мало?

— Вы полагаете?

— В самом деле! К тому же я человек не военный, следовательно, пользы вам от меня нет, а будут большие хлопоты...

Элиот шутливо нахмурился.

— Ведь меня надо кормить!

Епископ попал не в бровь, а в глаз, и все рассмеялись. Продовольствия на эскадре мало, это большое место у всех командиров кораблей.

— Так вы отказываетесь сдать в плен, ваше преосвященство? Но в таком случае будет хуже, вам придется заплатить за свое освобождение.

— Чем же я могу вам заплатить? — настороженно ответил епископ.

— Как же быть? Впрочем, я могу все взять на себя. Ваше преосвященство должны нам предоставить выкуп — выпить с нами бокал вина за обедом на моем корабле, и только тогда мы отпустим вас.

— Что же делать, — сказал Иннокентий, — раз я в плену, то придется подчиняться.

Иннокентий знал, что на судах эскадры находятся русские из экспедиции Путятина. Видимо, его приглашали не зря, обращались вполне почтительно, называя «райт ревендер», то есть ваше преосвященство. Он понимал, но говорил через переводчика, полагая, что неприлично выказывать знание языка как бы лишь для того, чтобы расположить в свою пользу.

— Мы просили бы вас, ваше преосвященство, осмотреть вместе с нами госпиталь и встретить доставленных нами больных соотечественников.

— Пойдемте, — сказал Иннокентий, — я покажу вам госпиталь. Доктора там нет, но с больными, видимо, отпускается и наш корабельный врач?

— Да, доктор Ковалевский, — сказал Стирлинг...

— Я не могу понять, почему такое неудобное место выбрано для госпиталя, — рассуждал, расхаживая по болоту, как по площадке для крикета, молоденький лейтенант Тронсон с «Барракуты». — Тут сыро, это нездоровая низина. Как можно было тут строить это нелепое двухэтажное здание, когда вокруг столько отличных участков на возвышенностях!

«У нас, — подумал преосвященный, — дома для начальства строили на сухом, здоровом месте, а больницы — где попало».

С недоумением осмотрели прищельцы двойные двери, обитые оленьими шкурами. Внутренние помещения бедны, стены оклеены газетами, кое-где заметна плесень.

Пришли на пригорок, в двухэтажную казарму для казаков, сложенную из кедровых бревен. В нижнем — сплошные нары у стен. Верхний этаж разделен на маленькие комнаты с простой, но удобной мебелью, видно, предназначенные для офицеров. Мнения сошлись, что больных лучше поместить здесь.

На берегах горного потока росли ели, березы в свежей зелени, высочайшие тополя с толстой глянцевицей листвой, на лужайках прекрасные фиалки, крупные синие колокольчики, желтые лютики.

— Азалии образуют пышные заросли по обе стороны потока, — говорил лейтенант Тронсон, зайдя в густую цветущую зелень по горло.

В домике епископа все обратили внимание на его портрет. Иннокентий еще молод, зорко смотрит вдаль, держит в руках штурвал. Русую бороду треплет ветер. Чья это работа? Подпись по-английски. Кто? Эдвард Бельчер? Сэр Эдвард Бельчер? Англичане столпились у портрета и наперебой наклонялись, читая собственноручную подпись известного моряка и путешественника.

Бельчер, Симпсон, Маккензи — достаточная рекомендация. Эллиот мрачно воодушевился. Он приглашал епископа из деловых соображений, но была и другая причина.

Он рад епископу. Эллиот сражался со всеми народами и всех бил. А Иннокентий проповедовал тем же народам на берегах того же Тихого океана. Какой прекрасный человек! Какое одновременное движение вперед!

— Дорогой мой! Едьте ко мне! — сказал Эллиот сердечно.

Иннокентий знал — не из любезности его приглашают.

— С командой корабля «Диана» мы поступаем сурово, — сказал коммодор на корабле, — но иначе нельзя. Мы не можем усиливать ваш гарнизон. Больных я отпускаю.

Эллиот засиделся в авантюристах лишний десяток лет. Он помнил старые добрые времена, когда умели брать за глотку и пристреливать врага, глядя ему в лицо. Эллиот еще пропитан духом старой Ост-Индской компании. Он еще прогорит.

Эллиот сказал, что взяты в плен матросы с корабля «Охотск», один из них немец Карл Лотер — сам назвался предателем.

— В Аяне они грабят, и мои матросы удивлены, что русские так яростно грабят русских.

Иннокентий знал, что не только грабят, но и показывают взявшим их в плен, где грабят. И американцы грабят.

Иннокентий озабочен и огорчен американцами еще более, чем противниками в войне. Сколько их нахлынуло в Аян на своих судах. Неужели наши когда-нибудь с них пример возьмут? Иннокентий многих детей воспитал. Учил, как стоять, как поздороваться, глядя в глаза, как сесть и встать, как поклониться взрослым. Неужели все напрасно? Все пойдет прахом?

Какие немцы могут быть на бриге «Охотск» и откуда? Шкипер Юзелиус из Риги, где в 1845 году судно было снаряжено, не сдал англичанам «Охотска», сжег и сам ушел с большей частью команды на шлюпках. Финны, конечно, были и у него, как и у всех кораблях компании.

Лютеране — звери, как полагал Иннокентий. Он однажды так прямо и написал Фердинанду Петровичу Врангелю в Петербург, что на Аляску присылают служить лютеран, и в скобках добавил: «зверей».

На этот раз он сидел в компании протестантов-англиканцев. Это другой народ, и вера у них другая.

Иннокентий был среди алеутов не только законоучителем, но и слесарем, столяром, оружейником, лодочником, смолокур, учил людей всему, чему сам научился, живя в семье в сибирской деревне.

Вот сын последний раз приезжал из Москвы и сказал, что преосвященного Иннокентия ждут там. Все лучшее должно быть в столице! И будто бы Иннокентия Вениаминова прочат со временем в московские митрополиты! Плох Филарет, долго не проживет... Сам говорит. Иной замены, мол, нет. Иннокентий известен подвижничеством и подвигами своими на Аляске и в Сибири. Не пора ли, мол, заканчивать свои скитания? Чем возиться с какими-то вымирающими племенами да сочинять для них азбуки! Давно пора в Москву!

А Иннокентий задумал в эту зиму объездить все заселения в новом краю. Амурским игородцам надо дать образование, составить для них азбуки, написать буквари, как для населения Аляски. Тем более что сын здесь трудится — должен со временем сменить Иннокентия как ученый...

— За нашего гостя, господа, — приподнимаясь, сказал Эллиот, — о ком мы читали и слышали, кто провел свою жизнь в пустынях, обращая в христианство дикие племена, неся им слово божье! За вас, ваше преосвященство, за ваши подвиги, за ваше здоровье!

Артур Стирлинг никогда бы не подумал, что коммодор способен произносить речи, восхваляющие православного проповедника. Впро-

чем, известно, что англиканская церковь издревле ищет с православной добрые контакты.

«Положим, вряд ли они про мои труды читали,— полагал архиепископ.— Ну да не во мне дело! Не нам, не нам...»

После обеда Иннокентий отправился на «Грету».

Тронсон спросил инженера Уиттингхэма, будет ли он писать в своей книге о встрече с архиепископом.

— Да, желал бы.

— В таком случае в моей книге я опущу этот эпизод,— сказал Тронсон.

Глава 3

МИТИНГ

Ночью стало покачивать. Проснувшегося матросу Маточкину казалось, что вот-вот всех засвищут наверх. Судно чужое, матросы и порядки тут свои. Наверху по палубе заходили. Машину остановили, пары, кажется, еще поддерживали, но уж на мачтах ставили паруса. Слышались непрерывные крики в рупор и свистки.

Судно при полной парусности пошло «ин фулл свинг»⁵.

Маточкин было заснул в своей зыбкой постели. Ветер еще закрепчал. Заревел шторм, и подбоцман, спустившись по трапу, стал будить Маслова, спавшего в соседней с Маточкиным подвесной койке, и сказал ему по-английски, что «все руки наверх»...

— У них людей мало,— сказал Маслов и приказал подыматься.

Русские матросы первой вахты, босые, в клеенчатых куртках, пошли наверх, во тьму, с фонарями. Время рассвета, но густые тучи и низги не видно. Накатывают на палубу волны в белой пене. Сразу же всех окатило. Вдоль палубы натянуты леера. Ходят, держась за них. Матросы возятся с кожухами над колесами у обоих бортов парохода. Наши офицеры здесь же.

Вчера нетрудно было заметить, что на чужом судне все не так, как у нас. Священник без бороды, крестятся по-другому — ладонью. Иная утварь, другие фонари.

Маслов и Маточкин работали на иностранных судах и в доках в Кейптауне. Те, кто никогда не ступал на палубу английского корабля, старались побыстрей приглядеться. А паруса такие же, как у нас! И так же ими управляют. Так же все работают босые. Лапы такие же! И унтеры босые: здоровенные ребята!

Послышался зычный голос Маслова, которому Сибирцев перевел отданную старшим офицером команду...

— Ну, брат, и хлещут у них,— сказал, вытирая лицо, Васильев, возвратившись после вахты в жилую палубу.

Все переоделись, надели обувь. Койки убрали. Запахло матросской солянкой.

Артельщики внесли баки с пищей. Бородатые и лохматые джеки в парусине составили раскладной стол и выстраивались с ложками и посудой. Матросы «Барракуты» иногда кивнут при встрече: вместе ночью работали на мачтах.

— Все команды у них другие,— говорил Янка Берзинь, позванивая пустым котелком и ложкой.

— Работа такая же,— щелкая зубами от голода, пробормотал промерзший до костей Собакин.

Пахло мясом. Известно, что в Аяне покупали скот, быков взяли живьем. Одного забили на корабле перед уходом. Слышали, что у них утром дают солянку, или горячее мясо, резанное большими ломтями, по два или по три на брата, с соусом из соленых овощей. Джеки, полу-

⁵ Полным ходом.

чая порции, рассаживались за столом, выкладывали еду из мучных тарелок на новенькие тарелки.

Дошла очередь до Маслова, и он протянул котелок.

— Ты что мне положил? — спросил он пожилого артельщика в сивых усах и бакенбардах.

На дне котелка небольшой кусок мяса, залитый овощным соусом.

Артельщик достал еще такой же кусок, но не дал Маслову, а кивнул следующему — Янке Берзиню.

— Гив ми... фул... — сказал Янка. (Дай полный.)

— Кам... кам!

— Как это «кам»? Я жрать хочу.

Но уж артельщик наливал Васильеву.

— Вот же сволочь, — сказал Берзинь, понимая, что больше не дадут. — Как же человек может наестся такой порцией?

Маслов обратился к сержанту, сказал, что порции слишком малы, люди останутся голодными.

— Prisoners of the war...⁶ — ответил сержант.

Подшел переводчик.

— Вам так полагается, — объяснил он. Добавил, что это законы времен войны с тринадцатью штатами.

— Ребята, не сгружайтесь, — сказал Маслов, подходя к скопившимся матросам, которые горячо обсуждали свое положение.

Качка, холод, плен, неизвестность будущего, голодный паек!

— Они могут подумать, что мятеж, вырвут нескольких и посадят в карцер, — пояснил Васильев.

Маслов пошел наверх, попросил позволения подойти к двери каюты Сибирцева и постучал.

— Что ты?

— Нас кормят впроголодь.

Маслов все объяснил.

— Я немедленно поговорю с их капитаном, — сказал Пушкин, которому Алексей Николаевич передал жалобу матросов.

Стирлинг сказал, что сожалеет, но ничего не может сделать.

— У нас есть закон: пленный получает половину порции. Прошу вас это объяснить своим матросам.

— Но мы уж говорили с вами о том, что законы о пленных не могут распространяться на нашу команду, — возразил Сибирцев.

Стирлинг разговора не принимал. Ясно, что никакого толку не будет. Сказал только еще раз, что сожалеет.

За обедом Шиллинг с горячностью доказывал в кают-компании, что у государя России никогда не было намерения захватить Константинополь. Он решил, что его долг объяснить все. Удобный случай: понимают и отлично слушают, отдавая предпочтение его знанию языка и произношению, а в этом случае и мысли доказательней.

Матрос уже обносил всех третьим блюдом и остановился подле Николая в ожидании, можно ли положить ему еще. Но Шиллинг увлекся и не спешил либо делал вид, что не обращает внимания.

Лейтенант Тронсон полагал, что Шиллинг наиболее intellectual⁷ из собеседников. «Пытается убедить нас в лучших намерениях царя. Все слушают, но, конечно, при этом никто не испытывает никакой симпатии к учреждениям и намерениям России».

Матросы собрались в баке вокруг Алексея Николаевича. Он объяснил, что таков закон, что пленному полагается полпорции матроса.

«Он сам сыт», — подумал Собакин.

— Как же они взяли честное слово, что не будет попытки бунта? — заговорил Васильев.

— Они умело разделили нас, Алексей Николаевич, — сказал Маточкин, — и держат голодом.

⁶ Военнопленные.

⁷ В этом случае — имеющий склонность к умственной активности.

Через день завиделись берега Японии. Волны улеглись.

В команде раздавались голоса, что офицерам — каюты, удобства и питание, а нам нет мыла, нет табака и голодно. Уж что-то очень голодно, когда рядом едят сытно.

Матрос Рудаков простудился. Корабельный доктор нелюбезен. Придет, посмотрит, ничего не скажет и уйдет, а человека бьет в ознобе.

— ...я тебе,— объяснял рыжему матросу знаками Собакин,— постираю... За табачок.— Он показал на табакерку.

— Но... по...— ответил матрос.

— За один только листик,— пояснял Собакин.

Он постирал белье и рубаху соседу. Получил желанные листочки табака, свернул, вложил в трубку, затянулся и дал товарищу затянуться.

Портной Иванов починил боцману брюки, выстирал и выгладил и тут же получил новые заказы.

Переводчик велел унтер-офицерам назначить своих артельщиков, чтобы получать еду на камбузе на всех и делить самим. За обедом оказалось, что и так не лучше, получается то же самое.

Матросов все время подымали наверх, приходилось мыть и чистить палубу, качать воду, тянуть снасти, перекидывать уголь лопатами. Дела на судне всегда много.

Маслов попытался все же объяснить.

— Ай сэй!⁸ — сказал он проходившему сержанту, с которым дружески разговаривал перед уходом из Аяна, когда получали койки и одеяла.

Но тот прошел крупным шагом по палубе, не повернув головы.

Утром до подъема флага Васильев подошел к матросу Стивенсону, желая поговорить по-товарищески. Стивенсон славный, видный, вместе работала в шторм. Васильев положил ему руку на плечо: «Хау ду ю ду?...» Стивенсон обернулся и грубо сбросил руку Васильева.

— Уси начальники... у море... у води...— объяснял старый лысый плотник старому же подмастерью-ирландцу, с которым вместе пилили доску,— а кузницу узяли у Аяни и Янку поставили молотобойцем. А де силы?

— Туго, брат! Табаку не дают. Нечем отбить голод,— говорил Собакин, беря в починку сапоги.

Портной шил целыми днями.

Жили в Японии за высоким частоколом, а вокруг чувствовалась жизнь. Там пение и пляски обретали смысл. Чем глуше и строже казался отгородивший забор, чем запретней были добрые чувства, тем зазывней, радушней и удалей раздавались песни. Слышался дерзкий топот и посвист. Древние песни с отзвуками великих страданий, так понятные повсюду во всем мире, где бы ни пели их матросы...

Бывало, на фрегате вызывали песенников, выходили плясуны, вынимали деревянные ложки из-за голяшек. А здесь и петь не хотелось.

После завтрака матросы переоделись. Пришел Сибирцев.

— Боятся бунта, стараются ослабить,— объяснял ему Маточкин, зло покусывая русые жесткие усики.

Сибирцев исхудал от обиды и забот. Кусок не шел в горло за столом в кают-компаниях.

Матросы сказали, что Мартыныш встретил тут родственника.

— Да вот он сам скажет!

— Юс есет летон?⁹ — вдруг спросил латыша один из матросов.

Оказался парень с соседнего хутора, когда-то ездил с дядей в город на базар. Пили пиво и слушали рассказы моряков. Потом поступил на судно к финну, потом перешел к шведу, и так пошло. Обошел

⁸ Буквально — я говорю (в смысле — эй, послушай!).

⁹ Вы летон? (Лат.) В те времена в Европе латышей называли летонами.

все моря. Выучил язык. По-русски уже не помнит, родную речь не забыл. Подтвердил, что на пароходе бояться бунта пленных. Если русские окажутся сильнее, то побросают команду в море. Поэтому велено недокармливать. Строго запретили своим матросам делиться порцией.

— А их, Алексей Николаевич, кормят очень хорошо,— добавил Мартыньш,— мясом два раза в день.

— Все хорошо и на пароходе во всем порядок,— рассказывал Васильев.— А на линейном корабле у адмирала, говорят, есть старик пятьдесят три года, а все еще младший лейтенант. Они сами объясняют, что есть медленные, а есть быстрые по службе. Те по протекции.

Подошел портной Иванов. Когда-то шил он на адмирала Евфимия Васильевича.

— А ты где выпил? — спросил Маточкин.

— Я шил джеку. Он дал мне глоток виски... Пусть увидят, что у нас силы еще есть, еще не заморили...

— Брат, а Рудакову плохо.

Высокий красивый матрос с белокурыми бакенбардами побагровел от негодования, когда Собакин что-то спросил у него.

— What is the matter for you? ¹⁰ — почти пропел босой рослый моряк, вскинув голову, как оперный тенор.

— Чего он взъелся? — осведомились товарищи, когда смущенный Собакин отошел прочь.

— Я хотел узнать, почем у них паунд брэда ¹¹ в Портсмуте...

— Он, наверно, разъярился, думал, что просишь фунт хлеба,— сказал Маслов.

Все расхохотались. И у Алексея Николаевича стало легче на душе, он подумал, что наш народ выживает за счет своих юмористических талантов.

— Все жохи, как ярославцы,— бормотал Собакин.

— Братцы, спляшем,— просил Иванов.

— Пляши сам, если хочешь.

— Чтобы спеть и сплясать, надо получить разрешение,— сказал Сибирцев.

— Как получишь, когда ни к одному подойти нельзя?

Пришел подбоцман и велел унтер-офицерам расписывать матросов. Качать воду — восемь человек. Третьей вахте обивать цепи и якоря. У помощника стюарда... У лотовых...

Под парами пароход шел проливом, приближаясь к Хакодате, где предстояла встреча с адмиралом Стирлингом и разговор о судьбе пленных. Вечерело. Лесистые сопки темнели по обе стороны Сангарского пролива. Съеден скудный ужин.

Скоро раздастся команда «трайс ап тсе хэммокс!» — подвешивать койки.

По трапу спустился улыбающийся матрос со многими нашивками на плече и на рукавах и сказал, что старший офицер разрешает сегодня по случаю праздника спеть и повеселиться пленным на палубе.

Латыш из английской команды стоял наверху с Берзином и Мартыньшем и объяснял, что все козни произошли от коммодора Эллиота. Его никто не любит. Когда эскадру отправляли из Аяна, то коммодор сказал капитану, чтобы досыта не кормить.

— Ты потише,— заметил Берзень, кивнув на стоявших рядом английских моряков.

— Нет, ничего, они сами просили меня сказать.

— Стыдно им, сво-ло-чам? — отчеканил Мартыньш.

Утром, поднявшись наверх, Алексей увидел знакомую гору с плоской вершиной. Слабо плещется широкий Сангарский пролив. Тучно стоят сопки на обоих берегах.

¹⁰ Какое вам дело до этого?

¹¹ Фунт хлеба.

Пушкин и офицеры вместе с матросами на палубе. Все ждут, что-то будет.

— Столовая гора,— сказал Александр Сергеевич.

— Южная Африка,— сказал молоденький матрос.

— Нет. Япония. Хакодате,— ответил Пушкин.

— Какое-то наваждение,— молвил Шиллинг,— куда ни идем, попадаем опять в Японию.

Здесь раунду с остальными кораблями английской эскадры, решающая встреча с адмиралом.

— Уж лучше бы Южная Африка! — размышлял Сибирцев.

Столовая гора стала отплывать от берега, потом поворачиваться, а из-за нее по зеленому скату в садах и полях опять как из мешка посыпались и запестрели домики под толстыми соломенными крышами.

— На Хэду похоже,— сказал кто-то из матросов.

Хэду действительно напоминает так, что у Алексея больно стало на сердце. И Симоду! Видны два английских корабля с острыми линиями обводов; крашенные белым порты — на черных бортах.

— У японцев солома на крышах крепкая,— с восхищением говорил, глядя на город, Мартыныш.— Как проволока!

— Адмиральских флагов нет,— заметил Шиллинг.

«Барракута» бросила якорь на рейде. Шлюпки заходили между кораблями. Вскоре стало известно, что оба адмирала, английский и французский, ушли из Хакодате в Нагасаки.

— Ушли, чтобы не встретиться с русскими,— объявил один из английских лейтенантов в кают-компании за ужином.

Все сидевшие за столом откровенно рассмеялись.

Похоже, что офицеры недовольны бездействием.

Что же теперь? Длительное плавание в Нагасаки? Здесь «Сибилл». Коммодор Эллиот заходил с эскадрой в залив Анива и высадил десант морской пехоты на Сахалине, заявив японцам, что остров никогда им не принадлежал, что тут всегда были русские посты, находятся их углеломни. Морская пехота в красных мундирах маршировала по широким долинам у селения Анива.

Эллиот недоволен, что не застал своего адмирала в Хакодате. Уже известно из разговоров в кают-компании, что он намеревался склонить Стирлинга к решительным операциям в устье Амура.

На другой день прибыл посыльный бриг с почтой. Привезли газеты за три месяца.

— Севастопол... Севастопол...— слышится среди английских офицеров.

Приходится вставать и уходить из кают-компании. Нельзя же подойти к неприятельскому офицеру и спросить: «Что же там? Что наш Севастополь?» Кажется, Севастополь держится. Один лишь отзвук его имени, услышанный нами здесь, заставляет с гордостью сносить свое униженное положение и помнить о тяжелой године войны.

Куда черт унес адмиралов? Где Стирлинг?

Хакодатские чиновники сообщили Гошкевичу по секрету, что посол Англии и генерал флота Стирлинг вместе с французским генералом отправились осматривать побережье России к югу от гавани императора Ни-ко-ра-и.

— К северу,— поправил Гошкевич.

— Нет... это... к югу...

В кают-компании офицеры «Барракуты», узнав про распоряжения, оставленные адмиралом Стирлингом, пожимали плечами от нескрываемого удивления.

...Пароход, спустив пары, тихо скользил под парусами по гладкому морю, под прибрежными утесами.

— Походит на остров Кунашир,— закидывая голову, говорил Сибирцев.

— Идем обратно в Нагасаки,— сетовал Гошкевич. «Как-то снесет все мой Точибан Коосай! Что-то он думает... Никак не можем увезти его из Японии».

— Куда же адмиралы ушли, что вам японцы сказали? — снова допытывался Пушкин.

— Они говорят, ушли на опись наших берегов, но что Стирлинга постигнет неудача — мол, они с французом отправились на больших кораблях, а что на опись надо ходить на пароходах, как американцы.

— Странно, что они ушли на обзор наших берегов к югу от Императорской. Это значит, пойдут до корейской границы.

Вечером в море полный штиль. Машина заработала. Команда корабля и пленные готовились ко сну.

В жилой палубе на ночь выставляли караул. Дело обычное, «рутинное», как у них называется, но часовые с карабинами приставлены с обеих сторон около пленных, разместившихся плотно в гамаках в середине палубы.

Сержант о чем-то поговорил с Масловым.

— Извиняются за свое командование, пытаются что-то сделать, чтобы помочь нам,— пояснил Маслов товарищам.— Сказал, что их команда просит нас песни попеть.

— Чего же им споешь! — насмешливо ответил Мартыныш.

— Просили спеть, как вчера.

— Веселые песни не запоешь,— молвил кто-то из глубины темной палубы.

— Давайте споем, люди просят...

— Можно! Проголошную!

Эх, помню, помню, помню я...—

в одиночестве затянул Маточкин, покачиваясь в гамаке.

Эх, как меня мать любила,—

тихо подхватили густые и согласные голоса.

И не раз и не два
Она мне говорила...

«Плывут в Гонконг, а поют, как гонят их в Сибирь на каторгу,— подумал Стивенсон, выслушав объяснения своего переводчика.— И как вернулся матрос со службы...»

Матросы палубы и солдаты морской пехоты вылезли из гамаков и выкладывали перед певцами свои фамильные табакерки и грязные кистети. Угостить больше нечем.

— Они давно плавают вместе, много пережили и хорошо спелись.

— Если им разрешить высказывать свободу мнений, то перестанут слушаться. Откажутся воевать, и начнутся безобразия. Все же дети рабов.

— Я не верю этому. Не может быть, чтобы матросы набирались из рабов.

А на другой вечер пленных прямо попросили спеть про мать, которая страдает за сына-разбойника...

Собакин, молодой, неуклюжий и сутулый, как старик, сидя на краю скамейки, подозвал к себе собаку, отличавшуюся свирепостью и прожорливостью. Пес подошел неохотно, поглядел презрительно и зарычал. Собакин что-то сказал ему. Кобель поджал хвост, наклонил голову и смущенно отошел. Собакин опять позвал его. Пес повиновался. Матрос сказал:

— Разве у тебя нет ума? Тебе не стыдно?

Пес раскорячился, склонил морду и, сильно и судорожно напрягшись всем телом, отрыгнул огромный кусок вареной говядины.

— Видишь, какое хорошее мясо,— сказал Собакин.— Как же она его слотнула?

Матрос встал и у всех на глазах выбросил кусок мяса в открытый порт.

За столом играли картежники. Один из них вскочил и стал бить Собакина.

— За что? — отстранился пленный.

Маслов вырвал Собакина за руку из сбившейся толпы и сам несколько раз съездил ему по шее.

— Тебе самому не стыдно?

— За что ты-то? Они от нас просят песен, а мясом кормят собак, поэтому и взъелись. Эта собака хуже полицейского. В этом куске целая порция...

— Тебе какое дело?

После этого все стали замечать, что у Собакина особые отношения с псами. Собаки его слушают и понимают. При всей привязанности матросов к собакам никто такого влияния на них не имел. Все стали опасаться за своих любимцев. Показалось, что собаки стали чахнуть. В шторм одна из офицерских собак услышала крик и ругань своего владельца, стоявшего на вахте. Молодая собака, видимо, решила, что ее зовут на помощь. А дверь не открывалась. Собака сидела и ждала, пока кто-то не вошел, и она выскользнула на палубу. Тут же волна смыла ее в море.

Вечером спросили Собакина, как он полагает, что случилось. Кто-то из пленных, смеясь, сказал, что по части собак Собакин собаку съел. Переводчик перевел буквально.

— Он съел собаку? — возмутились матросы экипажа.

— Это пословица, а не на самом деле, — перепугался Янка Берзинь. Он поторопился на помощь.

— Этого не было... Так только говорится.

Стали объясняться. Но уже поздно! Как их теперь вразумишь?

— Что же ты, брат, наделал? — толковал Маслов обмолвившемуся товарищу. — Дернуло тебя за язык!

— За собаку теперь с ними ввек не разочтешься! — сказал Мартыныш.

— Он ест собак? — спросили про Собакина.

— Собакин, иди сюда, — приказал Маслов. — Расстегни рубаху, покажи крест... Посмотри, джек, его руку. Вот видишь, какая у него кость.

Маслов не стал пояснять, что на собачине такую кость не выкормишь.

— А ты, Собакин, не срами товарищей... Оставь все свои фокусы. Я старший унтер-офицер и тебе приказываю.

— У них есть умелые марсовые! — говорили матросы «Барракуты» после очередного шторма. — Командование поступает несправедливо.

— Да, недостойное поведение коммодора!

— На мачтах они не заслужили упрека.

— Красиво, а пустыня, — глядя на вершины прибрежных утесов, сказал Шиллинг.

Под скалой бил гейзер, угасал, потом опять белая струя воды и пара подымалась саженой на сто и, распадаясь, рассыпалась по черным обломкам скал, на которые, дыша, находил и отходил светло-зеленый после шторма океан.

Поток падает с обрыва — целая река рассыпается в воздухе и превращается в дождь.

Вахтенный лейтенант попросил всех уйти с палубы.

...Матрос Стивенсон, размахивая рукой, стоял на баке и обращаясь к собравшемуся на палубе экипажу, кричал высоким голосом: — Своим эгоизмом наш адмирал, фигурально говоря, не толкнет ли христианский народ на путь людоедства? Как мы выглядим в

этом случае? Кто же и в чем виноват? Если это так, то есть ли какие-нибудь сомнения?

— Слушайте! Слушайте! — раздался голоса.

— Я выражаю желание призвать всех товарищей высказать солидарность и подать петицию капитану парохода, коммодору и командующему эскадрой. Есть ли причины для унижения пленных матросов? Они трудятся с нами наравне и каждый заслуживает полный паек моряка.

Вахтенный офицер спокойно прошаживался мимо митингующих. Иногда он отдавал распоряжения вахтенным на палубе, не принимавшим участия в сборище. Стивенсон сошел с банки на крышу люка и на палубу. Он надел фуражку.

Матрос, гордо выпятив грудь, сжимая кулаки, закричал гулким басом:

— Я сам слышал, как в Хакодате они говорили по-японски! Люди возвращаются после научной деятельности на родину и в плену заслуживают вполне табака и мыла!

— И полной порции! — вперевой добавили голоса из толпы.

— Скажем слово против эксплуататоров в защиту рядового матроса! Против лавочников, переводчиков и газет, искажающих истину! За свободу слова!

Вышел матрос в лохматых шерстяных штанах и босой.

— Мы поем: «Вверх Англия и вниз все остальные». Для русских за голодное терпение и за их железные лапы я призываю сделать исключение, и я готов отвергнуть ради них наши патриотические предрассудки.

— С ними война! — крикнули оратору.

Митинг загудел, выражая недовольство этой репликой.

— После нашей неизбежной победы в Севастополе речь о войне прекратится. Долг моряка — бросить спасательную бочку! Я призываю: идти прямо в зубы ветру и подавать бумагу командующему!

— Тод вырвал эти доводы и эту блестящую речь из моего рта! — заявил следующий оратор, рыжий матрос без всяких нашивков. — Дайте мне бумагу, я поставлю на ней свой крест!

Митинг закончился.

— All sails aback! ¹² — раздалась команда вахтенным.

На другой день при подъеме флага вышел капитан Артур Стирлинг. Как всегда по субботам, спросил, есть ли жалобы. Стивенсон выступил вперед и попросил позволения подать петицию.

Молодой капитан просмотрел длинную бумагу со множеством подписей. Сказал, что передаст петицию адмиралу, ушедшему в Нагасаки, и тогда ответ будет известен.

— У нас Степан Степанович первому же спикеру за такое дело отгрыз бы ухо, — почесываясь, говорил Собакин.

— У вас плохой капитан? — спросил Стивенсон.

— Нет, хороший, — ответил Маслов и подмигнул товарищам.

— Но мы привыкли, — молвил Маточкин. — А у вас хороший капитан?

Стивенсон ничего не ответил.

— Как у вас разрешают так рассуждать? Капитан не наказывает?

— Ему нет дела до этого.

— Ты же служишь у него?

— По службе я исполняю все приказания. Иду в бой и работаю. До остального ему нет никакого дела...

— Ай сэй! — желая приостановить уходившего Стивенсона, сказал Васильев.

Но тот не обернулся, опять скинул руку с плеча и ушел.

— Панибратства не любят! — предупредил Маслов.

¹² Обстеньить все паруса!

— ...Ис в тред-юнионы не каждого принимают,— объяснял плотник.— Надо быть хорошим мастером.

Молодой матрос сказал, что в военном флоте тред-юнионов нет, запрещены всякие объединения и стараются, чтобы католиков было меньше. Католики верят папе и подчиняются ему.

— Флот стоит дорого. Хотели ввести продажу капитанских и офицерских должностей, чтобы оправдать расходы. Парламент не утвердил. А у вас дорого стоит флот?

— А нам не говорят, сколько стоит.

— Почему же не требуете? Может быть, вас обманывают?

— Еще хотели военные корабли продавать капитанам в собственность.

— Как японские церкви бонзам! — догадался Васильев.

Матросы разговорились и рассказали, что у них все население разделяется на работающие классы и на думающие классы. Зашла речь, что думающие классы будто бы думают о том, как улучшить положение трудящихся. Чтобы эта задача решалась успешней, велено думающих хорошо кормить. Поэтому трудящимся приходится ради своего же счастья во всем себе отказывать, и они живут впроголодь. И еще много есть хороших и благородных теорий. Но дело не меняется для тех, у кого силы нет. Толковали об устройстве тред-юнионов, зачем они составляются и можно ли говорить об этом на корабле, разрешается ли военному моряку или за это преследуют...

— Лучше говорить реже,— пояснил моряк, похожий на оперного певца.

— Королева царствует и управляет. Советуется с парламентом. В тронной речи объявляет, что должны потом подготовить тори или виги.

— Кто такие? — удивился Маточкин, выслушивая не совсем ясные переводы товарищей.

Пленные сгрудились и слушали с интересом. Добровольные переводчики задавали любой вопрос и переводили ответы.

— Ну что, понял, Собакин? — спросил Маточкин, когда беседа закончилась.

— Понял.

В воскресенье пели и танцевали; теперь веселилась команда корабля. Некоторые напевы с четким, частым ритмом, в котором фразы теснились так, что певцы спешили произнести их почти речитативом. Подыгрывала итальянская гармоника, ритм подбивали гитары.

— Проголошные у них, может, и вовсе не поются,— говорил Васильев.

— Почем ты знаешь? У них разные есть песни. У них есть все.

— Слушаешь и отдыхаешь. Слезы не льешь.

В танце замысловатые коленца не выкидывают, присядки у них нет. Стивенсон, ступая короткими шажками, затянул песню, многословную, как жалоба или рапорт. Потом он, гордо расправив плечи, грациозно и лихо расхаживал по палубе, высоко вздернув нос.

I am beggar,
but beggars are some gentlemen...¹³ —

под общий хохот закончил он.

Утром Собакин умывался в общем умывальнике, когда рядом встал Стивенсон.

— Джентельпуп, здорово! — сказал ему Собакин.

Стивенсону послышалась насмешка, но не следует обращать внимания. Этот пленный все же большой оригинал, а оригинальные люди редки.

¹³ Я нищий,

но нищие тоже джентльмены...

Глава 4

ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЛУОСТРОВ

Артур Стирлинг желал бы знать, где отец был так долго. Почему французский адмирал на таком же старомодном линейном корабле сопровождал его в плаванье? Подобные секреты долго не сохраняются. Сэр Джеймс пригласил сына к позднему завтраку.

Отец для Артура подобрал на «Барракуту» хороших молодых офицеров. У себя на корабле оставил пожилых лейтенантов. Старик капитан ходит с бородой, как Санта Клаус, и в галунах, как швейцар. Один из офицеров, младший лейтенант, служит сорок лет в одном чине. Эти люди не удовлетворены своей карьерой и далеко не идут. Но им придется смириться, большего не достигнут.

Сын сказал, что пленные матросы голодны и что это всех заботит.

— Чего же они хотят?

— Они не получают табака и мыла.

— Тут я ничего не могу поделать.

— Они исполняют все работы наравне с нашими матросами и заслужили их расположение... Команда попросила позволения собрать митинг и подала петицию...

Ах, петиция матросов! Адмирал задумался. Это важно. Адмирал, как и король, все же зависел от своего народа, которым строго управлял.

— Какой их рацион?

— По уставу — половина порции матроса. Но без табака и без мыла, в чем пленные крайне нуждаются.

Артур спросил наконец о таинственном плавании адмиралов.

— Хотя это открытие французов, — оживившись, заговорил сэр Джеймс, — но...

Он сказал, что пришел с описи странного полуострова, который имеет характер горного Приморья.

...В эту кампанию корабли союзных эскадр бороздили Японское море в поисках противника, и адмирал Стирлинг не раз получал рапорты командиров своих судов о том, что побережье, которое тянется от устья Амура до корейской границы, изобилует гаванями. Некоторые из них, как Де-Кастри, заняты противником и известны нам. О других есть сведения от китобоев. Они якобы удобней и чем дальше к югу, тем глубже, а климат мягче, возможно, там есть незамерзающие заливы!

— Мой консорт в Хакодате получил с посыльным бригам доносение капитана корвета «Кольбер». При осмотре побережья северней корейской границы корвет обогнул скалистый мыс, у которого направление берега меняется. Неожиданно нашел густой туман, плотно закрывший берег. Убрали паруса и отдали якорь при полном безветрии. На другой день подуло от норда. Подняли якорь, чтобы уйти в море. Туман внезапно снесло, словно материк всасывал его. При ярком солнце открылся живописный берег в горах, с цветущими лесами.

— Вы говорите о плаванье на линейном корабле «Президент?» — спросил Артур, зная, что отец иногда заговаривается. Его не увольняют. С войной, как известно, открылось так много новых вакансий, что адмиралов не хватает. Должности замещаются старыми, но известными преданностью моряками.

— Нет. Шел не я. Шли наши галантные союзники! Перед носом их корвета «Кольбер» следом за остатками быстро несущегося тумана мчался по волнам палубный шлюп под русским флагом, вооруженный двумя пушками... Его косые паруса были наполнены, и

гнулись мачты. Встреча лицом к лицу! — воскликнул адмирал Стирлинг. — Враг находился так близко, что галантные союзники рванулись к орудиям! Признаюсь тебе в величайшей тайне! Прозвучали выстрелы, и открылся целый мир! — выкатив глаза и выскакивая из-за стола, закричал сэр Джеймс. — Шлюп был разбит и пошел ко дну! Двое из команды спаслись в чудом уцелевшей шлюпке. Следуя за ней, два французских гребных судна увидели, как беглецы, имевшие преимущество в скорости, скрылись. Казалось, что они ударились в отвес берега и исчезли в нем. Конечно, это была игра теней, как на сеансах с волшебным фонарем! На самом деле шлюпка с погибшего бота вошла в пролив... Галантным союзникам показалось, что на входном мысу могут оказаться батареи. Французы не решились войти! Там бухта! — решил я, узнав обо всем этом. Отлично закрытая лесистыми горами от всех ветров! Осмотр потребовал бы подготовки и времени. Сведения, собранные французами: на потопленном боте шли русские квакеры под командой боцмана императорской службы.

...В Хакодате, получив эти сведения, оба адмирала осмотрели карты описей берегов к северу от Кореи. Стирлинг сам решил идти туда. Француз последовал за ним. Поэтому в Хакодате «Барракута» не застала адмирала. Пришлось идти в Нагасаки, куда ушел Стирлинг. Но в Нагасаки «Барракута» пришла раньше, чем корабли командующих.

Теперь Артур все понял. Ясно, чего хотел отец. На переходе в Нагасаки вместе с французским адмиралом он побывал у берегов загадочного Приморья, которое на картах изображено в виде гигантского выступа материка.

— На больших, неповоротливых кораблях, мой дорогой, нельзя приблизиться, чтобы искать входы в гавани. Баркасы и шлюпки, посылаемые на осмотр и описи, заливало при непрерывных свежих ветрах. Каменистые островки и рифы одевались туманами. Неисследованная полоса берега оказывалась слишком извилистой и протяженной. Ее меридиональное направление в самом деле сменялось на широтное: и вот тут-то начинается, от поворота берега на восток. Там, видимо, гнездятся многочисленные бухты. Об этих берегах ходили легенды. Если судить по архитектонике, то прекрасные бухты и заливы, пока не виданные и не описанные, не могли образоваться там, где параллельные хребты материка, тянущиеся в меридиональном направлении, были после сотворения мира обрублены и измыты океанскими волнами.

— С вами был паровой корвет?

— Нет!

— Небольшой парусник?

— У французов не было даже паровой шлюпки! Берег опять изменил направление! Оказалось, что чем дальше к югу, тем теплей и ярче море и тем больше рифов и скалистых островов. Страна показывала нам по временам прекрасные ландшафты в глубине гигантских заливов, которые мы увидели. Киты, морские звери и множество птиц, необычайное изобилие рыбы... Ах, мой дорогой, я долго своим счел погасить проблески интереса у моего коллеги! Это было нетрудно. Даже при виде роскошных стран он целыми часами может говорить о парижских интригах. Люди будущего: интриганство превыше всего! Никто не поверит, но мне кажется, что это было открытие нового мира! Там целый таинственный материк. Я видел его сам! Иногда казалось, что мой консьорт о чем-то догадывается! Мы с ним, старые баловни и болтуны, привыкшие к собственной свирепости, стоя рядом, глядели и шамкали, как дикари при виде человеческого мяса: ньям-ньям! Рыхлый, блудливый старичок с вишнево-черными глазками в туманах! «Какой гигантский полуостров! Где же он, где же? Дайте мне его!»

Сэр Джеймс признался, что сам возбужден не менее француза.

— Карту! — закричал Стирлинг-старший. — Но что же это? — продолжал он, склоняясь над столом, над принесенной картой. — Что? Подайте мне, мой дорогой, сведения. Пока их нет! Масса камней, зверей, птиц, бухт... Бухт! Ньям-нья! Я сам все видел — бухт нет! Сплошной берег. Нужны исследования, мой дорогой! Не мог же я лезть в бухты на «Президенте». Большим кораблям не втиснуться!

На таком гигантском парусном корабле не въедешь в рай грядущего! Величье плавучих особняков! Коллега был во власти парижских интриг и ничего не заметил у себя под носом!

— Все было бы терпимо и дело могло бы ждать! Если бы не потопленный бот! Железный бот, железный берег! Маленькая посудина среди гор, бухт, островов. Чья? Чей этот материк будущего? Вам, мой дорогой, идти!

Может быть, в будущем году? Но удастся ли? Тут на память сэру Джеймсу приходили ужасные, отвратительные гонконгские интриги. Интриги гонконгских англичан.

— Придется посылать гидрографическую экспедицию! Описывать, мой дорогой сын! — заключил свой рассказ Стирлинг. — Но сначала я должен поразить своего злейшего врага — губернатора Гонконга.

Сэру Джеймсу нравилось все китайское. Стирлинг в восторге от китайцев, от их гармонической и яркой беспорядочности, пропитанной практицизмом, от множества их твердых и консервативных условий и философских понятий, которые никогда не отомрут... При жизнеспособности, жизнедеятельности, плодovitости... При внешней нечистоте у простого, так называемого черного народа большие силы... Изысканная опрятность аристократии: Стирлинг полагал, что его дружелюбность к китайскому обществу может служить образцом для консервативных англичан. Со временем, однако, Англия не подпадет под влияние Китая, так как находится на острове. Может быть, что в будущем китайцы в наказание заставят англичан курить свой опиум?

Артур вернулся на «Барракуту» поздно вечером.

Русские офицеры ждали его, оставаясь в полутемной кают-компании.

— Адмирал затрудняется послать суда на север для вашего возвращения в столь позднее время года, — сказал капитан.

Глава 5

ПОДВЕШИВАЙ ГАМАКИ!

Коммодор Эллиот прибыл на пароход «Барракута» в сопровождении капитана Никольсена и командира корвета «Стикс» капитана Келлога. Русских офицеров опять пригласили на кварталдек. Явились Пушкин, Шиллинг, Сибирцев и Гошкевич.

Загорелые моряки в белых костюмах, белые паруса, увязанные на реях, и белые бухты канатов, добела выдраенная палуба, а вокруг на берегах дворцы и храмы Нагасаки и зонтичные сосны на холмах и островках, и все это сквозь ванты множества мачт. Красиво, ничего не скажешь! Славный денек!

— Адмирал Стирлинг из сочувствия к вам решает взять ответственность на себя, — торжественно объявляет Эллиот. — Его превосходительство готов освободить вас!

Коммодор и оба капитана взглянули на своих пленников с ободрающей добротой. Эллиот ждал отклика. Но объявленная новость

была столь ошеломляющей и неожиданной, что пленные офицеры молчали, опасаясь подвоха.

— Я иду со своими кораблями к берегам Сибири и беру с собой всех вас, чтобы сдать на русские корабли,— продолжал Эллиот.

— Вот так бы и говорил! — вздохнул Пушкин и свел густые брови.

— Согласны ли вы принять мое предложение?

— Но где вы найдете русские корабли? Вы все лето искали их и не нашли.

— Мы пойдем туда, где они есть. Мы прекрасно знаем, где находится фрегат «Аврора».

— Позвольте вас спросить,— заговорил Шиллинг,— при подобной встрече не произойдет ли сражения между вашими и нашими кораблями?..

Барон для Эллиота — как для быка красное.

— Да, произойдет! — заносчиво ответил усатый загорелый англичанин.

— Когда же вы сдадите нас на наши суда? До битвы или после?

— После.

— Кто же кого победит?

— Победим мы! — В запале коммодор как бы закусил удила.

— Кому же тогда нас сдадите?

— А черт их поберет! — пробормотал Эллиот, отводя своих капитанов.— Я ведь так и говорил адмиралу, что это не довод и ничего не получится! — Эллиот тупел и терялся в таких случаях.— Адмирал пошлет вас в шляпках в Амур под парламентерским флагом мира,— поспешно объявил коммодор, не давая открыть рот Шиллингу.— Дайте расписку, что по флагу не будут стрелять!

— Мы готовы дать расписку, но не согласны вести вас в Амур,— ответил Пушкин.— Просим высадить нас в известной вам гавани Де-Кастри.

— В Де-Кастри никого нет, и вы перемерете от голода. Я могу вас доставить только в Амур.

— Они хотят, чтобы мы показали им вход в реку,— сказал Пушкин по-русски.

— Дайте нам продовольствия на десять дней и высадите нас в Де-Кастри. Мы сами дойдем.

— Нет, я не могу подвергать вас риску голодной смерти!

— Мы отказываемся идти в Амур!

— В таком случае останетесь в плену.

— Объясните ему все сами, Николай Александрович,— сказал Пушкин.

— Я надеюсь, что вы не откажете, коммодор,— заговорил Шиллинг,— мне в личной просьбе.

— Да, пожалуйста.

— Передайте вашему адмиралу, что он далеко не джентльмен.

— Да как вы смеете? Вы... вы... Кто и чем обидел вас?

— Каждый честный офицер вашего флота обиделся бы, если бы ему предложили за свободу стать изменником.

— Никто вам этого не предлагал!

— Неужели вы думаете, что мы из первых ваших слов не поняли, куда вы клоните?

— Вы надеялись, что мы укажем вам пребывание наших судов! — сказал Пушкин.

— Вы смеете предлагать нам освободиться в обмен на сведения о фарватере Амура!

— Не забывайте! — закричал Эллиот.— Могу отдать приказание заковать вас в кандалы!

— Заковать меня можете... Но вот ваш адмирал все-таки не

джентльмен! Да и вам, господа, не следовало бы передавать такие унижительные предложения!

— Остаетесь в плену! — сказал Эллиот. — Вы будете переведены на другие суда! Порция не будет увеличена вашим матросам.

— Кто это решил?

— Приказание адмирала!

— Когда он отдал его?

— Это не ваше дело!

Эллиот и капитан сошли по бронзовому парадному трапу в вельбот...

— Хорошо. Теперь мы имеем полное право держать их в плену, — сказал на флагманском корабле, в своей каюте, прибывшим офицерам адмирал Стирлинг. — Мы предлагали им освобождение, они сами отказались. Из страха перед своим правительством! Ну так им и надо! Но только убрать их с парохода! Всех их разделить, не оставлять вместе. Офицерам не давать кают! Пусть ночуют в палубах. Днем могут проводить время в кают-компаниях... На ночь подвешивать койки в жилых палубах вместе с матросами. Не хотят стать изменниками? Так они заявили? Вы обещали надеть на него кандалы? Они всего боятся! Приказываю порции их матросам не увеличивать... Табаку и мыла не давать!

— Ваше превосходительство, — заговорил Эллиот, — их люди честно работают, и наши команды настоятельно просят... на кораблях петиции подписаны всеми, пленные заслужили уважение... синих жакетов!

Адмирал был так возмущен, что не хотел больше слушать.

— Петиция не имеет никакого значения, если пленные офицеры дерзят мне! Никому не будет снисхождения!

Коммодору Эллиоту предложено готовить отряд к плаванию обратно на север. Но без русских пленных. Их доставят в Гонконг. Искать вход в реку Амур, попытаться сделать все, что удастся! Бомбардировать Де-Кастри. Отряд Эллиота будет усилен винтовыми судами и фрегатами. Стараться войти в реку и проникнуть на рейд нового порта. Найти «Аврору». Потопить ее... Уничтожить город и порт!

— Взять «Аврору» и привести ее в Гонконг!

«Будет ли Эллиот адмиралом?» — закручивая ус, подумал боевой коммодор. Такой вопрос мог бы подразумеваться!

— Как и решили, пленных офицеров, знающих по-английски, переведите на мой корабль, — приказал командующий. — Я хочу видеть их сам! Держать их перед глазами. Пушкина оставить без переводчика. Натуралиста отделить от офицеров. Перегасовать пленных. Все время переводить их с судна на судно, чтобы больше они не вызвали симпатий наших синих жакетов. При первых же попытках неповиновения прибегнуть к наказаниям пленных.

— Я прошу вас, мой сын, — сказал сэр Джеймс, оставаясь в салоне с Артуром, — пренебрегите своими дружескими отношениями с офицерами посольства Путятинна. Подайте списки пленных. Я приказываю убрать всех с «Барракуты» и перевести на другие суда! Я не рекомендую вам сохранять какие-либо отношения! Я уверен в вас! Они не джентльмены и более для вас не существуют!

— Может быть, необходимо освободить Гошкевича? В одном из китайских портов он мог бы сойти как: лицо гражданское, мог бы отправиться в центральную Европу на пакетботе...

— Гошкевича ни в коем случае! Он же был секретарем у Путятинна... Держать его дольше, чем военных! А то явится в Петербург, тогда будет считаться, что они заключили договор с Японией.

— Но Путятин уже в Петербурге!

— Путятин? Что он значит, если все его посольство в плену. Просто он бежал, бросил всех на произвол судьбы. Наши газеты напишут об этом! Никто не признает, что он а не а заключил договор!

Алексей смотрел через порт, в который выставлено на Нагасаки дуло морского орудия, и думал об Оюки. Он надеялся, что в Нагасаки хоть что-нибудь узнает о ее судьбе. Поэтому возвращение в Японию не было для него таким ужасным и невыносимым путешествием, как для его товарищей. Но вот эскадра уходит. Уж выплели вьются... Напрасно ждал, что удастся побывать на берегу. «Нас переводят и сегодня уйдем!»

В Хакодате встретился знакомый переводчик Съюза, сказал Алексею, что в Нагасаки в этом году по совету посла Путятина открывается первая японская высшая военная морская школа голландского кораблестроения и плавания и что один из самых знатных молодых рыцарей уже отправился туда из окрестностей деревни Хэда и что он теперь в Нагасаки и, возможно, что-то знает о судьбе Оюки. Как всегда, у них ребусы! Понимай как хочешь! Мол, он знаком с красивой молодой японкой из деревни Хэда — дочерью банкира и купца.

Баркас с пленными готовился к отвалу. Стивенсон, тряся руку Васильева, объяснял ему, что на фрегате «Пик», на «Президенте», на «Винчестере» и на всех кораблях, куда переводят пленных, командами также будут приняты резолюции в защиту прав русских матросов курить табак и съесть полную порцию.

— На всех кораблях ее величества эскадры Китайского моря движение охватывает все экипажи.

— Мы об этом позаботились! В добрый путь! — подтвердил Тэд.

— See you again!¹⁴

Алексей Сибирцев, японец Точибан Коосай и сорок матросов поднялись на парусный адмиральский корабль «Президент». Как для экзекуции на палубе выстроены две длинные шеренги моряков. Адмирал Стирлинг в торжественной тишине прошел между рядов гулками шагами и быстро кинулся к Сибирцеву.

— Пойдете в Австралию! — закричал он на остолбеневшего Алексея. — В колониях нужны рабочие. Объясните, кто этот офицер, который передал мне оскорбление! На рудники! Вы не сдержали честного слова! Вы не джентльмен! Будете спать у меня не в каюте, а в подвесной койке. Целый день слоняться без места и без дела! Я не позволю вашим людям помогать моим морякам! Пусть сидят и скучают, как пленным полагаются! Всех вас я буду время от времени переводить в плаванье с судна на судно. Я вам покажу права потерпевших кораблекрушение!

Японец Точибан удивился, слыша все, что говорил английский морской генерал. Не понимая его речи, он понимал смысла и обиделся за Сибирцева. Это очень невежливо и постыдно. В княжестве Какегава даже дети не простили бы отцу такую брань. Так не говорят с рыцарем. Его можно убить, но это надо сделать благородно, нельзя оскорблять. А тут крик, как на допросе ворюшек или мелких шпионов эдосской полицией у моста Симбаши...

...Кроме князя, в школу западного кораблестроения из Хэды, рассказал Съюза, посылаются для дальнейшего обучения несколько бывших плотников, возведенных еще во время пребывания посла Путятина в рыцарское достоинство... А деревня Хэда теперь закрыта как для иностранцев, так и для японцев, и ничего о жизни там никому узнать невозможно. Все переводчики оттуда отправлены в порты. Под страхом казни им запрещено рассказывать обо всем, что было в деревне Хэда. Голландцы начинают японцев всему снова обучать в новой морской школе в Нагасаки...

«Вот и я, офицер, сижу, как и все мои товарищи, в жилых палубах и жду команды: трайс ап хэммокс — подвешивай гамак! Что же, поспим и в гамаке! Спят же матросы! И я спал. Как смею я предполагать, что чем-то отличаюсь от них! Устаревшие, гаупые понятия!

¹⁴ Увидеть вас снова (то есть «до свидания»).

Не за горами реформы в России! Черт их побери! — думал Алексей, дождавшись команды и прикрепляя свою койку к крюку. — Чем все закончилось! Впрочем, теперь на душе легче, не стыдно людям в глаза смотреть. Вокруг все свои, койки Маслова и Берзиня подвешены рядом. Дальше Сидоров, Васильев, Мартыныч, Маточкин. Так же и на других судах вместе с матросами все наши господа офицеры».

Глава 6

ГОНКОНГ

Первым заграничным портом на пути моем был Гонг-Конг. Бухта чудная, движение на море такое, какого я никогда не видел даже на картинках; прекрасные дороги, конки, железная дорога на гору, музеи, ботанические сады...

А. Чехов, из письма А. С. Суворину от 9 декабря 1890 года.

— Celestians! — кивая на большую толпу на пристани, сказал матрос, держа чалку и готовясь размахнуться.

Винтовой корабль «Винчестер», у борта которого стоял Алексей Сибирцев вместе с другими пленными офицерами и матросами, подходил в пять часов вечера к одной из пристаней Гонконга.

Матрос кинул чалку вверх, и она, описав дугу и подымая за собой веревку, упала в расступившейся толпе.

Celestians, или точнее, the celestians, означает «небесные», так в Гонконге называют китайцев. Когда-то была величайшая и устойчивая держава, громко и торжественно именовавшая себя единственной, избранной небом, с сыном неба во главе и с самым процветающим народом вселенной. Превратилась, говорят, теперь в сплошную курьез, а пышное название осталось. «Сундук со старой рухлядью!» — по выражению Ивана Александровича Гончарова. Но еще крепка и обширна. «Европейцы подрывают у этого сундука крышку».

«А как тут красиво! — вдохновляясь видом яркой толпы и панорамой города и порта, подумал Алексей. — Но мы-то в плену!»

На борт военного парохода поднялись военные чины в белых шлемах и прошли с капитаном и его офицерами вниз. По кивку часового у трапа с оживленными криками хлынул на палубу сплошной поток китайских торговцев. У некоторых на плечах коромысло и по две тяжелые корзины.

— Капитэйна... капитэйна! — зазывали продавцы, обращаясь к офицерам и к матросам.

В корзинах персики, яблоки, бананы и лимоны, лук, огурцы, баклажаны, виноград. Много фруктов, которым мы и названия не знаем. Табак, шелка, сигары. Туфли, халаты, картины, кажется, перерисованные с фотографий портреты знаменитых европейцев.

— Капитэйна, капитэйна! — хватая Сибирцева за полы мундира, наперебой голосили китайцы. Предлагали кораллы, резьбу из слоновой кости. Тут же сласти: леденцы, из кунжута липучки, орехи в сахаре. Жареные куры, горячие пельмени размером в пирожок, тыквенные семечки в масле, креветки простые и королевские. Что-то горячее, душистое. Арбузы, дыни. Чего тут только нет! И все за гроши!

Появились китайки, обращаются на ломаном английском, можно понять, предлагают детские игрушки, изделия из нефрита, вышивки, китайские карты, фарфор, забавные картинки. Молодые прачки в красивых кофтах и клеенчатых передниках берутся гладить, чинить, крахмалить тут же сразу в каюте, в жилой палубе.

— Эу, хау ду ю ду? — обращается к Алексею рослая китаянка и пристально смотрит в глаза.— Уошинг¹⁵? Рубашку? Брюки?

Фартук у нее в руке. Ждет ответа. Не отходит. Хороша собой, в голубом шелковом костюме из кофты и штанов, с гребенкой и красной розочкой в черных волосах, ноги босые, смуглые, большие, не обезображены... Говорят, что китайцы ломают ноги девочкам с детства, помещая их в колодки. Видимо, это у аристократов и у тех, кто состоятельной. А простой народ живет, значит, по-своему... Тем более в Гонконге, где, видно, здоровая нога больше нравится. Тут у всех ноги как ноги, все дамы босые.

Китаянки, кажется, смелей, уверенней, чем японки, ростом выше и на вид здоровей. А говорят, что южные кантонские китайцы мельче северных, маньчжурских.

— Your name? ¹⁶ — спрашивает Алексей.

Китаянка засмеялась, закинув голову.

— Лю! Водэ ю бота!

— Меня зовут Лю. У меня есть своя лодка,— перевел Гошкевич и пояснил: — Это на здешнем англо-китайском жаргоне.

Алексей ответил со вздохом, что... пока, пока нет... все выстирано и выглажено, чисто...

Лицо китаянки стало острым, взгляд злым и горячим. Она презрительно оглядела Сибирцева.

Перемена неожиданно тронула Алексея, и китаянка невольно понравилась ему. Это совсем не походит на рассказы, что Китай спит, китайцы покорны и безропотны, истощены и безразличны ко всему на свете. Кажется, Гошкевич прав. Экий огненный характер, каким взглядом одарила! Поди ж! Напротив, тут все оживленны, самоуверенны, бойки... Или это лишь в Гонконге? При соприкосновении с иным миром? Обиделась?.. Но при этом овладела собой и посмотрела, словно недоумевая, что за человек и откуда. Лодка у нее своя!

— Мисс Лю...

А фруктами и ягодами уже завален весь корабль: в корзинах, в плетеных ящиках из стружки или рассыпаны на рогожках из рисовой соломы.

— Я говорил вам, сэр Алекс, что встретимся в Гонконге! — слышался из толпы заокеанский говор, и Сибирцев увидел перед собой старого знакомого по Японии американца Сайлеса.— Мой дорогой! Вы не один?

— Как видите...

— И вы здесь, барон! Как я рад! Николай-сан!

Встречались в порту Симода, жили вместе на американском военном пароходе «Поухаттан», который доставлял в Японию американское посольство. Гонконгский банкир и делец Сайлес Берроуз явился одним из первых бизнесменов с военной эскадрой втягивать японских дельцов в международную коммерцию.

— Едемте, господа, немедленно ко мне!

— Мы не можем поехать к вам, мистер Сайлес! We are the prisoners of the war!

— Военнопленные? — вскричал Сайлес и с гримасой пренебрежения махнул рукой.— Больше вы не будете военнопленными! Господин Гошкевич! — Он увидел Осипа Антоновича и воскликнул по-китайски: — Чиго фан ля? ¹⁷

— Чиго фан ля! — с шутливым поклоном ответил Гошкевич.

— Мистер Пушкин? О! Как приятно! Рад познакомиться!

— Много слышал о вас! — любезно ответил Александр Сергеевич.

¹⁵ Мытье, стирка.

¹⁶ Ваше имя?

¹⁷ Кушала ли вы сегодня? (Искаж.) Приветствие, имеет значение как «здравствуйте».

Сайлес достал из кармана отрывную книжечку, на листах которой было что-то напечатано, как на чеках, быстро написал записку и отдал ее слуге-китайцу в юбке белоснежного полотна и в чесучовой куртке. Тот снял жесткую соломенную шляпу. Сайлес сказал, показывая на кормовой трап:

— Ками, ками, деливери капитэйна... нау льюфутейна, ками капитэйна! — Означало на местном жаргоне: иди и передай капитану, не лейтенанту, а прямо капитану!

Слуга пошел по палубе, проталкиваясь среди китайцев и покривая на них, а иногда угощая зазевавшихся пинками. Все стали почтительно кланяться ему и расступаться, отодвигая корзины.

Сайлес подошел к борту и что-то крикнул. Зашевелились носильщики, ожидавшие со своими паланкинами седоков. Подкатили две коляски с выкрашенными в красный цвет колесами, в каждую впряжено в оглобельки по китайцу. Остановились на каменном причале у трапа парохода-корвета, где с карабином стоял, всех пропускающая на судно и обратно, рослый и плечистый джек в парусине и широкополой панамской шляпе.

На палубе торговцы отскакивали, заслыша стук офицерских каблуков.

— Все в порядке, — со строгой почтительностью сказал лейтенант, подходя к Сайлесу, — пятерым офицерам и юнкеру принцу Урусову разрешается идти в город по приглашению банкирской конторы Берроуз, — обратился он к Александру Сергеевичу. Не сказал «пленным». Честного слова не спросил.

— Благодарю вас.

— Можете идти, господа. Пожалуйста, господин Берроуз.

— Господин Сайлес, — заговорил Пушкин, — премного благодарен, но лично я не могу принять ваше любезное приглашение. На этом корабле находятся сто моих матросов. Я отпускаю господ офицеров, но мой долг как командира остаться с людьми. Охотно приму ваше приглашение в другой раз.

— Это категорически?

— Да.

— Я вас понял, мистер Пушкин. Да где же ваши люди?

— Вот они все здесь, на палубе.

— Ничем не отличишь. У них есть деньги?

— Да, как видите, все что-нибудь покупают.

— Прибылов, — тихо сказал японцу Осип Антонович, — я иду на берег. Пожалуйста, не беспокойтесь.

Точибан ответил легким наклоном головы, но взгляд его стал недовольным. Коосай обижен, что его не берут с собой на берег, в Англию.

— Этот американец был с коммодором Адамсом в Симодэ, — стоя среди товарищей, сказал матрос Маслов.

Американский коммодор Маслова звал Мэй Слоу, советовал Путятину произвести его и Сизова в офицеры.

— Алексей Николаевич молодой да ранний, живо стоваривается с американцами, — благожелательно кивнув в спину уходящему Сибирцеву, заключил матрос.

Алексей переступил с трапа на набережную, не веря себе и тому, что происходит вокруг. Вся толпа в движении, которое он видел с корабля.

Торговцы продают садовую ягоду в огромных корзинах. Старая женщина предлагает фарфоровых монахов, на рогожке расставлены обезьянки из нефрита. Продают шелковые картины-свитки, горячие пирожки, английский и китайские бифштексы. Фокусник с попугаем, который что-то кричит по-английски. Предлагают живых обезьян. Си-

бирцев оглянулся. Лица наших матросов видны над бортом, они стеснились там всей массой. В эту минуту Алексей поклялся, что никогда не оставит их в беде, что бы ни случилось.

— Садитесь в эти коляски. Новейшее изобретение. Только еще вводится, — говорил Сайлес. — Видите, сколько вокруг носильщиков с паланкинами: здесь все ездят в паланкинах — глупейшее медленное передвижение! А такая коляска очень гуманное открытие! Устройство коляски, может быть, японское, но усовершенствование американское. Здесь много претендентов на право первого открытия. Вместо лошади запряжен человек... Но это лучше, чем таскать на руках паланкин! И китайцу легче и заработок лучше.

— Впервые в жизни поеду на человеке! — растерянно сказал мичман Сергей Михайлов.

— А в чехарду-езду разве не играли в корпусе? — спросил Сибирцев, садясь в плетеное сиденье между красных колес.

— А я всю жизнь езжу на людях! — весело заметил Сайлес.

Китаец поднял оглобельки и помчался. В лицо Алексею пахнуло сухим жаром.

— Пик Виктория! — кричал Сайлес, оборачиваясь на передней коляске и показывая на самую высокую коническую гору. Перед ней мелкие горы в кустарниках и перелесках по морщинам, очень похожи на сопки на юге нашего тихоокеанского побережья!

У дороги китайцы в соломенных шляпах отваливают от скал глыбы, тянут их веревками под ритмическое пение всей артели или откатывают на катках. Тут же распиливают обломки скал на большие кубы. В другом месте кубы камня грузят на двуколки и увозят на быках.

— Камень идет на постройку домов! — кричал Сайлес.

Казалось, что он вез не в мировой центр торговли опиумом, а в каменоломни и что здесь, как в древнем мире, величественные сооружения создаются трудом рабов. Американец крикнул, что эти китайцы зарабатывают гораздо лучше, чем у себя в Китае.

Открылся вид на бухту и сразу же закрылся.

— Сэр Алекс, знаете, мистер Тауло здесь! — сообщил Сайлес. — Сейчас поедет, и будет видна «Грета». Ее привели под сильной военной охраной... На днях будет суд над господином Тауло... Спор и шум на всю колонию...

Но вот и улица началась. Гонконг, про который слышал, читал и который видел с корабля. Да, действительно стены новых особняков возводятся из пиленого камня, кубы, верно, аршина полтора по каждому ребру. Китайцы под какую-то свою «Дубинушку» лебедками поднимают эти тяжести на высоту второго и третьего этажей. Получаются не особняки, а неприступные крепости! Тут же готовые дома с занавесями на открытых окнах, с балконами в цветах, обращенных во дворы и в сады, где деревья и масса цветущих кустов. Дома с жалюзи и со ставнями у окон нижних этажей.

Воздух накален, какой жар приятный! Не тот душный, сырой, да же мокрый жар, что на кораблях.

...Тайфун так и прошел мимо, не дождался. В жилых палубах невозможно было спать, матросы выносили постели на верхнюю палубу. Погода стояла отличная. На исходе ночи на небе бывал виден Южный Крест, восходил из черноты океана, предвещающая предутреннюю свежесть, и Алеша подолгу смотрел на него.

Вчера пришли в Гонконг и сутки простояли у входа в пролив. Утром на судне мыли палубу, и до вечера потеки на ней не высохли.

Сайлес прав: это не античные рабы. Всюду движется оживленная толпа. Тут деньги все двигают вперед, деньги сняли гору и провели на месте ее скал богатую улицу в деревьях, которой мог бы позавидовать любой город в южной Европе. Аркады каменных торговых рядов, нарядные здания контор, банков, большие витрины магазинов ло-

мятся от всяких товаров. «Где я?» — думалось Сибирцеву. То и дело в паланкинах несут европейцев или важных китайцев. Вереницы кули тащат на себе тюки грузов, иногда в паланкинах проносят женщин.

Опять открылся пролив, корабли с голыми мачтами и под парусами, винтовые суда с дымящимися трубами, пароход с красным кожухом на колесе ведет за собой квадратные грузовые плашкоуты, всюду сампаны¹⁸ и рыбацкие лодки с красными, темными и оранжевыми парусами из цветной рогожи и соломы, лодчонки юли-юли, каждая с единственным веслом на корме.

— Вон стоит «Грета»! — кричит Сайлес. — Пухо¹⁹, — добавляет он, кивая Гошкевичу.

Бухта — как проспект в Питере, по ней во все стороны идет движение судов. Видны целые плавучие кварталы жилых лодок, похожих на бедные лачуги. Среди них, как улицы, прямые и чистые полосы воды оставлены для движения судов и перевозов. Около особняков, с необычайно толстыми стенами вокруг садов, берег моря облицован. Стоит военный пароход с пушками, и не видно плавучих жилищ. Близко за проливом тучные и безлесые бурые сопки. Под одной из них что-то вроде городка. Подальше — деревенька. Там Китай, совсем близко.

Усатый англичанин, по всей видимости жокей, едет на скакуне, другого ведет в поводу. Заведены рысистые бега и скачки! Большая женщина лежит под деревом поперек тротуара и тяжело дышит.

— Тут люди мрут, как мухи. Никак не отучишь их бросать мертвых в воду... Холера...

Проехали в переулок, где теснились солидные дома в три и некоторые в четыре этажа. Всюду вывески по-английски и по-китайски цветными иероглифами, и это придает городу бойкий и нарядный облик. Главная улица с экипажами и паланкинами, с толпами китайцев, малайцев, индусов. Большие деревья выращены на этом еще недавно голом острове. Быки, ослы, лошади, пароходы, парусные баржи, англичане, американцы, китайцы, индусы... Все движется, все на ходу, работает, все спешат и стараются.

— Вот что значит люди пришли не в пустынную тайгу! — заявляет Михайлов.

Как странно и непривычно видеть все это после стольких лет плаваний в пустынных морях, после жизни в бедной Японии, после стояния на якорю у своих берегов. Наш самый большой на этом океане порт Аян похож на малую деревеньку со складами торговой компании.

Проехали два верховых солдата-бенгальца в белых чалмах и в мундирах с белыми пиками, на высоких лошадях. Видно правительственное здание с куполом, как у православного собора. Вокруг разросся сад так пышно, что на фоне залитой солнцем желтой горы чернеет, как туча.

У небольшого каменного особняка Сайлес вылез. Вышли китайцы-слуги, помогли всем сойти.

«Явиться бы сюда когда-нибудь с посольством, с нашей эскадрой, а не пленником!» — подумал Алексей.

Глава 7

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В доме необычайно прохладно. Стены этих особняков так толсты, что солнце не в силах прогреть.

— Вот это, называется, люди умеют жить! — сказал юнкер князь Урусов, отдавая слуге-китайчонку пропитанную потом фуражку.

¹⁸ Китайское парусное судно.

¹⁹ Плохо (искаж. кит.).

— Здесь, господа, вы не в плену, а в гостях у дружественного вам и вполне нейтрального американца. Чувствуйте себя как дома! Все слуги в вашем распоряжении. Прошу вас... Бойз!²⁰ Харри, Том! — крикнул хозяин двоих китайчат.

— Прежде всего,— сказал Сайлес, когда его гости вымылись, привели себя в порядок, надели доставленные слугами из магазина «тропическое» белье из коттона, отглаженные брюки и мундиры и до блестящей начищенной обуви,— я очень рад видеть вас... после... после...

— После капитального ремонта,— подсказал Алексей, чувствуя свежесть тела, прохладу и приятно мокрые волосы.

— Да. Да.

— Ванна и душ! — восторгался юнкер князь Урусов.

— Да это просто. Это у нас есть. Только нет воды. Воды пресной нет, очень дорогая.

— Где же вы берете ее?

— Это целая история! Возим воду по воде, на кораблях, и бочками — китайские водовозы... ловим воду в воздухе...

Сайлес рад. Но это еще не все.

— После плена, после Сибири, Японии и всей этой нищеты, в которой вы жили так долго, вашим усталым мозгам нужен такой же капитальный ремонт! Прямо и откровенно! Каковы, господа, ваши денежные дела? Сколько я мог бы предложить вам взаймы? Ваше положение очевидно для меня, и пусть это вас не беспокоит. С деньгами в этом городе вы будете гораздо независимей, чем без денег.

— Мистер Сайлес,— сказал Николай Шиллинг,— мы сердечно благодарим вас. Но мы не можем воспользоваться вашим предложением.

— Что такое, почему?

— У нас есть деньги. Plenty²¹.

— Plenty? — вскинул руки и захохотал Сайлес.

— Адмирал перед уходом из Японии выплатил жалованье офицерам и всему экипажу за год вперед.

— Ах вот как!

— Нам, как вы сами знаете, тратить негде было,— добавил Сибирцев.

На самом деле деньги имелись и у офицеров и у матросов. Адмирал, уходя из Японии, оставил лейтенанту Пушкину деньги для найма судна, чтобы оплатить фрахт. Но всех денег сразу шкиперу Тауло не отдали, как договорено было. Перед началом досмотра в открытом море, когда на «Грету» были наведены пушки английского парохода и к ней шел катер, все деньги поделили.

Сайлес предложил ради экономии квартировать у него, пока семья отсутствует.

— Благодарим,— был ответ.— Невозможно.

— Тогда чем же я могу вам помочь? Зачем вам жить на пароходе, где вы считаетесь пленными?

— А нам разрешат жить на берегу?

— Безусловно!

— В таком случае можно ли снять комнату в доступном отеле? — спросил Шиллинг.— Для этого у нас достаточно средств.

— Да, конечно! О чем может быть речь!

Сайлес обещал послать в отель и сказал, как, по его мнению, следует поступить.

— Что же может быть со шкипером «Греты»? — спросил Алексей.

— Если послушать здешних ораторов, вина Тауло одна: он с вас много взял. И это ему сильно повредило. В Гонконге об этом знают, и ему грозят неприятности. А вам, не удивляйтесь, вам здесь, в гнезде ваших недругов, многие симпатизируют... Прежде всего мы — амери-

²⁰ Мальчики!

²¹ Много.

канцы! Но не только мы! Это, знаете, богатый и разнохарактерный город. Тут свои интриги, личности... Вам будут рады, все же вы люди авантюры и приключений, каких Гонконг считает своими. Я первый это угадал своим спекулятивным нюхом! Жаль, что мне надо срочно ехать в Кантон. Но не беда, кое-что я успею сделать для вас до отъезда.

— В Кантон?

— О да! В Кантон!

— Мы долго были от всего оторваны и ничего не знаем, что и где делается.

— У меня для вас, господа, найдутся все новости.

— О Севастополе? — спросил Николай.

Сайлес поморщился. Крым очень далек от Гонконга. Что там, в Крыму? Зачем там сцепились, никому не известно. Может быть, так же чья-то спекуляция! Но он вполне понимает их тревогу. Он умел мгновенно входить в чужие интересы.

— В Севастополе все по-прежнему. Там не прекращается холера и даже чума! Есть случаи в Константинополе и Скутари. Вы знаете, умер от чумы сам английский командующий лорд Раглан, а французский командующий заболел холерой. Если умирают командующие, то можно себе представить, что солдаты мрут, как мухи.

«У нас тылы на севере, — подумал Сибирцев, — где чище и прохладней, а у них — в Турции, там эпидемии никогда не прекращаются».

— Лондонские газеты полны сообщений из госпиталей, словно в Крыму идет война не на полях сражений, а с болезнями. Англичане шлют в Крым англо-германский, англо-сардинский, англо-итальянский, англо-бенгальский полки! Это только называется «англо»! А на самом деле там одни лишь офицеры-британцы, и то не все!

Сайлес повел гостей в библиотеку.

— Читайте газеты, господа. У меня библиотека на китайский лад, немного книг, но так называется, а в самом деле комната приемов... Здесь все американские газеты, также «Таймс» и «Лондонские иллюстрированные новости». Две газеты издаются в Гонконге, грызутся между собой. Между ними идет война с ожесточением, как в Крыму. Печатают довольно свежие новости. Почта из Лондона приходит за две недели.

Сайлес показал снимок в английском журнале: «Долина смерти под Балаклавой». Удивительно, каких успехов достигли они в фотографировании. Техника воспроизводства снимка поразительная. Дагерротип остался далеко позади, это дело прошлого. Долина среди голых гор, вся засыпана ядрами, как бывает берег в очень крупной гальке. Здесь многие месяцы стояли английские войска под огнем русской артиллерии. Долина пустынна. Где же их войска? Куда ушли? Вперед? Или отступили? Нет, конечно, заняли эту долину и ушли вперед.

— Все хорошо, господа! Живите здесь и делайте что хотите! Говорите что хотите, ругайте кого и как хотите, кроме королевы! Мой дом будет всегда открыт для вас. Милости прошу к столу, господа!.. Кроме королевы, можно ругать всех!

— А что же грозит мистеру Тауло? — повторил свой вопрос Сибирцев. — Тюрьма? Штраф?

— Только не тюрьма! Здесь это все не так! И вообще все дело с «Грегой» в Гонконге выглядит совсем не так, как это было бы где-нибудь в Европе.

Что это значит? Однако не стоит проявлять преждевременного любопытства. Сам Тауло, конечно, препорядочный прохвост.

Сайлес сказал, что живет сейчас как холостяк. Жена уехала в Штаты, а потом к младшей дочери в Гамбург, старшая дочь с зятем в Нью-Йорке, дома все соберутся к будущей зиме. Есть ли здесь зима? Есть и нет. Есть декабрь и январь. Зима? Мы так называем. Но не такая, как в Австралии!

— Надо сказать, что губернатор Гонконга сэр Джон Боуринг — замечательная личность. Сэр Джон здесь недавно, третий год, — рассказывал Сайлес. — Это не просто крючок и не red tape²². Он знает почти двадцать языков. Почетный член нескольких европейских академий. Издатель философии Бенгама, сам философ. Кстати, знает русский язык. Выучил в молодости. Он бывал в России. А вы знаете, я тоже бывал в вашей стране и немного знал по-русски. Долгое время сэр Джон был миссионером. Королева произвела его в пэры перед утверждением в должностях: губернатора и посла в Китае. Сэр Боуринг полная противоположность нашим опиумным торговцам и дельцам. Он преображает Гонконг. Здесь открыты отделения научных и миссионерских обществ. Выпускаются ученые записки. Есть школа для китайских детей. Сэр Джон серьезный человек. Свобода слова гарантирована. Китайцы очень ловко пользуются открывшимися для них возможностями. Китайцы далеко не такие простаки и рохли, как думают те, кто не жил с ними. Это труженики, коммерсанты, эпикурейцы, законники, жохи, банкиры, кредитное дело доводят до совершенства. Недавно в новом номере ученых записок была статья, которая, как мне кажется, вас заинтересует. О русской духовной миссии в Китае. Вот... — Сайлес сходил в библиотеку и принес книгу. — Вы слышали что-нибудь?

Шиллинг взглянул на Гошкевича, который пригнулся к столу, как бы желая спрятать свою большую фигуру, и слушал с напряженной и кислой улыбкой вежливости. Он не ждал ничего хорошего.

— Сообщается, что русские держат в Пекине православную духовную миссию, что она существует с семнадцатого века. Это верно? Таким образом, русские — единственные из европейцев, которым разрешено жить в столице Китая, куда закрыт доступ представителям всех других держав. Однако, как пишет автор статьи, эта миссия совершенно бесполезна и существование ее лишено смысла, она ничего не делает для науки, а служит лишь для престижа Петербурга. На самом же деле русское правительство запрещает своим миссионерам вступать в общение с китайцами. Автор утверждает, что православным миссионерам строго запрещено изучать китайский язык. Они живут за стенами своей миссии в полном отчуждении от окружающего их народа из-за обычных опасений Петербурга, пресекающего всякую деятельность и самостоятельность своих подданных. Живут, не зная страны и ее культуры... Да вот, читайте сами.

— Это вранье, мистер Сайлес! — проглядев статью, не выдержал Шиллинг.

— Неправда? — обрадовался американец. — И я такого же мнения! Я даже удивляюсь. Я прочитал и поразился. Мне показалось, что это чушь. Разве в России запрещено изучать китайский язык? Я же сам видел, когда был в Симоде, что вы, господин Гошкевич, переписывались с японцами китайскими иероглифами. И не только я! Все американские офицеры это видели. Вы же прекрасно говорите и по-японски и по-китайски. Я сам все видел и слышал, мистер Гошкевич отлично знает не только иероглифы. Как бы это могло случиться? И какой смысл запрещать изучение китайского языка в Пекине, если в Петербурге, как вы мне сказали, есть школа китайских переводчиков и для нее нужны преподаватели, знающие Китай? Да иначе и быть не может. Вы соседи, у вас с ними своя богатейшая торговля на Кяхте. Дай бог, чтобы кто-то из англичан так быстро писал иероглифами, как мистер Гошкевич...

— Я служил десять лет в русской православной духовной миссии в Пекине, мистер Сайлес, — прочитав статью, сказал Осип Антонович, — и я все годы изучал там китайский язык, как и все члены миссии. Из наших миссионеров в Пекине вышло несколько ученых. Наш синолог Бичурин посвятил свою жизнь изучению Китая. Существует его знаменитая карта Пекина.

²² Буквально — красный околыш, то есть бюрократ.

— И вы сами жили в Пекине?

— Да.

— Я же говорю! Вот откуда вы так все знаете хорошо! Чего только не пишут про вас, господа! Я очень рад! Вы еще будете иметь возможность доказать свою правоту, мистер Гошкевич. Это всем вам придает ореол авантюризма!

— Что может доказать военнопленный!

— Это не имеет никакого значения. Наука и политическая пропаганда несовместимы. Вы это и докажете. Да, вы знаете, кто автор статьи в ученых записках? Кто бы, вы думали? Кто?

— Подпись — Боуринг, — сказал Алексей.

— И не просто Боуринг, а сам сэр Джон Боуринг... Губернатор Гонконга. В ранге посла в Китае, хотя и не имеет права входа в Китай. Его туда не пускают. Известный гуманист и ученый.

— Как это могло быть? — спросил ошеломленный Алексей.

— Не знаю.

— Вы так хвалили его... И такой подкоп!

Все засмеялись.

— Он очень образованный человек, а печатает такие глупости! — вскричал Сайлес, выкатив глаза. — Какая чушь! Это чистая агитация! Я уже говорил вам, что вас ждали. Известие о захвате «Греты» пришло давно. И сама «Грета» уже здесь, как вы видели.

«Он хочет сказать, что Боуринг напечатал статью к нашему приезду? Чтобы знали, что мы из отчизны тьмы и невежества! Смазал нас по роже для начала? Для первого знакомства! Чем же это отличается от замашек наших генералов и сановников — любителей задать остротку при первом же знакомстве?»

— Я сразу сказал, что этого не может быть. Я уже заходил в ученое Азиатское общество, которое издает записки, и говорил там. Обязательно зайдите туда и вы, мистер Гошкевич, и все вы, господа. И засвидетельствуйте все сами и объяснитесь. Они рады будут познакомиться. Впрочем, я думаю, они сами пригласят вас.

— Как это может быть? Мы пленные, как же нас примут или пригласят в английское Азиатское общество? Кто может пригласить? Англичане?

— Да! И вы не отказывайтесь. Воспользуйтесь их понятиями. Только тут все не так, как можно предположить! Одна партия — сторонники Стирлинга — признает, что адмирал законно взял вас в плен. Другая партия — особенно влиятельная в Гонконге, и у них найдутся сторонники в метрополии — категорически заявляет, что вы взяты в плен незаконно. Они против Стирлинга и осуждают его действия.

Хотелось бы спросить, какая же позиция Боуринга, но уже вскоре стало очевидно из намека Сайлеса, что сэр Джон терпеть не может адмирала и добивается его смены и что в Лондоне вот-вот назначен будет новый командующий флотом. «Видно, и Боуринг как представитель власти не считает нас пленными». «Но, может, вам не совсем ясно?» — казалось, хотел спросить Сайлес, глядя слегка выкаченными глазами. «Нет, зачем же... — взглядом отвечал Сибирцев. — Очень ясно!»

— Мнения партий расходятся. Поэтому на кораблях у Стирлинга вы в плену. А на берегу у Боуринга вы такие же, как все! Почти! Вы еще получите много приглашений, и вам, я уверяю, придется выслушать много сочувственных речей. Одни говорят: это наши гости. Другие возражают: а что будет, если их отпустить в Россию, они усилят войска, сражающиеся против нас. Ваши друзья говорят: «Постыдная выходка бездарного Стирлинга и его офицеров. Моряки Путятина не враги и не пленные». А вы? Чего хотите вы сами?

— А что же мы? Мы не хотели бы иметь никаких дел с нашими противниками. Мы прежде всего хотели бы послать домой письма, — ответил Шиллинг.

— Я хочу вас успокоить... Вашему канцлеру Нессельроде я уже написал о встрече с вами в Японии. Я думаю, что со временем мы будем с ним своими людьми и я ему напишу подробнее о вашем прибытии и о каждом из вас. Что же касается ваших личных писем, то вы можете написать их по моему адресу. Моя дочь учится в Гамбурге. И там у меня есть отделение фирмы колониальных товаров. Я в скором времени провожаю в Гамбург одного из своих служащих, который должен на днях вернуться из Шанхая. Мы избежем почтового ведомства. Кстати, тут не только англичане. Считается, что самые большие обороты у староанглийской фирмы опиумных торговцев «Джордин и Матесон». Но еще существуют американские и смешанные фирмы. Гонконг в военном отношении принадлежит Англии... Кстати, сын Боуринга — жених дочери Джордина... Гонконг принадлежит, как у нас принято тут говорить, всем нациям, спасающим Китай. Это даже официально записано в уставе гонконгского клуба. Не делайте вреда себе и своим тремстам матросам, которых вы любите, как я это вижу. Да, вы правы! Прежде всего вам надо сохранить своих людей! Помните: одна партия восхищается вашим пленением, другая возмущена! Есть и особые мнения! Воспользуйтесь этим. Я уверен, вы умеете быть благородны с врагом не только на войне!

— Я очень рад, что вы, сэр Алекс, в Гонконге,— сказал Сайлес Сибирцеву.— Я так и надеялся, что увижусь с вами. На борту американского военного парохода «Поухаттан» я думал, как полезно было бы этому молодому человеку побывать в Гонконге. Не обращайте никакого внимания на то, что вы в плену. Конечно, немного прискорбно. Но что делать, если так уж случилось. Здесь вам есть на что поглядеть и, может быть, найдется чему поучиться, тем более что там, у себя на севере, вы вышли на Тихий океан. Вам со временем неизбежно придется торговать с Гонконгом, Америкой и Китаем. Торговать и воевать на океане! Хотите вы или нет, а Гонконг будет для вас лично полезен. Вы только что ознакомились с Японией. Здесь вы познакомитесь с Китаем. Не с надутым, глупым и закрытым Китаем мандаринов, а с умным и изобретательным. Увидите, какие тут тузы! Ваши неудачи в Крыму — дело временное. С кем не бывало! Для вас же может быть и лучше, что в эту войну вы с товарищами попали в Гонконг. Завтра я пошлю в Сити-холл просьбу о разрешении жить вам на берегу в отеле. Там вам будут комнаты. Вы не все хотите жить в отеле?

— Нам потребуется одна комната. Мы будем меняться.

— Почему?

— Чтобы дежурить на кораблях по очереди. Наши люди почти не владеют языком.

— Не покидать их на произвол судьбы? Я вполне понимаю и сочувствую!

Сайлес перестал мягко улыбаться, лицо его стало серьезней.

— Такие здоровые молодцы! Их сразу видно. Я же помню, как наш посол Адамс с первого взгляда сказал, что матросы Путятина хорошо развиты физически. Им тут можно найти работу, и они отлично зарабатывают. Здесь нет рабочих-европейцев. Китайцы трудятся за гроши. Но среди них пока еще нет таких мастеров, как у вас. Все ваши кузнецы, плотники, печники, столяры, канатчики, парусники здесь пойдут на вес золота. У вас же все профессии. Я знаю, нам нужны даже скотоводы. Сэр Боуринг заводит здесь фермы. У меня впечатление, что в то время как в Крыму противники ненавидят друг друга, здесь нет и не будет ничего подобного. Гонконг не хочет воевать, он далек войне. За исключением квасных патриотов, которые за это получают жалованье! Что тут в газетах делается... Редактора ненавидят друг друга и не выходят на улицу без пистолетов и без охраны. Но это не имеет никакого отношения к Крыму! Как я сказал, тут своя севастопольская война, но между редакторами!

...По дороге на пристань Гошкевич вылез из коляски и разговорился с одним из носильщиков. Китаец спросил его:

— Какого государства человек?

— Я из России.

— Сколько тебе лет?

— Тридцать пять.

— Почему знаешь по-китайски?

— Я жил десять лет в Пекине.

Приняв плату за всех сразу, он поднес зажженный фонарик к лицу Гошкевича.

Ночь хороша, звезды над горами, огни по всему проливу отчетливо видны. Сопки на китайской стороне глухие и мрачные, как тучи. Тепло.

...Разбирая журналы, Алексей нашел еще одну любопытную фотографию. Молодая маркитантка французской армии в Крыму, в военной форме, со стеклом, ударами которого она якобы остановила бегущих турок, нарушивших строй и в беспорядке хлынувших с поля битвы.

— Мне китаец много любопытного успел рассказать. Хорошо, что вы дали ему полдоллара,— сказал Гошкевич.

— Странно, колония английская, а доллар в большем ходу, чем фунт,— ответил Шиллинг.— Надо признаться, что у англичан неудобные деньги.

— Китайцы всюду предпочитают доллары,— сказал Гошкевич.

По причалу подошли к борту «Винчестера».

Вахтенный матрос слегка стукнул карабином. Матросы спали вповалку на палубе. Один из них приподнялся и взял Гошкевича за руку.

— Прибылов? Вы не спите? Как Александр Сергеевич?

— Хоросе,— ответил японец.

Пушкин прохаживался на баке.

— Ко мне приходил корреспондент здешней газеты «Чайна мэйл» и передал на завтра приглашение своего редактора мистера Шортреда вместе со всеми вами, господа...

...Со дня на день должен подойти корабль «Пик» под командованием зверя Никольсена. Там еще наши матросы с поручиком Елкиным. «Как-то там Петр Иванович ладит с капитаном?» — подумал Алексей.

Глава 8

ЗАСЕДАНИЕ В АЗИАТСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Между кафедрой и черной доской, какие бывают в колледжах, стоял белокурый молодой человек с добродушным лицом, без бороды и без усов. Произнеся фразу на китайском с характерными интонациями, похожими на повизгивания, он быстро шагнул к доске, написал иероглифы и тут же перевел тексты на английский, слегка ошибаясь. Раздался первый сдержанный отклик симпатии и сочувствия небольшой аудитории, как бы выражающей готовность к чему-то более искреннему, чем отказ от настороженности.

В Гонконге не бывает концертов Берлиоза, итальянцев или исполнителей Шопена, сюда не приезжают ни Диккенс, ни Жорж Санд, здесь не бывает выставок Тернера; все интересы упираются в барыши от коммерческого просвещения Срединной империи, в судоходство, игру в крикет и в рысистые бега. Но жители Гонконга не лишены жажды к знаниям и высших потребностей. Здесь есть свои художники. Коммодор Эллиот писал когда-то картины. Эллиот был отсюда удален, поэтому его произведения не выставлялись в Гонконге. Картины Эллиота оказались в коллекциях соседнего Макао!

«Китай — это сундук со старой рухлядью! — снова вспомнились суждения Ивана Александровича Гончарова. — Давно пора европейцам подорвать порохом крышку у этого сундука, освежить все, проветрить...»

Алексей находился среди тех, кто эту крышку подрывал. Здешнее Азиатское общество изучает жизнь Китая кропотливо, тщательно, как обычно в провинции, где таланты направляют свою силу не столько вширь, как в глубь явлений и где превыше всего ценится подлинность знаний. А за проливом как за межой угадывается великий Китай с его просторами, неистощимыми жизнетворными силами, с его древней литературой, философией и наукой, с его современным клочкотом восстаний. Туда проникали католические миссионеры. Оттуда вырывались яркие личности компрадоров, гении коммерции и авантюризма, морские бродяги под пиратским флагом.

И вот со знанием тайны тайн, из глубины глубин закрытой страны небесных пришел молодой ученый, преданный враждебному стану царя и своей ортодоксальной греческой вере. Он явился странно, как ниспосланный свыше, заброшенный судьбой и морскими ветрами и буквально затоплял родственную ему по духу ученую аудиторию изобилием точных знаний, особенно когда стал на все вопросы давать достоверные ответы на китайском и на американском. «Вы жили в Пекине?», «Вы бывали при дворе сына неба?», «В запретном городе?», «В летнем загородном дворце?», «Кто был вашим учителем китайского?»

Товарищи Осипа Антоновича Гошкевича, сидевшие среди слушателей, почувствовали, что произошел новый взрыв интереса — к политической жизни в Китае, к личности богдыхана, к устройству и деятельности правительства и государственных учреждений.

Гошкевич рассказывал о летнем загородном дворце, куда богдыхан со своим двором переезжал из города ранней весной, когда на горах, видимых с окраин Пекина, еще не сходит снег. Он начертил на доске планы галерей, в которых, как по коридорам, у обеих стен сидят чиновники. Непрерывно подъезжают конные курьеры. Здесь же перед дворцом, перед воротами — базар, торговля горячими яствами. Чиновники выбегают из дворца, наскоро едят... Во внутреннем дворе два высших учреждения: маньчжурское и китайское отделения правительства. У входа в галерею, ведущую в палаты богдыхана, стоит толпа телохранителей, из которых один выбирается гигантского роста и очень зорко оглядывает каждого входящего. При всем этом множестве охраняющих, размещенных внутри и вокруг дворца, случается, что рядом, на большой дороге, разбойники грабят и даже убивают купцов.

По вопросам почувствовалось, что англичане многое знают о государственных учреждениях в Китае, об устройстве финансового ведомства. Знают о жене богдыхана, монголке. О том, что монголы в почете.

Гошкевич отвечал, помня, что не должен открывать все, что знает про тяжкие распри в соседней и дружественной для России Средней империи. Правление маньчжур, конечно, шло к упадку, но не его дело глумиться над богдыханом и его двором и выставлять напоказ раны Китая. Раны его еще придется, может быть, нам лечить.

Рослый лысый господин с высоким лбом и щетинистыми усами с оттенком иронии приглядывался к Осипу Антоновичу, словно признавал в нем своего старого знакомого или человека, которого ждал.

Англичане, конечно, хотят все знать, рвутся вперед, упорно и терпеливо добиваются права торговать в Китае и держать свое посольство в Пекине и не отступятся, чего бы это им ни стоило. На юге Китая, еще не имея права входить в глубь страны, создали с помощью всех «спасающих наций» мощную сферу своего влияния, как бы другой центр бурной жизни, увлекающий самих китайцев и уравнивающий влияние Пекина.

Осип Антонович сказал, что в летнем дворце он видел прекрасное оружие английской выделки, в том числе современное нарезное. Также вазы северского фарфора, про которые было сказано, что это подарок богдыхану от королевы Великобритании.

«Что значит «подарок»? Наверно, они сказали вам «дань»? Каким образом эти вещи могли попасть во дворец? Когда и как, по мнению мандаринов, королева принесла «дань»?»

Какие-то темные международные дела! Кто и за какие выгоды сделал от имени королевы подобное подношение? Как знать! Может быть, кто-то из знаменитых губернаторов Индии? Или купцы, торгующие «заграничной грязью»? А может быть, могущественный широкоплечий господин с щетинистыми усами? Примерно что-то подобное могло быть! Новости утверждают во мнении, что путь спасения выбран верный. Французский фарфор и нарезное оружие в летнем дворце! Следует со временем открыть эти залежи, прочесть китайские архивы и все изучить.

«Что представляет собой запретный город?», «Размеры зданий?», «Характер архитектуры?» Оратор не мог бы ответить на эти вопросы, если бы не побывал всюду сам. Каждый вопрос означал: «Вы там были?»

Многие стороны обыденной и политической жизни Китая гонконгские англичане знали гораздо лучше Гошкевича: банковское дело, кредитные товарищества, корпорации, способы торговли, преступный мир и мошенничество чиновников, морскую коммерцию. Но Гошкевич отвечал на вопросы о том, о чем все «нации, спасающие Китай», хотели знать: о жизни в столице.

Война русских на Амуре в XVII веке с только что взошедшими на престол Китая маньчжурами еще не была войной с Китаем, как объяснил Гошкевич. Он сказал об истории возникновения православной миссии в Пекине и о ее пастве. В XVII веке первое столкновение под Албазином. Миссия была учреждена в Пекине для русских пленных, увезенных туда. Со временем там возникла школа русских сиологов...

Высокая барышня в кружевной блузке сидела в первом ряду, рядом с пустым креслом. Конечно, эта юная англичанка за эмансипацию, будущая общественная деятельница. Но свой восторг она адресовала не ученому педантизму молодого теолога, она не обращала лично на него никакого внимания. Ее синие глаза стремились к довольно элегантному и приятному офицеру, единственному из гостей общества, кто вошел как пленный в изношенном мундире. У него благородное и чистое лицо, и он с такой гордой добротой и вниманием слушал доклад своего товарища! Глупо, смешно, ограниченно и бесстыдно к глупой войне добавлять собственные глупости и придавать значение положению в обществе!

...Сэр Джон Боуринг опоздал. Он подъехал на лошади с гибкой длинной шеей, на которой красиво лежала золотистая расчесанная грива, и, отдав поводья одному из верховых в красном мундире, спрыгнул с седла и вошел в подъезд двухэтажного особняка «Клуба наций, спасающих Китай». Мельком осмотрел большой зал общества и сел в свободное кресло рядом с дочерью. Доклад еще не закончился, докладчика перебивали вопросами. Сэр Джон опоздал, но, войдя, сразу понял, что тут произошло. Он пришел не зря!

Гошкевич, как показалось ему, сам походил на англичанина, увлеченного идеей. Кажется, тщательно подготовлен. Очень похож на знакомого хранителя из Британского музея. Приводит только точные факты. Ссылается на изданные труды, сочинения и карты. Доклад, кажется, не был скучен.

Члены Азиатского общества изучают колонию, ее географию, гидрографию, историю, этнографию, археологию, разыскивают памятники архитектуры и старины. Изучают китайский язык, его историю,

литературу. Издают миссионерскую и научную литературу на английском и китайском и распространяют ее. Усилиями губернатора и его добровольных сподвижников в Лондон отправлен учиться медицине молодой китаец. В Гонконге дочь сэра Джона открывает школы для китайских детей, в одной из церквей служит обращенный в христианство китаец, есть госпиталь с палатами для китайцев, хотя тысячи их мрут от эпидемий на лодках и в трущобах. В Сити-холле, где у Азиатского общества есть помещение из двух комнат, в которых хранятся коллекции и карты, находятся научная библиотека и довольно большое собрание английских рукописей о Китае и Индии. Сэр Джон передал туда несколько документов из Управления колонией, китайские книги и рукописи. У общества своя типография.

По залу прошел энергичный шепот одобрения, когда Гошкевич начал читать на китайском текст из Евангелия, переведенного в Пекине православными миссионерами.

Сегодня много желающих послушать, поэтому собрание проходит в клубе. Тут вооруженные редакторы обеих газет со своими телохранителями, знаменитые звезды опиоторговли и рядовые коммерсанты. Офицер в штатском, милитари интеллидженс²³ — так именуется род его служебных занятий. Прибыл в Гонконг из Лондона с началом войны. Обычно молчит и этим напоминает серьезного ученого, знает китайский. Сэру Джону известно, что молодой офицер еще не привык здесь, не представляет местных условий, военный чиновник еще не приобрел колониального блеска.

Раздались общие дружные аплодисменты. Докладчик прошел на место, чувствуя свой успех и избыток энергии, сел, закинув ногу на ногу, но тут же, вспомнив о приличии, переменял позу, скромно поджал длинные ноги.

Сэр Джон Боуринг недавно прибыл из Сиама, где подписывал трактат о мире, дружбе и торговле. Он увидел, что здесь утекло много воды. Кое-что было неожиданным для губернатора.

Поднялся высокий лысый господин с щетинистыми усами, в безукоризненном костюме с атласом на лацканах.

— Ваше превосходительство губернатор сэр Джон Боуринг! Господин председатель! Уважаемые леди и джентльмены! Я выслушал доклад господина Гошкевича, изложенный на английском и на китайском, с большим удовольствием и выражаю вам, господин Гошкевич, чувство признательности и полагаю, что со мной будут согласны.

Снова раздались дружные аплодисменты.

Сухими цифрами и цитатами на китайском из Евангелия разжег их Осип Антонович сильнее, кажется, чем итальянский тенор петербургских меломанок. Сибирцев вслушивался, но понимал плохо. Он воодушевлялся собственными мыслями о происходящем, и по его виду можно было понять, как он счастлив и горд за товарища.

— Леди и джентльмены! — продолжал господин с огромным лысым черепом. — Ортодоксальная церковь во многом подает пример, осуществив перевод всех частей Библии, а также молитв. Труды достопочтенного отца Иакинфа, о которых упоминал господин Гошкевич, до сих пор были недостаточно известны, и этот пробел восполнен сегодня со всей быстротой и энергией. Ваше превосходительство! — почтительно обратился оратор. — Достопочтенный и глубокоуважаемый сэр Джон Боуринг! Не так давно мы имели честь читать в третьем номере ученых записок патриотическую статью о деятельности русской ортодоксальной миссии в Китае. При этом мы узнали, что русским священникам, приезжающим в Пекин, запрещено общаться с китайцами, а также изучать их язык на том основании, что петербургское правительство не желает общения своих подданных с другими народами. Выслушав доклад господина Гошкевича, частично прочитанный

²³ Служба по сбору военной информации в провиншке.

на китайском, я с большим удовольствием убедился в несостоятельности мнения, изложенного в вышеупомянутой статье. Как и вы, ваше превосходительство, я рад, что рассеиваются предвзятые представления о бездеятельности русских ученых, основанные лишь на ошибочной информации и наших собственных предрассудках. Как специалист китайского языка, я отлично понимаю достоверность, совершенство и законченность познаний многоуважаемого господина Гошкевича.

Опять аплодисменты. И это при Боуринге. У нас любой губернатор стер бы в порошок за такие речи. До седьмого колена ели бы и корили потомков такого критика. А тут губернатор бровью не повел. Мало того, сэр Джон встал, с улыбкой поблагодарил оратора и под аплодисменты сказал, что ему приятно видеть господина Гошкевича и воспользоваться знакомством с ним, чтобы составить более точное и отчетливое представление о предмете, которому был посвящен доклад.

— Сокрытием истины не достигается цель! — под новый взрыв аплодисментов заключил сэр Джон.

Он подошел к вскочившему Гошкевичу и пожал ему руку.

— Спасибо! Благодарю вас! — сказал он по-русски.

— Благодарю вас! — горячо воскликнул Гошкевич.

Члены общества стали подходить к Осипу Антоновичу, а потом к Сибирцеву, Шиллингу, мичману Михайлову.

Это, право, только у англичан может быть. Воюют с Россией и на тебе — при этом слушают доклад! У нас бы сказали: «Да вы что? Врагу на руку играете? Какая там истина! В Шлиссельбург хотите угадать с подобными истинами во время войны?»

Джентльмен, объявивший себя ученым специалистом китайского языка, как уже знал Алеша, был не кто иной, как сам Джордин, купец, совладелец крупнейшей торговой фирмы «Джордин и Матесон», которая, как говорят, торговала с Китаем еще в прошлом веке, возя опиум из Индии, и имела всегда не только коммерческий, но свой военный флот. Сэру Джону — будущий свояк, сват, кум... Как это по-английски? Китайцы довольно метко прозвали Джордина «железнодорожная старая крыса».

Гошкевич представил сэру Джону своих товарищей-офицеров. Боуринг не подавал руки. Представил свою дочь. Известно, что она автор статей о нравственности и религии китайского народа, напечатанных в «Известиях Лондонского Королевского Географического общества».

К Алексею подошла юная леди со свежим, миловидным лицом и, протянув ему крепкую мужественную руку, сказала:

— Энн Боуринг. Вы говорите по-английски?

— A little²⁴. Алексей Сибирцев, — представился он.

Энн уверена в своей репутации и держится независимо.

— Я желаю поблагодарить вас. Я восхищена прочитанным докладом. Алексей — это ваше христианское имя?

— Да.

— А ваше имя в семье? Как звали вас в детстве?

Сибирцев ответил.

— Благодарю вас. Мы будем друзьями? — спросила она, выходя с Алексеем из здания клуба на жару, и взглянула настороженно. Он не успел ответить. — Вы ездите верхом?

— Да.

— Идемте на мою конюшню. Выберите лошадь. Вы не откажете мне, если я предложу покататься вместе?

«Но я пленный!» — мог бы ответить Алексей. «Какие глупости! — готова была возразить Энн со всей решительностью. — К чему такие предрассудки!»

²⁴ Немного.

Глава 9

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Белое здание Сити-холла с несколькими разросшимися деревьями казалось еще белей и ярче на фоне зеленого и тщательно подстриженного газона для игры в мяч. В этот предзакатный час китайцы носят на плечах деревянные бадейки с водой, наливая ее у чана, подобного деревянной башне. Садовники в фартуках тщательно поливали траву, как сад.

На конюшне старший конюх в шотландской юбке и с голыми коленями предложил коня каштановой масти. Алексей погладил морду, потрогал шею и пегую стриженую гриву. Высокая лошадь посмотрела на него с доброжелательным достоинством.

За холмом проехали мимо низкого здания из красного кирпича. Несколько тучных коров в пятнах таких же белых, как Сити-холл, лениво прохаживались в тени, павшей на луг. Из двери коровника вышла и поклонилась высокая, белокурая, еще совсем молоденькая девушка в платочке и кружевном переднике, видимо собравшаяся доить. Алексей заметил ее печальное лицо.

— Я покажу вам, за горами есть тенистый уголок.

Молодые люди проскакали через невысокую седловину на другую сторону холма.

— Прекрасные сосны, по имени которых китайцы называют весь остров. Сян-гян означает Душистый остров. Или Благовонный остров. Это сосны особой высшей породы, из их смол добываются благовония для императорского дворца в Пекине и для храмов. Также для аристократических домов.

Самшит? Или мирт? Или что-то вроде пинии или, может быть, сосна, как в Закавказье?..

Энн замечала, как Алексей сидит в седле и как он смел, но деликатен с умной лошадейю.

На отмели в искрах солнца приходила тяжелая зеленая волна. На узкой отмели изгибистые и длинные, как волны, вороха водорослей с ракушками, морскими звездами и рыбинами, забитыми прибоем. Китайцы бродят семьями, роют эти мокрые груды, раскрывают раковины и тут же съедают моллюсков.

В ущелье чернела густая роща ароматических деревьев.

— Маленький заповедник,— сказала Энн.

Как хорош этот день, небо, море, ветер с теплых океанских просторов. Но на все смотрелось сквозь сумрак тяжелого настроения, как через матовое стекло. Энн хороша, умна, приятно быть около нее. Но яд еще действовал и отравлял всю прелесть встречи. И только сейчас Алексей понял, как далеко отошел он от самых простых радостей жизни.

В хвойной роще наступил вечер. Поднялись на самую высокую гору острова, на конический пик Виктория. Здесь солнце еще не заходило, оно опускается к сопкам за проливом.

— На той стороне Китай,— показала Энн.— Вы побываете и там!

Вокруг пика несколько домиков. Бунгало? Виллы? Как тут принято называть?

— Здесь всегда прохладно. Многие предпочитают летом жить на пике Виктория.

Весь остров виден как на ладони. Идущая через город улица Королевы — Куин-роуд, панорама гавани, корабли под разгрузкой, окруженные китайскими джонками и пласкоутами, плавучие кварталы лодок бедноты. Мысы, бухты, проливы. До Китая, видимо, десять минут хода на вельботе. Там большая мрачная сопка, обращенная в этот вечерний час теневой стороной к городу. Видны редкие фанзы под соломой, с небольшими полями. Но местами здания сгрудились

тесней, там что-то строится. «Тропический Петербург», — подумал Сибирцев, обводя взором всю эту панораму.

— Отец закладывает основы на века! — сказала Энн, уверенная в восхищении собеседника. — Я посвятила себя христианскому долгу, — добавила она тихо и серьезно. — Здесь великий мир, где множество обездоленных и нищих. У них нет никаких представлений о человеческом достоинстве и правах. Да, пробуждение в современных людях чувства достоинства, без различия пола и цвета кожи, — моя цель!

Обо всем этом у Алексея было свое довольно ясное мнение, особенно после того как он пробыл лето на кораблях английской эскадры, но он молчал, полагая, что может огорчить Энн. Впервые в жизни познакомился с англичанкой своего возраста.

— Вот Китай! Он рядом! Мы ничего не знали о нем, все было скрыто как высоким забором. Но вот китайский забор повалился и стало видно, что множество людей там дерутся и все бьют и уничтожают друг друга. Их забор был плотный и казался надежным, сохраняя их мир, мнимый покой и процветание немногих. Одно удивительно: они дрались так, видно, давно, но так тихо, что никто не замечал этого. Так сказал мне отец, когда я приехала в Гонконг...

Энн сказала, что открыла здесь школу.

— Какие прекрасные китайские дети! Какие умницы, как способны к учению. Какие прекрасные задатки в этом народе и какие ужасающие власти иссушают этот народ. А китайские женщины! Обратите на них внимание. Они так красивы! — Она заметила, что при упоминании о женщинах он чуть оживился. — Вам приходится ездить в колясках, запряженных людьми? — спросила она.

— Да.

Как могут оказаться в одном и том же обществе сэр Джеймс Стирлинг и Энн Боуринг! Впрочем, что-то общее было.

— А в вашей стране? Ведь у вас много serfs²⁵?

«Да, большинство наших крестьян — рабы, но не все», — хотел ответить Алексей, но смолчал. Как офицер, он не должен во время войны, в плену вести подобные разговоры. Энн задела его за живое. Рабство — ахиллесова пята каждого из нас. Долг обязывал поднять перчатку, брошенную девицей-рыцарем.

— Вы знаете нашего поэта Пушкина? — спросил Алексей.

В современном мире нет тем, о которых нельзя говорить. Энн жила в постоянных несогласиях с отцом, испытывая к нему при этом глубочайшее благоговение.

— Нет. Я не знаю.

На кораблях, в кают-компаниях английской эскадры почти никто не знал Пушкина, так, что-то слышали...

— «Увижу ль я, друзья, народ освобожденный... — стал переводить Алексей, — и над отечеством свободы... взойдет ли наконец... заря...»

Энн остановила лошадь. Она вслушивалась. У нее был вид древнего норманна, услышавшего боевой клич, готового выхватить меч и рвануться в битву. Казалось, судьба свела ее с тем, кто будет вдохновенно просвещать рабов царя.

Алексею нравился этот женский тип, исполненный красоты и потаенного огня, готовый к проявлению силы и к действию.

— Пушкин был другом революционеров-декабристов. Вы знаете? После восстания их заключили в тюрьмы и сослали в Сибирь. Пушкин убит на дуэли со светским playboy²⁶, любимцем вельмож и льстецов государя... Поэт Лермонтов написал стихи в его защиту и за это был сослан на Кавказ. Лермонтов написал о противниках сво-

²⁵ Рабов.

²⁶ Повесой.

его поэтического кумира: «Его убийца хладнокровно навел удар — спасенья нет: пустое сердце бьется ровно....» — Алексей переводил как мог.

— Я не ошиблась, когда сказала, что хочу быть вашим другом! — сказала Энн.

Жаркая ночь спустилась быстро. Внизу, разбиваясь, фосфоресцировали волны. Чуть ниже вершины горы, под пиком Виктория, белели летние резиденции.

Она заговорила о чопорности и строгости нравов в провинциальном обществе колонии. Достаточно, чтобы кто-то из семьи чиновника совершил опрометчивый шаг в личных отношениях, как служебное лицо будет скомпрометировано и удалено. «Но жена Цезаря вне подозрений? И дочь Цезаря тоже?» — подумал Алексей.

— А какие кони в вашей стране?

Алексей сказал, что казачий конь невысок, но вынослив, отлично переплывает реки и горные потоки. Есть прекрасная порода крупных донских скакунов... Орловские рысаки... Карабахи у горцев. Из степей приводят ахалтекинцев. За Каспийским морем у древнего народа в пустынях разводится эта порода скакунов. С золотистой короткой шерстью, они как вылиты из чистого золота. Те, кто видит их впервые, не верят, говорят — вы их покрасили... Есть ахалтекинцы с льняными гривами и голубыми глазами.

— А сами туркмены?

— Черные как смоль.

Они подошли к дому с садом.

— Я познакомлю вас с отцом...

Поздно вечером Алексей и Энн простились на улице у отеля. Ее сопровождали офицер-бенгалец и два сипая.

— Бай-бай, — чуть тронув его руку, сказала девушка.

«Когда, росой обрызганной душистой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой...» — вспомнил Сибирцев любимые в отрочестве стихи. Неужели из скромного и усердного мальчика он превратился в развязного повесу, в типичного моряка?

Китаец-швейцар открыл низкую дверь в отель и быстро поклонился с глубокой почтительностью...

Шиллинг сидел на диване и читал местную газету.

— А где Осип Антонович?

— Его пригласил к себе мистер Джордин.

«Долго его нет», — подумал Сибирцев.

Глава 10

АНГЛИЙСКИЙ СУД В ГОНКОНГЕ

— Господин Сайлес! Рады видеть! Как давно вас не было! — воскликнул Сибирцев. Начинаешь смелее говорить на чужом языке — и сразу, как в путешествии, открываются горизонты. — Вы из Кантона?

Сайлес расплатился с носильщиком.

— Да, я был в Кантоне.

Банкир перездоровался с офицерами, почтительно поклонился Пушкину.

— Разве в Кантон есть доступ? — спросил Александр Сергеевич.

— Да, конечно!

— А у нас тут было заседание в научном обществе. Господин Гошкевич делал доклад, — сказал Шиллинг.

— Я слышал об этом в Кантоне.

— От моряков?

— Зачем же? От китайцев. Они говорят про господина Гошке-

вича, что очень прекрасный молодой человек. Но в китайском языке делает грубые ошибки.

— Они-то откуда знают? Не было ни одного китайца! — сказал Осип Антонович.

— У них есть свои люди везде. Начиная с повара...

— Что же за ошибки?

— Да, говорят, в слове «хуа» надо «а» произносить протяжно и снизу вверх, только вверх, а вы, господин Гошкевич, делали это недостаточно отчетливо... И еще с недостаточной степенью почтительности хвалили нравы и обычаи эпохи Хань. Ну, впрочем, идемте, я пошутил, только пошутил. Идемте, господа, в суд. Об этом поговорим в другой раз. Суд над мистером Тауло! Вы решили присутствовать?

Вид у Сайлеса удрученный. Дело, кажется, касается и его. Опытный делец не падает духом, как всегда, шутит.

Очень трудно перебивать торговлю старых гонконгских фирм. Англичане любезны, и он хорош с ними. Но Сайлесу оказывают стойкое сопротивление. Он охотно нашел бы новое поле для своей коммерческой деятельности. Это Япония и Россия, выходящая на Тихий океан. Он не раз заговаривал на эту тему с Посьетом и через него зондировал мнение Путятина.

У подъезда суда появлялись джентльмены в черных костюмах и стоячих воротничках, некоторые в белых пробковых шляпах. Подъехала карета, вылез молодой господин в сером сюртуке. Приподняв серый шелковый цилиндр, слегка поклонился, ему ответили. Сайлес тихо сказал вслед, что это сын Боуринга.

— Новый опиумный туз!

Группа англичан подъехала верхами. Тут все европейцы здоровались друг с другом, даже с незнакомыми. На тротуаре толпились празднично одетые китайцы, но в дверь не шли.

Рослый китаец, сойдя с паланкина, кинул носильщикам монету. Сайлес представил:

— Мистер Вунг! Рекомендую... Один из тех, на ком стоит колония!

— Ах что вы, что вы! — смеясь, ответил китаец. — Такие пустяки! Здравствуйте, здравствуйте, господа! — Он поглядывал остро, зорко и с интересом на новых знакомцев, кажется, не понимал, кто это, или, может быть, все слышал и знает, но желает составить собственное мнение, кто и сколько стоит.

— Мистер Вунг начинал со спаивания английских матросов, — хлопая китайца по плечу, рассказывал Сайлес. — Он изобрел особую одуряющую жидкость, которая шла у моряков нарасхват! За что и прозван Джолли Джек. А также Ред Роджерс! Под этим именем известен всюду, теперь хозяин компрадорской фирмы и банка, один из самых влиятельных.

Китаец смеялся и, в свою очередь, слегка похлопал Сайлеса по плечу. Пришлось здороваться с мистером Вунгом за руку, как с джентльменом. Китаец высок, усат, как англичанин, броваст, губаст, голос басовит и с хрипотцой, у него коса, он в европейской шляпе, в китайской кофте из тяжелого дорогого шелка с серебряными шариками-пуговицами, в полосатых брюках, какие любят американцы, и в башмаках.

— Не смотрите на косу, она привязанная: мистер Вунг мандаринских обычаев не придерживается.

Слуга-китаец провел чистейшим платком по плечам мистера Вунга и этим же платком смахнул пыль с его ботинок, ловко и почтительно оттянул и оправил брюки, как ребенку. Мистер Вунг поздоровался и с Точибаном. Японец одет с иголочки, в белой шляпе, крахмальном воротничке и в костюме «грей» — в сером.

— Кам, кам, мистер Джолли, — сказал Сайлес, обнимая компра-

дора, и китайский туз вошел в зал заседания вместе с пленными офицерами и толпой американцев.

— Это очень большой мастер... фальшивых монет,— признался Точибан, обращаясь к Гошкевичу.

— Преступник? Фальшивомонетчик?

— О-о! Нет! Это... Напротив... В Гонконге никто не принимает серебряных долларов и талеров без его штампа.

— Вы знакомы?

— Да,— небрежно ответил Точибан.

Вунг показался Алексею похожим на сына европейца, рожденного в Индии от матери-туземки, каких тут приходилось видеть, или на китайского пирата, каким он, видно, и был когда-то, судя по кличке Ред Роджерс. И на нашего фартового мужика, на этакого китайского Ваньку Каина.

— Вам здесь интересно? — спросил Вунг у Сибирцева.

— Да,— ответил Алексей.

— Вы должны знать! Это компания, в которую вы входите! Ха-ха! Пригодится! Большому кораблю большое плавание! Я очень люблю ваших царей!

В здании суда окна открыты на все стороны, сквозь жалюзи зал продувается, как палуба корабля. Впереди два ряда кресел, дальше — скамейки, как в протестантской церкви.

Пот катит градом с раскрасневшегося лица купца Пустау, он то и дело выдергивает платок из заднего кармана сюртука, утирается и опять небрежно заталкивает, платок из разреза торчит красным хвостиком. Немцы — Тауло и Пустау, в черном,— и Сайлес, в клетчатом, сблизили головы, как бы составляя заговор. Сегодня они виновники происходящего. Сибирцев замечает всеобщее оживление, как в театре при съезде гостей или перед открытием занавеса. Энн сказала ему, что театра в Гонконге нет, суд заменяет театр.

Тауло под судом, но отвечал своим карманом судовладелец Пустау, какую-то закулисную роль играл Сайлес.

Тауло ослабился, и голова его дернулась, когда он увидел в публике Пушкина, Шиллинга, Сибирцева, Елкина и Михайлова. Впереди, на ряд ближе, Гошкевич и японец с тростью, в джентльменском костюме. Встреча не из приятных! Однако Тауло с улыбкой потянулся к своим бывшим пассажирам.

Подсудимому предложили сесть на место. Сайлес еще и еще давал ему какие-то советы и едва оторвался.

Вошел судья в парике и мантии. Заседание началось. Судья задал обычные вопросы. Суть дела была изложена и казалась все ясно.

— Сколько же вы взяли с моряков погибшего при кораблекрушении корабля «Диана» для доставки их в Россию через Охотское море? — спросил судья.

— Двадцать тысяч долларов,— ответил Тауло.

Раздался дружный хохот всего зала.

— О-е-ха! — закричал мистер Вунг, он же Джолли Джек, подсаживая в поставленном для него наособицу кресле.

— Сколько? — делая изумленное лицо, спросил судья.

— Двадцать тысяч! — вызывающе резко бросил шкипер.

Раздался еще громче взрыв хохота, но едва судья открыл рот, как зал дисциплинированно стих. И опять слышался китайский крик Джолли. Общее неодобрение публики к подсудимому стало сразу очевидным. Судья это почувствовал. Английский джентльмен, конечно, знал, как он популярен, как любит публика его парадоксальные вопросы.

— Так вы дураков нашли, если загнули такую цену? Подсудимый, отвечайте, да или нет. Вы дали присягу отвечать чистосердечно. Да?

— Да, — ответил Тауло.

В зале поднялся хохот, как при виде любимого актера, каждая реплика которого приводит всех в восторг.

— Повторите сами: «Я нашел дураков среди несчастных, попавших в беду». Повторяйте.

— Это снизит наказание? — не растерялся Тауло.

Тут захохотали Пустау и вся компания немцев и американцев во главе с Сайлесом.

— Нет, это не снизит наказания, — ответил судья, — но должно уяснить дело.

— Тогда не повторю.

Хохот повторился, но быстро ослабел.

— Редактор газеты «Чайна мэйл»²⁷? — оборачиваясь к Сибирцеву и показывая глазами на затылок долговязого джентльмена, спросил Гошкевич.

Джентльмен что-то записывал и качал головой, словно все происходящее подтверждало его собственное мнение.

— Да. Это мистер Шортред, — ответил Алексей.

Горячая речь обвинителя поначалу слушалась в молчании. Вскинув руку, он заговорил, что подсудимый грубо попрал права человека, оболгал и обобрал ни в чем не повинных тружеников моря, чей корабль подвергся еще не виданным испытаниям и погиб. Пользуясь несчастием, подсудимый заломил цену, которую никто и никогда не брал.

— Вместо бескорыстного спасения тех, кто заслужил признание и восхищения, вы обчистили их, как карманный вор!

— Слушайте! Слушайте! — раздались крики.

— Впрочем, чего же от вас ждать! Вы поглумились над правами людей и сделали спекуляцию на их страданиях, осквернив понятия долга и милосердия!

Адвокат вскочил как на пружине и высоким голосом, с уверенностью опытного оратора, немного нараспев и с аффектацией стал доказывать, что мистер Тауло как никто другой пришел на помощь страдальцам и защитил права человека! Он спас погибавших! Благодаря ему они среди нас и пользуются традиционным английским гостеприимством. Кого же мы должны благодарить за это? Только мистера Тауло! Он единственный в мире защитил право потерпевших на спасение! Свобода слова, независимость понятий, уважение к правам человека, вот те... те...

Судья извинился, перебил оратора и спросил, не проявляет ли защитник неуважения к суду, выкрикивая некоторые слова.

От хохота слушатели, казалось, валились навзничь и друг на друга и ряды их качались, как волны в ветер.

— Он сжалился, господин судья, и решился на подвиг чести, — уверенным, сильным голосом сказал адвокат, подавляя общий хохот и водворяя тишину. — И что же теперь, достопочтенный судья? Что же грозит ему за любовь к человеку, за защиту его прав, за спасение столько молодых жизней?

Судья огласил приговор под бурные аплодисменты и восторженные крики зала. Шкипер Тауло признан виновным в недозволенной перевозке людей во время войны и приговаривается к денежному штрафу.

— Бриг «Грета» конфискуется! — под новый взрыв одобрения объявил судья.

Публика расходилась. Тауло и Пустау вышли с толпой немцев и американцев. На улице Сайлес отстал от них и присоединился к русским.

— Что же теперь будет с господином Тауло? — спросил банкира мичман Михайлов. — Ему придется уезжать из Гонконга?

²⁷ «Китайская почта».

— Вы думаете, его выселят? Как сделали бы у вас? Нет, что вы! Никто и не подумает! Просто ему придется расплатиться и заняться своими делами поэнергичней, чтобы покрыть убытки. Тут больше всех пострадал хозяин корабля Пустау. Но приговор не скажется на их делах. Мистер Тауло — опытный моряк, а мистер Пустау — преуспевающий бизнесмен... Вы заметили, сегодня публика была на вашей стороне?

Сам Сайлес, как видно, скрывал свое недовольство. Наверно, в душе должен сетовать, задета и его репутация.

Вышел мистер Вунг и, почтительно поклонившись Пушкину, сказал, что рад будет принять господ офицеров, сочтет себя польщенным, если присланное приглашение будет любезно принято.

— Буду очень рад! — вдруг сказал Вунг по-русски и засмеялся.

Слуга подозвал носильщиков, и богач отправился с целой свитой китайцев.

— Решение суда, как мне кажется, нелогично, — выпив рюмку вина, сказал Шиллинг, сидя у Сайлеса. — Шкипера Тауло винили за негуманное отношение к нам, а приговорили за недозволенные перевозки в военное время. Так я понял?

— Ах что вы! — криво склабясь и вскидывая руки, воскликнул хозяин. — Английский суд постоянно приговаривает не за то, в чем упрекает подсудимого судья. Они умалчивают, в чем повинен подсудимый перед английскими интересами. Вы правильно уловили. Не за то преступление судят, за которое приговаривают. Иначе не подберешь статьи. Или будет слишком велика огласка и начнутся споры. Такой же статьи нет — за негуманность. Англичане часто выносят приговор так, чтобы главной вины не упоминать и не оглашать и чтобы все выглядело благородно, а про сущность своих претензий умалчивают... Пустау еще будет апеллировать и судиться! И Тауло тоже. Но вряд ли что-то удастся с судом. Штраф могут снять. Но конфискацию не отменят. Действуют законы военного времени. Судья вел пропаганду в пользу проявления человеколюбия к потерпевшим бедствие на море, а приговорил за перевозку врагов в военное время! Судили Тауло за неблагородный поступок, упрекали, что взял большие деньги с потерпевших кораблекрушение, винили в нарушении международного акта спасения на водах! И... никуда не денешься — перевозка вражеских войск в военное время. Да еще под чужим флагом! отобрали хорошее судно!

Сайлес стал рассказывать, что у него есть свои адвокаты, им приходится постоянно судиться по разным делам, что в Гонконге все судятся друг с другом, предъявляют разные иски, и можно было понять, что дела идут потоком, что в суде он свой человек.

— Так, бременский бриг «Грета» стал, господа, гонконгским и будет продаваться с торгов!

Сайлес помолчал, как бы что-то обдумывал.

— На суде был Шортред... Кто-то из вас уже знаком с мистером Шортредом? — спросил он и оглядел всех.

— Да, вот мистер Сибирцев, — ответил Шиллинг.

«Этот скромный молодой человек? — подумал Сайлес. — Неужели? Быстро усваивает уроки!» В любом случае Сайлес готов поддерживать общее дело.

— Вы заметили, англичане открыли вам все возможности? Но в душе недовольны. Мной тоже. Этого вы еще не видели. Это как раз то, что сближает меня с русскими. Постоянное скрытое недоверие. И лицемерие!

— А откуда господин Вунг знает по-русски? — спросил Шиллинг.

— Вы, господа, и ваша империя в мире довольно значительная сила. Это можно понять даже по высказываниям газет ваших противников. Значит, Вунг, как и я, когда-то вел дела с Россией. Ведь гос-

подин Гошкевич сам мне говорил, что в Пекин ходят из Сибири караваны с товарами... или не совсем в Пекин... но... ходят. Да?

— Нет, именно в Пекин.

— И в Европе и в Китае известно, что у русских строгие законы, что русские не умеют торговать, они покупают на самых дорогих рынках по самым дорогим ценам, а все продают по самым дешевым. Я вам это уже говорил в Японии. Знайте это, господа! И вас никто учить торговать не будет, всем с вами так лучше! Все вас осуждают, но всем выгоден ваш пьяный мужик, а не трезвый. Все кто может извлекают от вас прибыли, прекрасно обходя ваши строгости!

— Так вы говорите, китайцы в обиде на меня? — спросил Гошкевич.

— Да, это очень гордый народ. И есть отчего! Но, к сожалению, излишне гордый. В это не верится, глядя на жизнь в Гонконге? Но это так. У меня в Кантоне есть приятель, хозяин фирмы и известный глава компрадоров, посредник между нациями спасающими и самыми страшными мандаринами. Его прозвали Хоппо, или Гиппо. В год он платит налогов и дает взятки на двести тысяч долларов, столько же, сколько чистого дохода получают за год крупнейшие английские фирмы за весь свой опиум. Что вы хотите? А мистер Вунг? Попробуйте потягаться с ним в коммерции. Если найдется держава, которая даст им оружие и научит обращаться с ним, они при своей численности через сто лет раздавят весь мир.

«Старая мечта адмирала Евфимия Васильевича — спасти Китай, как и Японию, дать Китаю современное оружие, инструкторов, помочь этим в войне против Англии. Путятин крепко держит в голове свои думы и не отказывается от намерений».

— А державу-благодетельницу — особенно беспощадно! — словно отвечая мыслям Алексея, продолжал американец. — Мистер Вунг делает для Гонконга больше, чем любой представитель спасающих наций. Англичане делают вид, что этого не поняли. На пассажирских пароходах не пускают его в первый класс и в кают-компанию! Американцы и то не все считают мистера Вунга своим человеком! А правда ли, господин Гошкевич, что прибывший с вами японский профессор читает на днях в китайском обществе доклад о японском государстве и цивилизации? Слушатели собираются приехать даже из Кантона. Прибудут завзятые диалектики, последователи Лаоцзы, наследователи, представители и потомки Шинов, Танов, Минов, Ханов, желтомордых истуканов! Ханьские люди! Вы-то знаете, мистер Гошкевич, что это такое!

Речь зашла о деловой жизни колонии. Пушкин сказал, что все, с кем приходилось ему встречаться, производят впечатление благородных джентльменов.

— Благородные джентльмены! — Сайлес махнул рукой и сделал отвратительную гримасу. — Все до одного опиоторговцы и стравители! Торговцы опиумом и пираты! Кроме сэра Джона.

— А ученые?

— Какие ученые? Они знают бизнес и платят клеркам проценты к жалованью за изучение китайского языка!

— А что же он сам?.. — уныло сказал Пушкин по-русски, не глядя на Сайлеса.

Тот понял и не обиделся.

— И я тоже, — сказал он. — Чем я лучше? Как я могу иначе? Я даю деньги торговцам отравой, и мне за деньги платят деньги. Деньги делают деньги. Это, конечно, не все... Но я и не говорю, что я благородный рыцарь! Я банкир и коммерсант. У меня свои суда, которые ходят в Кантон. И не только в Кантон. Новый пароход будет ходить в Калифорнию. Ах, господа, если бы вы знали, как мне нужны хорошие моряки, честные, порядочные сотрудники. Большие

деньги я трачу, чтобы найти хоть каких-нибудь капитанов. Все европейцы, остающиеся без дела, — алкоголики. Кто порядочный — держится за место, и хозяин держится за него! Здешние шкипера сами торгуют опиумом, составляют одну шайку с китайскими компрадорами. Нанимаем шкипером на Джонку малограмотного английского матроса и даем ему команду из китайцев. Он берет с собой собаку и ящик виски. Люди бывалые, но... Китайца-шкипера не успеешь нанять, как он начинает меня же эксплуатировать.

Гошкевич напустился. Ему тут уже делали очень лестные по здешним понятиям предложения.

— Я просто несчастный человек! — воскликнул Сайлес.

Вечером в гостинице на имя Пушкина было письмо от господина Пустау. В воскресенье все офицеры приглашались на обед. Мистер Вунг прислал со слугой раззолоченный свиток, в нем каллиграфически выведенное золотой краской приглашение по-английски и собственная подпись с росчерком.

Глава 11

ПРЕССА

Что такое? «Возмутительные призы адмирала Стирлинга...», «Митинг британских моряков...» В глаза сэру Джону бросились эти фразы из статьи в «China Mail», едва он развернул свежий номер. Боуринг прочел статью:

«...Пытаясь уравновесить свои неудачи... Незаконно захватывается экипаж фрегата «Диана», потерпевший катастрофу на море... Синие жакеты требуют лучшего содержания для пленных».

Умный и трудолюбивый Шортред! Выступает всегда смело и вовремя. Не советуясь с губернатором, он все верно угадывает! Бывало, что сэр Джон не сразу оценивал значение некоторых статей и лишь впоследствии постигал смысл поданных подсказок.

Писалось, что пленные доставлены в Гонконг, тут их положение не улучшилось. Они находятся на судах эскадры и голодают, живя вместе с нашими сытыми матросами, работая с ними наравне и заслуживая их уважение, но по-прежнему получают лишь половину пайка британского матроса.

Особенно страдают рядовые. По приказу командования их не только морят голодом, лишают табака и мыла и не пускают на берег, но и побуждают бросить своих офицеров, стать предателями и дезертирами, уехать в Австралию на заработки. Один из матросов, помещенный в госпиталь, недавно умер, и пленные офицеры лишь случайно узнали об этом. Только благодаря случайности начальники и товарищи скончавшегося смогли присутствовать на похоронах. «Вообразите, гроб несчастного страдальца опускают в землю на чужбине, вдали от родины, и никто и никогда не узнает об этом...»

Автор восхищался пленными офицерами, которые покупают на последние деньги продовольствие и мыло для матросов, заботятся, особенно о больных. Все они собрались при погребении рядового, а один из молодых офицеров исполнял обряд, читая молитвы. Писалось «о позорных действиях английской эскадры в северных морях». Адмирал оказался «трусом, мстящим пленным за свои неудачи, которые произошли от нераспорядительности командующего, на обязанности которого было нанесение решительного удара по эскадре врага». «Мы покрываем себя позором!»

Серьезная статья! Сэр Джон готов со всей энергией обнаружить свой прорусский гуманизм, тлевший в его душе еще со времен дружбы с Карамзиным и Жуковским.

«Не в силах терпеть голод, пленные матросы чистят одежду, чинят обувь наших моряков за остатки еды или за горсть табака».

Но возникает вопрос: как помочь пленным, из каких сумм, где взять деньги? Адмирал сэр Джеймс Стирлинг подмочил свою репутацию неудачным, формальным договором с Японией, который в конце позапрошлого года он заключил в Нагасаки, а также своими действиями на море и еще многим другим. Есть сведения, что в Лондоне это понимают, дни Стирлинга как командующего в этих морях сочтены. На смену должен прибыть молодой адмирал сэр Майкл Сеймур, участник бомбардировки Кронштадта и уничтожения Свеаборга, получивший ранение на Балтийском море...

На других страницах газеты обращают внимание огромные объявления на китайском. С каждым выпуском еженедельника их становится все больше. Это рекламы китайских фирм о покупках, продаже, аукционах, операциях китайских банков. Величайшее достижение мистера Шортреда! Не зря пущен анекдот, будто редактор соперничающей газеты «China Star»²⁸ грозит убить его из пистолета, и оба редактора ходят с вооруженными телохранителями. Шортред первый завел китайский набор в типографии. У него работает китаец-наборщик в европейской одежде. Силу и пользу прессы поняли китайцы, владеющие компрадорскими фирмами и торговыми делами не только в Гонконге, но и в закрытом для европейцев Кантоне. Соперники Шортреда из «China Star» немедленно прибегли к тому же и стали помещать такие же объявления, напечатанные иероглифами.

В обеих газетах английские транспортные фирмы помещают на китайском языке расписания об отходе пароходов в Кантон и о прибытии в Гонконг. Регулярное пароходное сообщение на реке Жемчужной очень популярно среди китайцев — они пассажиры и грузоотправители. Хотя даже самых богатых и европеизированных не допускают в кают-компанию первого класса. Конечно, это наше глупое лицемерие и предрассудки. Но не все сразу!

В «Чайна мэйл» и «Чайна стар» много сообщений о жизни в Китае, что происходит в его пяти открытых портах, также о тайпинах и гражданской войне. Об Америке и событиях во всем мире. Обе газеты стараются превзойти друг друга обилием новостей, печатают сведения о приходе и уходе парусных и паровых судов, о крушениях на море, об уничтожении кораблями флота ее величества пиратских джонок. Также о коммерческих сделках, о криминальных происшествиях, корреспонденции из зала суда. Обе отдают одинаковую дань подвигам британских солдат под Севастополем.

Но все же мысли губернатора возвращаются к главному: война с Китаем неизбежна. При этом многие китайцы как по убеждению, так и за деньги или от голода встают на сторону англичан.

Сэр Джон готов тысячу раз повторять: без войны невозможно обойтись, хотя все меры приняты, чтобы доказать миролюбие. Перепробованы все средства, с китайцами надо действовать беспощадно. Бомбардировку их городов — вот что они заслужили. В конце концов, по вине своих владык и мандаринов.

В будущем Китая нельзя быть уверенным. Этой стране может помочь какая-то держава: Америка, а может быть, Пруссия. Послать туда своих офицеров и оружие. Дальнобойность современной артиллерии все возрастает. Не стыдно повторять, что конфликт необходим, чтобы отрезать по договору о мире всю полосу гористой территории, лежащей на материке напротив острова Гонконг, в расстоянии отличной видимости простым глазом всего, что там происходит. Эта территория уже теперь фактически под влиянием Гонконга. Там деревушка Кулун растет не по дням, а по часам, все кулунские китайцы работают в Гонконге, ежедневно переезжая пролив, который места-

²⁸ «Звезда Китая».

ми не шире Темзы. Туда скрываются преступники, совершившие в Гонконге кражи или убийства. Там гнезда пиратской агентуры.

Сэр Джон, проходя через анфиладу комнат своего дворца ко второму завтраку, с удовлетворением ощущал, как сквозь открытые огромные двери, подобные воротам, из больших окон и с открытых, увитых зеленью и цветами веранд в лицо дует прохладный ветер, словно воздух тропического Гонконга, врываясь, остывал у этих мраморных стен, под высокими резными потолками красного дерева. Каждый день сэр Джон испытывал это удовлетворение, проходя по залам.

Его замыслами и стараниями дом построен на холме, склоны которого превращены в сад. Все обнесено высокой каменной стеной, и в воротах ходят рослые солдаты в красных мундирах. Посредине двора огромный широковетвистый бук, оставлен от бывшей редкой лиственной рощицы. Дворец на все четыре стороны выходит белоснежными фронтонами с ионической колоннадой. Терраса, спускающаяся в зелень сада тяжелыми ступенями, смотрит на рейд со множеством кораблей.

Сэр Джон запретил возделывание риса в Гонконге, чтобы не было болот и тропической лихорадки. Он исследовал причины заболевания солдат. Оказалось, что томми болеют гораздо чаще, чем торговцы. Служба солдат облегчена, их казарма перестроена по образцу дворца, пища улучшена, дозволены отлучки и развлечения.

Гонконг застраивался готическими башнями и дворцами богачей с садами и спортивными площадками, разбивались скверы и бульвары... Все это нужно, чтобы не скучать вдали от родины. Глаз отдыхает, и сердце радуется, видя красоту, созданную своими руками.

В «Чайна стар» — статья, в которой Пустау и Тауло называются русскими шпионами, автор восхищается смелыми действиями эскадры адмирала Стирлинга, одержавшей ряд внушительных побед, уничтожившей все порты неприятеля и прочно занявшей позиции в гаванях им открытой и ставшей теперь нам дружественной Японии.

Адмирал Стирлинг и коммодор Эллиот действовали умело. Аян, Де-Кастри, Петропавловск-Камчатский, фактории на Курилах и Охотск с его адмиралтейством стерты с лица земли.

Коммодор сэр Чарльз Эллиот снова увенчал себя неуязвимой славой. Прибыв в Гонконг, он заявил, что единственный русский железный пароход взорван в Аяне. Некоторым судам противника удалось укрыться в реке Амур. Но по отзывам моряков, возвратившихся после военных действий, ценность приобретения Россией этой реки представляется весьма сомнительной. Среди мелей устья наступил был транспорт противника, команда бросила его и зажгла. Удалось догнать и потопить один из его севших на банку баркасов и снять команду, состоящую из финнов. Некоторые заявили, что с гораздо большей охотой согласны служить королеве Виктории, чем царю.

Лейтенант Артур Стирлинг, капитан парохода флота ее величества «Барракута», командовал операцией. У северного берега Сахалина лейтенант Артур Стирлинг задержал бременский бриг под фальшивым флагом Штатов и взял в плен триста русских моряков, шедших на подмогу своим в Сибирь, несмотря на их попытки обмануть наше командование ложными заявлениями, что они — потерпевшие бедствие на море.

Так, Россия на Тихом океане больше не существует и остатки неприятельского флота не выйдут из реки Амур.

Пленные матросы противника нашли новые для себя условия и отдых на кораблях эскадры, которой командует адмирал Стирлинг. Они охотно помогают нашим командам, так что во время тяжелых работ на палубах можно слышать традиционное «йоу-хоу» (yo ho) наших синих жакетов, звуки которого сливаются с русским «эувзиали»...

Вечерело, и бухта закрылась поднявшимся туманом.

У сэра Джона сидел мистер Джордин. Подняв большую лысую голову, он с интересом выслушивал суждения губернатора — знаменитого писателя и философа.

Мистер Джордин повторил свое мнение:

— Опиум не отравя. При умеренном употреблении это безвредное средство. Более того — опиум полезен. Это лекарство. Я сам курю опиум, как вы видели. По воскресеньям после обеда один-два шарика, не более!

Мистер Джордин улыбнулся, подбивая свои щетинистые усы.

— Мне известно благотворное действие такой дозы... Предохранение от эпидемий. Средство от многих недугов, особенно от холеры. Улучшение настроения. Переключение нервной энергии. Отдых от умственного напряжения. Мы даем Китаю средство для пробуждения энергии в народе. Другое дело, что ради выгод сами китайцы превращают опиум в отраву, они выкачивают деньги из народа, травят его беспощадно. Но протестовать против торговли опиумом на этом основании было бы так же нелепо, как запрещать виски на родине моих предков, в Шотландии, или как запрещать водку, где царь и правительство снискали ее продажей одобрение и преданность народа. Опиум, как и водка, при умеренном употреблении есть признак благосостояния! От опиума производительность рабочего народа увеличивается. Но в Китае не хотят знать об этой спасительной умеренности, она невыгодна!

Боуринг вспомнил о своем сыне Льюине. Сыновьям нет никакого дела до благочестия и человеколюбия родителей. Гуманная деятельность отца признается лишь в той части, где за нее следуют оплата и видное положение! А сама суть благотворительной деятельности, которой отец отдал все силы, может быть, тоже признается, но лишь отвлеченно, теоретически. Как быстро освоился Льюин в Гонконге и как он бурно вошел в здешние коммерческие интересы и обратил на себя внимание при его прекрасном воспитании и внешности.

В Европе и в Англии в статьях о Боуринге-отце замечали не раз, что у этого англичанина не типичный английский характер. Сэр Джон стопроцентный англичанин из старой дворянской семьи, связанной с международной торговлей. Мистер Джордин, потомок шотландцев, кажется, более похож на англичанина.

— Предоставить для пленных блокшив старого корабля, — сказал губернатор. — Чем же кормить? Каждая чашка чая, ложка супа и сухарь должны быть сосчитаны, о них надо написать в Лондон и получить утверждение, только тогда голодный матрос смеет открыть рот. Но они перемрут, прежде чем переписка состоится. Подпустить к пленным благотворительные общества невозможно. Я решаю действовать своими средствами.

Джордин выслушал и заметил:

— Мой совет, как всегда: пусть они сами себя прокормят, они сделают это лучше, чем правительство. Дайте им заняться делом. У командующего эскадрой, как он показывает, нет денег. У него все пенсы сосчитаны. Нельзя ограничить невинные доходы капитанов. Адмирал не может отнимать суп и сухари у синих жакетов. Хотя они сами подавали петиции об этом.

«Наше лицемерие въедается в наш народ», — подумал Боуринг.

Джордин полагал, что права не только «Чайна мэйл», но и «Чайна стар»! Обратил внимание на описание, как поют на палубах: «йоухоу» и «эу-взиали»! Это хороший признак: значит, сами пленные на эскадре держались молодцами, никакого противоречия с «Чайна мэйл». Одна газета, как и другая!

— Если действительно, как уверяют американцы, пленные — рабские: плотники, судостроители, — продолжал гость, — и что среди

них есть кузнецы, канатчики, медники, то что же их держать! Им надо пойти на берег и работать по найму! Тогда все прояснится и они оправдают себя. Фирмы охотно разберут, нам будет польза, им — заработок и одежда. Будут сыты по горло.

— Вы полагаете?

— Производительность труда европейцев, особенно при работах, требующих силы и быстроты исполнения, гораздо выше, чем у ослабленных веками недоедания китайцев. О пленных неудобно сделать объявление в газетах. Но и без рекламы разберут быстро.

— Там, вероятно, окажутся бывшие сельскохозяйственные рабочие. Для себя лично я взял бы двоих, — сказал Боуринг. — Но сначала их надо у эскадры отобрать.

— Командующий, я уверен, будет держаться за эту даровую рабочую силу.

«Надо передать их в распоряжение сухопутного гарнизона, — полагал губернатор, — и тогда дадим работу на берегу».

— Пока будет переписка и волокита, мне кажется, можно попытаться договориться с адмиралом. Он до сих пор не представил полного списка пленных, уверяя, что возвратились еще не все суда, на которых находятся русские...

Глава 12

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

— Напротив, сэр Джон, надо дать Китаю все что только возможно и вооружить его, — заявил Джеймс Стирлинг.

Что за чушь! Как можно дать штуцера и нарезное оружие безграмотным азиатам! Может быть, когда-нибудь!

— Китай — наш естественный союзник! — продолжал командующий. — Неудача Наполеона в том, что он не смог проникнуть в глубины России. Действовал с одной стороны. Ах, если бы турки и персы поддержали его! В то же время сам очутился между двух жерновов. Стояние под Севастополем свидетельствует, что союзники не проникнут в недра империи неприятеля и не заденут ее сердца, хотя падение Севастополя неизбежно! Противника надо ставить между двух жерновов! Провидение указывает нам уравнивающего союзника. Надо долго готовиться для этого Китаю. Но как к нему подобраться? Как к нему подъехать, как пробудить интерес и стремление к нашим пушкам хотя бы у будущих поколений?

— Трудней всего преодолеть спесь китайцев, — ответил сэр Джон.

Сэр Джеймс не собирался покидать пост командующего эскадрой в китайских морях. Адмирал надеялся на свои веские консервативные и патриотические доводы, которые упрочивают положение. В Лондоне их знают. Его мнение: помочь Китаю подавить инсургентов, закрыть глаза на кровожадность и коррупцию маньчжурской династии.

— Я рад, что вы пришлете мне список пленных, ваше превосходительство, — сказал губернатор.

— Но я все же не могу их отпустить.

— Разве они вам нужны?

— Ка-ак? Я им как отец! Они еще никогда не были под такой верной рукой!

Формально командующий эскадрой обязан подчиняться послу и губернатору колонии. Например, Боуринг может приказать адмиралу начать военные действия, но не сделает этого без распоряжения из столицы. Вместе решаются дела об экспедициях против пиратов, о конвоировании транспортов с товарами, об охране торговых путей на Жемчужной, о кораблях, несущих брандвахту на виду Кантона, так-

же все, что касается поддержки военной силой дипломатических действий. В менее значительных делах, где губернатор не станет напрасно рисковать, терять свой вес, адмирал уклончив.

— Уверяю вас, если вы хоть раз сходите к китайцам в баню, где банщицы моют простонародье среднего достатка, вы переменитесь физически и почувствуете уважение к ним! Я сражался с китайцами! Я топил их суда! Но это не меняет дела... Баня не сражение. Как и китайская кухня. Как их лучшая в мире прачечная! Я теперь чищу зубы солью пальцами, а не щеткой. Десны мои кровоточили, а теперь крепки, как у парня из деревни. А китайцы-парикмахеры? Они с таким же усердием изучат штуцера и нарезные пушки!

Стирлинг уверял, что англичан, единственных из всех европейцев, китайцы никогда не посадят в низкие бамбуковые клетки. Может быть, остальным европейцам будут рубить головы всем подряд, а европейнок заставят каждую родить по десять китайчат, и рождаемость в Европе будет восстановлена. Пьяные, склочные и ленивые европейские мужья, озабоченные карьерой и престижем, потеряют головы.

Прощались, энергично и почтительно тряся руки, но все же, как полагал сэр Джон, проводив гостя, сэр Джеймс — маньяк. Его трудно вынести. Живой архаизм, пропитанный философией будущего. Один из уникалов великого флота! Примерно двести таких старых адмиралов из числящихся на службе, но не имевших приличных должностей до начала войны! Старики — проклятие империи! Охотно мечтают об уничтожении России, которая тысячу лет держит щит, прикрывая Европу от Азии. И если Европа не с русскими, то Россия уйдет в Азию, они сплотятся с азиатами. Это будет ее гибель и наша тоже. Русским надо дать европейскую поддержку. Сэр Джон патриот, но он не в восторге от Крымской войны, хотя ненавидит петербургскую деспотию и ее чиновничью империю.

Говорят, что храбрый адмирал Майкл Сеймур, который вскоре прибудет в Гонконг, неудобен для метрополии, так как у него не хватает одного глаза. Потерян на войне в морском сражении под Кронштадтом. Но кривые командующие не для столицы... Времена Нельсона минули.

На другой день с лейтенантом получено краткое письмо адмирала Стирлинга и список пленных: офицеров, младших офицеров, тех, что у русских по-немецки называются унтер-офицерами, и всех матросов.

— Кто командует их отрядом? — спросил сэр Джон офицера, доставившего бумаги.

Чиновник, принявший присланные бумаги, стал листать списки.

— Командир всего отряда старший офицер погибшего фрегата «Диана» лейтенант Пушкин, ваше превосходительство, находится на корабле «Винчестер», — ответил лейтенант.

Во время визита Джордин говорил, не упоминая фамилий, что их командир — образованный человек и поэт, но больше интереса выказывал Гошкевичу.

Светлое лицо сэра Джона приняло выражение еще большего достоинства.

— Его имя при крещении?

— Александр, сэр, — поспешил с ответом чиновник, смотревший в бумагу.

В глазах губернатора мелькнула тень готовности принять на себя еще одну заботу.

— У них есть еще одно имя — по отцу. Собственное имя, полученное при крещении, и имя по отцу упоминаются при сложном вежливом обращении в обществе. Оно также, видимо, упоминается в официальных документах офицера. Просмотрите, упомянуто ли в списках?

— Я вижу, понял, сэр.

— Это второе имя, по отцу, похоже на польскую фамилию. Если отец Петр, то сын — Петрович. Это почти то же, что Мицкевич, Адамович. Второе имя, по отцу, отвечает на вопрос «чей?». По-русски — отчество.

— Сергеевич, ваше превосходительство, — сказал чиновник.

На миг лицо губернатора выразило смятение. Впрочем, того, о чем он подумал, не могло быть.

— Сколько же ему лет?

— В документе не сказано.

— На «Винчестере» я видел этого офицера, — сказал лейтенант. — Я уверен, что ему не менее пятидесяти пяти лет.

«В пятьдесят пять лет лейтенант? В нашем флоте бывают пятидесятилетние лейтенанты на старых линейных кораблях, у старых полумных адмиралов, где служат облысевшие матросы в очках».

— Говорят, что до войны он занимался литературой. Это его профессия, — продолжал молодой лейтенант. — Он якобы написал на древнем языке поэму о царе Георге.

— Он поэт?

— Да, сэр. Я знаю. Сказали офицеры «Винчестера» и также офицеры «Монарха», что заслужил их расположение. С большим уважением они относились к Пушкину. По-английски он не говорит.

— Вы ошибаетесь, у него поэма не о короле Георге, а о Петре Великом, — несколько смущенно сказал губернатор.

— Может быть, ваше превосходительство. Мне было сказано о Георге.

«Так вот почему моя дочь Энн настойчиво уверяла меня в величье Пушкина! Невероятно! Пушкин здесь, в Гонконге, он командир экипажа, взятого в плен! Однако как деликатна моя Энн! Да, были сведения, что Путятин составил свое посольство из весьма образованных офицеров. Я никогда не слышал, чтобы Пушкин служил во флоте. А-а! Кажется... впрочем... Ведь он был смолоду дипломатический чиновник по министерству Нессельроде. Мне помнится сообщение, что он убит...»

Боуринг поблагодарил офицера и после его ухода ненадолго задержал чиновника. Оставшись один, просмотрел списки пленных и отложил в сторону. Опустил руки и задумался, согнувшись в кресле и опираясь локтями на колени.

«Неужели еще один промах? Еще пробел, неточность в наших сведениях? До сих пор у нас считали, что Пушкин погиб двадцать лет назад. Уж кто-кто, а я, писатель, должен, казалось бы, знать! Всеобщее мнение — русские пылки и человечны, деспотия кормит их нелепыми выдумками, и они горячо верят!.. Вот каков Пушкин! Пошел в Японию! Попал в плен! Пушкин в плену у англичан. Это Стирлинг, все он! Как неудобно! Пушкин в Гонконге, а я его не переводил. Правда, он не нравился мне. За восхваление побед. Я этого не люблю. Он совершенно не понимал, куда следует направить свое развитие, устремить гениальность к какой цели. Он делал все не то, что Запад ждал от него. Я был так уверен в своей правоте, что решил дать ему понять все это и демонстративно отвернулся и обратился к Мицкевичу и Петефи!.. В Петербурге всегда стряпаются ложные сведения. Утки, как их там называют. Эти утки летают по всему свету! Сообщение о смерти Пушкина могло быть рассчитанным обманом. Не раз оттуда получались фальсифицированные сообщения... Но неужели за эти годы, когда я занимался Африкой, Индией и Азией, Пушкин стал известным поэтом и борцом за свободу? Переменил убеждения! И приехал из Японии в Гонконг. Совсем плохо. Это уж я попадаю в плен, а не он ко мне. Неудобно и неприлично, однако не будет обнаружено никогда. Можно допустить его, я охотно встречу. Нельзя не смотреть ему в глаза. Но какой обман! Всегда у них обман!»

Неудобно пригласить к себе пленного офицера, который в распоряжении командующего, не объясняя адмиралу причины.

Особенно срочных и важных дел не оставалось. Сэр Джон ничто не держало. Он приказал приготовить свою яхту к плаванию.

Боуринг поехал верхом на пристань. Через час он был в открытом море. Стоило самому взяться обеими руками за талреп и под скрип блоков потянуть снасть вместе с матросом, как возвращалось ощущение природной стойкости и мужественности. Поднятый парус вздулся, схватив ветер, вырвавшийся из-за Малого Пиратского острова. Яхта пошла, подкидываемая руками «шкиперских дочерей», как называют в народе белопенные волны.

Да, Джордин прав, китайцы могли бы курить опиум, соблюдая умеренность! Однако если бы они стали благоразумны и, подавляя свою страстность, не предавались бы пороку, то... На их умеренности невозможно было бы построить Гонконг, открыть в нем ученые и филантропические общества. Какие образцовые джентльмены появляются за последнее время из среды самих китайцев! Мистер Ван, владея английским, преподает китайскую философию и ведет занятия по китайскому языку с англиканским епископом.

Пронеслись через полосу пены, отчетливо отчертившей пределы пресных вод Жемчужной. По правому борту на траверзе за горизонтом — устье великой Кантонской реки. Ее воды идут тихо и уверенно, даже здесь, в море, гася его волны, вдали от своих то гористых, то низких прибрежий, где рисовые поля, огороды и прекрасные сады у деревень, похожих на низкие скирды старой соломы.

Река Жемчужная впадает в океан у группы скал-островов. На самом большом построен Гонконг. На других еще до сих пор в мелководных бухточках есть убежища пиратов. Скалы, скалы в воде. В море между этих каменных круч местами ветра не хватает, чтобы наполнить матросскую шляпу. Но вдруг налетает шквал и подымает речную воду среди моря, выдувая из гребней пену. Вихри бьющихся волн при горячем ветре. Яхту кренит. Восточный ветер погнал ее в устье Жемчужной, вот-вот завидятся берега и плоские илстые островки на бере. Такому ветру почти невозможно сопротивляться. Прогулка частично увеселительного свойства, на самом деле успокоительная.

«Нет, не может быть, что Пушкин жив».

А горы и острова Китая уже видны простым глазом. Высокие деревянные журавли на крестьянских полях. Соломенные крыши как копны. Не хотелось бы губернатору Гонконга просить убежища на мандаринских военных джонках. Или выбрасываться на китайский берег. Впрочем, в устье Жемчужной стоят, охраняя торговлю, английские паровые военные суда.

Командир яхты, лейтенант, молчаливо насуплен, как человек, знающий дело. Паруса упали. Вышли на сильное течение реки. Яхту подхватывает и несет, а горячий шквал ослабевает, затем налетает снова с другой стороны, с силой хлопая в волны, но тут же уходит прочь.

Боуринг совершенно не желал бы встретить китайских мандаринов. Надо избегать всяких разговоров с ними! А тем более их любезностей. «Они глумятся, не допускают в свою страну, выкачивают товары, извлекают из нашей деятельности выгоды, а нас грабят и унижают. Позор, который мы скрываем от всего мира. Нельзя обнаруживать слабости».

А ветер опять крепчает, яхту гонит теперь прочь от Кантона. Приезжие оттуда усиленно говорят, что к городу гонят восемьдесят тысяч пленных тайпинов, взятых в последних боях. Предстоит рубка восьмидесяти тысяч голов, может быть, уже началась.

Массы тайпинов сидят на улицах и за городом и ждут казни.

Умирают от голода и болезней... Кровь польется по сточным канавам...

Появились католические соборы португальского Макао. Кажется, что стоят на воде. Миниатюрный полуостров отходит в море от материкового берега близ устья реки. Китайцы еще в древности перекопали перешеек, полагая, что навеки отгородились от португальцев, превратив их полуостров в остров, и отдалили от Китая этот клочок земли в полторы квадратных мили. На нем построен маленький замечательный город, осколок пиренейской старины, переброшенный в Азию: крепость и форты, дворцы, склады, магазины. Город с домами богатых португальцев, окружающих своими белокаменными этажами внутренние садики-дворы, тенистые патио. Каждый камень напоминает о временах португальского владычества на морях и о католицизме. Китайцы в Макао, как и в Гонконге, живут в трущобах, держат стариков в деревянных клетках, привязанных к набитым жильцами лачугам. Их и тут много. Они же в плавучих кварталах — покрытых лодках. И там голод, покойники выбрасываются в море, продажа детей...

Макао — предок Гонконга, его предтеча. Когда-то англичане, не имея в Китае своего пристанища, начинали торговать с Небесной империей через Макао.

В Макао и теперь молятся, как в средние века. Много обращенных богобоязненных китайцев и есть китайцы-священники. Соборы и здания внутри и снаружи украшены статуями святых и великих. Богатые жители Макао коллекционируют картины для частных собраний и для своего прекрасного музея. Каждый патио в частном доме — с великолепным фонтаном, мраморными скамейками и ваяниями.

Традиционная холодность протестанта и британца к старым соперникам с Пиренейского полуострова забывается, когда после делового Гонконга видишь плоды рук верующих мастеров. Впрочем, как и в Гонконге, здесь население занято торговлей опиумом, стесненной лишь размахом англичан из новой колонии.

«Мы продаем опиум под речи о демократии, они — под чтение папских булл, под колокольный звон и под проповеди... Но португальцев становится в Макао все меньше, а верующих католиков-китайцев все больше. Может быть, и Гонконг со временем станет Англией без англичан. Ведь говорят же в Китае: „Сто тысяч варваров являются врагами, пока они сидят верхами. Как только они слезут с коней — это сто тысяч новых граждан“».

Поставили паруса, пошли против ветра.

Боуринг и его спутники, уставшие, с сожженными ветром и солнцем лицами, ступили на древние камни Макао.

На пристани расхаживают юные потомки основателей крепости в безукоризненных современных сюртуках, шляпах, с тоненькими усиками и бородами. Солидные гранды и негоцианты с дамами проезжают в экипажах.

Испанские дома. Романская, мавританская, готическая архитектура. Губернатору Макао с адъютантом в штатском послана визитная карточка. Посещение частного характера. Но гостю немедленно подана карета, запряженная четверкой каштановых лошадей. Ах, тройка гнедых! — так называл эту масть Карамзин, когда скакали с ним по Петербургу.

Конный офицер от португальского губернатора доставил приглашение на обед.

Сэр Джон проехал узкими улицами, где медленно, но звонко цокала копытами запряженная цугом четверка. Через дворик, окруженный балконами, он прошел в глубь здания и по мраморной лестнице — в картинную галерею.

Деловой Гонконг не завел еще ничего подобного! Мадонны...

Портреты старых и молодых португальцев в кружевных рукавах и жабо, дамы в бархате.

Но что это? Копии Тернера?

...Горящий военный корабль, битва соединенных флотов против турок и египтян, гибнущие суда, опять пожары на море, стрельба, победы над врагом во всех видах на всех морях!

Чарльз Эллиот с большим умением изобразил бомбардировку Кантона винтовыми судами. Чувствуется артиллерист. Но нельзя выставлять в метрополии. Во-первых, подражание Тернеру...

Возвратившись в Гонконг, сэр Джон засел в своей библиотеке.

Поэт Пушкин убит в 1837 году. «Как я мог забыть! Не написал ли я что-нибудь о его гибели в свое время? В Гонконг прибыл не тот Пушкин. Может быть, один из его родственников, но, конечно, не кузен».

Сэр Джон весь вечер читал Пушкина по-русски. Иногда он брал справочники и тома энциклопедии. Все статьи о Пушкине кратки. Убит в тридцать седьмом году!

Ранним утром вернулся к книге о Сиаме, а потом в назначенный час явился начальник полиции.

В Гонконге все преступники — китайцы; кражи, убийства, содержание самых отвратительных притонов, худших, чем в Индии и Малайе, продажа украденных детей в публичные дома, грабежи, шантаж, вымогательства, игорные дома процветают повсюду. По отзывам начальника полиции, лучшие детективы не только британцы, но и китайцы. Некоторые злачные места посещаются в дозволенные часы нашими томми и синими жакетами. Как быть? Придется запрашивать командира полка, стоящего в городе. И снова объясняться с сэром Джеймсом. Что тут можно сделать? Китайцу надоедает ежедневное изнурение, он курит опиум и пытается сразу выиграть богатство, ставя на карту свободу, даже жизнь...

Среди состоятельных китайцев продолжаются оживленные споры, почему две самые сильные державы не могут взять Севастополь и почему флот союзников потерпел поражение в прошлом году на Камчатке. Якобы приходят известия из Пекина, что там довольны Муравьевым, что он разбил англичан, чего еще никогда и никому не удавалось. В Пекине готовы пойти на уступки и на соглашение с северным соседом, чтобы с его помощью навеки обезопасить северные границы и укрепить тыл Срединной империи. Часть здешнего общества толкует, что нашла наконец страна, которая нанесла поражение врагам Китая. Другие возражают. Мистер Вунг смеется. Мистер Ван горячо защищает Англию.

Да, умы у китайцев горячие, склонные к спорам. Есть благородные и гордые молодые люди, готовые на самопожертвование. Некоторые читают по-английски, знают из газет о прениях в парламенте.

Претензии и высокомерие китайских мандаринов известны. Всемирное господство Срединной империи неоспоримо! Китай — центр вселенной. Народу внушается, что все государства всего мира подчинены Китаю и зависят от него. Все короли в Европе лишь данники богдыхана, они в вассальной зависимости от сына неба.

Китайцы верят. Другие делают вид, что верят. Они слишком умны и практичны, чтобы не угадывать истин. Кроме того, инородческая династия уязвляет народную гордость. Нищета и бесправие вызвали небывалое восстание народа, которое бушует по всей стране. А династия стоит еще крепко, и Китай все еще незыблем, и мандарины твердят, что сын неба остается владыкой мира и что даже королева Англии от него зависима. Это они! А мы? Сэр Джеймс спросил про школу Энн. Адмирал надеется на миссионеров!

Чему наши миссионеры учат! И здесь и во всем мире! Африка, Америка и вся Азия принадлежат Англии! Английская Калькутта — главный город Азии. Это зазубривают в школах будущие пасторы: негры, индийцы, полинезийцы! Масса проповедников трудится во

всем мире! Наша спесь и китайская спесь. Коса нашла на камень! И дочь Энн не может изменить учебников...

Теперь являются американские миссионеры, и тоже с Библией. У них свои понятия о всемогуществе. Они вредят англичанам на каждом шагу и высмеивают их претензии. Там, где завелись американцы, приходится быть осторожным.

Сэр Джеймс легок на помине. Прислал бумаги. Копии распоряжений по флоту.

— Ваше превосходительство, — поясняет чиновник суть дела, — адмирал... сэр Джеймс... отдал приказ остающимся у него на судах пленным... Адмиралу захотелось удержать у себя часть рабочей силы. Решил выдавать пленным полную порцию. Табак и мыло. Деньги на мелкие расходы.

Почтительный чиновник продолжал: его превосходительство адмирал Стирлинг пригласил к себе русских офицеров и объявил, что всем им будет выплачиваться ежемесячно по десять фунтов. А тем, кто «перед матчами», выдается единовременное пособие.

— Нашлись деньги! — почти неприлично расхохотался вечером этого дня Джордин. У будущего кума он обычно сдержан, но тут не утерпел.

Адмиралы — воры! Как и командиры судов! Капитаны крадут! Адмиралы своего не упустят! Вот что хотел сказать мистер Джордин. Ведь еще Бентам говорил: «Трусость, прикрытая маской благоразумия, может вкрениться в национальный характер!»

А наши картины, восхваляющие подвиги военных моряков? Эллиот провинциален. А Тернер? Наши победы! Трафальгар! На Средиземном море! А наша литература, поэзия... А наши книги и журналы: все о победах. О парадах!

Мистер Джордин заехал с приглашением на торжественный обед по случаю открытия новой трансокеанской пароходной линии Шанхай — Гонконг — Сан-Франциско. Via²⁹ все открытые порты Китая. Пароходство Джордина обзавелось двумя новыми отличными пароходами, которые только прибыли и вступают в строй. Крики восторга, энтузиазм, речи будут на обеде... Корзины прекрасных китайских цветов. И цветов, выращенных из семян, доставленных из Нагасаки! Из Индии! Из Сингапура!

Пленные офицеры приглашены на обед офицерами нашего доблестного пехотного полка в новое здание дворца-казармы. Им будет предложено обедать там ежедневно, столоваться на правах уважаемых гостей и морских коллег.

Да, нашлись, нашлись казенные деньги! Адмиралу пришлось признаться, стало жаль... Не хочет совсем расставаться с даровой силой. Ответственность перед общественным мнением!

Боуринг не мог пригласить к себе Пушкина, но решил встретиться с ним как бы случайно. Пушкин может заехать вместе с Сибирцевым за дочерью, и он задержит их.

Сэр Джон полагал, что англичане и русские должны говорить без переводчиков, и тогда только что-нибудь получится. Война начата, как и обычно, посредниками. Русский крестьянин, умирая в бою, имеет самое смутное представление о ее целях.

— Я был молодым, очень молодым человеком. С каким восторгом я обратился к государю Александру! Но он сам был бессилен, он так смешался, прочитав мое обращение...

По просьбе сэра Джона, но не упоминая о нем, английские молодые люди, товарищи сына губернатора, дали понять Сибирцеву, чтобы взял с собой Пушкина на пэрти к Энн.

Хрустальные колпачки над свечами охраняли пламя от ветра из открытых в ночь окон. Голубое серебро на скатерти. Легкие вина.

²⁹ Через (морской термин).

Вода со льдом. Аршад со льдом, или ориндж, как называют по-английски. Множество подставок, салфеток...

Боуринг рассказал, что занят книгой о Сиаме. Заговорил про страну, рассказал про короля и о народе, помянул об удивительной красоте храмов, а потом сказал, что он изучил, как составлялись проекты этих торжественных сооружений и как и из чего они строились, какие материалы шли на фундамент, чем скреплялись его части и чем камни стен, как накладывались лепка и резьба, какими инструментами работали камнерезы и художники, из каких деревьев, из коры или листьев добывались красящие вещества, как вытесывались глыбы гранита, как формовался лекальный кирпич.

Мусин-Пушкин готов был втайне признаться, что этот человек начинает очаровывать его, забываешь разницу положений, обязательность вражды, войну...

Александр Сергеевич очень осторожен сегодня, как человек, не любивший англичан, он тщательно старался это скрыть, был очень сдержан и корректен и произвел прекрасное впечатление на сэра Джона. Еще дядя его, известный Мусин-Пушкин, говорил когда-то, что бывают натуры, для которых самые приятные собеседования с теми, кого они не любят.

Боуринг увидел, как приличен и воспитан старший товарищ Сибирцева, как держится скромно. Принимая все это за чистую монету, сэр Джон стал радушной и откровенней.

Переменяли скатерти, переменялась и посуда. И опять дали что-то легкое, свежее, вкусное и еще фрукты.

Вечер затягивался. Пэр и вельможа не выказывал ни высокомерия, ни чопорности.

Боуринг заговорил про Петербург. Помянул дружбу с Державиным, Жуковским, Крыловым, особенно с Карамзиным... Сэр Джон говорил про них так же основательно и подробно, как о сямских храмах, изучал, видно, и не на шутку интересовался. Александр Сергеевич и Алексей Николаевич готовы были рот раскрыть от удивления, кое-что слышали о своих собственных великих писателях впервые. Много нового, верного, все подмечено. Что мы знаем про классиков? Они для нас как иконы. А тут оживали в рассказах иностранца. Казалось, прекрасный оратор читал лекцию об их родной России.

Энн слушала с холодной гордостью за своего отца.

Боуринг заговорил по-русски:

— «Не кукуй, моя кукушечка... Мое сердце не тревожь...» — эта народная песня переведена мной!

Сэр Джон прочитал ее на английском. Потом декламировал Батюшкова, Языкова и Вяземского на память по-русски.

— Жуковский и Карамзин! Я говорил с ними только по-русски... Мы расстались друзьями!

«Нельзя сказать, но ни тайная полиция, ни патриотические чиновники Петербурга ни тогда, ни теперь не объявляли Жуковского, Державина, Батюшкова, Карамзина — близких знакомцев молодого Боуринга — английскими шпионами, предателями родины! Тогда еще до этого не додумались!»

Сэр Джон отдыхал от китайских дел, от книги о Сиаме, от неприятных известий о войне в Крыму. Воспоминания о Петербурге были воспоминаниями о молодости...

Энн наблюдала за отцом. Смолоду он был красив светлой английской красотой. Он и сейчас еще хорош. Седина и годы не угасили его живости, а лишь ярче и четче стало его сильное лицо. Начитанный, влюбленный в науку и твердо следующий ее указаниям во всем, обладающий ясным умом и обширными познаниями, изучивший полтора десятка языков, когда-то любимый красивой женой, отец красивых детей. Профилем он напоминает чеканку на почетных медалях.

С годами стал суше, молитва и науки по-прежнему владели им. Он мог быть требователен, а иногда резок. И как миссионер пола-

гал, что все народы заслуживают заботы, милосердия, участия. Не холодного участия, а искреннего участия сердца. Во имя этих убеждений сэр Джон мог быть строг и беспощаден.

Отец — ученый, но с пылкостью и способностью увлекаться, какие свойственны художественным талантам, поэтому когда он заканчивал работу над темой, терял к ней интерес и даже забывал то, во что когда-то так глубоко погружался. Но он не забывал совсем ничего и никогда. И вот вдруг из каких-то далеких кладовых он подымал драгоценные сокровища мыслей и наблюдений.

Боуринг знал, что понимание с русскими возможно. Поэтому он просил Энн не приглашать барона Шиллинга, хотя тот, может быть, в самом деле правильное всех знал язык.

Без умелых и дисциплинированных немцев старое русское правительство как без рук. Бароны приобрели привилегию представлять империю в Европе. В Петербурге они горячие патриоты, принимают иностранцев и, обучая их восторгаться всем русским, подают им новую страну как бы из первых рук. Боуринг, тогда еще молодой человек, прекрасно понял это именно потому, что был молод. Надежды царя и правительства на ландскнехтов — признак деспотии, от которой сами русские терпят, хотя все делается их именем.

...Александр Сергеевич ответил, что в роду Мусиных-Пушкиных один из его родственников знаменит тем, что нашел древний список поэмы неизвестного автора «Слово о полку Игореве» и перевел ее с древнеславянского.

«Игоря, а не Георга!» — все становилось ясно.

...С каким вдохновением Мусин-Пушкин в детстве учил:

Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки...

Боурингу это, наверно, и непонятно и далёко, чуждо, враждебно; он там, где, «сыны любимые победы, сквозь огонь окопов рвутся шведы...». Да он не в России живет, с него нет и вопроса... Никто же не глумится из нас над Нельсоновой колонной!

Но почему же нам стыдиться строк, любимых всю жизнь:

Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!

Мусин-Пушкин и сейчас готов выхватить шпагу, командовать, кидаться на штурм, на abordаж... Только предатели России, окруженной врагами, могут стараться забыть эти стихи.

— Скажите, господин Пушкин, что бы вы посоветовали мне из произведений русского поэта Пушкина перевести на английский? — спросил сэр Джон.

Невозможно было более польстить Александру Сергеевичу. Явно Боуринг считал его и родственником и знатоком великого поэта. Пушкин сам уверен в своих родственных связях с поэтом Александром Сергеевичем.

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том...

Под конец вечера поговорили про жизнь в Японии. Сибирцев, выдавший на верховой прогулке собственную ферму сэра Джона, помянул, что для адмирала Путятин и офицеров в Японии наши матросы раздоили нескольких коров, ухаживали за ними и даже научили японцев пить молоко. Боуринг добродушно расхохотался.

Потом он как бы опять превратился в делового человека и губернатора и сказал, что охотно взял бы на работу двух «молочных людей».

Пушкин подтвердил, что согласен отпустить матросов, работа сохранит им силы. Сказал, что несколько человек уже работают в механическом заведении у Купера на доках.

Прощаясь, Энн обхватила пальцами и пожала руку Алексея...

— Почему он только китайцев так не любит? — спросил задумчиво Пушкин, возвращаясь в отель.

— Как вы заметили?

Пушкин не ответил. Он совсем ушел в себя.

«А вам-то что! — хотел бы сказать Алеша. — Какое дело, кто кого любит или не любит? Зачем мы нос суем куда не надо?.. Без нас разберутся: не рой другому яму!»

Но ничего не сказали друг другу и пришли домой дружно, по-приятельски.

В гостиничном номере никого не было. Барон сегодня на «Монархе» с матросами. Гошкевич опять у Джордина.

Осип Антонович появился поздно, расстроенный чем-то. Слышно было, что его привезли, экипаж подъезжал.

Джордин уламывает перейти после войны на службу. Нужен ему человек, побывавший в Пекине, обещает столько же, как у нас Путятин получает.

А матросов сманивают в Австралию... А сами мы знаем одно: приказ свыше! крутись по ветру!

...Джордин долго беседовал с Осипом Антоновичем.

Сидели в библиотеке, положив ноги на низкий столик по-американски. Дом у Джордина, как дворец венецианского дожа: чего только нет, каких диковин из Китая, Сиамы, Индии. Статуи, вазы, ковры, вышивки жемчугом, цветы, видно, такая роскошь свойственна старым колониальным семьям. При этом, по китайскому выражению, и у него в доме «пахнет книгами»...

(Окончание следует)

КАРЕН ДЖАНГИРОВ

* * *

И на память мою как на лист пожелтевшей бумаги
опускается осень, такая неведомо ранняя,
дует северный ветер, качая холодные трубы,
лает пес-забудыга, мяукает жалобно кошка,
неуклюжий шарманщик играет шарманкой расстроенной,
дворник листья сметает — зеленые, красные, всякие,
ну а если к тому же закапает дождик серебряный,
то тогда вы прочтете как тайну чужую и странную,
как ненужную истину грустное слово — Е л е н а.

Весна

Сперва только шорох, шуршание, шелест,
затем уже явно очерченный шум,
потом прорезается первый росточек
и растет, превращаясь в большое растение,
на конце его сочном упругая чашечка —
будто красный фонарик, раскачанный ветром,
в ожидании солнца, и восходит солнце,
зажигая фонарик лучами, как спичками,
а затем и другие, и вот уже поле
усыпано ало горящими маками
и ужасно похоже на летящую в небо
непомерно огромную божью коровку,
по которой бежит, спотыкаясь и радуясь,
по которой бежит, натываясь на радугу,
волоча на веревочке что-то звонкое,
что-то страшно знакомое и желанное,
прародитель в пространстве всего цветущего,
это Клод Моне, а за ним весна!

* * *

Черноухая собака бегаёт по улице.
Золотоволосая девушка переходит дорогу.
На лице её солнце, а в руках незабудки.
Маленький мальчик грызёт яблоко.
Пожилой горбун смеётся и плачет.
Какая-то женщина катит коляску.
И всё это время идёт дождь.
А всё это время идёт дождь.

Но если вы хотите, я открою вам маленький секрет.
Подойдите поближе.
Ближе.
Ещё ближе.
Нагнитесь.
Вы думаете, это дождь?
Ошибаетесь.
Это не дождь.
Это совсем не дождь.
Это ни капельки, это ни чуточки не дождь.
Шепотом: а что это?
Шепотом: М о ц а р т.

НИКОЛАЙ ДОБРЮХА

Природа

Ваш мозг устал от событий...
Уже начинает ворочаться
еще неосознанный
честный
младенец — крик.

Идеи, витавшие в воздухе времени,
вы черепами улавливали, как дети
удивительных бабочек ловят сачком.

С Солнца идет дождь лучей
на космические нивы.
На них цветет
единственная космическая незабудка —
Земля по имени,
в единственном экземпляре нам подаренная
на праздники и на будни.
Превращенная нами в дом и
в научно-исследовательскую станцию,
кружится в вальсе Вселенной Земля —
в еще неразгаданном танце.

Фетовская птица, соловей, не поет, заикается —
в лунную ночь у нее отказала печень,
вместо песни — икота:
отравлен воздух!

Крот уже норы не роет —
крот на дерево лезет:
отравлена земля!

Рыбы мечтают о легких —
плохо дышать под водой:
отравлена вода!

Заяц в пень стучит, как в барабан,
бьет тревогу:
«Берегите природу!» —
отравлен лес!

Флора и фауна маются.
Кто же обществу станет дарить детей,
если вымрут любимцы людей —
августейшие аисты:
отравлено небо!

В критическом состоянии
тяжело больная планета.



«ХУДОЖНИК, ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ И ЗОРКИЙ»

К 90-летию со дня рождения К. А. Федина

Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат А. М. Горькому. Так он писал о Константине Федине в письме 1926 года. Сегодня, в день юбилея писателя, мы можем еще раз подивиться, насколько точной была эта горьковская оценка. Творческое наследие Федина, объемное и многожанровое, впечатляет разнообразием и богатством.

В Константине Александровиче Федине новая действительность нашла своего достойного летописца. «...хотел показать характер эпохи и стремился сделать это правдиво», — скажет писатель после выхода своего первого романа. Этому стремлению он остался верен навсегда. Романы «Города и годы», «Братья», «Похищение Европы», «Санаторий Арктур», повесть «Трансвааль», деревенские рассказы 20-х годов и рассказы о Великой Отечественной войне — результат большой аналитической работы художника, и в то же время вещи эти несут в себе яркую выразительность непосредственных авторских впечатлений. Динамичная и противоречивая жизнь смело заявляла о себе в его искусстве, волновала тех, кто сам был частицей этой жизни.

Советский исторический роман как таковой, исторический роман о недавнем прошлом (революция и гражданская война) нельзя представить без трилогии К. Федина «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер».

Почему роман стал центральным жанром советской литературы? — размышлял в свое время писатель и отвечал: «...потому, что революция требует широких обобщений, требует развернутых картин действительности, требует осмысления нашей истории, нашего героического настоящего, требует больших прогнозов». Ясное историческое зрение, исконно присущее этому художнику, воплотилось в трилогии органично и полно. В своей трилогии писатель сознательно опирается на предшественников, прежде всего на Льва Толстого. Но Федину интересны и традиции Гоголя, Тургенева, Достоевского...

Усвоение предшествующего опыта сопровождалось теоретическим осмыслением. Федин был тонким критиком литературы, теоретиком современного искусства. Его размышления о своем ремесле, о великих произведениях прошлого, воспоминания о писателях и деятелях культуры сконцентрированы в книге «Писатель, искусство, время». Федину принадлежат поистине замечательные слова: «Искусство писателя, посвящаемое жизни, — неотделимая составная часть культуры каждого народа, культуры человечества. Передавать поколениям опыт человеческой истории, запечатлевать его образными средствами художника, будь он поэтом, романистом, драматургом, — в этом долг писательского призвания и высочайшая обязанность литературы».

В яркой и человечески богатой личности Федина природный артистизм сочетался с исключительной требовательностью к своей работе. Для Федина осталось навсегда близким приветствие, принятое среди друзей его молодости: «Здравствуй, брат, писать очень трудно». Художник не раз говорил, что стихия творца — вечный непокой; удовлетворенность, успокоенность несовместимы с творчеством.

И в 20-е и в 30-е годы Федин много сил отдавал активной литературно-общественной деятельности: он был одним из руководителей «Издательства писателей в Ленинграде», участвовал в организации «Библиотеки поэта», был сотрудником редакций «История фабрик и заводов» и «История гражданской войны». В 50—70-е годы Федин стоял во главе всесоюзной писательской организации. Сегодня, когда жизненный и творческий путь художника предстал перед нами во всей своей протяженности, с особой очевидностью мы обнаруживаем открытость этого писателя правде, человеку. «Никогда он не суживал мира, никогда он не боялся приблизиться к человеку для того, чтобы увидеть великое и вечное там, где его увидеть не ждешь», — писал о нем В. Шкловский.

В 1923—1926 годах, «увязнув с потрохами в деревне» (слова Федина), писатель создает один за другим рассказы «Тишина», «Пастух» («Мужики»), «Утрос в Вяжном», повесть «Трансвааль».

Середина 20-х годов вообще отмечена исключительным вниманием советских писателей к деревне: «Деревней дышит сейчас наша литература не меньше, пожалуй, чем во времена Некрасова, Успенского, Златовратского», — отмечалось в прессе («Новый мир», 1926, № 9). Более всего на эту тему печатается рассказов, к примеру цикла «Тайное тайных» Вс. Иванова, «Необыкновенные рассказы о мужиках» Л. Леонова.

В фединском цикле «Трансвааль» — центральное произведение. «Захудалый и несчастный мужичонка из деревни Вититнево, — вспоминал Федин позднее, — переживая со мной дождь в лесу, около «самогонного завода», с упоением рассказывал мне некоторые воспитательные приключения «из жизни бедного мельника Сваакера». После этого я начал пристально расспрашивать в деревнях о «Трансваале» и, ни разу не повидав «бедного мельника», написал повесть о характере, соединившем в себе черты Фомы Опискина и Квазимодо».

То обстоятельство, что о прототипе было сказано, проявилось в характере воссозданного образа. Он был представлен не в своем реальном измерении, а в субъективном восприятии мужиков.

Сваакер в «Трансваале» — образ фантастический, рожденный воображением мужиков, потрясенных неожиданным появлением в глубинном уезде любопытного чужака. К. Федин, вглядываясь в крестьянский мир, обратил внимание на характерное для мужиков «ожидание сказки, родом своим вышедшей из лесной глуши и манившей человека назад в глушь [...] Среди хуторских чаяний возникали дикие, почти величественные уродства, пройти мимо них не мог ни один художник, и повестью «Трансвааль» я отдал им должное в своей книге о деревне».

Мельник, а затем и владелец предприятия по производству мельничных жерновов, Сваакер в изображении Федина уродливо жесток и лицемерен. «Свят, свят, будто просвира, а поди укуси его — он каменный!» — размышляли мужики. Негодяй — так определяет героя сам Федин в письме Горькому. Но Сваакер не просто реальный человек, а и герой сказки-мифа. «...множество человеческих чаяний скрестились на этом невнятном имени». В характеристике Сваакера реальные пропорции смещаются, на первый план выдвигается его непохожесть на мужиков, необычность (вставной глаз, искусственные челюсти, тоненький голос, такой странный у этого грузного человека). Жизнь его «непонятная, почти таинственная», поступки в представлении крестьян отмечены «неожиданным сплетением озорства с загадочностью».

Подлинное социальное лицо Сваакера обнаруживается в его беседах с женой Надеждой Ивановной: не мифический чудак, но и не примитивный кулак, думающий лишь о накопительстве; планы Сваакера широки, внутренняя капиталистическая колонизация деревни, которую он начинает осуществлять, пока не встречает ни у кого сопротивления. Словами его жены: «Мне кажется, Вильям, ты можешь все...» — и заканчивается повесть.

Вскоре после публикации «Трансваала» имя Сваакер становится нарицательным. Журналист Е. Ермилов в очерке «Ласковый враг (Свекор и Сваакер)» («Октябрь», 1929, № 3) описал свою встречу с Сааренком, послужившим прототипом Федину. Корреспондент «Комсомольской правды» обратился к читателям со взволнованным призывом: «Сильнее огонь по кулаку!» Он звучал как вывод из

корреспонденции «Саарек «любит социализм». Кулак в новой личине». В статье «Сваакеры из Палласовки, или Как кулаки врастают в социализм» («Поволжская правда», 1929) корреспондент рассказал о двух кулаках новой формации — Кербсе и Веймаре, «отечественных сваакерах». «Увы, сваакеры существуют не только в художественной литературе», — заключала газета. Почерпнутый из жизни образ вставал вровень с героями жизни.

В 1930 году К. Федин писал: «...то, что произошло вокруг повести, дальнейшая эпопея «бедного мельника», его удивительная судьба в настоящем и многое прочее — заслуживает особого описания, которое я непременно сделаю во второй повести под названием «Конец «Трансвааля». Чудесные рассказы об этом здравствующем человеке продолжают поступать ко мне, и такой метод работы мне по-настоящему нравится».

О предполагаемом содержании «Конца «Трансвааля» известно из предисловия к книге К. Фебина «Повести и рассказы» (М. 1936). Критик А. Селивановский излагал это содержание со слов самого Фебина:

«В годы сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса наш герой, Юлиус Саарек, он же Вильям Сваакер, не сдался без боя. Его сопротивление было особенно упорным и систематическим. Но он и здесь не прибегнул к обрзу. Загнанный и окруженный, как волк в зимней степи, он и здесь не изменил своей тактике дальнего прицела при использовании всех форм советской легальности. Упреждая события, он сам преждевременно и провокационно поставил вопрос о своем раскулачивании — для того, чтобы добиться вмешательства власти в свою защиту и застраховать себя на долгое время. Так или иначе мельница и производство мельничных жерновов Саарена еще высились как последний кулацкий остров уже в то время, как по всей области кулачество было ликвидировано. Так тема Сваакера становится темой гибели последнего кулака».

Материалы архива К. Фебина свидетельствуют о том, что все 30-е годы он готовился к работе над «Концом «Трансвааля»: первые заметки датированы 1930 годом, последние — непосредственные заготовки для текста первой главы повести -- 1940-м. «Конец «Трансвааля» не был тогда дописан вернее всего потому, что писатель полностью отдался работе над романом «Санаторий Арктур» (1940). Вскоре разразилась война, а потом три десятилетия у Фебина ушло на трилогию. Тем не менее известно, что до конца жизни писатель не оставял намерения вернуться к повествованию о Сваакере и дописать его...

В первой главе повести «Конец «Трансвааля», предлагаемой читателю, показан Сваакер на вершине успеха. Приглашение на сельскохозяйственную выставку — первый шаг к завоеванию позиций в губернии. Растерянность посещает Сваакера, казалось бы, неожиданно: удар в спину — так воспринимает он книгу о «мерзавце», в котором узнает себя. Появление книги — симптом будущего конца «Трансвааля».

Автор не дописал самое окончание главы. О завершающих ее страницах можно судить по архивной черновой записи:

«Св<аакер> дома. Разговор с Н. (женой.— Е. К.)... Зачем ему понадобилось писать книгу? Мож<ет> б<ыть>, ему нужны были деньги? Я бы дал ему... Зачем, Надин? Твой отец ведь тоже сочинял книги. Мо<жет> б<ыть>, ты мне скажешь? Если это обо мне. Ты как думаешь, обо мне?

Она молчит».

Е. Краснощекова.

ЭТА КНИГА
СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ПОВЕСТЕЙ.

Первая была написана в 1925—26 годах, вторая — в 1940—41-м. Каждая из них может быть прочитана отдельно, но вторая является продолжением первой и завершает ее.

*Книга
посвящается
писателю, путешественнику, охотнику
Ивану Сергеевичу
СОКОЛОВУ-МИКИТОВУ,
группе с которым я обязан как человек и писатель.*

Дача. VII—1940

КОНЕЦ «ТРАНСВААЛЯ»

1

На лесном болоте, после охотничьей облавы, крестьянам-загонщикам удалось взять живьем волчонка, и они доставили его, за четверть водки, Вильяму Сваакеру. У зверя были несуразно тяжелые лапы с припухлыми, еще мягкими пальцами, лобастая голова, неровная шерсть с нежным, щенячьим подшерстком, да и во всех повадках был он совершенным щенком — неуклюжим, пугливо-любопытным. Сваакер посадил его на веревку в сарай и назвал Римом. Первое время волчонок скулил, приводя в иступление собак, потом свыкся, умолк, собаки будто примирились с ним и только бежали прочь, поджав хвосты, когда из сарая ветер доносил волчий дух. Кормили Рима рыбой, которую мальчишки ловили норотами в пруду и науживали в буквище. Он жрал много, рос быстро и осенью (опять) стал выть. Незадолго до того как замерзнуть земле он подкопался под стенку сарая и убежал с куском веревки на шее.

Его поймали в соседней деревне за свеживаньем курицы, поколотили и привели назад, к хозяину. Это был повод выпить за здоровье Вильяма Иваныча, но как только он раскошелился, крестьяне завели иной разговор и потребовали убить волка.

— Нынче ему кура попалась, завтра он скотину зарежет. На цепи его не удержишь.

— Я хотел делать пушной ковер для мой милый жена, Надежда Ивановна,— сказал Сваакер.

— Ковер и так выйдет пушист. Кончай зверя: волк мужику не компания.

Сваакер помял Риму затылок, спокойно ответил:

— Хорошо, я буду его убить. Отдавайте мой чаевой назад.

— Э-э, ловок Свёкор,— засмеялись мужики,— что с возу упало — слышал?

— Хорошо,— покладисто сказал он,— оставляйте у себя мой чаевой, я оставлял у себя мой волчок.

Он намотал веревку на руку и потянул Рима за собою. Почему-то ему пришло на ум старое поверье, что волка нельзя убить в лоб. Он приостановился, внимательно оглядывая зверя. Череп Рима стал огромным, короткие уши сидели широко, будто насильно раздвинутые, шея укоротилась, потолстела, лапы были по-прежнему велики, но стали легкими, прямыми, и гибкая складность всего тела была видна отлично, несмотря на то, что от страха перед людьми волк почти полз по земле. Он был очень хорош.

— Не надо испугаться,— приговаривал Сваакер,— мы будем с тобой еще поживать, мой маленький собачка.

Притащив Рима на погребницу и крепко держа его одной рукой, он другой поднял тяжелую крышку погреба и на секунду задумался. Вдруг, внезапным ударом коленки, он столкнул волка в темную яму. Прислушиваясь к отчаянному метанию зверя среди кадок и бочат погреба, Сваакер сочувственно тряс головой.

— Рим,— звал он, нагибаясь.— Рим, слышишь? Терпи немного, дружок, там, около капуста и соленый огурчик. Я буду копать тебе большой яма, и ты не будешь убежать!

Он вытащил из погреба лестницу, отставил ее в сторону, запер дверь и пошел домой, вполне довольный тем, что даровал волку жизнь.

Все последнее время Вильям Иваныч Сваакер был вообще доволен собой, часто испытывая умильные приступы великодушия. Успех не изменял ему, дела шли бойко, слава ширилась. Иногда, в разгар трудов, он точно спохватывался и приходил в себя. Такой миг заставлял его где-нибудь в углу двора. Он смахивал с головы свой картузик-ермолку, обтирал лысину и, чуть-чуть приклонив голову к плечу, внимал рабочему шуму своего хозяйства: трещали кремнедробилки, отфыркивалось каскадами водяное колесо, содрогало воздух динамо, крестьяне переругивались, нагружая скрипучие телеги готовыми жерновами, где-то тоненько постукивала пишущая машинка, а вдалеке, над плотиной, волновались под чистым небом, словно все одобряя, мягкие, перистые ветлы.

Нет, нельзя было долго стоять, отдаваясь любованию этим деятельным шумом, нельзя было терять даже короткие минуты — слишком влекло удовольствие работы и будоражащее чувство, что все идет впрок, чего ни начнешь делать. Подпрыгнув по-козлиному, Сваакер так взвизгивал своим тенорком, что всякий, кто случался на дворе, с усмешкой разыскивал его глазами: эх взыгрался чертушко! Видно, от червонцев треснул карман!

Сваакер любил держать всему счет в голове да в кармане, но со временем пришлось нанять в контору двух барышень: они вели книги, переписку с заказчиками, расчеты с крестьянами и всегда ревновали Сваакера друг к другу, потому что он ни на одной из них подолгу не останавливал своей благосклонности.

Когда во взгляде Надежды Ивановны он видел укор или усталость, он говорил:

— Ты скучаешь, мой милый Надин, в этот проклятый деревня! У тебя нет интересный знакомый мужчин, ты имеешь зависть на мой маленький шалость и шутка. Надо дожидаться еще один годик, Надин, тогда твой Вильям будет открывать большой дело в город, ты получишь интересный знакомство. Разве твой Вильям бросил слов на воздух, Надин? Сейчас я сельский деятель, еще немножко терпеть — и я стал городской деятель. Это так.

Он прикрывал мутный живой глаз, а стеклянный как будто глядел с зеркальным бесстрашием на все свершенное Вильямом Иванычем в деревенских податливых просторах и отражал славные дела: вот прибавается на мельницу новая вывеска с позолоченными буквами — «Трансвааль-жернов», вот празднуется открытие сельского кредитно-хозяйственного товарищества, и Сваакера чествуют как главного учредителя, вот привозят из города отпечатанные в типографии бланки для писем — и как красиво расставлены слова:

Вильям Сваакер.

Заведение мельничных искусственных жерновов.

Дробление кремня.

Точила и точильные бруски.

А как волшебен телеграфный адрес фирмы: просто — Сваакер. И все. Кто не знает Сваакера? Одним мельникам, перебивавшим на «Трансваале», нет числа. А мужики? Далеко пошла из уст в уста молва о Свёкоре, который растит жирок да припевает. Где же предел этой молве? Разве там, где не живут мужики? Но ведь такого края без мужиков нет и, слава богу, не будет. И когда Сваакер раскрывал здоровый глаз и озирался, чтобы проверить свое воображение, он находил все на месте: горела золотцем вывеска, одолжало хуторам деньги кредитное товарищество, босоногий мальчишка таскал с почты телеграммы и адрес на них был американски краток: Сваакер.

И вот, несмотря на привычку к счастью и даже некоторое панибратство с ним, Вильям Иваныч почувствовал себя совершенно осчастливленным, нежданно-негаданно получив приглашение из губернского города — принять участие в сельскохозяйственной выставке. Надежда Ивановна никогда не видела мужа в таком беспамятстве восторга. Он прыгал, подхватывал ее на руки, кружился с нею по комнате, а потом, усадив ее в кресло и став перед ней на колени, задыхаясь, шептал почти без малого акцента:

— Надин! Сообрази: губерния! Уже губерния, Надин! Покажите ваш несравненный искусство, многоуважаемый товарищ Сваакер! Мы желаем изучить ваш секрет первоклассный производство жерновов!

И он опять плясал, и ему подпевали половицы, и за ним вздрагивал весь дом. Вечером он заставил Надин расписать припрятанную старую бутылочку сабли и музицировать и петь с ним до полночи.

Наутро он встал с рассветом и принялся за работу. Он решил показать на выставке такие образцы изделий, чтобы дали диву старики мельники и чтобы даже высокие власти поняли, какое сокровище обретается у них в губернии. Он часами следил за дроблением кремня и наждака, с лабораторной точностью отвешивал составные части наливочной смеси, отбирал чуть ли не на вкус кристаллы магnezита и почти ворожил над поисками пропорций между балластом жерновов и рабочим слоём. Он никому не хотел довериться, все делал сам и даже собственноручно оковывал жерновá железными обручами. Заходя в дом, он насилу стаскивал с себя мокрую фуфайку.

— Труд — это роскошный музик, Надин. Смотри.

Он показывал на свою рыхлую грудь, в золотых волосах которой блестели капли пота.

— Смотри, я весь усыпался в нотах. Это целый полонез!

Он скатывал пот ладонями с плеч, груди и живота так сильно, что хрустела и присвистывала кожа, и он выдыхал ровень с движениями первые такты своего любимого шопеновского полонеза:

— Гоц, та-та́, татататата-гоп, та-та́!

Ночь напролет он просидел за составлением прейскуранта. Тут было много и осмотрительно подумано не только над ценами товаров, но и над значительными, хотя с виду маленькими особенностями документа, получившего под конец такое наименование:

Прейскурант

«Трансвааль-жернов».

Размер, вес и стоимость Искусственных
Мельничных Жерновов, вырабатываемых
по иностранной науке «Московского
Типа» мастером Вильям Сваакер.

Затем он надписал над двумя рубриками: диаметр в аршинах, толщина в вершках. Но размыслив, он вычеркнул предлог и оставил просто: аршинах, вершках. Это сразу придавало делу иностранный оттенок и показывало, что предприниматели не идут ни в какое сравнение с Вильямом Иванычем по части экономности слова. Он, впрочем, выстроил в прейскуранте на равных правах с аршинами милли-

метры и с пудами килограммы, рассчитывая как на ревнителей русской старины, так и на тех, кто к ней относится с похвальной нетерпимостью.

Далее излагались условия продажи, и прейскурант заканчивался гарантией:

В случае купленные жернова окажутся плохими в работе в течение трех месяцев покупателю жерновов предоставляю право возвратить жернова обратно. Я обязуюсь заменить новыми бесплатно. За провоз и утраченное время не отвечаю.

В тот год стояло засушливое лето, выставка готовилась в пыли и духоте, стук молотков возрастал лишь по вечерам, а днем люди прятались в тени фанерных нагромождений, пили теплый квас, дремали, покрывшись от мух газетами. Но для Сваакера как будто не было ни жары, ни пыли. Он раньше других окончил свой павильон, привез со станции грузы, разместил их по подготовленному плану. Самые большие жернова, расписанные рекламой, он выставил у входа в павильон, сфотографировался около них и фотографии напечатал на прейскуранте. Получилось красиво: он стоит приодевшийся, в новом пальто реглан, руки на военный манер — по швам, кепочка надо лбом вздернута и лицо, как показалось Сваакеру, вдумчиво-повелительное.

«Командиры промышленности», — подумал он.

Встретив выставочный комитет, явившийся принимать павильон «Трансваала», праздничный хозяин разрезал перед начальством ножицами красную ленту в дверях.

Главную витрину павильона украшал плакат, изображавший Меркурия в крылатом шлеме, с крыльями на щиколотках, с серпом и молотом, вместо жезла со змеями, в поднятой руке. Меркурия обвивала гирлянда ельника, а над нею висело полотнище кумача с девизом: «Всерьез и надолго».

— Это, понимаете ли, того... — сказал председатель комитета, — снять придется. — Ему хотелось, чтобы все павильоны были одинаковые.

— Лозунг? — спросил Сваакер, наклоняясь к председателю, слов но не расслышав. — Лозунг наш революционный политика?

— Политикой вам заниматься не надо. Ваше дело — показать свои товары... И этого скорохода в котелке тоже уберите.

— Меркур! — воскликнул Сваакер. — Символ промышленности!

— Министерства торговли и промышленности, — сердито сказал председатель.

— Он держит вверх наш символ труд!..

— Ничего нам такого не надо.

— И он имеет одно имя как старый патрон над наш историчный город — святой Меркур, который тоже был римлян и спасал наш милый родина от страшный нашест врага.

— Ерунда, — отмахнулся председатель.

— Вы совершенно прав, — понимающе согласился Сваакер, — вы и я, мы — новый человек, мы держим тот и тот Меркур за одинаковый язычный бог. Но наш крестьян — для него надо пропаганда, что его святой Меркур был простой идол в древний Рим, с такой крылышко на пятка и такой шапка.

— Я это запрещаю.

— Уважаемый гражданин председатель, — чуть дыша, произнес изумленный Сваакер. — Вы намерен разрушать самый сердце в мой павильон... Что я буду показать публикум, если выбросить классичный Меркур?

— Не знаю. Что угодно. Изобразите хоть свой портрет, — ухмыльнулся председатель и, взяв с витрины прейскурант, любуясь, подержал его фотографией к своим товарищам, которые все сразу засмеялись.

Сваакер был очень расстроен, но понемногу успокоился и даже повеселел, когда экспонаты были приняты и павильон получил одобрение. Член выставочного комитета Рожнов — светловолосый человек с нежно-голубым взглядом и немного навязчивой привычкой отрывисто вздергивать голову, подмигивая, — был Сваакеру приятельски знаком по уездному земельному отделу, и Вильям Иваныч пригласил его отобедать.

Они пошли в богатый трактир на базаре. Крестьянский привозной торг еще не кончился, леса воздетых к небу оглобель, скопище возов с горами пухлой зеленоватой пеньки, утыканной иглами кострыги, вороха пакли, кучи лыков и бунты мочал будто дышали заодно с лошадьми и людской толпой. Пахло лежалым сеном, и пробираться между возов было прохладно, точно идти в коноплях. Там, где возы стояли очень тесно, Сваакер и его спутник перепрыгивали через колеса, высоко поднимая свои портфели, точно переносили оружие вброд.

На дверных вывесках трактира были написаны кудрявые черноглазые половые в белых штанах и в рубахах по колена, один держал поднос с парой чаю, другой нес графинчик и селедку на тарелочке, оба были веселые, тому, который нес графинчик, кто-то подрисовал углем папироску и дым, похожий на растянутую часовую пружинку.

Трактирщик в пикейном воротничке провел гостей вперед, к эстрадке, снял со стола скатерть, щелкнул ею, вытряхивая крошки, и перевернул на другую сторону.

— Соляночка по-московски, — сказал он Вильяму Иванычу в плечо.

— А поросенка под хреном нет? — не стеснясь спросил Рожнов.

— Душный воздух не позволяет, — ответил трактирщик. — Можно запеканку из лещика, в каше.

Сваакер сказал, укладывая портфели на край стола:

— Обожаю русский народный кухонь.

Все втроем они долго составляли меню обеда. Рожнов интересовался разницей между наливкой и настойкой, и Сваакер понял, что он хочет изучить разницу на опыте. Потом на столе сделалось тесно, портфели переложили на стул, и Рожнов начал протягивать через тарелки руку для пожатия и все сильнее дергать головой.

— У нас в уезде, — говорил он, подмигивая, — про тебя считают, что ты к нам придешь. Кривой, кривой, а видишь ты далеко!

— Люблю простой народ, — отвечал Сваакер, — я сам из простой народ.

На эстрадке явился слепой баянист с певицей. Он играл, вытянув кадыкастую шею, и молочные бельма крутились в его распыленных веках. Певица была темно-русая, стриженная, в белом полотняном платье, похожем на рубаху, и стояла, как половые на вывесках. Голосом острым, отчаянным, каким кричат караул, она пела, и трактир смотрел на нее затихнув:

В городе Кузнецке — гостиница «Китай».
Кричу половому: полбутылки дай!
Дайте мне пива, дайте мне вина,
Дайте мне милого, в которого влюблена!

— Русский песенка. Я тоже пою много русский песенка, — говорил Сваакер.

— Даром что сам не русский, — с усилием подмигивал Рожнов. — Ты что никогда не скажешь, кто ты родом, а? Откуда ты взялся, а?

— Это вопрос национальный. У наш великий страна никакой национальный вопрос нет!

— Не хочешь сказать? Не хочешь сказать!

— Слушай, ты лучше говори твой товарищ председатель, чтобы он разрешал делать в мой павильон большой серп-молот. Я страдал на революция, я основал культурный дело на весь наш народ.

— Ты хитрый, ч-черт,— уже клевал носом Рожнов.

— Культур,— говорил Сваакер,— культур есть крепкий ось, на который советский власть будет насадить главный жернов.

— А-а, ты! Ты своей башкой финтишь-винтишь...

Отобедав, они насилу выудили из-под стола ускользнувшие на пол портфели и когда расстались с трактиром, базар уже опустел, и они шагали напрямик по свежему крупчатому навозу, держа друг за друга.

Придя домой, в номер, Сваакер обнаружил, что обменялся с приятелем портфелями. Он тотчас подробно перебрал в уме содержимое своего портфеля: там лежали кое-какие банковские документы,— и чтобы проверить, не чудится ли ему, что перед ним чужой портфель, Сваакер открыл его. Самое беглое прикосновение к какому-то шелковому шарфику, к каким-то тетрадам бумаги убедило его, что все было незнакомо, и он опять стал вспоминать, не находилось ли в его портфеле что-нибудь особенно важное. Вдруг с полувзгляда он прочитал надпись: «Трансвааль». Не сразу поняв, откуда она взялась, он вновь вытянул наружу почти спрятанную начинку портфеля и тогда увидел, что вместе с шарфиком и бумагой держит книжку, на которой четко стоит печатная строка — «Трансвааль».

Сваакер лизнул палец, перелистал две-три странички, различил слово «мельница». У него заслезился глаз, он присел на стул. Кажется, в книжке речь шла о каком-то другом, неизвестном «Трансваале», но у Сваакера совершенно прошел хмель и он заподозрил, что, наверно, Рожнов неспроста подмигивал в трактире. Он хотел как следует вчитаться, но забеспокоился о своем портфеле еще больше и бросился к двери: Рожнов жил с ним в одной гостинице. Сваакер встретил его в коридоре — тоже протрезвевший, Рожнов нес его портфель, и они, перешучиваясь, произвели обмен.

Засыпая, Сваакер думал о неожиданном появлении книжки с названием, которое привык считать своей собственностью, и, не находя никакого объяснения этой странности, додумался, что, пожалуй, печатается какой-нибудь путеводитель по выставке и будет очень любопытно прочитать, что там такое напишут о «Трансваале». Но хмель был тяжел и утро не принесло спокойствия: все время Вильяму Иванычу докучала мысль о чужом портфеле — что-то там находилось неладное, в том портфеле.

Выставить в павильоне серп и молот Вильяму Иванычу не разрешили под тем предлогом, что государственным гербом не могут пользоваться частные лица. Сваакер воздвиг тогда на месте Меркурия фанерный молот, обтянул его красной материей и по сторонам выложил из ельника буквы Т.-Ж.— «Трансвааль-жернов».

Павильон был окончательно готов, а выставка открывалась только на другой день. Сваакер чувствовал себя приподнято, но неприятная озабоченность не проходила, а может быть, все еще давал себя знать вчерашний обед, так что Вильям Иваныч решил, что бутылка легкого вина должна привести все в порядок. Он отправился в центр города на маленьком скрипучем трамвае, и когда вылез из вагона и перешел площадь, вымощенную зеленоватыми, в жилах, как капустные кочаны, булыжниками, очутился перед окном книжного магазина.

Словно нарочно подsunутая, глядела на Сваакера из окна та самая книжка, которую он держал вчера в руках, и, вытянув шею, он всмотрелся по отдельности в каждую букву ее названия: не было никаких сомнений, из букв получалось слово «Трансвааль».

Он зашел в магазин. Книжка стоила копейки, продавец равнодушно выковырнул ее пальцем с полки и подал незавернутую.

На улице, оглядевшись, Сваакер увидел бульварчик из молодых запыленных тополей. И опять пошел через площадь, ломая на бу-

лыжниках ноги. Он выбрал скамейку поодаль от детей, игравших на песке в каравайчики, и раскрыл книжку.

Никогда прежде он не читал с таким интересом, захватившим его чувства и заставившим позабыть все, кроме необыкновенно значительных, но как будто даже не вполне знакомых слов, из которых составлялись маленькие страницы книги. В ней рассказывалась история одного человека, которая чем-то грубо напоминала давно пережитое Вильямом Иванычем и в то же время была ему неприятно чужда. Чем дальше читал Сваакер, тем больше его отталкивала эта история и тем возмутительнее казалось сходство между ним и каким-то уродом, гримасничавшим в книге. Сваакер читал с утяжеленным дыханием, и мысль, все время отрицавшая себя, не выходила из его головы. «Это про меня,— решил он, и тотчас все в нем протестовало: — Нет, это не про меня!» Наконец он проглотил всю историю, как проглатывают тошнотворную микстуру в надежде, что она подействует и что ее больше никогда не доведется пить, сунул книжонку в карман и задумался, облокотившись на колени, глядя в землю.

Своя судьба представлялась ему удачливой, но трудной. Он вспомнил препятствия, которые ему пришлось одолеть. Они громоздились на его пути крутой горю. Он взял эту гору не легко. Он работал до пота, до мозолей, и то, чем он сейчас владел, было наградой, все еще недостаточной наградой за его работу. Он работу уважал, он работу ценил. А в книжке он ничего не прочитал о работе. В книжке про него писалось... Да нет же! Откуда он взял, что там писалось про него? Это была сущая выдумка, сказка о каком-то ловкаче без рода, без племени, сколотившем недурной капиталаец на проделках с мельницей в захудалой лесной округе. Мельница называлась «Трансваалем». Но ведь и мельница Сваакера называлась «Трансваалем». Правда, у Сваакера давно не было мельницы. У него было заведение мельничных жерновов. Но оно тоже называлось «Трансваалем». Вся беда была в названии. Если бы не название, никто не догадался бы, что в книжке рассказано про Сваакера. Да нет же, нет! Книжка не имела никакого отношения к Сваакеру! «Точка»,— сказал себе Вильям Иваныч и, распрямившись, поднял взгляд.

Девочка лет трех бежала к его скамейке, догоняя маленький ярко раскрашенный мячик. Мячик подкатился к самым ногам Вильяма Иваныча, но он не заметил его. Девочка остановилась в трех шагах от большого неподвижного человека. Она смотрела на него серьезно. Было тихо, топольки не шевелились, точно дорожа пылью на своей бедной листве. Вдалеке, на самом конце площади, как будто от испуга, зазвонил трамвай. Девочка попятилась, подняла к щекам руки и вдруг горько и громко заплакала. Вильям Иваныч увидел ее, вскочил, потерял себе уши, пошел прочь с бульвара.

Он решил идти домой пешком, чтобы как следует подумать о приключившейся с ним неприятности. Он снова шагал по неудобным каменным кочанам мостовой, поскальзываясь и отступаясь. Ему захотелось поговорить с кем-нибудь, он понял, что — совсем один в городе и, наверно, один во всем свете и что, пожалуй, только жене мог бы он сейчас довериться, хотя посвящал ее не во все свои дела.

В этот момент его окликнули. Рожнов махал ему портфелем с извозчицъей пролетки, улыбался и кричал:

— На выставку? На выставку?

Он ехал с каким-то толстяком, поддерживая его за талию, воткнув пальцы за матерчатый поясok измятой холщовой блузы. Сваакер снял кепку и тоже помахал в ответ. Рожнов потянулся к уху толстяка и начал говорить что-то веселое, смеясь. Очевидно, он говорил о книжонке, спрятанной у него в портфеле. Вильям Иваныч почувствовал приступ неприязни к этим людям и сердито провожал их взглядом, пока извозчик не исчез.

К вечеру ему стало ясно, что он не может думать ни о чем, кро-

ме книжонки. Впервые за всю жизнь он не владел головой и, неожиданно признавшись, что не может обойтись без умного советчика, тотчас вспомнил единственного и несомненного человека, который мог бы ему помочь.

Это был адвокат Ермоген Платонович Пудовочкин, из прежних ходатаев по делам, человек без ценза, но изворотливого ума и необычайно легкой руки в делах. Сваакеру доводилось обращаться к нему по неверным гражданским тяжбам, и всякий раз Пудовочкин дела выигрывал. Каждый из них на людях отзывался о другом с уважением.

Сваакер не застал Пудовочкина дома. Супруга сказала, что он ушел ко всенощной, и посоветовала пойти ему навстречу.

Уже совсем потемнело, улицы притихли, только кое-где кричали заигравшиеся дети или вдруг концертом вспыхивала вечерняя грызня собак. Прохожих нельзя было сразу распознать — они все сделались одинаковыми. Но недалеко от церкви, когда начали появляться приземистые старушки, Вильям Иваныч увидел и сразу узнал Пудовочкина — по его немалому росту, по сутуловатости и странно-прытким узеньким шагам.

Ермоген Платоныч был не очень доволен, что его беспокоят под воскресенье, но понемногу заинтересовался рассказом Вильяма Иваныча. Дома он попросил показать взволновавшую Сваакера книжку и, усаживаясь в кресло за письменный стол, аккуратно расправил ее смятые уголки. Он был вообще аккуратен и все ощупывал белой рукой по очереди многочисленные предметы на столе, будто желая убедиться, что они существуют и находятся на отведенных им местах. Белизна изящной руки была удивительна рядом с грубовато-красным лицом Ермогена Платоныча.

— Значит, вы полагаете, что возможно принять описанную здесь персону за вас? — спросил Пудовочкин, потрогав пальцем книжку.

— Я хотел, чтобы вы для меня решал — возможно или невозможно? — сказал Вильям Иваныч.

— По сходству названий книжки с вашим предприятием?

— Это один вопрос, — ответил Сваакер.

— Или же по сходству описанного здесь героя с вашей личностью? — дознавался Пудовочкин.

— Тут никакой герой, тут — мерзавец.

— Я понимаю, — улыбнулся Пудовочкин. — Мерзавцы, описанные в книгах, имеют то предпочтение перед прочими мерзавцами, что их называют героями. Давайте в данном случае не отступим от обычая, дабы удобно сформулировать вопрос: вы полагаете, что описанный здесь герой может быть принят за вас по его сходству с вами?

— Да, это второй вопрос.

— Вы желаете получить совет?

— Да.

— Тогда мне надо будет внимательнейше почитать, — сказал Пудовочкин, мягко кладя руку на книжку, — внимательнейше!

— Пожалуйста.

— Это будет стоить пять червонцев, — сказал Пудовочкин.

— Читать книжку? — спросил Сваакер приглушим от сипоты голосом.

— Прочитать книжку и дать совет.

— Пожалуйста, — согласился Вильям Иваныч, откашливаясь.

— Деньги сейчас, — просто сказал Пудовочкин.

— Ага...

Сваакер вынул бумажник и, привстав, обслонявил и положил на свободное от предметов место пять белых банкнот по червонцу.

Пудовочкин как будто не заметил деньги. Он позевнул и поднял взгляд к потолку. Затем взял канцелярские ножницы и самыми кон-

чиками приподнял с чернильницы бронзовую крышечку, позвякала ею, задумчиво прислушался к чистому звону.

— Да, нынешняя жизнь загадывает загадки,— выговорил он словно одобрительно и навел глаза на Сваакера.— Скажут тебе: вон лежит куча денег, возьми сколько унесешь, только дай совет. И, знаете, словечка не придумаешь, а поглядишь, поглядишь на золото да и махнешь рукой — бог с ними, с деньгами.

Пудовочкин оставил крышечку в покое, выдвинул ящик письменного стола, положил на деньги руку, не глядя ласково смахнул бумажки в ящик и мягко задвинул его животом.

— Бог с ними,— повторил он.

— Я знаю, вы никогда не брали деньги без результат для клиент,— сказал Сваакер немного тревожно.

— Иной раз и взял бы с удовольствием,— засмеялся Пудовочкин, опять весело звоня крышечкой по чернильнице,— но, понимаете ли, совесть не позволяет, вот ведь штука!

— Я тоже много пострадал от этот штука,— сказал Сваакер.

— Недавно какой случай,— начал Пудовочкин, устраиваясь поприятнее в кресле.— Задержался я после обедни у церкви. Выхожу, оборачиваюсь в притворе перекреститься, смотрю — передо мной старичок, бедно так одетый, с посохом. А народ уж разошелся и мы вдвоем. Я вспомнил, как будто этот старичок огарки с подсвечников собирал, и думаю, что он попросит Христа ради, а он молчит и пристально так на меня смотрит, будто хочет заглянуть мне в голову — о чем я думаю. Спросил я его, что он желает, а он в ответ: я, говорит, знаю, кто вы, мне про вас рассказывали, и я наблюдал, как вы молитесь; разрешите задать вам один вопрос, и вы можете ответить или нет, как будет угодно. Я говорю — пожалуйста. Вопрос, говорит, такой: согласны ли вы дать совет одному человеку, страннику, который потерял свое прошлое, не помнит ни родства, ни своего происхождения, все позабыл на свете, но хочет все приобрести, то есть как бы заново родиться, однако ничего о себе не припоминая, потому что это невозможно. Так вот не согласитесь ли дать совет, каким способом этому страннику найти себе прошлое. Говорит это, а сам все по-прежнему будто в меня заглядывает. Я говорю: я сразу не могу ответить, дайте подумаю. Хорошо, говорит, я вас не торсплю, недели достаточно вам будет на размышление? Приходите, говорит, через неделю к поздней обедне в церковь Серафима Саровского, церковь эту вы, говорит, знаете, я вас и там тоже наблюдал. А вознаграждение вы такое получите, какое назначите. Я обещал прийти, старичок поклонился и ушел опять в церковь, а я — домой.

— Это интересный старичок,— сказал Сваакер.

— Интересный,— повторил Пудовочкин,— очень интересный. Через неделю прихожу я, как уговорились, к Серафиму, отстаиваю обедню, смотрю — никого нет. Подождал, пока не опустела церковь, вышел наружу — никого. Думаю: не попал ли я в какую историю? Можно ведь человека легко впутать — пришел, мол, к примеру, на явку, доказывая потом, что ты ни сном ни духом. Отправился я домой, на улице — ни души, и так мне стало беспокойно. Слышу, меня окликнули. Обернулся — старичок. Я, говорит, на людях не хотел вас собою занимать. Ну как, спрашивает, надумали дать совет тому страннику? А сам на меня опять остро-остро смотрит, а лицо у него, показалось мне, даже засветилось. И знаете, Вильям Иванович, я испугался. А он видит это и капельку такую усмехается. Тогда я говорю: нет, никакого совета я вам дать не могу. Да это не мне, отвечает он, а не помнящему родства страннику. Я вижу, он стоит с посохом, лицом светится, будто подсказывает, что это он и есть странник. У меня мурашки по всему телу высыпали. Нет, говорю, извините. И хочу уйти. А ведь за совет, говорит, можете получить какие угодно деньги. Я слышу, в голосе у него что-то гневное появилось, и лицо

начало темнеть. Почему, спрашивает, вы отказываете? Прямо не помню, как я из себя выдавил: подальше, говорю, от греха! Он, знаете, весь даже почернел. Отвернулся и мелко так зашагал, а я не могу с места тронуться. И вдруг он на ходу немножко голову ко мне обратил, сощурился, опять уж такой, как прежде, светлый, и сказал: умный вы человек, господин Пудовочкин. Потом, знаете, юрк за угол, только я его и видел.

— Он делал вам правильную оценку,— сказал Вильям Иваныч.— А что за человек, по-вашему, есть этот странный?

— Разрешите в свою очередь спросить: вы — верующий? — мягко произнес Пудовочкин.

— Мой вера — это мой труд и это наш трудовой советский власть,— почти прошептал Сваакер и торжественно открыл защитнику свои ладони, бугристо-коричневые от мозолей.

— Ну, о чем говорить, ведь мы же советские люди,— весело вздохнул Пудовочкин. Он вытянул тонкую правую руку словно для присяги и с доверием положил ее на высокую стопку сшитых тетрадками собраний декретов и постановлений рабоче-крестьянского правительства.— Но я человек, простите, верующий. Я понял этого странника как искушение сребролюбием. И устоял. И рад, что устоял от искушения.

Не снимая руки с декретов и постановлений, слегка опираясь на них, Пудовочкин поднялся, вежливо приглашая гостя сделать то же самое.

— Ваш профессий очень опасный,— вдруг подмигнул Сваакер.— Один раз является невинный созданье, как Вильям Сваакер. Другой раз — такой странный, такой старичок, который, возможно, есть просто один такой ловкий белый гвардеец, а?

— Упаси бог! — воскликнул Пудовочкин, первым выходя в переднюю, будто убегая от страшной опасности.

На прощанье он сказал Вильяму Иванычу, чтобы тот пришел послезавтра, и, заперев дверь, облегченно скинул пиджак.

Когда за чаем жена спросила, какого положить Ермоше варенья, свежего или прошлогоднего, Ермоген Платоныч засмеялся.

— Ну и клиент у меня сегодня был, деточка, бог с ним совсем. Я — фрукт, а этот будет куда пофруктовой меня! Да ты ведь его должна знать.

И он рассказал жене о Вильяме Иваныче, и они решили читать принесенную им книжку вслух, когда лягут в постель.

Два дня Сваакер провел на выставке, принимая заказы, демонстрируя образцы мучного размола, сделанного жерновами марки «Трансвааль». Знакомые мельники толклись у павильона, дымя папиросами. Появились заказчики из соседней губернии, успехом дела можно было довольствоваться, но Сваакер чувствовал неполноту удовлетворения.

Он привез в город своих конторщиц, чтобы они заменяли его в павильоне, и поселил с собою в гостинице, в очень маленьком номере, рассчитывая из-за тесноты переселить одну из них в свой просторный номер, какую именно — должны были решить обстоятельства, и он как раз собирался заняться этими обстоятельствами, но потерял охоту. Два дня, которые могли бы увлечь и утешить, показались Вильяму Иванычу скучными.

В назначенное время он явился к Пудовочкину. Ермоген Платоныч прикрыл дверь кабинета, вынул из-под мраморного пресс-бювара книжку, молча вручил ее клиенту и так же молча, обойдя стол, уселся.

— Прочитали? — негромко спросил Вильям Иваныч.

— Внимательнейше,— совсем тихо ответил Пудовочкин.

— Ну?

— Внимательнейше ознакомился и подверг анализу,— так же тихо сказал Пудовочкин.— И пришел к следующему. Человек, который не имеет удовольствия вас знать и ничего о вас не слышал, прочитав сию книжицу, никак не может помыслить, что описанный в ней герой имеет сходство с вами, ибо ведь вы такому человеку неизвестны. Первое. Далее. Человек, который вас знает или о вас слышал, прочитав книжицу и узрев в описанном герое сходство с вами, может А: если он не имеет против вас зла, оставить свою мысль при себе или пустить о вас беззловную сплетню. Это второе. Засим Б: если такой человек имеет против вас зло, он может попытаться сходство описанного в книжице героя обратить против вас. Но тогда надо доказать, что оный герой — вы. А доказать сие невозможно, ибо ведь вы в книжице не названы. И это есть третья, и последнее, что нам дает анализ. Понятно?

— А что делать? — спросил Вильям Иваныч довольно растерянно.

— Совет? — спросил Пудовочкин.

— Совет,— поддакнул Сваакер.

— Вот из изложенного мною и вытекает мой вам совет: ничего не делайте.

— Как?

— А так. Ничего не делайте. Пренебрегите.

Пудовочкин продолжал говорить тихо, со вкрадчивой наставительностью, как добрый отец, но Сваакер не понимал его.

— Но мой друг! Я просил давать для меня совет, а вы говорите — ничего не делать.

— Это и есть мой совет: не надо ничего делать.

— Как?

— А я уж сказал: именно так.

— Но я платил гонорар, а вы говорил — так! — произнес Сваакер заносчиво.

— А видите,— сказал Пудовочкин без теплоты и немного громче,— совет мой тем дорог, что, следуя ему, вы уж ничего такого, что могло бы вам повредить, предпринимать не станете. А о том, что вам может повредить, об этом ведь тоже подумано. Я ведь, может, ночи не спал... а как вы полагали, а? Конечно! — вдруг возвысил голос Пудовочкин и привстал.— Я, может, ночи не спал, размышляя, как оградить вас от шагов, которые могли бы ухудшить ваше положение.

— Но положений... разве он так плохой? — спросил Вильям Иваныч, присмирив.

— Да ведь уж не совсем хорошо, если пришли за советом!

Вильям Иваныч опустил голову. Он ждал, как поведет дальше разговор Пудовочкин, появятся ли снова отеческие ноты в его многотонном голосе или возьмет верх суровость. Тогда Ермоген Платоныч, как бы умяченный смирением, подошел к Сваакеру и, нагнувшись, проговорил доверительно:

— Я в таких щекотливостях, Вильям Иваныч, примеряюсь к делу собственной персоной: как бы, мол, поступили вы, гражданин Пудовочкин, когда бы случай коснулся не вашего клиента, а лично вас?

— Так, так,— быстро сказал Вильям Иваныч, нацеливаясь взглядом на Пудовочкина.

Ермоген Платоныч взял его под локоток и приподнял. Они стали лицом к лицу, и Сваакер увидел умный, яркий взгляд насмешливых и в то же время почти гневных глаз, налитые кровью одутловатые щеки, припухлый рот, накрытый нежными, словно меховыми усами, чуть-чуть со свистом шевелившимися от напора дыхания, самодовольный розовый подбородок с ямкой. И Вильям Иваныч тоже покраснел и начал сопеть, стараясь сдерживать дыхание, чтобы не пропустить какое-нибудь существенное слово.

— Я бы и поступил в соответствии с изложенным анализом,— сказал Пудовочкин.— Пусть себе на здоровье читают книжицу там, где я никому не известен. А тут, где меня знают, я бы незаметненько изъял книжицу из обращения, и все.

Сваакер помалкивал, опасаясь перебивать, но натужившееся лицо его изображало непонимание.

— А очень просто,— благосклонно растолковал Пудовочкин.— На книжках цена пропечатана? Пропечатана. Что это обозначает? То, что они обращаются в продаже, и, стало быть, то, что их можно невозбранно скупать... Да ведь и цена-то им, правду говоря, ломаный грош...

Он откинулся назад и с удовольствием увидел, как медленная, еще неуверенная улыбка стала прояснять лицо Вильяма Иваныча от натуги, и он распрямлялся, омолаживаясь и хорошея.

— Ну вот, дорогушенька,— засмеялся Ермоген Платоныч,— вот так-то лучше! А то, видите ли, гневаться на меня задумали. Чуть ли не деньги назад требовать. Не-ет, батенька мой, не-ет!

Он опять пододвинулся к Сваакеру, отечески прижал к себе его локоток и, показав на свой красный шишकाстый лоб, пропел:— Тут о вас у-ух как подумано, у-ух как! А как же,— угрожающе воскликнул он,— чай мы тоже не даром советский хлеб едим: тру-удимся!

И он, притворно сердясь, вытолкал Вильяма Иваныча в переднюю.

Когда Сваакер очутился на улице, он вздохнул, как вздыхал у себя на плотине, и так же, как дома, широко обозрел небо: оно было чисто, только одно облако медленно подымалось из-за крыш — очень праздничное, словно его накрахмалили и подсинили. Вильям Иваныч щелкнул пальцем по ноздре и бойко зашагал по направлению к площадке, вымощенной зеленым булыжником...

Три дня спустя он вернулся домой. Он привез со станции небольшой тюк в рогоже, скинул его с телеги в сарай и ногами закатил в угол. Рим, почуявший хозяина из своей ямы, завыл, и Сваакер крикнул:

— Что, мой собачка? У тебя тоже какой-нибудь неприятность? Надежде Ивановне...



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ



«ВО ИМЯ...»

Редакция предлагает читателям первую посмертную публикацию из литературного наследия так рано ушедшего от нас главного редактора «Нового мира» Сергея Сергеевича Наровчатова. В его редакторском портфеле остались как готовые уже для печати материалы, так и незавершенные. Предлагаемая публикация подготовлена и прокомментирована редактором последних прозаических произведений Сергея Сергеевича, членом нашей редколлегии Дианой Варкесовой Тевекелян.

Политехнический... Ему посвящены мадригалы и оды, лирика и эпика осенили его своими крылами, ирония и пафос попеременно обращали к нему свое лицо. Кто в нем только не выступал! Уже прогремела революция, а здесь еще, как в Речи Посполитой, выбирали королей. Поэзии, разумеется. Первым был избран, кажется, Игорь Северянин. Кого бы выбрали сейчас? В 60-х годах я бы не колебался в определении вкусовых пристрастий, а теперь... Старые таланты прискучили, новые не упрочились.

Мне знакомы его крутые скамьи и невысокая эстрада бог знает с какого времени. Сорок с лишним лет длятся наши встречи. Сперва ходил на поэтические вечера, потом выступал на них. Недавно я вел здесь один из вечеров и, вспомнив далекие времена, сказал: «Мне кажется, я вижу сейчас самого себя спустя сорокалетие. Вот там, на одной из задних скамей. Ну-ка... встань, подойди сюда!» Нет, иллюзия... А так все очень похоже, только другие поэты и другие стихи вокруг...

Осенью 1937-го я пришел сюда со стайкой ифлийских студентов. Мы заняли одну из верхних скамей и сразу поплыли по шумовым волнам, плещущим в преддверье вечера. Вечер открывал Алексей Сурков: «Пастернак не придет, заболел... А кто из молодежи будет? Все, кто на афише».

На афише поэтическая молодежь конца 30-х годов была представлена щедро. Помнится, объявлены были А. Коваленков, С. Васильев, Д. Алтаузен, М. Матусовский, К. Симонов, Е. Долматовский, С. Островой. Они подкреплялись поэтами старших возрастов — Сельвинским, Луговским, Светловым, Голодным, Сурковым. Председательствовал как раз Алексей Александрович. В своем выступлении он тут же раздал всем сестрам по серьгам и, оговорившись, что будет говорить и об отсутствующих, резко задел Пастернака: «Поэт, спросивший в 17-м году: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» — кажется, до сих пор ждет ответа на свой беспримерный вопрос». Зал был с ходу брошен в полемику, Сурков любил такие эскапады.

Вообще тогда на вечерах скучать не приходилось, но я не собираюсь воскрешать давние времена с ненужной дотошностью. Были и «шум в зале», и «обмен репликами», и «выкрики с мест», что пишется обычно в стенограммах, но было и напряженное внимание, с которым ловилась каждая поэтическая строка, взрывчатые аплодисменты после понравившихся стихов, счастливая атмосфера молодости в зале и на эстраде. Ведь самому старшему, Сельвинскому, едва исполнилось сорок.

Мы по своим возрастным симпатиям тяготели, естественно, к двадцатилетним. Среди них был очень заметным Симонов. Мы уже знали, что настоящее свое имя Кирилл он переименовал на Константина («Не произносит „р“», — говорили мы, доверительно улыбаясь). Внешность молодого поэта нам импонировала: броская смуглость, каштановая шевелюра, располагающие черты лица, решительная уверенность в каждом жесте. Всем он тогда взял. Стихи он читал раскатистым голосом, сильно картавя. Имя Кирилл действительно было не по нему. Читал он стихи, посвященные памяти генерала Лукача, незадолго перед тем погибшего в Испании. Я дружил тогда с Галкой, его дочкой, она читала мне его письма, посланные из самого пекла, они были помечены Мадридом. Как тогда звучали эти названия: Университетский городок, Эбро, Гвадалахара. Слушал я их с преклонением чуть ли не молитвенным. Все, что было связано с республиканской Испанией, нами боготворилось. Стихи о Лукаче — Мате Залке — вызвали гром аплодисментов, не то что спустя два года, когда злободневность уже прошла и критицизм прищурил свое недреманное око. Но об этом после.

Таково было первое запоминание Симонова. Потом я видел его на многих вечерах, где читались стихи, он был в когорте популярных молодых поэтов. Озадачивала его дерзость: закончить строками «Интернационала» поэму об Александре Невском. Надо же! — удивлялись консерваторы.

Шло время, мы набирали мускулы и нам было невтерпех задраться со старшими. Поводов было сколько угодно, а трибуна вскоре нашлась. «Вечер трех поколений» в Юридическом институте, о котором я уже писал, стал удобной платформой для баталии. В воспоминаниях Е. Долматовского я с улыбочивым интересом прочел, что вечер тот оказался опознавательной метой для автора мемуаров. Выходя из окружения в 1941 году, он попал к молодому следователю, с большим трудом, но все-таки узнавшему в заросшем, истощенном, не похожем на себя человеке того самого Долматовского, который отбивался от яростных наскоков «третьего поколения» вместе с Симоновым и Алигер. Вечер, выходит, запомнился не нам одним.

Со своей стороны, я помню, как стали выглядеть те же стихи о Лукаче, поставленные под другим углом. Традиция традиции рознь, нельзя же так прямо калькировать, резанул Павел Коган и под общий смех прочитал: «Над ним арагонские лавры зеленой листвою шумят, и молча в открытые люки чугунные пушки глядят».

Все эти схватки напоминали скорее грубоватую толкотню в студенческом коридоре, чем серьезные сражения. Более глубоких взаимоотношений они не затрагивали. После финской кампании, например, Луконин привез цикл прекрасных стихов. Его тогда сразу взял в товарищи тот же Константин Симонов, стихи выступали застрельщиками дружбы. «Жди меня» — и вполне естественным оказался мой разговор с ним осенью 1943 года, когда я приехал в Москву на десятидневную побывку. Помнится, я читал свои фронтовые стихи в ЦДА (тогда он, кажется, еще назывался клубом писателей). Среди слушавших оказался Симонов. После чтения он задал мне желанный вопрос: «А почему бы вам не составить сборник? Наверное, пора?» Я ответил, что на днях уезжаю опять на фронт. «Ну, тогда при первой новой побывке разыщите меня, и мы вместе примемся за книжку. Если я, конечно, буду в Москве».

Так случилось, что летом 1944 года я снова приехал в Москву, застал Симонова и не замедлил воспользоваться заманчивым приглашением. Произошло это при таких обстоятельствах.

Наша армия была Ударной, в перерывах между боями полагались отпуски, а мне, кроме того, прислал вызов Николай Семенович Тихонов. Он только что приехал в Москву, заняв пост председателя Союза писателей СССР. Имя Тихонова у нас в армии много значило, и мне без всяких проволочек дали большой отпуск. Мы стояли тогда под

Нарвой, и утром, забравшись в кузов грузовика, я к вечеру оказался в Ленинграде. Переночевав там, я провел там день, навестил всех знакомых — Прокофьева, Берггольца, Дудина, — а следующей «стрелой» отправился в Москву.

Удивительное дело была эта «стрела», впервые возобновившая движение после снятия блокады в недавнем январе. Она словно вышла из госпиталя, и весь ее вид сильно напоминал офицера в ношеном, застиранном, но тщательно отутюженном обмундировании. Проводники с ввалившимися щеками, точность и аккуратность обслуживания, свежее белье, чай с сахаром (правда, по талонам) должны были утверждать и подтверждать, что все здесь как до войны. Прямо слезу прошибало, глядячи на такие чудеса!

В Москву я приехал свежим июньским утром, вскинул на левое плечо чемодан, оставив правую руку для козыряния, и направился домой. Как меня встречали — родные, друзья, знакомые! Но впереди были деловые встречи, и одна из главных в этот момент — с Симоновым.

Помог случай. Через несколько дней по приезде я узнал, что Симонов ведет вечер в одном из рабочих клубов. Это было где-то в районе Новослободской. Долго добирался и опоздал. Народу было много, и я еле протиснулся в задние ряды. Стою и слушаю стихи. Вдруг совершенно неожиданно для меня звучит голос Симонова: «Среди нас находится поэт-фронтовик Сергей Наровчатов. Он только что прибыл из действующей армии. Сейчас он прочтет нам новые стихи». Здорово! Симонов умел использовать такие моменты. Через минуту я уже стоял на трибуне. У меня были свежие стихи «Пропавшие без вести». Незадолго перед тем прошел слух о моей гибели, и я написал стихи, как говорится, по следам событий.

По нас три раза панихиды пели,
Но трижды я из мертвых восставал,
Знать, душу, чтоб держалась крепче в теле,
Всевышний мне гвоздями прибывал.

Стихи были переполнены романтическими ссылками: «Я верю, невозможное случится, я чарку подниму еще за то, что объявился лейтенант Кульчицкий в поручиках у маршала Тито». Ударение на фамилии югославского руководителя нам еще не было знакомо, и все восприняли такое произношение как должное. Долго меня потом допрашивали расспросами о судьбе моего товарища, пока неопровержимо не было установлено, что он погиб под Сталинградом. Когда я был на Мамаевом кургане, я прочитал его фамилию в списке героев, павших в боях за волжскую твердыню.

Тут же на вечере Симонов, поздравив меня с возвращением, договорился со мною о работе над сборником.

Пора дать волю оценочному отступлению.

Я знал его в течение сорока лет. Возрастная разница у нас была несущественная, всего четыре года. Но принадлежали мы к разным поэтическим поколениям. Симонов встретил войну известным писателем, автором многих стихов и поэм, пьесы «Парень из нашего города». В военной печати он вскоре же зарекомендовал себя первоклассным журналистом, мастером боевых очерков, корреспонденций с переднего края. В «Красной звезде» он занял одно из ведущих мест.

Нечего и равнять его известность и значимость с нашей. Все вместе мы не смогли бы его перевесить. Были у него и отличные достижения. Не говорю о «Жди меня» — вся армия таскала в левых карманах гимнастерок газетные вырезки с этим стихотворением, — такие стихи, как «Убей его», обладали огромной мобилизующей силой. Пути военной лирике открывала огоньковская книжка «С тобой и без тебя», там были сильные вещи.

И вот при всех этих больших и заслуженных успехах Симонов оставался на редкость доброжелательным и отзывчивым человеком,

чуждым всякой заносчивости и отчужденности. Со мной он держал себя примерно так, как молодой Болконский в бытность свою при кутузовском штабе с юными офицерами. Ему нравились (подчеркиваю это слово) помогать, подталкивать, тянуть вверх. Делалось это с почти открытым подтекстом: все мы талантливые люди и помогать тебе одно удовольствие, сам еще сможешь стать на мое место. Очень легко и красиво выходила забота о младших. Нужно было уж очень злоупотребить его добрым отношением, чтобы оно переменялось. В своих симпатиях он был постоянен.

Я к нему приезжал два-три раза в неделю. И таких посещений набралось, наверное, немало. Жил он тогда в доме на углу Беговой и Ленинградского проспекта. Дом напоминал именинный торт, вид у него был легкомысленный. На этажах — коридорная система. Симонов был женат на Валентине Серовой — известной актрисе. Дверь в ее комнату порой приоткрывалась, и я ловил любопытствующий взгляд. Впрочем, если не ошибаюсь, эта дверь имела нечто вроде глазка, какой бывает либо в медицинских, либо в судебных учреждениях. Сопричастие молодой женщины повышало тонус делового разговора, это касалось, естественно, не Симонова, а меня.

Несколько раз Симонов звал меня в другую квартиру на том же этаже. Я не удосужился спросить, кому она принадлежала. Возможно, Серовой, но ручаться не могу, кто-нибудь мог ее и уступить на время товарищу.

Наша работа проходила легко и спокойно. Симонов почти не делал строчных замечаний. Стихи либо принимались, либо отвергались целиком. Формулы были однозначны: «Я бы не стал этого помещать».

Так рассказывал Сергей Наровчатов о начале пути в большую литературу блестящей плеяды молодых поэтов-фронтовиков. Впрочем, плеяда, когорта — это для историков литературы. Для Наровчатова до конца его дней это было братство. Именно братство — по преданности друг другу и любви, беспредельному взаимному доверию, честной бескомпромиссной требовательности, но и искренней радости от успеха, удачной строки товарища. Братство это так и существует в сознании уже не одного поколения, и когда мы говорим — Сергей Наровчатов, рядом плечо к плечу встают Луконин, Межиров, Самойлов, Слуцкий, Воронько, Орлов... И те, кто не вернулся с войны — Майоров, Кульчицкий, Коган, Молочко, — их Наровчатов не просто помнил всегда, но ощущал рядом, говорил не раз: «Мертвых нет, есть лишь отсутствующие». В своем дневнике он записывает: «В мои времена — времена фронтовой юности — биография поэта была биографией поколения. Эти определения легко можно поменять местами и сказать, что биография поколения явилась биографией поэта. (Впоследствии эти слова Сергей Сергеевич скажет о Давиде Самойлове. — Д. Т.) Разумеется, война оборачивалась к нам не одной светлой стороной, но жизнеощущение оставалось чистым, прозрачным, ясным. Мы были очень молоды. Эта молодость была прожита поколением по большому счету, и, как говорится, нам есть что вспомнить. Главную жизненную задачу люди моего возраста выполнили двадцатилетними...»

Военная биография Наровчатова началась в декабре 1939 года, когда вместе с друзьями по ИФЛИ он ушел добровольцем на войну с белофиннами. В предисловии к одной из своих книг он писал категорично: «Военные годы — самые емкие и наполненные в моей жизни... На войне я сформировался и как человек, и как поэт. Все мои хорошие и дурные стороны — и в жизни, и в творчестве — с определяющей четкостью проявились именно тогда. После войны происходило либо развитие, либо угасание тех или иных качеств, но начала их были заложены в те годы...»

Еще раз вернемся к дневнику: «Мое поколение не выдвинуло великого поэта, но оно само в целом — великий поэт со светлой и трагической биографией, с широким и многообразным творчеством, с неповторимым выражением лица»...

Человек разносторонне одаренный — поэт, знаток и ценитель литературы, признанный, взыскательный, широко мыслящий литературовед и критик, — в последние годы Наровчатов стал автором поразительной прозы, ем-

кой, многоплановой, саркастичной. Две исторические новеллы, напечатанные в «Новом мире» — «Абсолют» и «Диспут», — свидетельствовали о появлении в нашем искусстве незаурядного исторического писателя, в совершенстве владеющего не только материалом эпохи, но и языковой ее стихией, пластикой стилизации, точным, весомым словом. Появление писателя, возродившего традиционный для русской литературы, но почти забытый ныне жанр исторического анекдота. История России была для него поразительно дерзко живой, он жадно вглядывался в нее, требовательно, субъективно, это было увлечение всей жизни.

В последнем интервью корреспонденту «Литературной газеты», опубликованном уже после смерти, Наровчатов говорил: «Я не случайно обратился к временам столь отдаленным. Интерес к истории, с годами все углубляющийся, заставил меня вновь и вновь перечитывать труды Соловьева, Ключевского, Костомарова, Татищева, «Летописи» и т. д. Меня волновали судьбы русского абсолютизма. Мне хотелось попробовать восстановить «картинки из жизни» разных эпох, с тем чтобы на небольшом литературном пространстве создать модель взаимоотношений некогда реально существовавших исторических лиц... Сейчас собираю материалы к рассказу, условно названному «Янус», — речь в нем пойдет о событиях XVII века, о притязаниях на русский престол...» Рассказ этот о смуте, о Лжедмитрии, о «самозванстве абсолютизма», как говорил Сергей Сергеевич, остался незавершенным, но несколько его страничек, которые мы предлагаем вниманию читателей, обращены к детству, к зарождению интереса к истории.

ЯНУС

Дорога к «Урану» от Садовой Спасской по Уланскому, через Даев. Весной тридцать второго года по ней шагают трое мальчишек. Дел у них очень много, но сейчас все подчинено одному: предстоящему походу в кино. Все разговоры вертятся вокруг этой темы.

— Ты сколько раз «Знак Зорро» видел? — спрашивает Федька Токарев, решительный крепыш с бесстрашными глазами.

— Три раза, — отвечает Юрка Губанов, долговязый парень, выглядящий чуть старше своих спутников, — но и четвертый пошел бы. Классная картина.

— Ну, «Сын Зорро» не хуже, — вставляет свое слово Сережка, в котором никак не угадывается автор этих строк.

— Как сказать! — парирует Токарев. — Вспомни, как он кнутом управляется. Раз-раз-раз! — Федя пытается изобразить победоносного Зорро во всей его красе.

Ребятам еще неизвестно, что на их глазах происходит закат немощного кино. Последние заграничные боевики с неохотой расходятся с отечественными экранами. Скоро их сметет яростное наступление звуковых фильмов во главе со знаменитой «Путевкой в жизнь». Колька Свист, Мустафа, Жиган в исполнении молодого Жарова и комиссар детдома, сыгранный старым Баталовым, навсегда вытеснят из мальчишеских душ всех голливудских героев.

Теперь, однако, ребята шли смотреть один из последних немых фильмов, «Папа и самозванец». Ах, что это была за лента! Действие разворачивалось дерзко и неудержимо. Самозванца играл один из двойников Дугласа Фербенкса. Так же как Марину Мнишек — одна из копий Мэри Пикфорд. Папа Клемент VIII удивительно напомнил кардинала Ришелье из памятных «Трех мушкетеров», фильма, наизусть выученного ребятами.

Были взяты, естественно, самые дешевые места. Стоили они тогда по четвертаку, но и это казалось мальчишкам дорогой ценой, и они по нескольку раз пересчитывали старую медь, новенький никель, а то и неповское серебро 20-х годов. Зато они были полностью вознаграждены, когда во весь экран над ними засияло лицо самозванца с пресловутой бородавкой у левой ноздри. Следуя классической формуле «не было, но могло быть», постановщики фильма заставили подложного царевича совершить сногшибательный вояж в Рим, где он сам

договаривался в палой Клементом VIII о своем переходе в католичество и чужих судьбах.

На экране утопал в высоких креслах худощавый старик, действительно смахивавший на знаменитого кардинала. Горбатый нос его словно искал, где удобнее клюнуть зазевавшуюся добычу. Перед ним стоял в пышной польской одежде Лжедмитрий, лоснилась на лице туго натянутая кожа. Взгляд голливудского актера был весел и отчаян... «Дарю тебе эту медаль, изображающую римское божество Януса. Он, как видишь, двулик, как двоеобразна и твоя миссия. Храни ее и помни обо мне».

На экране папа передает медаль самозванцу. Тот с поклоном принимает ее. В этот неуловимый миг, когда лжецаревич склонил голову над медалью, а папа передает ее претенденту на московский престол, из-за портьеры позади папского трона высовывается длинная рука и бросает прозрачный кристалл в чашу с вином, стоящую возле Клементя VIII.

Снова надпись: «А теперь во имя отца, и сына, и святого духа причащаю тебя, раб божий Деметриус». Папа отхлебывает из чаши и неожиданно отваливается на спинку трона. Глаза его стекленеют, он мертв.

Дмитрий нимало не теряет. Он выхватывает из-под локтя мертвеца заготовленный рескрипт на имя императора Деметриуса и сует его за пазуху. Затем взгляд его перемещается на окно, затененное густым плющом.

«Не надо терять времени» — появляется на экране новый титр.

Самозванец молниеносно спускается по плющу на небольшой дворик. Там его ждут конь и слуга. Мгновенно перекидывает ногу через седло и вот он уже выезжает из ворот папской резиденции.

Бешеная скачка, воскрешающая ковбойские погони. Наконец надпись: «Мы выехали за пределы Папской области». Самозванец заказывает вино у хорошенькой трактирщицы. Рука его нащупывает медаль. Он внимательно рассматривает ее. «Значит, и он мне не поверил» — появляется надпись...

А в герое автобиографического рассказа «Начало биографии» (рассказ этот был напечатан однажды в 1963 году в сокращенном виде в газете «Литературная Россия»), тоже о детстве, уже угадывается тот Наровчатов, о котором А. Межиров, например, писал: «Его стихи — это он сам, а не комментарии к себе. Бывают поэты, создающие много шума из ничего. Присутствие Наровчатова всегда мешало им...» Свободный и независимый, отважный, дерзкий — и добрый, умеющий понимать и ценить чужое мнение, он не принижал людей своим авторитетом, наоборот, заставлял тянуться, попробовать стать вровень с ним.

НАЧАЛО БИОГРАФИИ

С десяти лет я живу весело и беспокойно. К этому времени относится то, что впоследствии я определил «выход из ряда». Он, этот выход, к сожалению, в моей жизни осуществлялся не только в лучшую сторону. В пионерском лагере под Рязанью за организацию набега на деревенские огороды меня с двумя моими товарищами, Сабитовым и Менделевичем, исключили из пионеротряда. Не из пионеров, а из отряда. Была и такая мера, заключавшаяся в том, что на линейке мы трое должны были стоять отдельно, все мероприятия совершались без нас, салюта нам не отдавали, в столовую мы ходили после всех. Вначале мы здорово приуныли. Такой остракизм действовал болезненно! Но потом мы быстро поняли выгоду своего положения. Это была такая дикая свобода, которая доступна, кажется, лишь первобытным народам. Спи сколько влезет, ложись спать, когда хочешь, кулайся хоть до обморока и так далее и тому подобное. Мальчишки нам завидовали, а девочки восхищались и влюблялись в нас. Это была томсойеровщина на русско-советский лад. Вдобавок я щеголял чтением наизусть стихов

Сергея Есенина, которые находились в полузапрете, и своих собственных «под него». Это весьма повышало наши акции.

Такое безоблачное счастье продолжалось полтора месяца. Вдруг нас вызвали на совет отряда и, к нашему огорчению, объявили, что мы исправились. Следовательно, мы опять должны показывать пример. **Что** поделаешь! Стали показывать и в своем безудержном активизме вогнались в общественный трепет весь отряд.

Даже самым истовым вожатым не снились те формы работы, которые мы предлагали и проводили в жизнь. Там были и заплывы по Оке с вымпелом — подарком соседнему пионерлагерю, и собирание конского волоса для подушек узникам капитала. На этих подушках и пришел конец нашему активизму.

То, что один мальчишка во время заплыва чуть не утонул, а одну девочку чуть не насмерть лягнула лошадь, нам простили. Но когда азербайджанец Сабитов при моей и Менделевича горячей поддержке, бешено вращая белками, потребовал, чтобы все девочки остриглись наголо, дабы присоединить свои волосы к конскому, произошел стихийный плач, вылившийся в не менее стихийный бунт. Первая красавица отряда Таня Шошина, у которой белокурые косы спускались ниже поясницы, захлебываясь от рыданий, говорила:

— Я, конечно, очень люблю узников капитала, но косы свои не отдам. Уж лучше кошек стригите, у них тоже шерсть.

Напрасно Сабитов и я демагогически орали, что мы сами отдаем свои шевелюры на общее дело, наши возгласы тонули в страшном девчачьем реве. Подлил масла в огонь рыжий Менделевич, заявивший, что он тоже жертвует своей прической ради такого подвига. С Таней Шошиной произошло то, что в психиатрии называется кризисом, а в просторечии... она взвилась:

— Ах ты, рыжий дурак, кому нужна твоя полотерская швабра! Никому она не нужна, даже узникам капитала! — И закончила решительно: — А косы свои все равно не отдам!

На этом и закончилось наше правление. Мы были разжалованы в рядовые, но надолго остались притчей во языцех среди девочек, с брезгливым видом отворачивавшихся при нашем появлении.

Пионеротряд 30-х годов во многом отличался от теперешнего. Это была своеобразная ребячья республика. Начальником лагеря был 17-тилетний парень. Вожатый — в 15—16 лет. Наш «контингент» — 12—14 лет. Педагогов не было. Понятно, что истории подобно рассказанной были невозможны. Плохо ли это? Так ли уж плохо? Зато была раскованность инициативы, совместная выработка самодисциплины, ранняя выучка полной самостоятельности в мыслях и в поступках. Хуже, когда ребят (даже таких ребят, которые являются уже сами отцами и матерями семейств) водят за ручку, заботливо их опекая чуть ли не до седых волос. Палатки, походы, костры, печеная картошка навсегда останутся у меня в памяти. Конечно, обобщая и перекидывая мост в сегодняшнее, я был прав, когда писал много лет спустя стихотворение «Скучное лето»:

Я спросил вчера у Оли:
— Как идут твои дела?
Как ты там, на вольной воле,
Это лето провела?

Дочь зевнула равнодушно:
— Ну какой еще рассказ!
Просто, папа, очень скушно
Было в лагере у нас.

Никуда без разрешенья!
А ведь, что ни говори,
Мне давно уж от рожденья
Все двенадцать, а не три!

К речке выбегут девчонки,
Бултыхнешься сверху вниз,

А уже кричат вдогонку:
«Наровчатова, вернись!»

Вот я снова в нашем доме,
Лето было и прошло...
Что о нем я вспомню, кроме
Набежавших три кило?

И припомнил я порядки
Незапамятной поры:
Сами ставили палатки,
Сами ладили костры.

Каждый в нашем поколеньи
Эту песенку певал:
«Тот не знает наслажденья,
Кто картошки не едал».

Нас без спросу солнце грело,
Без разбору дождь хлестал,
И — неслыханное дело —
Хоть бы раз кто захворал!

И чернели, и тощали...
Но к концу веселых дней
Мы здоровьем удивляли
Многоопытных врачей.

Вот что вспомнил я. И вскоре
Давний лагерный режим
Разобрали в разговоре
Мы с товарищем своим.

Начинал я с ним ученье,
С ним кончал десятый класс,
В Министерстве просвещенья
Он работает сейчас.

— Что ж? Зовешь опять в палатки? —
Он сказал, погладив плешь.—
Ты давнишние порядки
Иде-а-ли-зи-ру-ешь!

Я ответил: — Ты немножко
Передергиваешь, брат.
Наша песня про картошку
Удивит сейчас ребят!

И пускай они по праву
Занимают те дворцы,
Что построили во славу
Детворе своей отцы.

А палаток мне не жалко,
Здесь в другом вопросе гвоздь:
Где смекалка, где закалка,
Где само-сто-я-тель-ность?!

И все же, все же... В палатках тоже было много хорошего.

В шестом классе организовал я школьный журнал. Он назывался «Эхо». Это, конечно, было своеобразное эхо, так как оно откликалось на события школьной жизни с точки зрения тех, кого иначе не именovali как «лодыри и разгильдяи».

Дирекции школы такая программа, разумеется, не очень-то понравилась. Журнал закрыли.

Так кончился мой первый опыт редакторско-издательской деятельности.

Затем наступило новое увлечение. В школе появился драмкружок. Именно «появился», так как сначала мы увидели в школьных коридорах известного артиста из одного прославленного театра, которому бог знает по какой прихоти захотелось искать юные дарования

в стенах железнодорожной школы № 2. Дело было сразу поставлено на широкую ногу. В наше распоряжение был предоставлен клуб КОР, ныне ЦДКЖ. Начали не с каких-то там этюдов, а прямо взяли быка за рога. Тематика революционно-романтическая: Фридрих Шиллер — «Вильгельм Телль», вернее его переделка для клубной сцены, и пьеса забытого мною автора — «Делеклюз», из времен Парижской коммуны...

Против такой эффектной «показухи» я не мог устоять. Ясно, что мне жестоко хотелось играть Вильгельма Телля, но после злосчастной истории с конско-девическим волосом ни одна девочка не соглашалась выступать в роли ребенка («травести», как громко именовал это ампула наш руководитель) в знаменитой сцене, где легендарный герой простреливает яблоко на голове собственного сына. Уговаривали их, просили, умоляли, я даже пускался на подхалимничанье. Таня Шошина ходила по школе с округленными глазами и шептала всем:

— Это неправда, что лук и стрелы будут ненастоящими. Он из-под земли достанет, а принесет всамделишные. Берегитесь, девочки.

И они обереглись! К моей великой зависти, Вильгельма Телля играл бездарный кривляка, мой соперник Васька Образцов. Мне пришлось удовольствоваться ролью благородного рыцаря Руденца. Правда, роль была хоть и небольшая, но невероятно выигрышная. Я появлялся в позолоченных картонных латах, с эспадроном на боку, в ботфортах и перчатках (реквизит был предоставлен клубом КОР). Кидая перчатку в лицо злодею наместнику Геслеру (его играл Менделевич), я провозглашал:

— Как рыцарь, я бросаю вам перчатку, как рыцарь, ожидаю я ответ.

После этого Менделевич — Геслер отшатывался и говорил трагическим шепотом:

— Нет, нет! О, слуги верные, неужто вы меня не охраните?

Голосом, исполненным презрения, я произносил:

— О, рыжий негодяй! Теперь насквозь тебя я вижу.

Самое интересное, что Менделевич действительно был рыжим, вне зависимости от шиллеровского текста. И Таня Шошина, сидевшая в зале среди подруг, ужасалась, говорила:

— Вот видите, девочки! Все как на самом деле. Он его сейчас и зарубить может.

Менделевича — Геслера я не зарубил, ибо это не полагалось по ходу пьесы и, кроме того, нам всем нужно было еще выступать в «Делеклюзе». Тут мое самолюбие было полностью удовлетворено, т. к. я исполнил самого Делеклюза. В заключительной сцене я появлялся на баррикаде и, обращаясь к версальцам, начинал потрясающий монолог:

— Граждане, служащие в армии...— При этом в правой руке у меня было красное знамя.

Старый артист, быстро раскусивший суть антагонизма между мной и Васькой Образцовым, назначил его на роль командира полка версальцев. Васька страшно кичился своей шпагой и эполетами. В текст пьесы он вносил существенное исправление. Через каждое слово он вставлял, скрежеща зубами, загадочное «каррамба». Это классическое ругательство испанских пиратов казалось ему вполне уместным в устах французского аристократа. Артист не ошибся. Наш диалог звучал неподдельной ненавистью. Глядя на толстую рожу своего противника, я с клекотом в горле произносил громовые инвективы, а Васька отвечал мне в том же духе. Под конец мы оба до того разгорячились, что уже начали забывать текст. Командуя моим расстрелом, Васька исступленно заорал: «Стреляйте в него, мерзавца!»— чего отнюдь не было в тексте. Я тоже, никак не подчиняясь канонам французской трагедии, неожиданно для себя выпалил: «Ах ты сволочь!»— и погрозил ему кулаком. Увидев страшные глаза руководителя, стоявшего около

левой кулисы, я с громким криком: «Да здравствует свобода!»— картинно повалился набок. Сукин сын Васька не преминул воспользоваться подвернувшейся возможностью. Подойдя ко мне, он пребольно пнул меня сапогом и сказал, обращаясь к зрителям и «солдатам»:

— Уберите эту пададь.

Тогда мертвец Делеклюз неожиданно приподнялся и хриплым от злости голосом раздельно проговорил:

— А вот я сейчас тебе покажу!

Васька знал, что за этим может последовать, ибо в драках я всегда брал над ним верх. Быстро сориентировавшись, он вспомнил текст пьесы и, несколько его переиначив, провозгласил:

— Нет, не надо! Погребите его с воинскими почестями.

С Васькой я неожиданно для учителей и девочек помирился. Мы ходили по школе, обнявшись за плечи, и два лагеря школы-семилетки объединились воедино. Но об этом — в следующий раз...

Сергей Наровчатов был человеком разностороннего и разнообразного дарования. Энциклопедически образованный, он до конца жизни пополнял свои знания — в дневниках его можно прочесть длинные списки литературы, намеченной для чтения, и редкая запись обходится без галочки — свидетельства о прочитанном. А. Межиров справедливо писал: «В его характере, в личности была заложена истинно русская традиция, пострадавшая Пушкиным, Некрасовым, Толстым, Достоевским, Блоком. Он был восприимчиком этой традиции. Ее наследником... Пушкин считал высокую образованность первым существенным качеством истинного поэта в России. Всей своей жизнью, всей деятельностью, всем творчеством Сергей Наровчатов доказал справедливость этого суждения. Человек высочайшей образованности, он жил не только среди нас, грешных, — жил в истории, и в культуре, и в великих этических учениях».

Прочитанное никогда не становилось мертвым грузом, литературно-критические статьи и книги Наровчатова счастливо сочетают в себе глубину истинного исследования и живую самозабвенную увлеченность современника. В нынешнюю публикацию мы включили статью «Ведьмы». Это статья-исследование, статья-открытие.

ВЕДЬМЫ

Едва дойдя до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волненья...

Александр Блок.

А кто о них говорил без волнения? Вспомните гоголевского «Вия», пушкинских «Бесов», гётевского «Фауста». Слова, тревожившие воображение Блока, мы найдем в шекспировском «Макбете». Появились, провещали и сгинули зловещие видения, оставив в смятенном раздумье героев трагедии:

Банко

То — пузыри, которые рождает
Земля, как и вода. Но где ж они?

Макбет

Развеял воздух, словно ветер вздохи,
Их плотские обличия. А жаль.

Банко

Да вправду ли мы их с тобой видали?
Не пьяного ли мы поели корня,
Который разум нам сковал?

В этом коротком диалоге соединены вера и сомнение, догадка и разгадка. А все вместе — гениальное прозрение.

Ибо впрямь землей и водой были рождены эти диковинные пузыри человеческого воображения. Землей—гнилостной и зыбкой, водой — ржавой и нездоровой. Не ради дня, а ради ночи возникали они, чтобы мерцать в ней синеватыми болотными огнями. Так было за-долго до Шекспира, так продолжалось и много спустя после него.

Задолго, но не всегда... В далекие времена, когда человечество было еще совсем молодо, земля и вода дарили людей иными дарами. И отдавали они свои дары при ярком свете дня, не страшась, что они будут поруганы и отвергнуты. Лесные поляны и речные волны рождали не уродливые пузыри, а прелестные и милые создания, с которыми дружески и любовно сходились люди. И сама ночь была тогда продолжением дня: бледным солнцем называли луну и в ее легком сиянье кружились те, кого элины называли нимфами, кельты — феями, а славяне — русалками.

Мы говорим о той поре, когда человек жил в мифе так же, как миф в человеке. Мы в своем сознании проводим четкую границу между реальным и нереальным, подлинным и недостоверным. Мифологическое сознание такой границы не знало. Неприметно и постепенно оно выросло и развилось из древнейших представлений о тождестве человека и природы.

Дерево и ручей были в глазах нашего пращура такими же разумными и деятельными существами, как он сам. Они могли страдать и гневаться, любить и ненавидеть. У них был свой язык, и человеку были вняты жалобы дерева в осеннюю ночь и радость ручья, вырвавшегося из зимней неволи...

Позже, когда сознание усложнилось, люди стали разговаривать уже не с деревьями и ручьями, а с дриадами и нимфами, которые их олицетворяли. Создания человеческого воображения, они были во всем подобны людям, но те, кто видел их, утверждали, что они прекраснее самых красивых из живущих на земле.

А видели их многие. Если не ты сам, то твой сосед встречал в лесу быструю красавицу, сверкнувшую сквозь зеленую листву ослепительной наготой. В хмельных и шумных празднествах сбора винограда юноши и девушки изображали фавнов и нимф, их шествие, игры и пляски. Опьяненные вином и любовью, они полностью уподоблялись им, и мир людей сливался с миром божеств. Да он и не разъединялся в те времена, характерные удивительной цельностью мировосприятия.

Бедь тогда все чудесное было естественным, а все естественное чудесным. Мифы в отличие от религии не требовали веры. «Непорочное зачатие, конечно, чудо,— говорил язычник христианину,— но и обычное зачатие тоже чудо». Для мифологии чудо не исключение, а норма. Критической способности разума разделять невероятное от вероятного не существует.

А в религии под чудом подразумевается изъятие какого-либо явления из нормального порядка вещей. Творимые святыми чудеса представляют собой явление исключительное и целенаправленное — в них господь показывает людям свое могущество. И человек, самовольно присвоивший себе право на чудо, не святой, а колдун, не божий слуга, а орудие дьявола.

Религия в отличие от мифологии имеет дело с расчлененным, а не с цельным миром. Однако мышление человека продолжало работать в прежнем направлении много спустя после официальной отмены языческих культов. Идея незримого бога с трудом усваивалась людьми, привыкшими мыслить зримыми образами мифа. И языческие божества, и боги, и божки возрождались в новых обликах и под новыми именами в недрах религиозного мировоззрения.

Особенно это касалось второстепенных мифических персонажей. «Когда хозяева умирают, слуги разбегаются кто куда»,— просто душно объяснил вчерашний язычник существование нимф и фавнов после исчезновения Зевса и Геры — центральных фигур эллинского пантеона. С мелкими божками христианству пришлось повозиться гораздо больше и дольше, чем с божествами первого ранга. Люди привыкли к ним, они всегда были ближе и доступнее, чем верховные олимпийские небожители. И вреда от них тоже никогда не ждали! — это

были добрые и веселые соседи. Если в руках Зевса была молния, а у Аполлона — лук со стрелами, то фавн держал в пальцах свирель, а нимфа — цветущую ветку. И расставаться с такими соседями не хотелось.

Но расставаться заставляла необходимость. Век за веком нарастал над Европой колокольный звон, и мерные тяжелые звуки гнали прочь бедную нечисть с облюбанных полей и лужаек. Да, нечисть, ибо это имя отныне присвоили милым и веселым существам угрюмые изможденные люди с выбритыми макушками. С зеленых склонов бежали бывшие фавны и нимфы на голые, бесприютные вершины, из светлых рощ уходили они в болотистые леса и чащи. В сонм святых им затесаться не удалось — наивное бесстыдство их любовных игр с омерзением отвергалось монашеским аскетизмом, плотские утехы объявлялись грехом, танцы и забавы были взяты под подозрение. Зато ряды пособников дьявола оказались для них открыты. Церковь сама толкнула их туда, где находили место все отверженные и проклятые ее инвективами и посланиями.

Но людям они остались близки и в новом состоянии. Несмотря на жестокие запреты, общение с изгнанниками продолжалось. Правда, оно приобрело теперь совсем иной характер — мрачный, угрюмый, злоедейский. Да и то сказать, пребывание в чащобах и болотах пагубно отразилось на внешности и нравах старых знакомцев. Хулимые и поносимые с церковных кафедр, гонимые и преследуемые молвой, они озлобились и ожесточились. Язычество не знало таких резких противоположений добра и зла, как религия. Там очень часто бог или божок осуществлял попеременно злую и добрую волю. Так же было с фавнами и нимфами. Иной раз они допускали весьма жестокие шутки с людьми, но, как говорится, не по злему сердцу, а чаще, как мы знаем, благопритствовали своим друзьям. В новых же условиях их единственной специальностью становилось зло. Антипод бога — дьявол — иной службы не мыслил. А они стали его пособниками. Черти и ведьмы не способны творить добрые дела уже потому, что они черти и ведьмы. Фавны и нимфы стали теми пузырями земли, содержимым которых стало зло.

Пузыри земли, как явствует из словесного определения, должны были производить отталкивающее впечатление. И впрямь вместе с нравами изменилась сама внешность давних божков. Фавн вызывал улыбку, бес — отвращение. Нимфы были прекрасны, ведьмы — страшны даже в своей сатанинской красоте.

Ведьмы! Средневековая ночь стоит над Европой. В густой тьме мигают редкие и слабые огоньки. Роджер Бэкон заносит на пергамент строки об опыте как начале подлинной философии — один огонек. Из монастыря в монастырь пишут друг другу нежные и мудрые письма Абеляр и Элоиза, обреченные на целомудрие любовники, — два других огонька. Ведет летопись кровавых злодеяний своих повелителей согбенный монах — еще один огонек... Можно разглядеть и насчитать еще и еще, но они заметны немногим, а простой крестьянке или горожанке эти огоньки вовсе не видны. И если даже умная Бетси заметит поздний свет в монастырской башне, где склонился над своим трудом Бэкон, она уверенно решит, что он занимается чернокожицей — опасной, но полезной наукой вызывания злых духов, которые за сходную цену — человеческую душу — принесут заклинателю богатство и власть. Ведь кому иначе придет в голову, домыслит умная Бетси, сидеть в полночь над толстой книгой, теряя мирные часы сна.

Переведя взгляд с монастырской башни, Бетси видит черное облачко, быстро летящее по небу. Месяц только что поднялся над горизонтом и предательски выдал тайну ее подруги. Конечно же, это она, бесстыжая Нэнси, отбившая у нее недавно лучшего парня поселка — кузнеца Джона. Теперь понятно, каким злодейским способом она заставила его отвернуться от несчастной Бетси. Не иначе как прокля-

тым снадобьем, которое получила на шабаше, куда она и сейчас направляется. Бетси лихорадочно вспоминает подробности внешности, привычек и поведения своей вероломной подруги, которые раньше как-то упускались из виду. Бахвалится своими медными волосами. Рыжими, а не медными — все ведьмы рыжие! Хороводы любит водить слева направо, а не справа налево, как принято, — но дьявол, как известно, прихрамывает на левую ногу, и Нэнси ему своим наоборотным хороводом решила угодить. Не любит ходить в церковь, просыпает, видите ли, — конечно, просыпает после наднебесных прогулок ночью, а от божьего храма ее и должно воротить. Ведьма, непременно ведьма! И наутро по поселку уже передается из уха в ухо страшная новость. Передается, пока не достигает ушей благочестивого приора ближнего монастыря. Счастье Нэнси, что она живет в веселой старой Англии, где инквизиция не успела развернуться так, как в Испании, иначе бы ей не миновать костра. Дело ограничится, пожалуй, строгой епитимьей и косыми взглядами односельчан.

Католицизм связал железными путами разум и волю человека. Малейшее проявление духовной пылкости, самостоятельности, независимости пресекалось в самом своем рождении. Страшный жупел смертного греха нависал над немногими земными радостями, отпущенными на долю крестьян и горожан. А в их памяти, унаследованной от языческих прадедов и прабабушек, сохранилась тяга к буйным играм и пляскам в майские ночи, стремление стряхнуть с себя, хоть на время, оковы привычной размеренной жизни. Особенно трудно приходилось женщине. Ее деятельность ограничивалась работой, семьей, молитвой. Мужчина иногда хоть бражничал, путешествовал, воевал — вырывался из опостылевшей лямки. Для женщины все это было исключено. Церковь угнетала чувство, давила разум множеством предписаний и ограничений. Она очертила вокруг женщины такой круг, из которого, казалось, невозможно было вырваться.

И вот тогда — в безвыходном и безнадежном положении — происходит невероятное. Круг разрывается, черта попирается ногами, церковь покидается. Но прежде чем покинуть ее, церкви строится гримаса, высовывается язык, обращается взгляд, полный ненависти и злобы. Над погруженной в ночь Европой поднимает свое зловещепрекрасное лицо ведьма. В свете луны — ибо это ее светило — виден злой оскал по-кошачьему острых зубов, круглые зеленые глаза, пышные волосы, разметавшиеся на ночном ветру. У нее сильное молодое тело, оно ничем не прикрыто и сияет соблазнительной греховной наготой. От шеи до пят скрывает строгое одеяние женщину в обычной жизни, а в необычной — бунт, так бунт до конца! — даже нитки не нужно. Крест сорван с голой груди, и раньше чем его сорвать, на него плюнут три раза: богохульство — знамя ведьмовского бунта. И — прочь от семьи, от церкви, от государства на беззаконное сборище, где она встретится с такими же, как она, дьявольскими сестрицами.

По характеру и облику ведьму можно назвать злой нимфой. Но нимфы не бывали злыми и добрыми, они были просто нимфами. Нет, ведьма — это новое существо, хотя и связанное узами крови — генетическим кодом, как сейчас скажут, — со своими предшественницами.

Ведьма — оживший миф, вторгшийся в религиозное общество. Она одновременно фантазия и реальность. Бетси могла оклеветать свою подругу, охотно приняв за нее черное облачко. Но оклеветанная и в самом деле могла оказаться ведьмой. По крайней мере по своему собственному убеждению, так что все домыслы Бетси блестяще бы подтвердились даже без вмешательства церковного суда.

Многие несчастные женщины были искренне убеждены в истинности своих фантастических деяний, которые бы сейчас любой психиатр определил как галлюцинации и самовнушение. Но разгадка самооговоров быда не только в этом, а в самом образе мышления, унаследованном от языческих прабабок. Церковь не выдумала ведьм, она

в их лице расправилась с остатками языческих представлений и сделала это с изощренной и устрашающей жестокостью. Одновременно здесь подавлялся и бунт личности против всех и вся — семьи, религии, государства. Бунт слепой и темный, но бунт.

Связь с древней мифологией проглядывалась вначале совершенно ясно. В самых ранних соборных осуждениях, относящихся еще к IX веку, говорится о Диане и Бахусе, сопровождавших ведьм на нечестивые сборища. Ритуал шабаша, куда летели ведьмы, горько напоминает искаженную картину языческих вакханалий. Объявленные церковью вне закона, эти буйные, жизнерадостные празднества преобразились народной фантазией в мрачно-веселые греховные действия, где все свершалось наыворот и наизнанку.

Немаловажную роль играли наркотики. Женщина, решившая стать ведьмой, намазывалась с ног до головы особой мазью, в которую входили дурманящие вещества. Мазь быстро оказывала действие, и воображение, работавшее в заданном направлении, довершало дело. Очнувшись, новоявленная ведьма оставалась в полной уверенности насчет истинности событий, происшедших с ней во время ночного сна.

О заданности воображения свидетельствуют слова из одной старой книги, описывающие подготовку к шабашу: «И так уверены они, что будут унесены ночью, при свете луны, по воздуху на бал, на музыку, на танцы, и в объятия прекрасных молодых людей, о которых они мечтают». Заданность переходила в самостоятельное движение фантазии: каждая женщина варьировала свои ночные похождения, хотя в общих чертах они совпадали.

Как совершалось путешествие на шабаш? Спроси об этом Деларно, ученого и благочестивого автора книги «Контроверзы и магические изыскания», изданной в 1611 году. Чаще всего поездка на шабаш совершается верхом на палке, которая для этого тоже намазывается особой мазью, имеющей такой же состав, что и мазь для тела. Впрочем, можно усесться и на вилы, на метлу, а иногда на козла или на пса — это, как говорится, по выбору. Усевшись, ведьма вылетает обязательно через печную трубу и мчится по воздуху на дьявольское сборище. По прибытии на место дорогу гостью встречает хозяин пиршества — сам дьявол в образе козлица или пса, а иногда человека, блистающего сверхъестественной красотой. Сатанинский бал освещается страшными огнями, испускающими густые клубы черного дыма. Слетающиеся со всех сторон ведьмы воздают поклонение дьяволу, знаками этого поклонения являются особые позиции тела; так, например, ведьмы приседают на корточки, но вместо того, чтобы склонить голову перед демоном, закидывают ее назад или становятся с ним спиной к спине. Иные усердные поклонницы преподносят дьяволу черные свечки или мясо младенцев и прикладываются к нему устами, но опять-таки не к тем частям тела, куда обычно адресуются поцелуи. Всякого рода посрамления церковной обрядности и надругательства над нею, конечно, являются действиями, наиболее угодными дьяволу.

Времяпрепровождение на шабашах поясняется в рассказе того же автора. Прежде всего идут танцы, потом садятся за стол, щедро уставленный всякими блюдами, иногда чрезвычайно вкусными и лакомыми, а иногда разной гнилью и гадостью — это уже смотря по достоинству гостей. За столом располагаются в различном порядке. Иногда около каждой ведьмы садится ее кавалер — дьявол, так и сидят парами. Иногда же дамы садятся по одну сторону стола все в ряд, а кавалеры напротив, тоже все рядом. Перед едой произносится нечто вроде благословения яств и питья, но, конечно, в богохульном смысле. И заканчивается трапеза тоже возгласениями подобного же рода. Танцуют, обязательно держась спина к спине. Иногда на балу бывает музыка — скрипки и гобои, иногда все танцующие поют и пляшут под свое пение. Иной раз присутствующие на шабаше гости

оставались с открытыми лицами, иной раз маскировались. Эта предосторожность считалась не лишнею среди ведьм, потому что на шабаше могли быть самые неожиданные и неприятные встречи близких соседок и даже родственниц. Обыкновенно пиршество заканчивалось тем, что каждая ведьма отдавала хозяину пиршества, т. е. сатане, подробный отчет во всех пакостях, которые ей удалось совершить со времени их последнего собрания. Она в конце отчета удостаивалась либо похвалы и награды за рвение, либо нагоняя за нерадивость; нерадивых иногда тут же жестоко били.

Шабаш оканчивался с первым пением петухов. Вспыхивал ослепительным огнем и превращался в груды черного пепла хозяин пиршества. Захватив по горсти волшебного порошка, ведьмы лихорадочно искали брошенные где попало палки и метлы, чтобы поскорее отправиться восвояси. И вот по бледному рассветному небу над острыми шпилями церквей и тупыми зубцами крепостных башен мчали они в обратный путь. Скорей, скорей, пока не пропели третьи петухи, пока не прозвучал первый удар колокола. И вот уже знакомая печная труба показалась вдаль, вот она уже под ногами, вот уже кирпичи обдирают тело, и задышающаяся, спасенная, счастливая ведьма валится плашмя на пол в своем доме.

Женщины, очнувшись после сна, переполненного подобными видениями, были твердо убеждены в их реальности. И теперь даже днем они продолжали жить по законам ночи. Они ощущали себя ведьмами и поступали так, как, по их убеждению, должны были вести себя сестры дьявола. Положение обязывает! По внешности соблюдая церковные обряды, они неприметно глумились над ними. Сделав вид, что проглатывают причастие, после тайком выплевывали его. Оглянувшись — нет ли кого поблизости! — строили рожи иконам. Молитвы читали наоборот, начиная последним и кончая их первым словом, что превращало святые слова в чудовищную абракадабру. Народные суеверия предоставляли в их распоряжение целый арсенал диковинных и страшных средств. Стоило, например, спустить наполовину чулок с ноги, произносить при этом заклинания, как поднималась буря. Можно было вскипятить в котле щетину поросенка, прошептав над этим варевом заветные слова, и над округой появлялись тучи саранчи, пожирившей посевы. Пусть в девяносто девяти случаях чулок спускался с ноги напрасно, но в сотый раз действительно разражалась буря, срывающая крышу с дома ненавистного соседа, и ведьма торжествовала. Пусть поросычья щетина долгое время не вызывала никаких трагических последствий — все это до поры! — однажды все же получилось так, что ведьма ее сварила, а через неделю на поля упала саранча. О совпадении не могло идти речи, ведьма вызывала бурю и добилась ее, она варила щетину — и саранча прилетела!

Неразвитый, но изощренный ум, работавший в одном направлении, выковывал ложную логическую цепочку, соединявшую реальное с нереальным. В действиях ведьм мы найдем множество приемов первобытной магии, один из основных принципов которой заключался в том, что сходные причины вызывают сходные следствия. Магический обряд имитировал лишь самую простую — напрямую — взаимосвязь между человеком и природой. Вернее, не природой в целом, а отдельным природным явлением. Разбрызгивай воду изо рта — и с неба пойдет дождь. Порази изображение зверя — поразишь самого зверя. И ведьмы сплошь и рядом поступали именно таким образом, только не на пользу, а, как им казалось, во вред людям.

Сознание своего тайного могущества поднимало ведьму в собственных глазах на недостижимую высоту. Шутка ли дело, она может вызвать дождь и град, накликать болезнь и смерть, разорить богача, расстроить семейную жизнь. Да мало ли еще что она может! Ее тешило и забавляло несоответствие своего скромного положения в жизни — крестьянка или горожанка — с подлинной властью, которой она

может пользоваться как захочет. Какое сладостное чувство! Дурак муж, трясущийся над каждым грошем, держащий ее взаперти, даже и не подозревает, что его жена богаче и могущественнее всех королей мира и что к ее услугам самые красивые кавалеры на свете. Смирено потупив глаза, она слушает его нудные нотации, а сама мысленно представляет предстоящий шабаш. А этот тупой поп, принимающий у нее исповедь, разве он догадается о ее тайном и сокровенном? И она, пряча улыбку, выкладывает свои невинные прегрешения — в постный день выпила молока, загляделась через оконную решетку на прохожего красавца, — в то же время рисуя в воображении соблазнительные картины своих ночных походов.

Добавьте еще к этому, что какая-нибудь Марго или Като обладала артистической жилкой и, почувствовав себя ведьмой, применила к делу свои природные способности. Можно представить, какие фокусы она придумывала, чтобы ошеломить и запугать соседей! «Пока вы донесете инквизиции, — шипела Марго, — я переморю всю вашу семью, заставлю корчиться в падучей, есть свой помет. И, — грозно прибавляла зловещая красотка, — заставлю добавок умереть без покаяния, так что мы с вами еще и в аду встретимся, а уж там-то я вам задам перцу».

Ведьмы — явление многогранное, и одна из его граней никем, кажется, пристально не рассматривалась. Мрачная и уродливая, но невероятно сильная и дерзкая попытка женской эмансипации видится мне в этой грани.

Как же отнеслась церковь к этому явлению? Представьте себе, что вначале она растерялась. Ведьмы преступно присваивали себе не принадлежащие человеку прерогативы. Они властвовали над чудом, они творили чудо, они жили в чуде. С выработанным на все враждебное чутьем, церковь сразу уловила связь этого явления с язычеством. И на первых порах именно так и с этой стороны оценила ведьмовские действия. От очень далеких, еще доинквизиционных времен IX века до нас дошло соборное постановление, где содержится прямое указание на это: «Некоторые нечестивые женщины, обратившись к сатане, совращенные прельщениями и наваждениями нечистой силы, думают и говорят, что они по ночам ездят верхом с Дианою на спине некоторых животных, в сообществе с бесчисленным множеством женщин, и пробегают огромные пространства, повинувшись приказаниям Дианы как своей госпожи, которая сзывает их в известные ночи. Если бы еще они одни только погибали в своем нечестии! Но они увлекают с собой много людей. Бесчисленные толпы, обманутые этим ложным верованием, верят во все выдумки и впадают, таким образом, в языческие заблуждения. Поэтому священники должны повсюду проповедовать, что они знают ложность этих заблуждений, что эти наваждения насылаются злым духом, совращающим людей во сне. Кому из нас не бывает сновидений? Кто из нас не видит во сне много таких вещей, которых никогда не видал наяву? Кто будет настолько безумен, что станет утверждать, что тело испытывает действие того, что происходит только в одном уме? Нужно во всеуслышание говорить, что всякий, кто верит в подобные вещи, потерял веру, а всякий, кто не сохраняет истинной веры, принадлежит уже не богу, а дьяволу».

Очень любопытный документ. Борясь с мифологическими представлениями, авторы его обращаются к рационалистическим доводам: «Кто из нас не видит во сне много таких вещей, которых никогда не видал наяву?»; подчеркивается массовость явления — «бесчисленные толпы... впадают в языческие заблуждения». Такая массовость исключала пока общие репрессалии — народ жил еще в двоеверии, церковь существовала в окружении полуязыческой стихии.

Церковники в своих усилиях уничтожить остатки язычества предпочли смотреть на эти ночные сборища как на пустую выдумку и объявили еретиками всех, кто верил в их существование. Так продолжа-

лось несколько столетий, пока церковь не ощутила себя всевластной. Теперь рассказ о ночных прогулках приобретал в глазах церковников характер признания в доподлинной связи с сатаной. Прежняя теория, утверждавшая, что это обман воображения, устарела. Зафиксированная в давних церковных кодексах, она, казалось бы, освящалась всем авторитетом католицизма, но ее решили дезавуировать и не опровергая соборных постановлений. Инквизитор Николай Жакерий (Жакье) нашел в 1458 году остроумное решение затруднительного вопроса, заявив, что современные ведьмы совершенно отличаются от тех ведьм, которые жили в добрые старые времена. Тем действительно представлялись во сне их нечестивые дела, а сейчас — всем известно — ведьмы их и впрямь совершают. Другая трудность заключалась в том, что церковь прежде не считала возможным преувеличивать могущество сатаны, позволявшее ему переносить человеческое тело по воздуху. Ее преодолели горестным соображением, по которому господь в наказание за людские грехи, безмерно увеличившиеся в последнее время, попустил увеличение сатанинского могущества. Между виднейшими столпами церкви кипели споры, окончившиеся победой новых взглядов. Альберт Великий, доказывая епископу парижскому их правоту, ссылаясь на случай с дочерью графа Шваленберга, которую бесы уносили регулярно каждую ночь; это свидетельство крупнейшего авторитета чрезвычайно обрадовало сторонников новых воззрений. Дело кончилось тем, что собрали массу примеров, подтверждающих такое расширение могущества сатаны.

И дело пошло. Ведьм стали сотнями и тысячами призывать к ответу. Судья и жертва общими усилиями успешно составляли связную историю, соединявшую древние народные верования и разную клевету о ночных еретических сборищах. Вскоре стали считать неполным всякое признание, если оно не сопровождалось тщательным описанием регламента шабаша, полная картина которого была уже известна инквизиторам по обобщенным показаниям прежних жертв. Чем беднее было изображение несчастной ведьмы, тем больше ей доставалось — каждое упущение рассматривалось как заpiresательство. «Постой, ты еще не сказала, что среди яств на дьявольском пиру было мясо младенцев». — «Не помню...» — «Сейчас вспомнишь!» И ведьму вздергивали на дыбу.

Инквизиторы, допрашивавшие и осуждавшие ведьм, были учеными людьми, постигшими все тонкости римского и канонического права. Они были искусшены не только в логике, но и в софистике: любая нелепица быстро находила объяснение в их высокоумных головах. Терезу и Беатрису поставили на очную ставку. Тереза утверждает, что они вместе украли, перенесли на шабаш, а там сожрали соседского ребенка. «Она лжет, — вопит несчастная Беатриса, — маленький Педро бегает по улицам цел и невредим, я сама его видела». «Лжешь ты, а не она, — обрывает ее суровый доминиканец. — Вы его действительно съели, а потом воскресили и пустили бегать по улицам. Он, конечно, скоро умрет, такие создания долго не живут, но вам это понадобилось, чтобы замести следы. Не удалось!» И Беатрисе теперь уже наверняка грозит костер, в то время как Терезе предстоит, может быть, лишь долготелее заключение. В средневековых процессах ведьм государственная религия сжигала на кострах народную мифологию. Вместе с ней сжигались народная медицина, народное искусство, народная поэзия.

Начнем с медицины. Полностью привязав ведьм к сатане (о Диане и Бахусе теперь уже не вспоминали), церковь присоединила к ним колдуний и знахарок. Если средневековый город еще был как-то причастен к врачебной науке, о чем свидетельствует гротесковая фигура Доктора в старинных фарсах, то деревня полностью обходилась своими средствами. От бабки к внучке передавались сведения о свойствах лечебных трав, умение врачевать раны, навыки акушерства. Эти

сведения были густо замешаны на приемах первобытной магии, заговорах и заклинаниях. Мы сейчас можем лишь гадать, помогали они или вредили делу. Арника останавливает кровь и без всякого заговора, но бормотание лекарки, ее пронзительные глаза, странные жесты, наверное, действовали гипнотически и могли впрямь утишить боль при заживлении раны. Тут шло одно к одному. Но не будем отвлекаться в сторону — это вопрос, которым должны заниматься врачи, а не поэты. Возьмем как данное неразрывность тогдашнего лечения и заклинания. И вот последнее-то, а вслед за ним и первое церковь объявила дьявольским делом. После знахарок принялись за повивальных бабок. Против них выдвинули обвинение, что они, принимая ребенка, тут же посвящают его сатане. И опять запылали костры.

Народное искусство, тесно связанное с древними обрядами, подвергалось жестокому преследованию. Ночные сборища происходили не только в воображении ведьм. Игры и танцы на залитых луной лугах и полянах были милы молодежи, даже и не помышлявшей о шабашах. Но эти игры и пляски несли на себе след языческой старины, и церковь тоже взяла их под подозрение и наложила на них безоговорочный запрет.

Поэзия неотделима от фантазии. Образное мышление народа насыщало миф прекрасными фантастическими существами — феями и эльфами, церковь оттеснила их в ряды злой нечисти и прокляла песни, слагавшиеся в их честь и память.

Вместе с народной мифологией сжигалось на кострах опасное женское вольнолюбие. Легенда о женском консерватизме была слеплена из пепла этих костров. Женщина в своем бунте против семьи, религии, государства шла неизмеримо дальше и безогляднее, чем мужчина. В средние века эта цепочка была неразрывной: семья и государство держались на религии, а религия опиралась на семью и государство. Мало того что опиралась, но проникала во все их поры. И вот женщина одним движением руки разрывает цепочку и отбрасывает от себя крест, замыкающий ее. Ни один самый яростный еретик-мужчина не нашел дерзости пойти так далеко. Какое-то звено цепочки он оставлял все-таки про запас, чтобы присоединять к нему вновь выковыриваемые звенья. Одни отвергали государство, но оставляли религию, другие покидали церковь, но удерживали Христа, иные проклинали семью, но молились богу и подчинялись кесарю. А тут ни бога, ни кесаря, ни черта... Нет, черт-то как раз и остается. Остается? Скорее разыскивается и принимается как символ полного отрицания всех, и божеских и человеческих, установлений.

Бунт дикий, мрачный, беспорядочный, но невероятно дерзкий и привлекательный в своей бескомпромиссности. Эти ночные амазонки вызывают у меня чувство, граничащее с восхищением. Какие отчаянные головы!

Церковь моего восхищения явно не разделяла и выжигала огнем разраставшееся ведьмовство. Процедура инквизиционных трибуналов действовала точно, пытки помогали признаниям, а признания вели прямым путем на костер. Подозрительность, вымогательство, карьеризм — постоянные спутники черного дела — приводили в застенки тысячи женщин, уже совсем не причастных к обвинениям, которые против них воздвигали злоба и зависть. А попав туда, они уже не могли выйти из очерченного круга. Чудовищными пытками и тяжелейшим нравственным давлением их заставляли признаться в служении сатане. Тут уж были не самооговоры, вызванные галлюцинациями, а циничное вынуждение нужных инквизиции показаний.

Появились подробные инструкции о допросах ведьм, начался даже своеобразный обмен опытом среди отцов инквизиторов. Наиболее известным плодом такого профессионализма стал появившийся в 1487 году «Молот ведьм». Эту поучительную книгу я прочел в русском переводе, она вышла у нас в начале века. Чтение ее захва-

тывает посильнее, чем любая современная фантастика. Время от времени откидываешься на спинку кресла, проводишь рукой по лбу и который раз удивляешься изощренности и извращенности злого ума. Авторами книги были немецкие инквизиторы Яков Шпренгер и Генрих Инститорис. Первая половина сочинения, состоящего из двух частей, посвящена тому, какие, собственно, бедствия причиняют ведьмы человечеству и чем они вообще занимаются. Вторая часть говорит о том, какие следует принимать против них меры и как наказывать. Кто не верит в существование ведьм, тот впадает в ересь. Наказанием для ведьм должна быть смерть даже тогда, когда они каются и возвращаются в лоно католицизма. Все ведьмы находятся в половой связи с дьяволом, и это всем известно. Ведьмы — все женщины, т. к. женщина вообще олицетворяет собой неверие, бесчестие, разврат и т. д. Мужчины умнее и надежнее женщин, а потому они не так поддаются дьявольскому наваждению.

Книга изобилует множеством примеров из инквизиционной практики. Наибольшее впечатление, однако, произвело на меня одно такое рассуждение Якова Шпренгера. Когда он лишь начинал свою полезную деятельность, ему не хотелось верить, что пагубной ересью могут быть заражены и малые дети. Помнится, он даже отпускал с миром восьми- и десятилетних девочек, подозреваемых в ведьмовстве. Правда, он отпускал их, пренебрежительно высекая розгами, но такое пустяковое наказание не в счет. Как он заблуждался! Теперь, по прошествии сорока лет, умудренный опытом бесчисленных процессов, он знает, что могущество сатаны таково, что и дети включаются в его круг. И пламя костра является для них истинным благодеянием, ибо, освобождая душу от греховной оболочки, оно спасает их для милости божьей. И он, Шпренгер, без всякого колебания посылает на костер малолетних ведьм и рекомендует поступать таким же образом всем своим почтенным коллегам.

Труд этих детоубийц и людоедов пользовался большим авторитетом, к нему прибегали как светские, так и духовные судьи для установления того, является ли данное лицо ведьмой и какое следует наложить на него наказание.

Теперь во всех концах Европы ведьм сжигали уже не сотнями, а тысячами. Это не преувеличение. Один только лотарингский судья Ремигиус за несколько лет своей энергичной деятельности сжег 900 ведьм. Но странное дело! Чем ретивее сжигали ведьм, тем больше появлялось их вновь. Почтенные каноники хватались за головы не в силах объяснить удивительное явление. Кто сеет ветер, тот пожнет бурю! А инквизиция сеяла этот смрадный ветер, разносивший семена подозрительности по селам и городам. Они прорастали доносами и наветами, фантастическими обвинениями и домыслами. От неверной жены, сварливой соседки, счастливой соперницы можно было легко избавиться, объявив ее ведьмой. Наряду с этим все больше женщин проникались страстным желанием испытать соблазнительные ощущения, вызываемые колдовскими мазями и напитками, преступить закон, бросить вызов самому богу. Запрет греха рождал искушение предаться ему с удесятеренной силой. Росло число отравлений, увечий, тайных и явных преступлений. Женщины, ощущавшие себя ведьмами, старались оправдать свою репутацию перед своим ночным повелителем, которого они видели в лихорадочных снах. Общество развращалось, падало нравственно. И чадные языки инквизиционных костров освещали путь его падения.

Церковь почувствовала опасный крен, который приобретал хорошо оснащенный корабль инквизиции, решительно рассекавший бурные волны еретического моря. Опасным креном было признание такого могущества сатаны, которое стало преобладать над господним всемогуществом. Одним божьим попушением такое катастрофическое распространение ведьмовства объяснить уже было нельзя,

такое объяснение было пригодное лишь при возникновении инквизиции, теперь дело обстояло по-другому. И, главное, обстояло не лучше, а хуже — число ведьм росло, а не уменьшалось.

Затем у католической церкви появились теперь куда более опасные враги — гуситы в Чехии, гугеноты во Франции, протестанты в Германии, пуритане в Англии, — составлявшие вместе движение реформации XVI—XVII веков. Это широкое движение по своей социальной и духовной направленности не шло, конечно, ни в какое сравнение с беспорядочным и индивидуалистическим (несмотря на его массовость) бунтом ведьм. Реформационное движение выражало глубокие перемены, происходившие в самых недрах феодального общества. В огне и крови крестьянской войны в Германии, гугенотских войн во Франции, нидерландской и английской революций рождался новый класс — буржуазия.

Реформация имела ярко выраженную антикатолическую тенденцию, и против нее в первую очередь должны были обратиться главные силы римской церкви. Гонения на ведьм стали мало-помалу стихать, была снова извлечена на свет старая теория о том, что их действия являются плодом «нечестивого воображения». А это значило, что костер стал уступать место заключению и епитимье.

Процесс этот протекал, конечно, по-разному в разных странах и растянулся на многие десятилетия. Но характерно, что, например, в Вальядолиде — городе, так сказать, классической испанской инквизиции — с 1622 по 1667 год из 677 процессов было уже лишь 5 против ведьм, причем последний процесс состоялся в 1641 году.

Вера в ведьм держалась еще долго, но привлекали их к ответственности все реже, а в XIX веке и совсем прекратили. Последние два случая обвинения в ведьмовстве относятся к 1815 году в той же Испании, где католицизм наиболее цепко держался за свои позиции.

Протестанты вначале стали жечь ведьм с не меньшим усердием, чем католики. Кальвин в Женеве, мечая грома и молнии против римской церкви, неистовствовал не хуже какого-нибудь Ремигуса, отправляя несчастных женщин на свои, так сказать, уже реформированные костры.

Английские пуритане тоже приложили руку к этому делу, а их потомки, переселившиеся за океан, мрачно прославили себя бостонскими и салемскими процессами, вошедшими в историю под именем «охоты на ведьм». Любопытно, что главной свидетельницей обвинения на процессах в Бостоне была четырнадцатилетняя Ханна Пэрриш. Истеричная и злая девчонка, подогретая тупым и фанатичным пастором Каттоном Матером, оговорила многих женщин, отправленных потом на виселицу.

Но такого разгула ведьмовства, какой был прежде, уже не наблюдалось. Сухой и рационалистичный подход к любым явлениям, в том числе потусторонним, характеризовал протестантский мир. И ведьмы в нем не прижились. Да и время уже было другое — наука начала теснить религию и суеверие. Последователи Коперника и Ньютона по-новому смотрели на древние заблуждения, и те таяли и исчезали под их ясным взглядом.

Ведьмы на Руси — их возникновение, история, отношение к ним православной церкви — должны стать предметом отдельного повествования. Заметим лишь, что русское ведьмовство не носило такого эпидемического характера, какой оно приобрело в Западной Европе. Инквизиции на Руси не было, и костры, вспыхивая от поры до поры, никогда не соединялись в такое пожарище, которое наблюдалось во Франции или Германии. Но сама история русского ведьмовства достаточно интересна и без таких исключительных явлений. Повторяем, однако, что это тема отдельного рассказа.

Какие мысли возникают при ознакомлении с давним вопросом о ведьмах? Первое соображение: ведьмы — оживший миф в века государственной религии. Противоречия между мифологическим сознанием и религиозным мировоззрением предопределили борьбу церкви с ведьмами.

Второе — в этой борьбе разгорелся чадящим пламенем темный и яростный бунт женщины против церкви, освящавшей ее порабощение в рамках семьи, религии, государства.

Третье — несмотря на неравные силы сторон, эта борьба окончилась, по сути, вничью, когда новые исторические условия сняли ее с повестки дня. Церковь не смогла победить ведьм, а ведьмы, разумеется, не могли победить церковь.

Четвертое — борьба окончилась вничью, но дерзкая и фантастическая попытка женской эмансипации не прошла бесследно. Женщина заставила если не уважать себя, то бояться, а это было далеко не лишним в ее неравноправном, подчиненном положении.

Пятое, и последнее: в нашем очерке мы дали общий обзор вопроса, оставив в тени многие его стороны. Историки культуры, правоведаы, психологи, ученые других специальностей могут найти здесь богатый материал для исследований. Но нашей задачей было дать представление о самой сути этого вопроса, что мы и попробовали сделать.

Шекспировские «пузыри земли», о которых не мог «говорить без волнения» Блок, яростные и буйные, но в то же время притягательные создания народной фантазии, — ведьмы заканчивают свой ночной полет на моих дневных страницах.

Масштаб личности человека определяет его судьбу. Сергей Сергеевич Наровчатов не ждал, чтобы его позвали защищать правое дело, — он шел сам и вел за собой других. Так было во всем — в жизни, когда девятнадцатилетним юношей Наровчатов ушел добровольцем на войну с белофиннами, прошагал с полной выкладкой всю Отечественную. Так было и в литературе. В каком бы жанре он ни работал, это было всегда художническое открытие, новинка. Так было и в важнейшей для него деятельности главного редактора нашего журнала.

«Литература стала моей жизнью с самых юных лет, — читаем мы в его последнем интервью. — Ей я отдаю все, что отпущено мне природой, все, что накоплено благодаря постоянному стремлению читать, учиться, отыскивая прекрасное и полезное среди созданного великими творцами всех стран и народов. Многим, наверно, хорошо знакомо счастливое чувство, переживаемое всякий раз заново, — встретилась глубокая мысль, задела точная, в сердце проникающая строка... Как важно не растерять это умение восхищаться огромным богатством, которым мы по праву владеем! И как радостно мне бывает, когда на мой редакторский стол в журнале «Новый мир» ложится талантливое произведение, которое при нашем посредничестве вскоре станет достоянием любителей словесности!»

Благодарно вспоминая тех, у кого училось прекрасное братство поэтов-фронтовиков, постоянно ощущая вечную и нерасторжимую связь с ныне здравствующими и уже ушедшими членами этого братства, Наровчатов знал твердо: «...это люди, бесконечно преданные своему призванию, истинные коммунисты, доказавшие и на полях сражений, и своей творческой деятельностью, что идеалы молодости достойно пронесены через всю жизнь».

В дневниках Наровчатова выделена запись из письма Блока Р. Ивневу (17 ноября 1911 года). Вот она: «Кто прозорлив хоть немного, должен знать, что в трудный писательский путь нельзя пускаться налегке, а нужно иметь хоть в зачатке «Во Имя», которое бы освещало путь и питало творчество».

Запись эта сейчас прочитывается как эпитафия ко всей жизни и деятельности Сергея Сергеевича Наровчатова. Он всегда, с ранних лет знал, во имя чего живет.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Г. ГЕРАСИМОВ



ФИЗИОГНОМИКА ЯДЕРНОГО МАРСА

Как-то поспорили двое американских ученых. Профессор физики Иллинойского университета Г. Дудли заявил, что не исключена возможность уничтожения всей нашей планеты в результате возникновения цепной реакции в атмосфере или в Мировом океане после термоядерного взрыва.

Профессор физики Корнеллского университета Ганс Бете возразил коллеге: такая возможность исключена. Проблему изучала специальная группа экспертов еще в годы работы над первым атомным оружием. Его создатели не были уверены, а не кончится ли испытание творения их рук концом света. Соответствующий доклад был рассекречен в феврале 1973 года. Вывод безоговорочный: всеобщая катастрофа невозможна.

— Конечно же, я полностью согласен с Дудли в том, — сказал Ганс Бете, — что ядерной войны допускать нельзя. Просто ни к чему добавлять домыслы к уже имеющимся многочисленным разумным аргументам против ядерной войны.

Дудли в свою очередь возразил:

— Вы молчаливо исходите из предпосылки о правильности принятых в данный момент в физике теорий, определяющих все возможные параметры ядерных реакций. Позволю себе заметить, что нынешняя ядерная технология ушла далеко вперед от теорий, концепций и моделей 1946 года, до сих пор используемых для объяснений ядерных явлений.

Арбитром в споре выступил профессор физики Массачусетского технологического института Бернард Фелд, являющийся также и главным редактором авторитетного журнала «Бюллетень ученых-атомников — наука и общественные проблемы». Фелд согласился с Бете, доказывавшим невозможность уничтожения человеком его обители — Земли.

Но Фелд нашел в этом мало утешительного. Он задал себе вопрос о том, а что же останется на Земле в случае ядерного конфликта. Если, скажем, взорвать над территорией размеров Соединенных Штатов, или Западной Европы, или Советского Союза 200 единиц стратегического ядерного оружия, будет выведено из строя две трети промышленного потенциала и треть людского. Эти цифры впервые появились в докладе комиссии экспертов Генеральному секретарю ООН, подготовленном еще в 1967 году. Эти цифры, кстати, не включали последующих жертв от выпадения радиоактивных осадков.

Возникает методологический вопрос: почему 200 единиц оружия, а не 1200 или не 5 тысяч? Столько тоже есть. И даже больше. Предполагается, что ядерные арсеналы насчитывают 40 тысяч боеголовок. В переводе — миллион Хиросим. Для наглядности — по 3 тонны взрывчатки каждому.

Но цифра 200 появилась не случайно, а из глубокомысленных выкладок западных стратегов. Считалось, что таковыми должны быть минимальные силы ответного удара, должны нанести противнику «неприемлемый ущерб» в случае его выступления с первым ударом. Цифра родилась из сугубо гипотетических рассуждений об умозрительно возможных вариантах ядерных столкновений.

Чаще всего оценки возможных последствий ядерного конфликта и делаются на основе произвольных количественных ограничений в использовании ядерного оружия в ходе такого конфликта. Отсутствие проверенного практикой мерила затрудняет представить масштабы и последствия ядерных разрушений.

Случившееся в августе 1945 года в Хиросиме и Нагасаки не может служить контрольным опытом.

Конечно, человечество обязано помнить о Хиросиме, чтобы она никогда не повторилась. Но с точки зрения ознакомления с военной техникой путешествие в Хиросиму — это поездка в прошлое. Нынешняя водородная бомба сильнее той, что была по заслугам названа «Малюткой» и сброшена на Хиросиму, в 2500 раз.

Газеты приучили читателя к мегатоннам, и, встречаясь с этими «стенографическими значками», сокращениями ядерной терминологии, многие не успевают задуматься над тем, что греческая приставка «мега» означает миллионный коэффициент умножения. А ведь если собрать воедино все взрывы второй мировой войны и устроить единственный колоссальный взрыв, то он будет равен 3 мегатоннам и окажется слабее многих нынешних ядерных бомб.

Ядерную бомбу можно создавать какой угодно по мощности, в крайнем случае для определения ее тротилового эквивалента можно ввести новую меру — гигатонну, равную триллиону тонн. Воспользовавшись еще одной греческой приставкой, можно сказать, что мегатонна превратила войну в мегавойну. Если взять бомбу в 100 мегатонн и перевести ее на 100 миллионов тонн взрывчатки, то получится «брусок» шириной в городской квартал, высотой в стоэтажный небоскреб и длиной в 30 кварталов. Радиус сплошного поражения такой бомбы — свыше ста километров. Она несет смерть от радиоактивных осадков на расстояние до тысячи километров от эпицентра взрыва.

Время от времени проводились расчеты последствий взрыва той или иной мощности над тем или иным конкретным городом. Например, Том Стониер еще в 1963 году опубликовал исследование «Оценка биологических последствий и последствий для окружающей среды взрыва мощностью в 20 мегатонн над площадью Коламбус-серкл в Нью-Йорке». В то время журнал «Сайентифик америкэн» расценил его как «первую попытку взвесить физические, биологические, экономические и социальные последствия такой катастрофы в их взаимодействиях друг с другом».

Стониер описал поражающее действие ядерного взрыва в общепринятой последовательности. Сначала рассказывается об ударной волне и о том, что означает для людей избыточное давление, например, в 50 фунтов на квадратный дюйм (смерть). Затем описано световое излучение и показано, что означает для человека световой импульс, например, в 30 калорий на квадратный сантиметр (смерть). Далее рассматриваются проникающая радиация и радиоактивное заражение местности, уточняется, что несет клеткам человеческого организма доза облучения, например, в 1000 рентген (смерть).

Стониер особо выделяет световое излучение, на которое расходуется треть энергии взрыва — 7×10^{15} калорий для бомбы мощностью в 20 мегатонн (можно вскипятить 10 миллионов тонн морской воды). Маленькое солнце, созданное на несколько секунд человеческими руками, поджигает все, что может гореть. Возникает так называемая огненная буря. Что это такое, узнали жители Гамбурга во время масштабного налета на их город в июле 1943 года. Огненная буря начисто выжгла 12,5 квадратных миль в центре города. Скорость ветра в сторону пожара была ураганной, а температура в горящих кварталах, по данным гамбургской полиции, держалась на уровне 800 градусов.

Огненная буря в Хиросиме была меньше и выжгла около 4,5 квадратных миль, в Нагасаки она вообще не возникла, но для нынешних ядерных бомб мегатонного калибра площадные пожары и огненная буря становятся неизбежными спутниками — ведь непосредственно огненный шар при взрыве бомбы мощностью в 20 мегатонн имеет диаметр в 4,5 мили и покрывает по площади более 15 квадратных миль.

Для наглядности автор делает предположение, что над центром Нью-Йорка взорвана бомба мощностью в 20 мегатонн. По его весьма детальным подсчетам, погибнут 6 из 8 миллионов жителей Нью-Йорка и миллион жителей пригородов.

Таковы последствия взрыва одной бомбы. Чтобы представить последствия ядерной войны, надо помножить ужасы Нью-Йорка на трехзначную или четырехзначную цифру.

Далее автор рассматривает послевоенную ситуацию. Он пессимистически оценивает возможности быстрого восстановления городского хозяйства. Он вспоминает хаос, возникший в Нью-Йорке в июне 1961 года, когда на четыре часа была прервана подача электроэнергии. Люди застряли в лифтах, остановилось метро, больницы

перешли на аварийное энергопитание. Маленькая авария вызвала серьезные перебои ритма городской жизни.

Затем Стониер пишет о трудностях в организации медицинской помощи пострадавшим. В Бостоне достаточно врачей и больниц. Однако когда 28 ноября 1942 года там возник пожар в ночном клубе, жертвами которого стали 500 человек, полностью мобилизованные медицинские силы города еле-еле справились с оказанием помощи обожженным. Ядерный взрыв означает в тысячи раз большее число жертв при одновременном уничтожении части медицинского персонала, медикаментов и больниц. В Хиросиме, например, оказалось возможным использовать для оказания первой помощи лишь 3 из 45 городских больниц. Были убиты или ранены 90 процентов врачей и медицинских сестер города.

В 1961 году журнал «Нью Инглэнд джорнэл оф медисин» опубликовал прогнозы на случай ядерного взрыва в штате Массачусетс. На каждого врача в Бостоне следует ожидать 1700 тяжелораненых. Если врач будет уделять каждому по 10 минут и работать 20 часов в сутки, потребуется около двух недель, прежде чем он осмотрит каждого раненого в первый раз. При этом предполагается, что местность не будет заражена радиоактивными осадками. В противном случае раненые будут предоставлены судьбе.

А эпидемии? Пандемия гриппа, прошедшая в 1918 году по обессиленной войной Европе, унесла 21 миллион жизней, в два раза больше, чем сама война. Такого рода бедствие не повторилось в 1945 году, но это не значит, что человечество приобрело иммунитет. Массовые разрушения и миллионы кеубранных трупов создадут благоприятные условия для возникновения эпидемий.

Автор обращает внимание читателя и на то обстоятельство, часто игнорируемое человеком в силу его эгоцентричности, что жертвами войны станут непричастные зрители: растения, животные, насекомые. Они понесут неравные жертвы, что приведет к нарушению биологического равновесия в земной природе. Птицы гибнут от малых доз радиации, а насекомые и микробы к радиации мало чувствительны. Возможно быстрое размножение насекомых и налеты прожорливых тварей на опустошенные войной поля. Наверняка погибнут многие леса, что приведет к эрозии почвы. Стониер приводит пример изменения природных условий в результате опустошительной войны. Долина рек Тигра и Евфрата была в древние века процветающей. После нашествия монголов в середине XIII века значительная часть населения погибла, ирригационные сооружения оказались разрушенными. Спустя семь веков население Месопотамии не достигает и трети бывшей численности.

В книге Стониера рассматривается еще один аспект проблемы, игнорируемый сторонниками приемлемости ядерной войны,— психологический. Каково будет поведение людей в катастрофических условиях? В Хиросиме наблюдались случаи апатии, потери интереса к жизни, не говоря уж об инициативе, столь необходимой при спасательных работах.

Возможны случаи паники — автор приводит пример поведения людей во время гибели «Титаника» в 1912 году. Возможны случаи массового психоза. В 1665 году во время эпидемии чумы в Лондоне соседние города выставили стражу, не впускавшую беженцев из Лондона. «Три столетия спустя,— пишет Стониер,— всего лишь угроза ядерной войны возродила аналогичный образ мышления в Соединенных Штатах. Представители гражданской обороны уже подготовили пути для эвакуации, и в штате Невада местные власти изучали вопрос о создании специальных сил для отражения возможных беженцев из подвергшихся бомбардировке районов Южной Калифорнии».

Конечно, трудно представить в совокупности последствия ядерной катастрофы. Но всякий здравомыслящий человек согласится с выводом автора о том, что человеческому обществу будет нанесен колоссальный ущерб. «Эта книга,— подчеркивал Стониер,— должна совершенно ясно показать, что термоядерное нападение является быстрейшим способом устранить страну со столбовой дороги истории. Ни одна страна не может рассчитывать на исключение. Непрмышленные страны не смогут справиться с медицинскими и экологическими проблемами, возникшими в результате выпадения радиоактивных осадков. Промышленные страны не перенесут разрушения городов».

Стониер справедливо оговаривается, что его книга — это не «болезненный калейдоскоп человеческих страданий», а попытка, опираясь на научные данные, показать,

что ожидает людей после ядерной катастрофы. Она написана, следовательно, не для того, чтобы запутать читателя, а для ознакомления его с реальными обстоятельствами, после которого он обязан сделать практический вывод. Вывод этот, говоря словами автора книги, состоит в том, что «забота о мире является не только чрезвычайно разумной и уважаемой, но для нашего поколения стала обязательной».

После работы Стониера было, разумеется, много других одна другой мрачнее. Так, в 1975 году Национальный научно-исследовательский совет при Национальной академии наук США опубликовал доклад «Долговременные планетарные последствия множественных детонаций ядерного оружия». В нем делаются предположения о последствиях взрыва ядерного оружия суммарной мощностью 10 тысяч мегатонн. Помимо ужасов, которые может представить — впрочем, с трудом — воображение, доклад предсказывает рост ультрафиолетового излучения по причине разрушения защитного слоя озона в стратосфере с отрицательными последствиями для еще уцелевших флоры и фауны, с последующим похолоданием климата, так сказать, «послеядерным ледниковым периодом».

Можно упомянуть арифметику Гарольда Брауна, министра обороны в администрации президента Джимми Картера. Браун подсчитал, что в случае тотальной ядерной войны погибнет до 165 миллионов из 225 миллионов американцев и до 100 миллионов из 260 миллионов русских. Упомяну еще прогнозы Фрэнка Барнаби, английского ученого, возглавляющего Международный институт по исследованию проблем мира в Стокгольме. Барнаби считает, что в случае ядерного конфликта будут сметены с лица земли все города в северном полушарии с населением свыше 50 тысяч человек. Большая часть сельского населения погибнет от радиации, люди, живущие в южном полушарии, станут жертвами радиоактивных осадков, а генетические мутации невозможно предсказать.

Еще одно мнение. В докладе «Обобщенные данные исследования по вопросам ядерного оружия», представленном генеральным секретарем ООН Куртом Вальдхаймом XXXV сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1980 году, говорится: возникновение ядерной войны означало бы «угрозу уничтожения человеческой цивилизации».

Ядерное оружие меняет перспективы человечества — но не сумело изменить мышление некоторых политических и военных деятелей.

Слоны Ганнибала могли растоптать сотню-другую римлян. Стрела арбалета пронзала одного рыцаря зараз. Пулеметы перегревались. Даже запомнившаяся Европе верденская «мясорубка» укладывалась в уравнение: на столько-то немецких пушек столько-то французского пушечного мяса. Хиросима и Нагасаки истощили тогдашний американский ядерный арсенал.

Короче, войны прошлого были, пользуясь сегодняшним термином, ограниченными. Эти потрясения кончались на худой конец национальными катастрофами, но не свегопреставлением. Теперь ядерное оружие способно опустить занавес над всей человеческой историей.

Стала ли истина прописной? Никак нет, ибо отрицателен ответ на вопрос, сделаны ли из этой истины практические выводы о разоружении. В одном из ежегодных докладов стокгольмского Международного института по исследованию проблем мира содержится предупреждение: «Риск возникновения ядерной войны значительно повышается текущими официальными кампаниями, имеющими цель уменьшить опасность перед последствиями широкой ядерной войны». Вот пример. Корреспондент западногерманского еженедельника «Шпигель» задает вопрос Юджину Ростоу, директору американского агентства по контролю над вооружениями и разоружению:

— Угрожает ли ядерная война будущему человечества?

Юджин Ростоу отвечает:

— Да, несомненно, но в конечном счете человечество тоже ведь тяжело пострадало в двух мировых войнах.

Это вариант «объективных» рассуждений небезызвестного Збигнева Бжезинского, успокаивавшего: говорить-де о гибели человечества в ходе ядерного конфликта «эгоцентрично» — погибнет 10 процентов человечества...

Впрочем, еще в начале ядерной эпохи Соединенные Штаты стали приучать мир к приемлемости ядерной войны. Подкомитет по разоружению комиссии сената по иностранным делам направил в ноябре 1958 года несколько вопросов государственному департаменту. Один из ответов гласил: «Да, в интересах США, чтобы люди

осознали тот факт, что само по себе ядерное оружие не отличается от других видов оружия с точки зрения международной морали».

Пожалуй, достаточно этих двух примеров, чтобы убедиться в необходимости заняться физиогномикой ядерного Марса, изучением черт лица войны с применением оружия массового уничтожения. Авторитетное слово здесь за учеными, лучше других знающими творение рук своих.

В позапрошлом году 654 видных деятеля американской науки и медицины выступили с заявлением «Опасность: ядерная война», обращенным к лидерам большой ядерной двойки. Леонид Ильич Брежнев в своем ответе приветствовал вклад американских ученых в «разъяснение губительных последствий для человечества ядерного конфликта между США и СССР, который неминуемо принял бы глобальный характер».

Могут сказать, что страх демобилизует, парализует, что он плохой советчик. Однако не для дрожи в коленках, а для ясности в голове, исходя из формулы «знание — сила», следует разъяснять черты лица ядерной войны. «Такое разъяснение,— писал Л. И. Брежнев в ответе американским ученым,— будет способствовать укреплению воли и повышению активности тех, кто выступает за прекращение гонки вооружений...» Советский руководитель продолжил эту важнейшую тему с высокой трибуны XXVI съезда КПСС: «Народы должны знать правду о том, к каким губительным для человечества последствиям привела бы ядерная война».

Широкий отклик в среде научной общественности большинства стран встретило советское предложение создать авторитетный международный комитет, который показал бы жизненную необходимость предотвращения ядерной катастрофы. Советские ученые поддержали предложение о создании международного комитета на общем годичном собрании Академии наук СССР.

В Советском Союзе председателем Комитета при Президиуме Академии медицинских наук СССР «Врачи за предотвращение ядерной войны» является академик Евгений Чазов. Он говорит:

— Невозможно представить более грозную болезнь, чем ядерная война. Чтобы уберечь людей планеты, нужно не жалеть сил на профилактику, не жалеть сил на создание преград на пути ядерной войны. Ядерное оружие необходимо уничтожить, пока оно не уничтожило людей.

Из приблизительно 30 новых видов оружия, созданных для следующей войны, почти все были первоначально изобретены в Соединенных Штатах: начиная с атомной бомбы и кончая кассетными боеголовками с индивидуальным наведением каждой из них на свою цель. Сейчас сообщают о самолетах «невидимках», якобы неуловимых для противовоздушной обороны противника, системах лазерного оружия и прочей грядущей экзотике ядерно-электронно-ракетно-лазерной войны. Президент Соединенных Штатов Джими Картер имел поэтому достаточные основания сказать, как он это в свое время и сделал, что почти все новые виды оружия до многозарядных ракет, а теперь и до крылатых ракет «были изобретены в демократических странах». Это парадоксальное заявление: зачем странам, называющим себя демократическими, антидемократическое, то есть антинародное оружие массового уничтожения? Возможно, заявление Картера помогает найти ответ на вопрос о ценности западной демократии.

Здесь к месту вспомнить увлечение западных «демократических» стран стратегическими бомбардировками вражеских городов как кратчайшим путем к победе над гитлеровской Германией и милитаристской Японией — в соответствии с военными теориями итальянского генерала Джулио Дуэ. Послевоенное подведение итогов показало, что гибель Гамбурга и Дрездена, Нагасаки и Хиросимы не имела решающего значения для подрыва военного потенциала противника и что гораздо эффективнее было бы направить бомбардировщики не против мирных жителей, а против военно-промышленных объектов, особенно связанных с производством горючего. Но уничтожать демос было проще.

Теперь «демократические» страны лидируют в выпуске переносных крематориев. Что ж, следует признать американское лидерство в гонке вооружений.

Если определять лидерство по таким сугубо демократическим параметрам, как, например, обеспечение людей работой, или бесплатным образованием, или бесплатным лечением, то Соединенным Штатам особенно нечем похвастаться. Вот придумать новое оружие в соответствии с отмеченным президентом Картером «духом новаторства» —

это они горазды. Недавний пример — решение президента Рональда Рейгана, принятое в августе 1981 года, начать производство нейтронного оружия.

Учитывая аргументацию, античеловеческие, антидемократические ориентиры этого духа, не точнее ли говорить о дуге прибыли для торговцев смертью?

Президент Картер, ставя в заслугу Западу, прежде всего самих Соединенных Штатов, лидерство в создании новых видов орудий уничтожения, фактически указал пальцем, кто виновник нынешней гонки вооружений. На эту тему газета «Нью-Йорк таймс» писала в редакционной статье 2 августа 1978 года: «Одной из ироний недавней истории является то, что именно Соединенные Штаты изобрели большую часть того оружия, которое, оказавшись в советских руках, больше всего нас пугает».

Познакомимся теперь поближе, но вкратце с американским арсеналом.

Именно при администрации Рональда Рейгана Соединенные Штаты особенно круто повернули к ускорению военного строительства по всем параметрам. Но, строго говоря, основы для поворота уже были заложены предыдущей администрацией Джими Картера. Следующая переняла эстафету и ускорила бег, но кардинально новых идей в уже намечавшиеся военные программы не внесла.

В 1980 году Джими Картер, выступая перед американским легионом, организацией ветеранов, перечислял свои заслуги: «Я ускорил работу над крылатыми ракетами, и их производство начинается в этом году... мы приняли новую программу ракет «МХ»... В прошлом году была спущена со стапелей первая подводная лодка системы «Трай-дент»... Мы переоснащаем наши сухопутные войска... Мы модернизируем наш военноморской флот...»

Администрация Рейгана в военной области встала на путь: больше того же самого.

Министерство обороны США подготовило проект пятилетней программы, предусматривающей израсходование на «первооружение Америки» в 1983—1987 годах 1,6 триллиона долларов. И без того астрономический военный бюджет на 1982 год в 222 миллиарда долларов возрастет в 1987 году до 412 миллиардов. Но даже это еще, так сказать, цветочки.

Министр обороны США Каспар Уайнбергер дал задание изучить проблемы, которые «лежат на пути удвоения или утроения военного бюджета в случае кризиса или сильного сдвига в международной ситуации». Но и это еще цветочки.

Уайнбергер дал и другое задание — рассмотреть методы превращения экономики страны в военную экономику, могущую поглотить половину валового национального продукта. Сейчас эта половина равна 1,5 триллионам долларов. Это уже ягоды. Это уже далеко идущие планы подготовки войны.

Английский историк Арнольд Тойнби, скончавшийся в 1975 году, будучи исключительно сдержанным в суждениях, тем не менее в шестом томе своего труда «Изучение истории» писал: «Институт войны по-прежнему в полной силе в западном обществе... если нас постигнет крах, то произойдет это потому, что мы выбрали смерть и зло, тогда как были свободны избрать жизнь и добро».

Что бы сказал Арнольд Тойнби сейчас?

Администрация Рейгана приняла решение в течение ближайших нескольких лет увеличивать военные расходы на 7 процентов в год после поправок на инфляцию, то есть в реальном выражении. Предшествующая администрация Картера ставила себе более скромную задачу наращивания этих расходов на 4,5 процента. Ни та, ни другая не обосновали никакими аргументами, кроме общей ссылки на необходимость нейтрализовать «советскую угрозу», выбор той или иной цифры. Почему 7 процентов, а не 6 или не 8? Этот арифметический подход, не принимающий во внимание развития международной обстановки, свидетельствует о наличии автономной динамики у военно-промышленного комплекса. Новые системы оружия дороже прежних, а вопрос о том, нужно ли их создавать, не ставится, поскольку противоречит интересам военных монополий и военщины.

В области стратегических ядерных сил Соединенные Штаты укрепляют все три ноги тревожника, или триады: межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, ракеты на подводных лодках и бомбардировщики-ракетоносцы; к этому стратегическому арсеналу точности ради следует добавить и ядерное оружие так называемой средней дальности: ракеты «Першинг-2» и крылатые ракеты. Будучи размещенными в Западной Европе, они смогут достигать европейской части советской территории, что делает их с советской точки зрения стратегическими. В конечном счете не

имеет значения, откуда прилетела ракета, раз она уже прилетела. Более того, при запуске из Западной Европы ракета «Першинг-2» будет находиться в полете 4—5 минут по сравнению с 20 минутами полета ракеты из-за океана. Эти ракеты так называемой средней дальности намечено разместить в Западной Европе к концу 1983 года.

А пока вернемся к стратегической триаде.

Межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования у Соединенных Штатов сейчас 1052: тысяча ракет «Минитмен-2» и 52 ракеты «Титан». Считается, что с повышением точности советских ракет эти ракеты оказались «уязвимыми», несмотря на проведенное укрепление подземных шахт, в которых они упрятаны. Не важно, что сама отправная предпосылка насчет «уязвимости» является началом логики сумасшедшего параноика. Советский Союз нападать не собирается. Не собирается вообще. А в частности, сами же американские обозреватели напоминают, что остаются ведь еще две ноги треножника, где ракет более чем достаточно для ответного удара с нанесением противнику, по пентагоновской терминологии, «неприемлемого ущерба». Все это не важно.

Важно, что под предлогом закрытия этого так называемого окна уязвимости создается чрезвычайно дорогостоящая и с точки зрения обороны излишняя система оружия — ракета «МХ».

Покойный американский дипломат и публицист Чарльз Йост писал в 1980 году:

«Никто еще не объяснил удовлетворительно, почему нам необходимо израсходовать 50 млрд. долларов на сохранение теоретической неуязвимости одного компонента триады, когда два других укрепляются... Можно достаточно уверенно предсказать, что пройдет несколько лет — и все будут удивляться, как это мы всерьез могли думать над созданием такого экстравагантного чудовища, как ракетная система «МХ»...»

Ракета-монстр «МХ» будет высотой в шести-восьмизэтажный дом, весом в 96 тонн и будет нести 10 ядерных боеголовок каждая мощностью в 335 килотонн. То есть каждая ракета будет эквивалентна 167 Хиросимам — нет границ военно-техническому прогрессу...

Было несколько планов размещения и постоянного перемещения ракет, с тем чтобы противник не знал, где они находятся в каждый данный момент. Первоначальный план президента Картера предусматривал строительство в Штатах Невада и Юта 4600 пусковых шахт-укрытий для 200 ракет, по 23 шахты на каждую ракету, и игру этим набором в кошки-мышки.

Есть другие варианты, между которыми долго выбирал Рейган. И вот эта работа мысли, все эти колоссальные расходы — для обеспечения «СМН», «сохранения местной неуверенности» у противника насчет местонахождения ракет. Причем у Пентагона нет чувства уверенности относительно успеха задуманного.

Все это выглядит умозрительно и абстрактно, чудовищным отростком, паразитирующим на тезисе о «советской угрозе», но только до тех пор, пока принимаешь на веру заявление насчет «сохранения местной неуверенности» как цели всего проекта. Однако военные специалисты указывают на потенциал первого удара этих новых ракет. Американский совет экономических приоритетов опубликовал доклад «Необоснованные расходы: анализ предлагаемой ракетной системы „МХ“». В нем разбираются официальные доводы в ее защиту и делается вывод, что «ракета «МХ» вообще не нужна Соединенным Штатам». И далее злое слово: «Совет экономических приоритетов пришел к выводу, что стремление к созданию ракеты, предназначенной для удара по средствам нападения противника, — это основная мотивировка для создания ракеты «МХ»...»

«Удар по средствам нападения» — это, разумеется, первый удар, пока эти средства не запущены. Нет смысла уничтожать пустые шахты, которые ракеты уже покинули, направившись к своим целям. Так «МХ» служит сценарием ядерной войны, повышая шансы ее возникновения.

Вторая «ножка» стратегического треножника уходит глубоко в море.

У Соединенных Штатов 41 ядерная подводная лодка и вводится в строй новая стратегическая ракетно-ядерная система морского базирования «Трайидент». Первая такая подводная лодка «Огайо», крупнейшая в мире, 170 метров длиной и стоимостью в 1,3 миллиарда долларов, начала мореходные испытания в июне 1981 года, опоздав на тридцать месяцев по сравнению с запланированным графиком. «Огайо» несет 24 ракеты «Тридцет-1» с 10 боеголовками каждая. На других подводных лодках этого типа устанавливают модернизированные ракеты «Трайидент-2» с 14 боеголовками.

Во время переговоров об ограничении стратегических вооружений Советский Союз предложил Соединенным Штатам запретить создание системы «Трайидент» и аналогичной советской системы «Тайфун». Американская сторона отказалась — но что она выиграла?

Третья «ножка» стратегического треножника приподнята над поверхностью земли — это стратегическая авиация. Здесь несут службу бомбардировщики «В-52» и ведутся работы — а также споры о целесообразности этих работ — вокруг проектов бомбардировщика «В-1» и самолета-«невидимки» «Стелс», якобы ускользающего от экранов радиолокаторов.

Президент Картер отменил в 1977 году программу создания бомбардировщика «В-1» как слишком дорогостоящую, а в качестве компенсации решил развернуть ракеты «МХ». Теперь, при «МХ», Пентагон вернулся к старым и любимым авиационным идеям. Будет построено 250 новых бомбардировщиков, из них 100 — «В-1». На каждом «В-1» будет 22 крылатых ракеты с ядерными боеголовками. Первая эскадрилья — в 1986 году.

3400 крылатых ракет будет установлено и на бомбардировщиках «В-52». Для них решили расконсервировать старые линкоры, которые превратят в ракетоносцы. Всего на кораблях намечено разместить к 1985 году 600 крылатых ракет. Это военнотехническое чудо летит на малой высоте, для того чтобы остаться незамеченным для средств ПВО, летит по заданному маршруту, можно и кривою, чтобы опять-таки избежать противодействия ПВО.

Таковы американские стратегические силы.

Огромная милитаристская машина Пентагона ими начинается, но, конечно же, не ограничивается. В программе «переворужения Америки» предусмотрено укрепление всех видов вооруженных сил и всех родов войск. Ставится задача обеспечить господство на морях. Рассуждают о господстве в космосе.

Военнотехническая мысль не стоит на месте, но из этого еще не вытекает вседозволенность в изыскании средств убийства людей. Если раньше стрелы и пули, снаряды и бомбы обрывали жизни, разрывая ткани, и война ограничивалась в основном сферой физики твердых тел, то в наш век к военным делам приобщились химия, биология и атомная физика с их убийством людей на клеточном и молекулярном уровне. Весь этот «прогресс» выглядит увлекательно только для мизантропов-милитаристов и обслуживающих их тщеславных ученых-геростратов вроде Эдварда Теллера, за которым закрепились заслуги отца водородной бомбы, или Сэмюэла Коэна, отца нейтронной бомбы.

Военные новинки грядут самые разные. В их числе — лазерное и электронно-магнитное оружие. Советский Союз предлагал и предлагает договориться не создавать новых видов оружия массового уничтожения. Например, Советский Союз предлагал Соединенным Штатам договориться не создавать нейтронное оружие. Соединенные Штаты предпочли и здесь обеспечить себе сомнительную пальму первенства.

Это оружие обладает особой привлекательностью для агрессора, поскольку оно больше убивает, чем разрушает, оставляя в качестве трофеев гораздо больше материальных ценностей, чем «обычное» ядерное оружие. Идеальный инструмент по расчистке жизненного пространства. Представьте, что его захотят использовать для окончательного решения палестинского вопроса...

Нейтронное оружие опасно не столько своей повышенной радиацией, это вопрос морали, к которой глухи «демократические» страны, лидирующие в гонке вооружений, сколько размыванием рубежа-разницы между войной ядерной и войной обычной, а это повышает шансы ядерной войны в результате просчета.

Нейтронное оружие, страшное для его жертв, почему оно и вызывает особое и оправданное моральное негодование, тем не менее по причине выраженной в нем тенденции к миниатюризации ядерного оружия делает ядерную войну в целом — и, по крайней мере, в теории — менее страшной.

Понижение ядерного порога дает войне дополнительный шанс, питает иллюзию повоевать «чуть-чуть», что столь же нереально, как быть «чуть-чуть» беременной. «Чуть-чуть» в ядерном конфликте не получится. Предложения американских кабинетных стратегов вести ядерную войну по каким-то молчаливо признанным правилам всегда носили умозрительный характер. Разумнее предположить, что основным правилом окажется «на войне как на войне». Согласно этому правилу, если хочешь одержать верх над противником, глупо держать одну руку за спиной.

После краткого ознакомления с масштабами американских военных приготовлений пора поставить вопрос: зачем? Сами американские военные расходы, сейчас особенно оправдывающие наличие уже давно ставшего их спутником эпитета «астрономические», являются в конце концов казенными тратами — американским налогоплательщикам их и считать. Но вопрос «зачем?» касается не только американцев.

Это вопрос о стратегии, и еженедельник «Ньюсуик» отвечает на него так: «Наращивание вооружений проходит без какой-либо ясной стратегии, если не считать послышку сигнала Советскому Союзу насчет американской решимости». Журнал приводит высказывание одного специалиста: «Наша стратегия — лучше всего сохраняемая нами тайна».

Посмотрим, нельзя ли ее раскрыть умозаключениями.

При взгляде на характер военных программ администрации Рейгана обнаруживается, что они отличаются от программ администрации Картера почти исключительно по количественным показателям. Никаких новых принципов администрация Рейгана в военное строительство не внесла. Просто Пентагон встал в позу казанской сироты. «Мы обнаружили, — пожаловался Уайнбергер, — что нет буквально ничего, в чем мы не нуждались бы». И скептически отозвался о разумности объявления насчет «какой-то сложной системы концепций, какой-то полномасштабной стратегии Рейгана». Просто больше того же самого.

Обычного оружия — танков, самолетов, линкоров и даже автоматов — генералам и адмиралам почти всегда «недостаточно». В этой области они могут убеждать в избыточности принципа военного строительства: чем больше, тем лучше.

Но как объяснить избыточность ядерного арсенала?

Президенту Гарри Трумэну военные докладывали, что против Советского Союза надо иметь 400 атомных бомб. В 1956 году национальная плановая ассоциация сообщила в специальном исследовании, что для уничтожения «большой страны» потребуется 200 ядерных боеголовок. Министр обороны в администрации Кеннеди Роберт Макнамара считал, что 400 зарядов по одной мегатонне каждый гарантируют уничтожение 74 процентов советского населения и 76 процентов советской промышленности. Макнамара приостановил наращивание ракет наземного базирования, хотя не на цифре 400, а на цифре 1054.

По логике как обычной, так и военной наращивание ядерных вооружений должно было бы закончиться давным-давно, ибо очевиден количественный потолок, за который выходить не больше смысла, чем строить мост шире реки.

Что делать с этим уже избыточным и продолжающим возрастать американским ядерным арсеналом, где боеголовок больше, чем советских населенных пунктов? А военно-техническая мысль не останавливается в своем человекоубийственном разбеге, создает новые системы оружия, требующие функции и концепции, как дитя — молока, и военная мысль делает зигзаг к «стратегии контрсилы». Она предусматривает использование силы против силы, ракет против ракетных шахт и тому подобное и опирается на умозрительные сценарии «ограниченных» войн, обменов ядерными ударами «только» по военным объектам, включая, впрочем, «узлы связи», то есть столицы.

Какая все-таки нынче у Соединенных Штатов военная стратегия? Остается в силе ВГУ, то есть концепция взаимного гарантированного уничтожения, для которой достаточно иметь сравнительно небольшие (скажем, те же 400 единиц) силы сокрушительного ответного удара, или же взят курс на «победу» в ядерной войне, хотя бы арифметическую, по «очкам»?

«Ядерные стратегии, — заметил как-то английский политический деятель Ричард Кроссмен, — столь же недолговечны, как женская мода». Причина их скоротечности — в быстро обнаруживающемся несоответствии политическим и военным реальностям наших дней. Причина же многочисленности, говоря словами генерала в отставке Максвелла Тейлора, военного теоретика, — вернуть войне «ее историческое оправдание».

В условиях военно-стратегического равновесия ядерный шантаж становится пустым блефом. Кто же поверит угрозе: делай по-моему или я себя вместе с тобой убью?

Тем не менее продолжают поиски способов обойти реальности ядерной эпохи и все-таки угрожать силой. Поскольку угроза должна быть убедительной, чтобы с нею считались, а угроза самоубийства, как отмечалось выше, неубедительна, предлагается вариант «ограниченного» самокалечения — объявляют о готовности Соединенных Штатов вести длительную «ограниченную» ядерную войну. Вести таким хитроумным спосо-

бом, чтобы, как писал тот же Тейлор, «существование Соединенных Штатов не находилось под непосредственной угрозой». Например, экспортировав возможные разрушения в Европу, установив там «евроракеты» и объявив весь континент театром военных действий, ТВД.

Известная президентская директива № 59, принятая президентом Картером в 1980 году, должна была по замыслу придать убедительность воинственному трубному гласу американского военно-промышленного комплекса: дескать, как объявил министр обороны Гарольд Браун, «мы обладаем как возможностями, так и планами использовать наши силы, если сдерживание не сработает».

В то же время ни у министра, ни у президента нет никакой уверенности в возможности сдерживать эскалацию в случае «ограниченной» ядерной войны. В речи в военно-морском колледже в Ньюпорте Браун сказал: «Мы знаем, что то, что может начаться в виде вроде бы контролируемого ограниченного удара, вполне в состоянии вылиться — и, по моему мнению, именно так, вероятно, и произойдет — в полномасштабную ядерную войну».

Собственно, и сам Картер в 1976 году исключил возможность ограниченной ядерной войны, потому что, как он тогда сказал, «начав использовать такое оружие, вы скорее всего окажетесь втянутыми в неограниченную войну».

Стратегические старожилы легко обнаружат в президентской директиве возврат к стратегии контрсилы, впервые заявленной тогдашним министром обороны Робертом Макнамарой в запомнившемся выступлении 16 июня 1962 года в городе Анн-Арбор в штате Мичиган.

За чуть ли не два десятка лет появилось множество книг, на страницах которых проигрывалась ядерная «ограниченная» война, в большинстве случаев с плачевными для участников итогами. Артур Уоскоу, Роберт Осгуд, Мортон Гальперин, Герман Кан увлеченно «ограниченно» воевали на страницах своих книг. Так что новая стратегия Вашингтона — чуть позабытое старое. Она предполагает возможность надеть на войну намордник, вести ее в перчатках по вежливым правилам дуэли. Променада, а не война. «Ограниченная» ядерная война — маниловщина кабинетных стратегов.

Зато стратегия контрсилы является по сути дела приглашением к первому удару: какой смысл направлять ракеты на пусковые шахты противника, если они уже пусты? Зато в рамках этой стратегии есть смысл нанести упреждающий удар, прикрывшись от ослабленного ответного дополнительными мерами защиты.

Теперь попытаемся устранить недоумение, возникающее при сопоставлении стратегии «ограниченной» войны с американскими же сомнениями насчет шансов остановить эскалацию, если и когда такая война начнется.

Для этого следует привлечь немного психологии. С такой точки зрения пресловутая директива № 59 — шаг в разработке правил дипломатии насилия, поиск эффективных путей влиять на политику других стран, кстати не только Советского Союза, с помощью угроз. По «теории устрашения» угроза должна быть правильно построена, и здесь важно продемонстрировать потенциально безрассудное поведение. В данном случае — готовность вести ограниченную ядерную войну, хотя бы и без уверенности в том, что она вообще возможна.

Безрассудство рассматривается как выгодная политика. Надо идти напролом. Так идет на улице нахал, делая вид, что других прохожих не видит, — поневоле ему уступают дорогу, чтобы не столкнуться. Но ведь то улица, а здесь советско-американские отношения.

Леонид Ильич Брежнев привел в одной из речей слова Шота Руставели: «Не гордитесь, люди, силой! Бросьте глупую забаву!.. Ведь довольно малой искры, чтоб большую сжечь дубраву!»

Конечно, за прошедшие с тех пор восемь веков государства продолжали пользоваться силой и по ходу таких занятий сожгли немало «больших дубрав». Но наше время отличается от предшествующего появлением ядерной силы, чрезмерной и потому не годящейся как политическое оружие. Она самоубийственна: кто к ней прибегнет, от нее и погибнет. Вот почему, как отметил Л. И. Брежнев, «упование на военную силу — есть политика отказа от здравого смысла». Советскому руководителю пришлось об этом сказать в порядке предупреждения, поскольку милитаризация внешней политики США грозит миру новым опасным витком гонки вооружений.

В ответах Л. И. Брежнева на вопросы редакции западногерманского журнала «Шпигель», опубликованных в советской печати 3 ноября 1981 года, было высказано

глубокое сожаление о том, что руководители одной из крупнейших держав мира сочли возможным строить свою политику на такой основе.

Похоже, в Пентагоне повторяют традиционную генеральскую ошибку — готовятся к прошлой войне. Министр обороны США, например, надеется, что история повторится. Военная история. Выступая как-то на американской фондовой бирже, Уайнбергер пригласил слушателей-финансистов совершить исторический экскурс. Оратор вспомнил первую Пуническую войну. Тогда древние римляне одержали верх над карфагенянами, потому что придумали новшество — абордажный крюк. Затем Уайнбергер шагнул через шестнадцать столетий — к битве при Креси в 1346 году. Тогда англичане разгромили французов потому, что выставили лучников с большими луками, а у французов ничего сравнимого не оказалось. Уайнбергер привел еще два-три подобных примера. Урок на сегодняшний день он извлек такой: надо мобилизовать американские творческие способности, обогнать Советский Союз по качеству военной техники, придумать приносящие превосходство новинки, нейтрализовать возможные технические достижения Советского Союза и тем самым подвести базу под «надежду на то, что мы сможем одержать победу...».

В новой схеме Уайнбергера, как видим, особая надежда возлагается на военно-технические новинки. Здесь возникает опасность просчета. Поскольку главное в нынешнем «ядерном пате» — наличие у сторон неуязвимых сил ответного удара, поиск путей их нейтрализации возвращает пентагоновских стратегов к мыслям об упреждающем, проще говоря, первом ударе: вдруг так удастся выбить у противника из рук меч ядерного везедзия.

Не поэтому ли вспомнил Уайнбергер римский абордажный крюк и английский длинный лук?

Сравните этот подход к проблеме войны и мира с советским предложением объявить тягчайшим преступлением против человечества применение первым ядерного оружия. Такова основная идея декларации «предотвратить ядерную катастрофу», которую Советский Союз предложил принять от имени Объединенных Наций на XXXIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 1981 года.

Сама по себе идея запрета применения ядерного оружия первым не нова, и последствия ее осуществления рассматривал среди прочих Роберт Йохансен из Института мирового порядка в Нью-Йорке. Он считает, и я склонен с ним согласиться, что обязательство не применять ядерное оружие первым может стать первым шагом к запрещению ядерного оружия вообще. Если такое обязательство будет принято всерьез, рассуждает Йохансен, то «оно немедленно подорвет соперничество между сверхдержавами в области ядерных вооружений, потому что ведь нет смысла развивать способность вести ядерную войну сверх уровня минимального сдерживания — нечто уже существовавшее десять с лишним лет назад». Другими словами, речь идет о наличии у обеих сторон неуязвимых сил ответного удара, достаточных, чтобы нанести противнику «неприемлемый ущерб». В советской военной литературе в этом случае говорится о «сокрушительном ответном ударе».

Западногерманский политический деятель Вилли Брандт как-то поставил вопрос: или политика возьмет дело в свои руки, или она капитулирует перед военной техникой. Советское предложение объявить тягчайшим преступлением против человечества использование ядерного оружия первым — пример выбора политики.

В Вашингтоне же, представляется, решающее слово за военной техникой, точнее за военно-промышленным комплексом. Между тем в наш ядерный век национальная безопасность — проблема не только и не столько военно-техническая, сколько политическая. Ее надо решать за столом переговоров, а не на поле брани, решать договорами, а не гонкой вооружений.

Договариваться, как не воевать, а не как воевать.

В МИРЕ НАУКИ

КОНСТАНТИН ФЕОКТИСТОВ, ИГОРЬ БУБНОВ



В БЛИЖНЕМ И ДАЛЬНЕМ КОСМОСЕ

ОТ ВИТКА ДО ПОЛУГОДА... А БОЛЕЕ?

Как представлялось развитие пилотируемых космических полетов, когда они только должны были начаться и начинаться, то есть в конце 50-х — начале 60-х годов? Как последовательная цепь решений технических задач с возрастающей сложностью: полет одного космонавта, полет нескольких космонавтов, станция на 5—6 человек, станция на 50—100 человек, полет на Луну, полет к Марсу, к Венере и так далее.

Вопрос о длительности полетов обсуждался мало. Невесомость казалась отнюдь не эшелонированной обороной противника, а неким барьером. Преодолеть его, то есть убедиться в возможности человека переносить невесомость, а далее уже все проще. Увеличение длительности пребывания в космосе уже после полета Титова казалось проблемой чисто технического развития.

Два прошедших десятилетия характеризуются неуклонным приростом максимальной продолжительности орбитального полета. Вот рекордные вехи. 1961 год: Гагарин («Восток») — 1 час 48 минут, Титов («Восток-2») — 25 часов; 1962 год: Николаев («Восток-3») — 4 суток; 1963 год: Быковский («Восток-5») — 5 суток; 1965 год: Купер и Конрад («Джемини-5») — 8 суток, Борман и Ловелл («Джемини-7») — 14 суток; 1970 год: Николаев и Севастьянов («Союз-9») — 18 суток; 1971 год: Добровольский, Волков и Пацаев («Союз-11» — «Салют») — 24 дня; 1973—1974 годы: Конрад, Вейц и Кервин («Аполлон» — «Скайлэб») — 28 дней, Бин, Гэрриот и Лусма («Аполлон» — «Скайлэб») — 59 дней, Карр, Поуг, Гибсон («Аполлон» — «Скайлэб») — 84 дня; 1977—1978 годы: Романенко и Гречко («Союз-26» — «Салют-6») — 96 дней, Коваленок и Иванченков («Союз-29» — «Салют-6») — 140 дней; 1979 год: Ляхов и Рюмин («Союз-32» — «Салют-6») — «Союз-34») — 175 дней; 1980 год: Попов и Рюмин («Союз-35» — «Салют-6» — «Союз-37») — 185 дней.

Как видим, прирост действительно неуклонный, но не такой уж и быстрый. В среднем менее 10 суток в год. Если посмотреть по пятилетиям, то получаются довольно любопытные цифры: в первое после 1961 года — 2,8 суток в год, второе — 0,8, третье — 13, последнее — 20 суток в год. То есть сначала было быстрое увеличение, потом период почти незначительного прироста, затем скачок и наконец очень резкий скачок.

— Как вы считаете, Константин Петрович, можно ли из этого сделать какие-нибудь выводы? Нет ли здесь очевидной тенденции на будущее?

— Цифры эти действительно интересные. Хотя, думаю, едва ли они могут привести к выявлению каких-то закономерностей. Всему было свое время, и прирост длительности полета связан не с какими-то объективными законами, а с принятием соответствующих решений. Как пойдет дальше, сказать трудно.

— Вот первый полет Юрия Гагарина называют шагом в неизвестное. До этого писали, что, только отправив человека в космос, можно выяснить, выживет ли он в условиях невесомости. Не было ли в этом преувеличения?

— Ко времени запуска «Востока» уже многое было ясно и ни у кого не вы-

звало сомнений, что космонавт выживет и никаких физиологических осложнений ее должно произойти. Если и боялись, то больше за психологическую устойчивость космонавта. Все-таки условия полета были совершенно необычные.

— Попросту говоря — не разволнуется ли космонавт чрезмерно в этих условиях?

— Все дело было в слабой изученности явления невесомости. Ни один человек до Гагарина не испытывал ее длительно. Даже летчики — истребители и испытатели. Все научные знания о ее последствиях сводились к результатам экспериментов с собаками на высотных ракетах и наших кораблях-спутниках. Результаты были обнадеживающими, но психологических данных, разумеется, не было.

— Но человек ведь как высокоорганизованное существо на невесомость мог прореагировать совершенно по-иному. Помнится, в литературе пятидесятых годов встречались описания кратковременных опытов по определению реакции летчиков на невесомость при полете на самолетах по параболе. И реакции эти были самыми различными: от ощущения радости (почти по Циолковскому — «блаженства») до признаков нарушения физиологических и психических функций. Гагарин еще до полета в космос так описывал свое отношение к невесомости: «...легкость, свобода движений, приятно. Висишь в воздухе, руки и ноги висят, голова работает четко». И Титов тогда тоже хвалил ее: «...очень приятная штука. Дышится легко... Чувствую себя очень хорошо». В полете же, судя по рассказам Юрия Алексеевича, эмоциональные нагрузки у него были столь высоки, что длительная невесомость не показалась серьезным испытанием.

— Зато ее в полной мере вкусил Герман Степанович. Самочувствие его в полете, как известно, не было отличным — отмечались поташнивание и головокружение, особенно при резких движениях головой.

— Кстати, академик Олег Георгиевич Газенко отнес откровенный рассказ Титова об этих своих ощущениях к проявлению настоящего мужества и интеллигентности.

— Да, наука получила важную информацию, и это дало возможность уточнить программу подготовки следующих космонавтов. Впрочем, первые сутки на орбите и сейчас даются космонавтам нелегко, иногда еще хуже, чем тогда Титову. Но все уже знают: на третий — пятый день наступит адаптация и состояние придет в норму.

— В дальнейшем медики столкнулись с интересной загадкой. Было известно, что Борман и Ловелл после 14 суток в космосе чувствовали себя как будто неплохо. А между тем их корабль «Джемини» был очень маленьким и тесным, космонавты провели две недели как бы в стареньком «Запорожце». Да и дел у них там особых не было, все эксперименты завершились в первую неделю. Скучно... Николаев и Севастьянов в 1970 году были совершенно иначе подготовлены для борьбы с невесомостью в рекордном по длительности 18-суточном полете. Летали они в роскошном по сравнению с американским кораблем «Союзе» с двумя отсеками. И при этом были постоянно заняты исследованиями. А между тем после полета их состояние было если не угрожающим, то очень нелегким...

— Да, это было большой неожиданностью. Космонавты не могли сами выйти из корабля, практически не могли стоять, с трудом сидели. Пульс и кровяное давление у них были очень высокими, они постоянно ощущали повышенную тяжесть.

— Так вот, в результате возникло сомнение: нет ли в районе 15—16 суток непреодолимого барьера невесомости и не опасно ли вследствие этого человеку летать в космосе дольше двух недель? Я помню горячие дискуссии медиков по этому поводу.

— Тут надо отдать медикам должное: они быстро разобрались в проблеме и поняли, что трудное состояние Николаева и Севастьянова — следствие чисто физической дегренированности сердца и организма в целом в результате отсутствия привычной силы тяжести. Еще говорили о большой потере влаги организмом, выходе вместе с ней минеральных солей и ослаблении в результате этого костно-мышечной структуры.

— Разумеется, все это требовало осмысления, и на него ушло время. Когда же были выработаны рекомендации для повышения сопротивляемости организма невесомости, произошел тот самый первый скачок в длительности полетов. На мой взгляд, закономерность вполне просматривается.

— Да нет же! Какая тут закономерность! Просто, пока не была создана станция «Салют», не на чем было совершать более длительные полеты.

— Однако станция станцией, но нужно было иметь соответствующую страте-

гию увеличения длительности полетов, в которой медико-биологическое обеспечение играет не последнюю роль. Нельзя же было допустить, чтобы послеполетное самочувствие экипажа «Союза-9» стало нормой...

Что же конкретно помогло так успешно выиграть сражение с вредным воздействием невесомости? Это был комплекс различных мер, среди которых главная — регулярные физические упражнения на орбите, которые, нагружая различные группы мышц и сердечно-сосудистую систему, не позволяют организму терять свой привычный тонус. С этой же целью космонавты почти постоянно носят специальные нагрузочные костюмы (снимают их только на время сна) и периодически надевают «вакуумные штаны» для повышения притока крови к нижним конечностям. Применяется также специальный электростимулятор мышечного тонуса. Кроме того, на борту выполняются рекомендации по несколько повышенному потреблению воды. Появились новшества и в методах предполетной подготовки. Так, для лучшего протекания периода адаптации космонавты перед полетом спят на наклонной — в сторону головы — плоскости, привыкая к повышенному притоку крови к голове.

— На мой взгляд, Константин Петрович, весь этот комплекс средств дал результаты просто сказочные. Сравним, с каким трудом Виталий Севастьянов двигался и улыбался после своего первого полета и как замечательно он выглядел летом 1975 года после двухмесячного полета вместе с Петром Клямуком на станции «Салют-4».

— Немалую роль здесь сыграли рабочий объем и общий комфорт на борту станции. Ведь в первый раз Севастьянов летал на «Союзе».

— Несомненно. Однако мне хотелось бы напомнить здесь об одном нюансе. Ту самую разницу в самочувствии экипажей «Джемини-7» и «Союза-9» медики объясняли, в частности, именно различием в объемах кораблей. Американцы, будучи стесненными малым объемом, сидели тихо и мало двигались, а наши ребята имели возможность плавать и совершать разные эволюции в сравнительно емком пространстве «Союза». Похоже, правда, на парадокс.

— Если парадокс, то кажущийся. Действительно к условиям невесомости организм лучше привыкает при ограниченности движений. Этого раньше медики знать просто не могли — у космонавтов не было условий для больших перемещений. В результате этого открытия и возникли рекомендации на период адаптации: передвижения после выхода на орбиту наращивать постепенно, не торопясь. В полной мере перемещения в пространстве станции рекомендуются космонавтам не ранее конца второй недели.

— Я понимаю, что процесс адаптации очень индивидуален и показатели его субъективны. Но многое здесь, по-моему, выглядит приблизительным, неточным.

— Думаю, близится время, когда ход адаптации, во всяком случае некоторые реакции, будет анализироваться на ЭВМ. А пока, к сожалению, мы этого не умеем и все, что касается знаний о психологии и физиологии человека в космическом полете, не выходит за рамки чистой эмпирики. А надо бы наконец попробовать описать человека как машину со всеми его функциональными подсистемами, элементами и связями. Конечно, медикам в этом без инженеров и кибернетиков не обойтись. Но пора, я считаю, за эту задачу взяться.

— Сейчас, при быстром увеличении продолжительности орбитальных полетов, складывается впечатление, что это действительно дело лишь техники в прямом и переносном смысле. И вроде бы не видно принципиального предела. Между тем академик Газенко в наших диалогах на страницах «Литературной газеты» летом 1977 года с уверенностью говорил о полугодовом и с осторожностью о годовом рубежах как вероятных пределах, а через два с половиной года все так же осторожно называл годовой рубеж, а больший предел пообещать не решился. Интересно, что эта современная оценка специалиста-медика практически не отличается от рубежа, интуитивно намеченного еще Сергеем Павловичем Королевым (кстати, в нынешнем январе мы отмечаем 75-летие со дня его рождения). В своих черновых записях, сделанных в 1962 году, то есть задолго до появления «Салюта», он отмечал, что орбитальные станции «дадут возможность получить большие и очень большие длительности (до 1 года) пребывания в условиях невесомости». Время летит, а прогнозы не меняются...

— Это понятно. Для особого оптимизма оснований по-прежнему немного. Экстраполировать здесь пока невозможно — недостаточно данных. Кстати, результаты некото-

рых биологических экспериментов на борту «Салюта» по развитию живых организмов в невесомости настораживают. Вполне возможно, рубеж все-таки существует. Но, вторяю, статистики пока маловато.

— Я очень далекий от медицины человек, поэтому могу вполне безответственно высказать свое интуитивное суждение о рубеже продолжительности. Если говорить о полете без необратимых явлений в организме человека, едва ли этот предел достигнет двух лет. И это мое предчувствие рубежа вызывает досаду за столь несовершенную природу человеческого организма. Всю свою жизнь, несколько десятков лет, космонавт проводит в условиях силы тяжести, но через какие-то пусть даже год или два полета в невесомости его организм вдруг станет чужим для родной планеты! Обидно!

— Не нужно забывать, что вся биологическая эволюция человека прошла в условиях земной гравитации, причем на Земле не возникло никаких аналогов условиям невесомости. Разве что — далеко не в полной мере — подводное плавание.

— Меня отчасти смущают и нынешние достижения — два полугодовых полета с участием Валерия Рюмина. Какой высокой ценой дается хорошее самочувствие после космоса. Каждый день (пусть три дня из четырех, как это было в последнем полете) более двух часов довольно утомительных, разнообразных физических упражнений — на бегущей дорожке, велоэргометре и эспандерах. Это и на Земле-то было бы невероятно трудно. А космонавты по целому часу перебирают ногами на месте, имея перед носом все время один и тот же участок стенки. Меня терпение космонавтов просто восхищает. Мне кажется, в этом проявляется их великое мужество.

— Насчет мужества — это преувеличение. Наверное, дело это нелегкое и совершенно точно нудное. Но ведь этот бег — во имя собственного здоровья, даже, можно сказать, жизни.

— Видите ли, далеко не каждому удастся мобилизоваться даже в тех случаях, когда речь идет об угрозе собственному здоровью. Возьмите простейший случай — курение. Все теперь знают, что оно подтачивает организм и, не исключено, способствует раковым заболеваниям. Но далеко не все способны, исходя из этого, заставить себя расстаться с сигаретами. А космонавты бегают «только лишь» во имя здоровья впрок. Не всякий человек даже лекарства может впрок принимать.

— Здесь сказывается высокая дисциплина в выполнении всего того, что предусмотрено программой полета. Такая дисциплина — безусловное требование к космонавтам. Но главное, что в этом «только лишь» заключено очень многое, большее, чем любые спортивные призы.

— Но ведь физические упражнения отнимают в полете много времени и сил и их остается очень немного для выполнения исследовательской работы.

— Тут пока ничего не поделаешь. Хотя действительно время на это приходится тратить.

— Ну хорошо, а может быть, эта борьба за все более длительное выживание человека в невесомости — ненужная затея? Ведь дорастет же техника когда-нибудь до создания на кораблях и станциях искусственной силы тяжести. Разговоры о ней идут давно. Помнится, в 1966 году американцы даже проводили полетный эксперимент на орбите: соединяли тросами корабль «Джемини» с ракетной ступенью и раскручивали. Получалась сила тяжести в полтора-два процента земной.

— Такой эксперимент не имел большого смысла. То, что тяжесть при вращении возникнет, известно школьникам. А вот как почувствует себя человек в условиях более значительной искусственной тяжести, особенно если радиус вращения будет не очень велик, менее, скажем, 25 метров, — это еще неясно.

— Аналогичный случай в истории техники уже был. Американский ученый Роберт Годдард в 1915 году провел весьма тонкий эксперимент по доказательству того, что ракета будет давать тягу не только в атмосфере, но и в вакууме. Казалось, любому технически грамотному человеку, тем более специалисту, это было ясно и так. Никто таких экспериментов ни до, ни после проводить не пытался. А вот Годдард, пойдя ж ты, затратил на него чуть ли не полгода... А что, собственно, необходимо доказать в нашем случае?

— То, что искусственная сила тяжести, полученная с помощью вращения, будет переноситься космонавтами безболезненно. Дело в том, что при определенных видах движения в условиях вращения всей системы, как известно из механики, возникают

так называемые кориолисовы ускорения. Особенность их в том, что при изменении направления движения меняется и направление этих ускорений. А следовательно, при любых перемещениях в условиях искусственной силы тяжести человек будет испытывать что-то вроде качки. Наземные опыты подтверждают это. Так что жить с искусственной гравитацией будет не очень-то приятно.

— Медики (в частности, академик Газенко) считают, что при достаточно большом радиусе вращения никаких проблем не будет. Сейчас на биостанциях «Космос» уже применяются центрифуги, правда пока с очень небольшими радиусами.

— Думаю, что в принципе могут быть выявлены оптимальные радиусы и скорости вращения и, следовательно, величина силы тяжести (совсем ведь нет нужды делать ее равной земной), которые будут более или менее приемлемы.

— А как лучше решать эту проблему технически: с помощью тросов или жесткого соединения?

— Тросы для создания такой системы — вещь не лучшая. Очень сложно обеспечить постоянную их натяжку, стабилизацию и ориентацию всей системы в пространстве, коррекцию орбиты или траектории. Лучше, чтобы система была жесткой. Например, связи между рабочими объемами могут быть в виде телескопических штанг.

— А может быть, все-таки столь любимый художниками-фантастами бублик? То есть тор, колесо со ступицей и спицами. И станция окажется похожей на то великолепие, которое мы видели в кинофильме «Одиссея: 2001 год»?

— Может быть, и бублик. Но тут есть еще один важный момент. С постоянно вращающейся станции невозможно вести наблюдение небесных объектов, поскольку астрономические инструменты требуется точно ориентировать в нужных направлениях. При этом нужна очень высокая точность наводки — до нескольких угловых минут, а в некоторых случаях до долей секунды. Невозможно также вести наблюдения поверхности Земли, которые требуют постоянной ориентации, и технологические эксперименты, для которых нужна невесомость.

— Но ведь в каждой вращающейся системе есть ось и она может быть неподвижна. В ступице колеса можно иметь невесомость. А разве нельзя и в других компоновках сделать станцию так, чтобы вращались только некоторые ее блоки — жилые, бытовые?

— Если вращается колесо, то неподвижна всего-навсего его геометрическая ось. Сами понимаете, с ней «не разгуляешься». Сделать невращающейся лишь часть станции — это очень сложная техническая проблема. Нужны гигантские подшипники, трудно реализовать шлюзование из одной части в другую. Кроме того, неподвижная часть будет постоянно испытывать возмущения и ориентировать ее будет очень трудно. И наконец, космонавтам, по моему мнению, будет нелегко функционировать, постоянно переходя из зоны невесомости в зону тяжести и обратно.

— Вот это последнее не очень убеждает. Кратковременные полеты показывают — вы лично в этом убедились, — что переход из тяжести в невесомость и наоборот переносится без осложнений. При соответствующей тренировке человек, наверное, сможет делать это неоднократно. Пилоты станции смогли бы в основном находиться в условиях гравитации, а в зону невесомости переходить ненадолго, на рабочую смену, допустим... Вас можно понять так, что искусственная тяжесть в космосе не нужна?

— Я этого не говорил, а лишь отметил, что на станциях создание и применение ее нецелесообразно. Совсем другое дело в межпланетных полетах. Там скорее всего искусственная сила тяжести будет необходима.

— Значит, искусственную силу тяжести можно будет сделать?

— Можно.

— Тогда снова стоит вернуться к прежнему вопросу. Может быть, поиски предела пребывания человека в невесомости не такая уж и актуальная задача? На сегодня вроде бы можно считать освоенным по крайней мере полугодовой цикл работы на станции. Разве этого недостаточно? Зачем нужны более длительные полеты? Не придумана ли задача увеличения их продолжительности искусственно?

— Ни в коем случае! Во-первых, нельзя считать полугодовой уровнем освоенным. Пока только три человека летали по полгода. Это еще не статистика. А вдруг один из десяти или даже из ста человек окажется после такого полета с патологическими изменениями? Ведь этого допустить нельзя. Во-вторых, необходимо найти оптимум в периодичности смены экипажей на борту станции. Даже если он находится в районе полугода, то есть уже достигнутого уровня, это не значит, что не нужно совершать

более длительные полеты. И так, одно из двух: или много полугодовых полетов, или несколько существенно более длительных. А вернее всего, необходимо и то и другое. Есть еще одно доказательство необходимости длительных — до года и более — полетов. Представьте себе, что при межпланетном полете вдруг откажет система искусственной силы тяжести...

— Неизвестно еще, полетит ли когда-нибудь человек на Марс. А в орбитальных полетах можно почаще сменять экипаж.

— О Марсе мы, видимо, еще поговорим. А на станции — чем чаще сменяется экипаж, тем менее эффективно она используется. Не так-то просто будет менять экипажи на станциях, которые будут выводиться на геостационарные орбиты, то есть в плоскость экватора на высоту около 36 тысяч километров. Так что в первую очередь это требование экономики освоения космоса. Кроме того, наука не может остановиться в своем проникновении в неизвестное, располагая для этого техническими возможностями. А возможности таковы, что станции в будущем могут появиться даже на окололунных или гелиоцентрических орбитах.

— Эти аргументы достаточно убедительны. Но если вернуться к не слишком далекому будущему, то в космос, я надеюсь, будут летать не только пилоты и инженеры, но и ученые из разных областей науки. Им будет непросто совмещать свою работу с ежедневной длительной физподготовкой. Да и готовить их нужно будет по иным принципам, так сказать, ускоренно.

— На вращающейся станции ученым, я уже говорил, делать нечего. Так что, хочешь не хочешь, если ты претендуешь на исследования в космосе, должен быть способен перенести все условия полета. И потом, я не считаю два с половиной часа физических занятий такой уж потерей даже в земных условиях. Хотя, конечно, может быть, со временем удастся найти другие профилактические средства в борьбе с невесомостью и сократить затраты времени на эту борьбу.

— Пожалуй, вы правы. В полярную экспедицию тоже не любого гляциолога пошлешь — есть специфические требования. И вообще, может быть, профессия космонавта так и не станет обычной, уникальность ее сохранится навсегда.

— Насчет навсегда не скажу. Думаю, что когда-нибудь в космосе понадобятся сотни, тысячи людей, и, значит, профессия станет массовой.

— Я убежден, Константин Петрович, что тысячи людей, во всяком случае в обозримом будущем, в космосе не понадобятся. На мой взгляд, быстрее, чем в космическое пространство проникает человек, совершенствуется автоматика. Пока же в космосе одновременно не было и десяти человек, а на борту одного объекта — более пяти. Вследствие этой «малолюдности» и возник, очевидно, еще один специфический фактор профессии космонавта. Я имею в виду психологическую совместимость членов экипажа, работающих в условиях замкнутого, ограниченного объема. Об этом факторе много пишут. Очень интересно рассказывали о флюидах этой самой совместимости после своего полета Климук и Севастьянов.

— Любых два человека в долгом совместном житье-бытье рожают подобные флюиды, а чаще просто споры и даже конфликты.

— До сих пор с крупными конфликтами внутри космического экипажа мы как будто не сталкивались. Кстати, придумали фактор совместимости совсем не космонавты. Он хорошо знаком тем же полярникам, подводникам, геологам. Но вот что интересно. Однажды в Москву из США приезжал руководитель медицинского обеспечения космических полетов Чарльз Берри. Ему был задан вопрос: «Как вы решаете проблему подбора экипажа по признаку психологической совместимости?» Ответ оказался неожиданным: «Я не знаю такой проблемы!» Уровень мотивации в космическом полете, то есть желание хорошо выполнить задачу, подкрепленное высокой честью и послеполетной славой, считал он, столь высок, что полностью компенсирует возможное несходство характеров. Берри, впрочем, говорил это во времена полетов сравнительно кратковременных. Корабли «Аполлон» вообще летали не более 12 дней. В таких полетах и даже более длительных, до месяца, скажем, проблемы действительно не было видно...

Когда же экипажи стали работать на орбите по несколько месяцев, проблема эта для медиков стала актуальной. Космонавты — люди со всеми своими индивидуальными склонностями и слабостями. К тому же далеко не педагоги и не психологи по об-

разованию. Поэтому в их взаимоотношениях как на Земле, так и в космосе в принципе возможно всякое.

Раньше медики, точнее психологи, хотя и уделяли внимание составу экипажей, решающего влияния на него не оказывали. Не было в их руках для этого точного инструментария. Сейчас эта область науки заметно продвинулась вперед, психологи оказывают существенную помощь в формировании и подготовке экипажей. В ходе последней они разъясняют космонавту особенности его характера и характера партнера, выявляют их привычки и наклонности, подсказывают способы управления своими эмоциями и регулирования отношений.

Впрочем, психологические собеседования нужны далеко не каждому. Есть люди, от природы легкие в отношениях. Хотя, конечно, пока еще выбор готовых к полету не столь велик, чтобы можно было исходить из особенностей их характеров, а не из их профессиональной подготовленности, морально-волевой закалки и здоровья.

— ...И все же это удивительная загадка: два человека в течение нескольких месяцев в небольшом «автобусе», из которого ни на шаг нельзя выйти, в условиях напряженной работы остаются дружным, спянным коллективом. Где объяснение этому феномену? Ведь не идеальные же они люди, это ясно.

— Не идеальные, разумеется. Хотя, конечно, добродушие, терпимость да и просто ум играют здесь не последнюю роль. Тем не менее не такая уж идеальная атмосфера на станции, как это может показаться. Конечно, в первую очередь срабатывает та самая мотивация. Не менее важны такие качества, как ответственность, дисциплинированность, высокий моральный заряд. И все же мы знаем случаи возникновения некоторых трений между членами экипажей. Они никогда не перерастали в серьезные распри или ссору, но в какой-то мере сказывались на уровне отношений после полета. Но, кроме трений, бывает еще просто не очень сердечная атмосфера.

— Наверное, это нормальное дело, во всяком случае нестрашное.

— В связи с этим вспоминается мне один случай. Сидел я как-то за столом с двумя летавшими вместе космонавтами, обедали. Бывший командир говорит: «Мы здорово дополняли друг друга в полете характерами. Я человек общительный, люблю поговорить, рассказать всякое, а он вот, мой бортинженер, человек молчаливый, неразговорчивый. От этого у нас и проблем никаких не было». А другой вздохнул, слегка улыбнулся и рассказал анекдот. Приходит женщина к врачу и жалуется на мужа: «Я ему говорю, говорю, рассказываю, а он как глухой, ничего не слышит, никак не реагирует. Что за болезнь у него, доктор?» А врач ей и отвечает: «Это не болезнь, милая, это дар божий!» Долго мы все трое смеялись.

— Ну и как вы думаете, Константин Петрович, причина столь «дружеских» отношений действительно лежит в области заведомой психологической несовместимости, не выявленной до полета?

— Трудно сказать. Все наши земные взаимоотношения окрашены огромным количеством полутонов, и никогда нельзя сказать, что лежит в их первооснове. То же самое в космосе.

— Здесь, видимо, нельзя не учитывать, что психологические и физиологические факторы неразрывны. А вообще мне представляется, что психологическая несовместимость существует в жизни только как результат уже определившихся отношений. Ничто в природе человеческих контактов, я уверен, изначально не ведет к конфликтам. Ссору людей скорее определяют не сами поступки, а их оценка... И все же мотивация, обусловленность личной жизненной установкой в отношениях и негативно и позитивно почти всегда присутствуют...

Говоря о космических полетах настоящего и будущего, трудно уйти от вопросов психологии. Тем более что такая наука — космическая психология — уже заявила о себе. Изучает она, правда, больше работоспособность и двигательную активность космонавтов в полете, работу их органов чувств и общее психологическое состояние. Но отчасти и взаимоотношения членов экипажа. Кстати, при подготовке первых космонавтов немало внимания уделялось анализу их поведения в условиях полного одиночества и изоляции от внешнего мира.

Многие космонавты провели в сурдокамере по несколько дней. Выяснилась их психологическая устойчивость на случай нарушения радиосвязи (вплоть

до отсутствия всякого шумового фона). Опыты показали, что чем выше интеллектуальный багаж космонавта, тем он легче переносит одиночество.

Хотя, конечно, такой вывод нетрудно было предсказать. Недаром эти испытания быстро отменили. Ни в одном полете, как известно, не возникла ситуация полной и длительной потери связи с Землей. К тому же одиночных полетов уже давно нет. За космонавтами на орбите почти постоянно следит недремлющее око Центра управления, и переговоры с Землей — важный элемент содержания полета. Они тоже определяют психологический климат на борту.

Радиопереговоры, а теперь и телесеансы связи — нормальная составляющая обычного полета, большое удовольствие для тех, кто летает долго. Посредством этих переговоров на борту поддерживается деловое, хорошее настроение. Не только с помощью шуток и обмена дружескими репликами, но даже просто посредством тона и эмоциональной окраски речи оператора (так называют человека, непосредственно ведущего связь из Центра с бортом, чаще всего им является один из космонавтов). Если позволяет время, с Земли рассказываются разные интересные, по возможности смешные истории.

Раньше космонавты иногда жаловались после полета на неудачную манеру общения со стороны того или иного оператора. Манера могла быть чуть-чуть суховатой, жестковатой, чуть излишне деловой. Но уже это, оказывается, могло раздражать тех, кто был «наверху». В последнее время подобных претензий не было.

Не стоит, впрочем, думать, что на Земле видят каждый шаг космонавтов в полете. Возможности техники пока еще далеки от этого. Был, например, такой факт. Попов и Рюмин, встретив своих гостей Малышева и Аксенова, «засиделись» с ними до поздней ночи (по московскому времени, конечно). Земля узнала об этом от них только наутро. Так что некоторая толика «свободы» выпадает на долю долгожителей космоса. Космонавты, как они сами признаются, очень любят те периоды полета, когда станции находятся вне зоны радиовидимости наземных средств.

То, что на борт станции пришло телевидение, — огромный скачок в психологическом обеспечении полетов. На Земле люди уже не мыслят свою жизнь без телевидения, даже если не без снобизма любят повторять: «Я вообще не смотрю телевизор». Одно дело не смотреть, а другое — не иметь для этого возможности. В отдаленных районах страны, на Дальнем Востоке, скажем, наличие или отсутствие телевидения — это принципиальный вопрос жизни. Что люди видят, что и когда они узнают, как растут знания и кругозор детей — все это ставится во главу угла и влияет на выбор места жительства, а значит, места работы, то есть на профессиональную ориентацию.

Полгода видеть перед собой только стены и пульта станции, одно и то же лицо — невеселое испытание, которое до конца не может скрасить и пробегающая в иллюминаторах Земля до 52-й параллели (в соответствии с углом наклона орбиты). И часто эта Земля оказывается сплошным океаном или закрыта облачностью. Но с некоторых пор на борту «Салюта» есть свой телевизор, по которому в короткие периоды прямой радиовидимости можно посмотреть репортажи с Земли, включая Олимпиаду, увидеть лица родных и знакомых, а также прокрутить видеозапись кинофильма или концерта.

Когда шел первый сеанс двусторонней телесвязи «Земля — борт» в рамках сеанса психологической поддержки, все обратили внимание на взволнованность обеих сторон и прямо-таки осязаемую эффективность в создании хорошего настроения у экипажа.

Однако то, что журналисты и ученые-медики называют психологической поддержкой, это пока еще просто развлечение космонавтов, находящихся на орбите. Очень необходимый акт, но, что досадно, еще весьма несовершенный. Все больше эмпирика, без серьезного анализа потребностей, склонностей и настроения каждого космонавта. Хотя учесть все это, конечно, очень непросто.

К сожалению, периоды двусторонней телесвязи пока невелики, до 10 минут. Тут трудно что-либо поделать. Все телевидение Земли работает в диапазоне волн, которые неспособны огибать Землю. Вот когда для связи со станцией удастся использовать стационарные спутники-ретрансляторы, тогда космонавты смогут смотреть телевизор хоть весь день. Впрочем, времени у них на это, разумеется, не будет.

И все же самые продуманные сеансы связи, самые веселые артисты на телеэкране не могут, нам кажется, вызвать у экипажа удовлетворение, равное тому, которое люди получают от по-настоящему творческой работы. Но можно ли говорить о творческой работе на орбите, если космонавты заняты там исследованиями едва ли не в десятке совершенно различных областей и множеством вспомогательных операций?

Пока космонавты выполняют на орбите больше операторскую работу: включить, настроить, описать результаты, выключить и снова включить. В чем-то, конечно, эта работа механическая, многократно повторяемая и потому утомительная. И в то же время операторская работа постоянно требует размышлений, выбора и принятия решений.

Сталкиваются космонавты с ремонтной работой и с разного рода неожиданностями в поведении техники — она, как известно, умеет вдруг вести себя непонятно. В таких случаях космонавтам приходится немало поломать голову, прежде чем удастся понять, что ведет-то она себя нормально, просто включили ее не так, как следует. Постоянная мобилизация ранее полученных знаний и размышления требуются при ведении наблюдений поверхности Земли и океана. Так что в целом работу космонавтов можно считать, пожалуй, вполне творческой. Во всяком случае, не менее творческой, чем некоторые из тех, которые на Земле носят это название.

Но ведь даже в искусстве — будь то кино, театр, живопись, музыка — масса технических (ремесленных), даже производственных операций. Многое в искусстве — и без этого нельзя — продельвается на чисто моторной основе, без затрат интеллектуальной и творческой энергии, по заранее запрограммированным схемам.

А между тем в таких областях, как научные исследования и технические разработки, нередко даже в малом мобилизуется мощный заряд истинно творческой духовной энергии. Особенно когда рождается нечто, ранее не существовавшее, не имевшее аналогов. Спектр таких случаев огромен — от научного открытия до создания, скажем, схемы работы аппаратуры, ведущей к повышению надежности и экономичности работы какой-либо конструкции. И в деятельности проектантов и конструкторов несметное число больших и малых интуитивных решений.

Не стоит, наверное, только путать истинно творческую работу с весьма распространенным приложением слова «творческий» к самым что ни на есть программируемым операциям.

Жаль, что во времена, которые называют эпохой НТР, никто не возьмется привести понятие «творческая работа» в соответствие с реальной практикой. Быть может, это помогло бы восстановить утерянное уважение к инженерным профессиям и не создавало бы ореола вокруг едва ли не каждого кинематографиста или художника.

ВОТ ЕСЛИ БЫ НА МАРСЕ ОБНАРУЖИЛАСЬ ЖИЗНЬ...

Пилотируемые космические полеты — в принципе это не только орбитальные станции, но и различного рода межпланетные космические корабли, предназначенные для далеких экспедиций: пролетов, облетов и высадок на другие небесные тела.

Но почему же в принципе? Как мы уже говорили, еще десять — пятнадцать лет назад в сотнях книг и статей можно было прочитать о том, что развитие пилотируемой космонавтики неизбежно идет по пути: орбитальные корабли, станции, Луна, Марс и далее, как говорится, везде. С мечты о межпланетных полетах началась теория космонавтики. С нее начинали свою практическую деятельность создатели первых жидкостных ракет в 20—30-е годы. С мечтой о полетах на Луну, к планетам Солнечной системы работали творцы первых спутников и пилотируемых кораблей.

Но вот пришли 80-е годы XX столетия, а межпланетные корабли никуда не летают. Более того, не строятся и, насколько известно, создание их пока даже не планируется. А между тем конец 60-х и начало 70-х прошли под знаком крупного успеха космической техники — созданные в США пилотируемые корабли «Аполлон» с помощью трехступенчатых ракет-носителей «Сатурн-5» совершили 9 полетов к Луне с выходом на селеноцентрическую орбиту, в 6 из которых были осуществлены посадки специальных аппаратов на поверхность Луны.

Ракета разгоняла до скорости, близкой к 11 километрам в секунду, космический корабль «Аполлон». Он состоял из двух блоков — основного и лунного посадочного. Каждый блок в свою очередь делился на два отсека: первый — на отсек экипажа и служебный (с маршевым двигателем и прочим оборудованием), второй — на посадочный и взлетный отсеки, или ступени (каждый отсек имел свою двигательную установку). В отсеке экипажа на пути к Луне и обратно размещались все три члена экипажа. Двое из них на окололунной орбите переходили в кабину лунного аппарата, которая

располагалась во взлетной ступени, и осуществляли посадку на поверхность Луны с помощью двигателя посадочной ступени. Заход на посадку и прилунение осуществлялись как бы по-вертолетному.

После выполнения работ на поверхности Луны взлетная ступень с космонавтами отрывалась от посадочной и выходила на встречу с основным блоком, который с одним космонавтом все это время «крутился» вокруг Луны. После перехода космонавтов в отсек экипажа взлетная ступень отбрасывалась. Маршевый двигатель, который до этого уже включался несколько раз для коррекции траектории и торможения с целью перехода на селеноцентрическую орбиту, срабатывал вновь и разгонял корабль по направлению к Земле. Незадолго до входа в плотные слои земной атмосферы после одной-двух коррекций траектории миссия служебного отсека завершалась и он сбрасывался. Отсек экипажа совершал управляемый спуск и посадку на парашютах на поверхность океана. Вся эта довольно-таки сложная схема полета на сегодня представляется оптимальной и применяется во всех случаях, будь то пилотируемый или автоматический полет.

Итак, лунный пилотируемый комплекс был создан. Само по себе это хорошо, но ведь это не самоцель. Даже высадки на Луну не могут быть самоцелью. Важен научный и практический результат полетов, и только он.

Какие же данные были получены в результате посадок шести «Аполлонов» на Луну?

На Землю было доставлено большое количество образцов лунного грунта — около 400 килограммов. Казалось бы, наука получила важнейший материал и тайна происхождения Луны должна быть раскрыта. Но, увы, этого не произошло. Изучение грунта дало немало ценных данных, но и поставило огромное количество новых вопросов, ключ к которым пока неизвестно где и искать. Скорее всего он так и остался на самой Луне. Принципиальных достижений с точки зрения науки в целом экспедиции на Луну пока не дали.

А ведь «себестоимость» лунного грунта оказалась невероятно высокой. В первом приближении ее можно оценить исходя из того, что при затратах на один полет от 300 до 450 миллионов долларов космонавты привозили от 30 до 100 килограммов образцов. Хотя, конечно, прямым делением этих цифр нельзя получить истинную цену лунного грунта, соотношение это производит впечатление. Можно с уверенностью сказать, что если бы на поверхности Луны было рассыпано даже чистое золото, его доставлять на Землю таким способом было бы невыгодно. Но лунный грунт не содержит каких-либо редких полезных материалов, в которых Земля нуждалась бы настолько, чтобы оправдалась доставка их с Луны. В его составе есть немало железа и титана, а также некоторое количество алюминия, кремния и других элементов. Однако промышленное их выделение, по расчетам специалистов, может оказаться выгодным лишь при автоматической индустриализации Луны. А она станет возможной, очевидно, лишь в очень далекой перспективе.

Что касается вопроса о происхождении Луны, то он — при всей научной значимости — далеко не самый актуальный в перечне стоящих перед фундаментальной наукой. Это особенно важно иметь в виду, выбирая средства или рассчитывая затраты.

Разумеется, результаты программы «Аполлон» нельзя сводить к доставке и анализу лунного грунта. Космонавты разместили на поверхности Луны несколько комплектов научных приборов, включая сейсмографы, которые приносят данные о подвижках в лунной коре. Однако это, пожалуй, тоже не тот результат, ради которого стоило городить столь большой огород.

Наконец, непосредственный опыт передвижения по Луне (пешком и на механической тележке — луноходе) и опыт непосредственной исследовательской работы на ее поверхности — единственное, что нельзя было заполучить с помощью автоматических средств. Тут обращает на себя внимание, что только в самом последнем полете на Луну в экипаж был включен специалист по ее изучению — селенолог.

Почему, кстати, это был единственный случай? Да потому, что техническая сложность самого полета загрудняла такую возможность. Так или иначе, важность опыта полетов на Луну можно было бы оценить весьма высоко, если бы... он оказался необходимым в дальнейшем.

Но прежде чем говорить о развитии программы «Аполлон», мы должны упомянуть и о косвенном ее выходе, то есть практических результатах, полученных, так сказать, побочно. Такой выход стоит иметь в виду при анализе любой крупной науч-

но-технической программы. Так вот, система «Сатурн-5» — «Аполлон» дала целый ряд достижений, важных для развития различных отраслей техники, включая ракетно-космическую. Как в области технологии, так и в разработке различного рода оборудования. Примером может служить создание кислородно-водородных топливных элементов как автономных источников электроэнергии.

И все-таки главный итог программы «Аполлон», на которую было затрачено около 25 миллиардов долларов, нельзя не рассматривать с точки зрения ее дальнейшего развития. А развития она пока никакого не получила. С конца 1972 года полеты на Луну прекратились, и даже в 80-е годы возобновление их не планируется.

Неэффективность своей лунной программы с точки зрения науки и практики, а также степени риска американцы поняли очень быстро. В начале разработок планировалось 12 высадок на Луну. В ходе выполнения программы число их было сокращено вдвое.

Практически не применялись в дальнейшем и созданные по программе уникальные технические средства — ракета и корабль. «Сатурн-5» запускался после этого лишь раз, при выведении орбитальной станции «Скайлэб» в 1973 году, да и то без последней ступени. Корабль «Аполлон» использовался трижды для доставки экипажей на эту станцию и еще раз в 1975 году по программе ЭПАС. Разумеется, во всех этих случаях лунный аппарат не устанавливался.

Пожалуй, это самая большая издержка программы «Аполлон». Могучие ракеты, сложнейшие корабли, производственные, испытательные и пусковые мощности, на создание которых ушло почти десять лет, оказались ненужными.

Возникает вопрос: как же могли столь практичные американцы не предвидеть всего этого и истратить миллиарды на программу, давшую столь ограниченные результаты и, главное, не получившую дальнейшего развития? Чтобы ответить на него, стоит вернуться к истокам программы «Аполлон».

Официальное решение по ней было принято президентом США (тогда им был Джон Кеннеди) в мае 1961 года, то есть сразу после полета Гагарина и вследствие его. Пережив запуск в Советском Союзе первого искусственного спутника Земли, руководящие круги Соединенных Штатов никак не ожидали, что и первый человек в космосе окажется не американцем. Это, по их мнению, было недопустимым посягательством на монополию США быть лидером мирового научно-технического прогресса. Трезво оценив ситуацию, в США, однако, поняли, что успех Советского Союза в развитии космической техники не случаен и с ходу обойти нашу страну в ближайшие годы им не удастся. Вот почему для восстановления пошатнувшегося авторитета США в области науки и техники было решено пойти на долговременную программу, провозгласив национальной целью «до конца 1960-х годов осуществить высадку на Луну американских космонавтов». Во имя этой чисто политической, престижной задачи и были развернуты работы по дорогостоящей программе.

Когда состоялся первый полет и космонавты Армстронг, Олдрин и Коллинз вернулись домой, Америка торжествовала. Радовался за них и весь мир. В фундамент успешного полета на Луну были заложены камни учеными и инженерами многих стран и поколений, начиная с Циолковского. Недаром Армстронг в одном из своих выступлений сказал: «Гагарин всех нас позвал в космос».

Америка торжествовала по праву. Но когда развеялся дым от фейерверков и смолкли трубы оркестров, во всей своей наготе встал вопрос: ну и что? И ответ на него вскоре был получен. Каков он, мы уже рассказали.

— Вы, конечно, знаете, Константин Петрович, как настойчиво тем, кто рассказывает с трибуны о полетах в космос, задается вопрос: когда Советский Союз направит своих космонавтов на Луну? Вопрос этот возникает даже в том случае, если перед этим было сказано все то, о чем мы здесь говорили.

— И тогда и всюду я отвечаю на этот вопрос одинаково — вопросом: зачем делать в космосе то, что уже сделано другими, когда есть огромное количество других, нерешенных задач? Если уж делать, то на новом, существенно более высоком уровне. Если говорить о Луне, то это значит: не имеют смысла теперь кратковременные экспедиции туда и с теми же радиусами действия на лунной поверхности.

— Американские космонавты находились на Луне до трех суток и отъезжали от корабля на луноходе на расстояние до четырех километров. Разве это мало?

— Для современных исследовательских задач очень мало. Вот если бы на Луне работала станция хотя бы месяц-два, а удаляться можно было бы на десятки и сотни километров, это имело бы смысл. Но и стоимость создания таких средств была бы очень высока.

— Эта задача не по плечу современной технике?

— Вполне по плечу, если поставить такую цель. Но мы с вами уже выяснили, что просто техническое решение теперь уже никого не интересует: нужны цели достаточно практичные и значимые — научные, народнохозяйственные. А вот таких целей в освоении Луны пока не видно. Тем более в соотношении их с потребными затратами.

— Итак, на Луну пока никто больше не собирается. И период интенсивного ее изучения с помощью пилотируемых средств вроде бы тоже позади. Да и автоматы к Луне давно не летали. Едва ли, однако, с нашим естественным спутником уже все ясно. А как же быть с «бурным прогрессом» космонавтики, о котором так часто говорят?

— Некоторые задачи действительно пока отложены. Требуется освоить полученный материал и подготовиться к новому шагу вперед. В других направлениях, наоборот, произошла концентрация усилий и продвижение вперед имеет место постоянно. Прогресс теперь направлен не на внешне эффектные технические достижения, а на углубление возможностей космической техники, повышение ее эффективности. Так что никаких шагов назад. Другое дело — темпы продвижения вперед, на поверхностный взгляд они теперь не столь приметны. Но если всерьез посмотреть, например, на наши «Салют-6», «Прогресс», на американский «Вояджер», то это вполне отчетливые шаги вперед.

— Однако для тех, кто мечтал, что человек, проникший в космическое пространство и достигший Луны, непременно вслед затем отправится на Марс, наступила пора разочарований. Можем мы их чем-нибудь обнадежить?

— Я не думаю, что полет на Марс будет осуществлен ранее чем через десять — пятнадцать лет. Хотя вообще-то о сроках говорить здесь почти не имеет смысла. И дело совсем не в том, способна ли на это сегодня техника. Пока она не способна, но если в полете на Марс возникнет необходимость, подготовка к такому полету займет, быть может, менее десяти лет.

— Я знаком с множеством примеров посрамления скептиков, не верящих в перспективу решения тех или иных технических задач. Тем не менее беру на себя смелость высказать вновь сутубо скептическое суждение: в ближайшие двадцать — тридцать лет человек на Марс не полетит. Потому что такая экспедиция не будет оправдана. И потому что ее будет очень трудно осуществить. Марс будет исследоваться все более сложными и хитрыми автоматами.

— Не согласен. Создать корабль для полета на Марс вполне под силу современной технике. Другое дело, что сегодня действительно не видно той цели, которая сделала бы полет на Марс необходимым.

— А какую цель вы считаете достойной?

— Если бы автоматические аппараты достоверно обнаружили на этой планете признаки жизни, но не смогли бы доставить на Землю пригодные для исследований образцы живых или растительных организмов, основания для отправки туда ученых стали бы серьезными. Известно, что генетический код всего живого на Земле в принципе построен одинаково. Если бы при наличии на Марсе жизни удалось выявить ее генетический код и сравнить с земным, в основном была бы решена задача о происхождении жизни на Земле. Окажутся коды разными — подтвердится гипотеза о самозарождении жизни. Будут они одинаковыми — торжество окажется за гипотезой «посева». Возможность решения этой краеугольной задачи оправдала бы те огромные затраты, которые действительно необходимы для организации марсианской экспедиции.

— Как известно, ни советские «Марсы», ни два американских «Викинга» не обнаружили признаков жизни ни на поверхности планеты, ни в ее окрестностях. Не означает ли это, что и на автоматы в ближайшие годы надежд нет?

— Это означает лишь то, что эти аппараты жизни на Марсе пока не нашли.

— В начале семидесятых годов в мировой литературе довольно шумно обсуждались проекты космических систем для полета на Марс. Считалось, что такой полет состоится в середине или конце восьмидесятых годов. Помнится, стоимость одного из проектов оценивалась в 42,5 миллиарда долларов, причем предполагалось, что корабль

с экипажем в 6 человек будет собран на околоземной орбите из 6 блоков с ядерными двигателями, работающими на водороде.

— Помню этот проект. Мне он сразу показался не очень надежным и не вполне обоснованным. Авторы этого проекта, кажется, тоже не очень-то верили в него.

— Вы считаете проблему энергетики для марсианской экспедиции разрешимой?

— Вполне. Только не с ядерными и тем более не с обычными ракетными, а с электрическими двигателями.

— Все, что мне известно о проблемах создания марсианского корабля и осуществления полета, меня, Константин Петрович, никак не настраивает на оптимистический лад. Я понимаю, что технические проблемы в принципе разрешимы, и все же... Как говорится, начать и кончить. Другое дело, если бы основная часть этих проблем была решена практически (именно решена, а не получена возможность для их решения!) еще до начала подготовки полета. В этом случае принятие решения об организации экспедиции (при тех условиях, о которых вы говорили) было бы реальным.

— Космические программы, такие, как «Восток» и «Аполлон», показали, что когда возникает необходимость, принципиальные задачи решаются, даже если начинать приходится с нуля. С другой стороны, конечно, предпочтительнее иметь уже отработанные решения.

— Я не сторонник исторических параллелей и аналогий в развитии техники, признаю только обоснованные закономерности, распространение которых в перспективе весьма ограничено. Так вот, видится мне такая закономерность, справедливая на ближайшие десятилетия. Сложность и стоимость отдельных технических программ, которые могут быть выдвинуты на реальной научно-технической основе, возрастают быстрее, чем возможности общества по их реализации с учетом постоянного расширения поля деятельности человечества и стоящих перед ним задач. Авиация создавалась, по существу, одиночками, кустарями. Авиапромышленность возникла уже потом. Когда создавался «Восток», не стояли еще так остро, как сейчас, проблемы природных ресурсов и охраны окружающей среды. Возвращаясь к марсианской экспедиции, хочу сказать, что подготовка ее уже не может быть начата с нуля — слишком большая концентрация средств понадобится при весьма значительном риске, то есть возможности не получить ожидаемый эффект.

— С этим трудно спорить. И все же, я считаю, все определит в конечном счете наличие и весомость цели. Только от этого зависит решимость общества (одной страны или группы стран) идти на крупные затраты, связанные с полетом на Марс.

— Мне кажется, здесь всегда будет замкнутый круг: чтобы решиться на подготовку экспедиции, нужно будет иметь реальные, осязаемые доказательства возможности ее осуществления, а чтобы получить их, нужно пойти на затраты, которые станут реальными, как вы говорите, только при наличии убедительной цели. Одним словом, я не верю в то, что экспедиция на Марс состоится в обозримом промежутке времени. По этим же причинам человек — во всяком случае, в ближайшие полвека — не полетит на Венеру. А вы как считаете, будет когда-нибудь человек на Венере?

— Когда-нибудь — нет сомнений, хотя на сегодня сложности с Венерой представляются непреодолимыми...

Из-за плотной атмосферы в результате парникового эффекта давление близ поверхности Венеры около 100 атмосфер и температура около плюс 1500 градусов по Цельсию. Вполне реален, однако, полет на орбиту вокруг Венеры и зондирование верхних слоев ее атмосферы пилотируемыми аэродинамическими средствами.

В последние годы возникают разного рода экзотические проекты улучшения условий на Венере. Предлагают, например, осуществить отсос ее атмосферной оболочки.

Нет принципиально ничего невозможного для полета человека к Юпитеру. Хотя он намного дальше от Земли, чем Марс и Венера, и лететь туда с обычной энергетикой около двух лет. На возвращение же понадобится лет пять. Но интерес ученых к этой необыкновенной загадочной планете весьма велик. Особенно в связи с результатами, полученными с автоматического зонда «Вояджер».

В отличие от пустынных поверхностей Луны, Марса и Венеры, напоминающих какие-то земные районы, Юпитер, кажется, ни на что земное не похож. Похоже скорее на погасшее Солнце. Посадить корабль на эту планету, конечно, никогда не удастся — не на что сесть, тверди нет. Другое дело спутники Юпитера, их большой выбор — на разных расстояниях от поверхности планеты, разных размеров и, следовательно, с раз-

личной гравитацией. Вот на них человеку, исследователю побывать наверняка захочется. Но будет ли это в обозримой перспективе? Один из нас, как вы, наверное, догадались, убежден, что будет. Другой не без сожаления скажет: едва ли.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ?

— Как вы думаете, Константин Петрович, что движет человечеством, осваивающим космическое пространство?

— Вопрос мне кажется наивным. Разумеется, стремление к познанию, ну и, конечно, к совершенствованию земного хозяйства.

— Однако вот это последнее нередко отходит на второй план. Посмотрите литературу первого десятилетия космической эры. Сплошь и рядом вы увидите утверждение: человечеством движет страсть к постижению новых миров, извечный интерес и стремление к новому, непознанному. Попросту говоря, любопытство.

— Я с этим до известной степени согласен. Любопытство просто человеческое или научное — действительно движущая сила всякого познания. Мне самому, например, интересно там, где еще никто не был.

— О, это совсем другое дело! Это интерес к самому процессу поиска, узнавания плюс нормальное научное честолюбие. А любопытство ведь можно удовлетворить и в сфере, уже освоенной кем-то. Радость узнавания лично твоя, независимо от того, знает ли уже это кто-нибудь еще. С другой стороны, любопытство, вернее любознательность, желание узнать неизвестное, когда-то действительно было единственной движущей силой науки. Но ведь желание это принадлежало отдельным индивидам, а далеко не всему человечеству. Скорее наоборот, абсолютное большинство его представителей научное знание как таковое не волновало. Теперь оно привлекает многих, но сама наука давно выросла из пеленок чистого любопытства (даже если оно удовлетворяется за государственный счет, как шутил академик Арцимович) и стала непосредственной производительной силой. Так что наделять все человечество — хотя и такими симпатичными индивидуальными свойствами, как любопытство, — это, по-моему, просто метафора. Причем с довольно узким диапазоном применения. Не стремимся же мы приписывать всем землянам в совокупности многие другие качества, например увлеченность или одержимость, и ими объяснять те или иные свершения человечества. В приложении к космической деятельности упомянутая метафора, на мой взгляд, стала просто штампом. Причем с непререкаемыми параллелями, о которых я уже говорил. «Как когда-то человек стремился пересечь океан, чтобы собственными глазами увидеть неведомые земли и ступить на них, так теперь он покоряет космическое пространство, чтобы поднять камень с Луны, пройти по далекой планете или астероиду». Ниоткуда я это не выписал. Но нечто похожее мог бы найти где угодно.

— Может быть, любопытство в системе познания и метафора, однако вполне допустимая. Если говорить о прошлом, то любопытство было большой силой. Я, например, думаю, что Колумб, собираясь через океан, только пудрил мозги своему королю, обещая кратчайшую связь с Индией. А на самом деле ему было до крайности интересно узнать, что там, на западе. Да, Гагарин полетел в космос не за удовлетворением личного любопытства, но и ему, и науке, и всем создателям корабля было и очень интересно узнать, как там, на орбите, почувствует себя человек...

— Так или иначе, но мы с вами сходимся на том, что цель космонавтики, как и всякой научно-технической области, — продвижение вперед научного знания и решение различных практических задач, стоящих перед народным хозяйством. Но это общая цель. А в каких конкретно свершениях ей предстоит быть реализованной в перспективе? Какой путь из множества возможных выберет человек в будущем своем продвижении в области освоения космического пространства?

Любая природная сфера, с которой взаимодействует человечество, в пространственном смысле конечна. За исключением космоса. То, что космос безграничен, не преувеличение, это его физическая характеристика. Поэтому осваивать космос можно и вглубь и вширь бесконечно, насколько у человечества хватит фантазии, ума и сил. И интересных технических задач, которые могут быть в нем решены, бесконечное множество.

В последние годы с легкой руки американского профессора Джерарда О'Нейла широко обсуждается вопрос о будущих околоземных космических поселениях-колониях.

Чем аргументирует Дж. О'Нейл необходимость создания колоний в космосе? Прежде всего возможностью с их помощью решить на Земле проблему народонаселения. К 2050 году, считает он, народонаселение Земли должно возрасти до 16 миллиардов человек. Это будет слишком большой нагрузкой для планеты, и человечество вынуждено будет колонизировать космос. Процесс колонизации будет быстрым, подобно освоению Нового Света, и в результате лет через тридцать пять на Земле останется только около 2 миллиардов, и эта численность на ее поверхности стабилизируется. Населенные же площади колоний к 2150 году в 5 раз превысят площадь суши Земли. В конечном счете общая численность человечества возрастет до 80—100 миллиардов. Кроме того, по его мнению, переселиться в космос человечество заставит истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. В колониях жители будут независимы от земных ресурсов. Наконец, последний аргумент выглядит примерно так: если мы можем колонизировать космос, то и должны это делать.

Вот такими прогностическими выкладками американский ученый доказывает необходимость развертывания гигантского строительства в космосе.

По замыслу О'Нейла, каждая колония должна представлять собой металлический цилиндр диаметром от 1 до 6 километров и длиной от 3 до 30 километров. Жить в каждом из них будут, соответственно, от 100 тысяч до 20 миллионов человек. Цилиндр будет вращаться, и, следовательно, на внутренней поверхности образующей его оболочки будет искусственная сила тяжести. Здесь будут не только жилые постройки, но и горы, леса, озера, реки с разнообразным животным миром. В оболочке будут закрытые прозрачным материалом прорези с жалюзи и отражателями для регулируемого пропуска солнечного света. Энергообеспечение колоний, естественно, будет осуществляться с помощью солнечной электростанции.

Детально О'Нейл разработал не только организацию жизни, деятельности и отдыха будущих колонистов, но и технологию расширенного строительства колоний. Источником сырья, по его подсчетам, лучше всего сделать Луну, и только часть материалов будет доставляться с Земли.

Им проработана также схема транспортной системы для перевозки грузов к месту сооружения колоний. Место это, с его точки зрения, лучше всего выбрать вблизи «лагранжевых точек», то есть на орбите вокруг Земли высотой примерно 400 тысяч километров, на одинаковом расстоянии от Земли и Луны. Транспортировка будет осуществляться с помощью либо специальных летательных машин, либо магнитных ускорителей. Общая стоимость строительства и заселения колонии диаметром 1,2 километра О'Нейл оценивает в 34 миллиарда долларов. Продолжительность создания — 4 года.

Понятно, что космические колонии — это проблема не только техническая, но и экономическая и социальная. И как таковую ее впервые, как известно, поставил Циолковский семьдесят лет назад.

Гений Циолковского, словно первый плут, прошедший по гигантской цепи, вскрыл новую, космическую сферу приложения человеческих знаний и рук. Вот уже два с половиной десятилетия развивается практическая космонавтика — срок, соизмеримый с продолжительностью создания ее теоретических предпосылок. Наука всегда будет благодарна Циолковскому за то, что он первым указал на пути осуществления космических полетов, в значительной степени предвосхитив многие практические шаги современной космонавтики. И за то, что сделал он это с великой верой в необходимость и неизбежность развития космической деятельности человека, с присущей ему могучей логикой ученого и мыслителя.

Не так уж часто было в истории, чтобы ученый или изобретатель, одержимый своей научной или инженерной идеей, смог так же решительно выйти за рамки частных и задолго до практической реализации своей идеи поставить и обосновать конечную, притом совсем не близкую цель ее осуществления в масштабе всего человечества. Для этого Циолковскому понадобилось прорваться за уровень мышления своего времени, проявив небывалое раскрепощение и свободу в своих исследованиях.

В 1911 году в письме к редактору петербургского «Вестника воздухоплавания» Б. Н. Воробьеву он написал фразу, которая до сих пор волнует многих: «Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а потом завоюет себе все околосолнечное пространство».

Письмо Циолковского сопутствовало публикации второй части его труда «Исследование мировых пространств реактивными приборами». В этой работе после описания условий и путей создания постоянных спутников Земли с человеком на борту, то есть кораблей, полета на Луну и создания околосолнечной станции Циолковский писал:

«Движение вокруг Земли ряда снарядов, со всеми приспособлениями для существования разумных существ, может служить базой для дальнейшего распространения человечества. Поселяясь кругом Земли во множестве колец, подобных кольцам Сатурна... люди увеличивают в 100—1000 раз запас солнечной энергии... с завоеванной базы протянуть свои руки за остальной солнечной энергией, которой в два миллиарда раз больше, чем получает Земля... План дальнейшей эксплуатации солнечной энергии, вероятно, будет следующий. Человечество пускает свои снаряды по один из астероидов и делает его базой для первоначальных своих работ. Оно пользуется материалом маленького планетоида и разлагает или разбирает его до центра для создания своих сооружений, составляющих первое кольцо кругом Солнца... где-нибудь между орбитами Марса и Юпитера... Когда истощится энергия Солнца, разумное начало оставит его, чтобы направиться к другому светилу...»

Заметим, что ученый предлагал расселяться не на планетах: «Нет даже надобности быть на тяжелых планетах, разве для изучения. Достижение их трудно; жить же на них — значит заковать себя цепями тяжести... Планета (не Земля, как нередко имеют в виду при цитировании.— Авт.) есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».

Мысли эти свои он развивал и в более поздних работах. В капитальной работе 1926 года, вышедшей под тем же названием — «Исследование мировых пространств реактивными приборами», Циолковский представил еще более конкретизированную программу.

После постепенного перехода от обычного самолета к космической ракете и кратковременным орбитальным полетам (первые пять пунктов программы), вслед за постепенным увеличением продолжительности полетов, созданием скафандров для выхода в открытый космос и замкнутых экологических систем, независимых от Земли (еще четыре пункта), предполагаются также этапы:

«10. Вокруг Земли устраиваются обширные поселения. 11. Используют солнечную энергию не только для питания и удобства жизни (комфорта), но и для перемещения по всей Солнечной системе. 12. Основывают колонии в полосе астероидов и других местах Солнечной системы, где только находят небольшие небесные тела. 13. Развивается промышленность и размножаются невообразимо колонии...»

Несколько раньше в этой же работе написано: «Мы можем достигнуть завоевания Солнечной системы очень доступной тактикой. Решим сначала легчайшую задачу: устроить эфирное поселение поблизости Земли в качестве ее спутника на расстоянии 1—2 тысячи километров от поверхности...»

Если сделать скидку на время и отбросить некоторые анахронизмы в представлениях и изложениях, все здесь логично и последовательно. Вот это-то плюс авторитет великого ученого заставляет иных современных специалистов считать программу Циолковского единственно верным путем развития человечества. Утверждают при этом, что раз Циолковский выдвинул идею о неограниченном распространении человеческой цивилизации в космосе, обосновал ее путем анализа тенденций развития жизни на Земле, предложил для ее реализации средство (жидкостную ракету) и разработал программу, значит, иных вариантов развития человечества нет. Подкрепляют это суждение фактами осуществления начальных пунктов программы и тем, что доводы ученого в обоснование идеи сохранили свою силу до нашего времени.

Мы имеем все основания рассматривать идею Циолковского о расселении человечества по всему космическому пространству как интуитивную дальнеперспективную оценку, относящуюся к тому периоду развития земной цивилизации, который находится пока за пределами научного прогнозирования и является сферой сугубо философского мышления.

Справедливо называя Циолковского человеком из будущего, мы не должны забывать, что он не мог не быть также человеком своего времени — рубежа XIX—XX веков. Наука в тот период была по своему развитию если не в детском, то в юношеском возрасте.

Питаясь от редких, более всего частных источников средств, наука того времени отдельными импульсами создавала новые знания, которые служили в основном самой же науке, в меньшей степени технике и уж совсем в минимальной — производству. Юношескому возрасту, как известно, свойственны колебания и сомнения, заимствования и максимализм. И эти свойства науки того времени не могли не отразиться на аргументации Циолковского. Мироззрение его носило в некоторой степени характер собирательный, нецельный, хотя и содержало немало рациональных зерен.

Неизбежность широкого расселения человечества в космосе, расширения границ земной цивилизации ученый обосновывает с позиций и на основе представлений своей эпохи. Три основных, неизбежных в будущем причины ведут, по Циолковскому, к этому: недостаток на Земле энергии, угроза перенаселенности Земли и высокая вероятность катаклизма.

Почти те же аргументы в обоснование главных целей освоения космоса, как мы уже знаем, приводятся и в наше время. Добавляются сюда предположения о неизбежности крайнего, неприемлемого для жизни засорения окружающей среды. И еще некоторые западные ученые (среди них, например, известный физик Фримен Дайсон) надеются найти в космосе спасение человечества от земных социальных проблем.

Долгое время достижения науки и техники оценивались главным образом как те или иные новые возможности, достигнутые в результате освоения новых рубежей и призванные удовлетворять определенные общественные потребности. Но такой аспект, как мы убедились, связан лишь с внутренней логикой развития науки и техники.

В последние же годы в результате научно-технического прогресса на принципиально новый уровень поднялись сами общественные потребности. Если учесть также постоянно действующее условие ограничения текущих ресурсов, с одной стороны, и усовершенствование организации и управления научно-техническим прогрессом — с другой, становится понятно, почему на первый план теперь вышел иной критерий оценки достижений этого прогресса — их социальная значимость и экономическая эффективность.

Грядущий прогресс науки и техники также должен оцениваться теперь не только с точки зрения возможностей развития вообще, но прежде всего с точки зрения динамики потребностей и экономических возможностей общества. Сами же по себе возможности науки и техники могут иной раз даже обгонять текущие цели и превышать ресурсы общества. Вот почему при оценке перспектив тех или иных направлений научно-технического прогресса необходимо учитывать фактор общественной целесообразности. Вот почему планирование развития той или иной области техники строится теперь на основе программирования, то есть выявления целевого фактора, определяющего необходимость и возможность решения той или иной научно-технической задачи.

Отсюда вытекает, что возможность создания даже в весьма отдаленной перспективе средств для перелета и расселения людей в космическом пространстве мы должны рассматривать прежде всего под углом зрения потребности и целесообразности такого расселения.

Взглянем теперь критически на те основные аргументы, которые выдвигают сторонники расселения.

Энергия. Во времена Циолковского немногочисленные, сравнительно мало-мощные электростанции, пожиравшие горы угля и реки нефти, нередко с трудом обеспечивали даже самые скромные потребности людей. Трудно было при этом оспаривать мысль о скором энергетическом истощении Земли. Но с тех пор потоки электричества буквально залили Землю. Казалось, этот аргумент ученого полностью опровергнут. Но вот в последние годы на части нашей планеты люди снова ощутили, что такое энергетический кризис. Однако кризис этот, как известно, во многом носит искусственный характер и не имеет прямого отношения к запасам минерального топлива на планете. Сторонники неизбежности энергетического кризиса чаще всего ссылаются на близость истощения нефти и другого природного топлива,

запасов которого якобы хватит лишь на несколько десятков, в крайнем случае на сто лет.

Что, однако, говорят советские специалисты по энергетическим ресурсам? Минерального топлива, точнее угля, должно хватить не менее чем на тысячу лет или даже на несколько тысяч лет. Запасы ядерного горючего на Земле на сегодня представляются довольно большими, притом что еще только начато освоение реакторов на быстрых нейтронах, которые способны воспроизводить ядерное горючее. Есть все надежды на освоение термоядерной энергии — неисчерпаемого и дешевого источника энергии.

Добавьте к этому, что далеко не полностью пока используются многие виды возобновляемых энергоресурсов Земли, в частности гидроэнергия. Практически только приступили к освоению приливной энергии и энергии ветра, морских волн. В литературе упоминаются и такие гипотетические способы, как использование электрического потенциала Земли. Наконец, и солнечная энергия может быть использована для нужд Земли путем создания различных типов наземных батарей и средств аккумуляции тепла, а также получения энергии с орбитальных солнечных электростанций. Кстати, КПД солнечных батарей не превышает сейчас 10—12 процентов и в росте его кроются огромные резервы.

С целью широкого использования солнечной энергии, нам кажется, человеку совсем не будет нужды покидать Землю, расселяться в окружающем ее пространстве.

Стоит учесть и возможную в будущем стабилизацию роста потребления энергии на Земле.

Итак, в обозримом промежутке времени человечество, по-видимому, не будет испытывать недостатка в энергии. Проблемой скорее всего будет отвод с Земли возникающего при энергопотреблении избыточного тепла.

Народонаселение. Низкий жизненный уровень и плохие жилищные условия у большинства населения даже развитых стран, естественно, создавали в те далекие времена видимость близкой угрозы переуплотнения планеты. Проблема эта долгое время действительно волновала ученых. Еще не так давно нас пугали такими цифрами, как 100 и даже 300 миллиардов человек. Столько якобы окажется на планете через сто—сто пятьдесят лет. Сейчас же наука склоняется к тому, что более реально в ближайшие десятилетия замедление прироста народонаселения и стабилизация его на уровне 12—13 миллиардов человек (прогнозные цифры на 2000 год не превышают 7,5 миллиарда).

Но проблема народонаселения волнует в смысле не только плотности, но и соответствия имеющимся материальным ресурсам и жизненному пространству. По подсчетам некоторых специалистов, уже полного освоения сельскохозяйственных площадей планеты достаточно, чтобы прокормить не менее 12—15 миллиардов людей, а всех оценочных ресурсов Земли в перспективе должно хватить на 100 миллиардов.

Переуплотнение нынешних крупных городов — это явление не неизбежное, носит оно также сугубо социальный характер и потому, конечно, временное. Вообще высокая плотность населения имеет место только в небольшой части районов Земли. Огромные площади практически пустуют — тундра, Заполярье и Антарктида, Тибет и Сахара. Разумеется, сейчас это практически непригодные или малоудобные для жизни земли, но приспособить их для нормальной комфортной жизни и деятельности человека все-таки неизмеримо легче и уж наверняка целесообразнее, чем переселяться в космическое пространство и «отстраиваться» там. Нельзя не учитывать также пространственные и сырьевые ресурсы Мирового океана.

Кстати, наше земное строительство идет пока до чрезвычайно малых, можно сказать, мизерных высот. Человеческое жилье буквально стелется по земле. Самые высокие здания достигают высоты лишь 200—300 метров, в то время как человек без сложного дополнительного оборудования может существовать на высотах до нескольких километров. В освоении пространства нижних слоев атмосферы, нам кажется, также таятся огромные резервы расселения.

Катаклизмы. Вероятность мирового космического катаклизма в результате столкновения Земли с крупной кометой или затухания Солнца оценивалась во времена Циолковского весьма высоко. Ныне же она считается практически ничтожной. Правда, не исключена угроза катаклизма социального — самоуничтожения цивилизации в результате ядерной мировой войны. На наших глазах на планете растет движение

сторонников мира. Советский Союз, выступая со все новыми инициативами в вопросах разоружения, стремится сделать все для того, чтобы возросли надежды человечества на устранение опасности такого «внутреннего» катаклизма.

Природные ресурсы. Пожалуй, наибольшее волнение уже сейчас человечеству доставляет вероятность скорого истощения природных ресурсов Земли. Однако немалое количество специалистов считает, что природные ресурсы Земли еще мало разведаны, а известные используются недостаточно и нерационально. К примеру, существуют огромные резервы в повышении степени утилизации первичного минерального сырья за счет усовершенствования методов добычи и очистки, а также в использовании вторичного сырья и отходов производства. Проблема природных ресурсов, таким образом, тесно сопрягается с проблемой борьбы с загрязнением окружающей среды отходами промышленной деятельности. И та и другая, очевидно, могут быть решены только после широких социальных преобразований на нашей планете. Решительный отказ от расточительного способа хозяйствования, недальновидного отношения к природе позволит человечеству выйти на совершенно иной уровень взаимоотношений с ней и преодолеть нынешнее предрезисное состояние. Этому же способствует научно-технический прогресс, и в частности освоение и исследование космического пространства.

Итак, те аргументы, которые выдвигал Циолковский в подтверждение необходимости распространения человечества в космическом пространстве, с позиций нынешних знаний звучат уже далеко не столь убедительно. С другой стороны, идею Циолковского о переселении, повторяем, следовало бы отнести к столь отдаленному будущему, которое пока, если мы хотим оставаться на научных позициях, остается для нас за пределами анализа.

Если чуть углубиться в философские работы ученого, нетрудно убедиться, что в основе его оценок лежала такая мысль: человечество только тогда будет истинно счастливо, когда будет совершенно свободно. А под недостатком свободы он понимал не только ограничения общественного характера, но и препятствия, возникающие в связи с относительной малостью имеющегося на Земле пространства, пределами в запасах энергии и... действием сил гравитации.

Тяжесть, прижимающая человека к Земле, не дающая ему свободно перемещаться в пространстве,— это, по Циолковскому, путь. За пределами Земли, в условиях невесомости человек избавится от них и, создав к тому же «высшую организацию» жизни, окажется полностью и буквально свободным.

Есть у Циолковского и такая мысль: при наличии в космосе, как многие тогда считали, других обитаемых миров человечество призвано соединиться с ними узами братства и нести свой высокий разум в просторы Вселенной. Еще более важна последняя задача, если с развитыми цивилизациями в космосе встретиться не удастся.../

В наше время по планете распространилось подлинно научное знание, материалистические и диалектические взгляды на природу развития и социальные процессы. Свобода понимается как категория сугубо социальная, как продукт классовых завоеваний. Отсюда вытекает, что никакие новые сферы существования не гарантируют сами по себе свободы.

А между тем проект О'Нейла, появившийся не в начале века и не в 20-е годы, а в наше высокопросвещенное время, претендует быть не только технической гипотезой, но и вообще рецептом развития человечества.

Не видя иных возможностей выйти из кризисов, присущих обществу, к которому он принадлежит, О'Нейл предлагает искать пути для этого в космосе. Всеобщая трудовая занятость, высокая продуктивность и прибыли производства, разнообразные формы местного самоуправления и вообще «очень приятный образ жизни» — вот те признаки «космического рая» на борту космических колоний, которые видятся автору проекта. Это напоминает надежды некоторых наивных людей, которые не способны навести порядок у себя дома, но мечтают сделать это на новой квартире.

Если «все лучшие, присущие ему качества», по выражению О'Нейла, это его общество не в состоянии проявить здесь, на Земле,— не может избавиться от безработицы, засилья монополий, инфляции, роста преступности, терроризма,— то на чем же может быть основана уверенность, что все это исчезнет на космических орбитах?!

Но, может быть, человечество, получив огромные возможности в виде средств освоения космического пространства, действительно не сможет остановиться и не

применить их для создания гигантских поселений на орбитах? Хочется в связи с этим вспомнить: небезызвестную формулу Артура Кларка: «Если что-либо теоретически возможно и не противоречит фундаментальным научным истинам, то рано или поздно это будет осуществлено». Многие ее разделяют, но нам кажется, что она далеко не аксиома. Если основываться только на прошлом опыте технического прогресса, то она вроде бы работает. Чтобы создать первые в мире жидкостные ракеты, кроме предшествующих достижений науки и техники, нужен был только талант и энтузиазм небольших групп исследователей. Создать сегодня орбитальную станцию, не говоря уж о космической колонии, нельзя без вложения огромных средств и кооперации многих разнообразных по своему профилю отраслей науки и техники. Создание такой кооперации, в свою очередь, требует немалых средств и неразрывно связано с решением на высшем уровне большого комплекса производственных, эксплуатационных, а также политических проблем.

Мы уже приводили примеры из практики космических разработок, когда вполне возможное и даже в известной степени необходимое (например, для развития самой отрасли) не было реализовано в связи с непреодолимыми при разумных усилиях трудностями. Жизнь отодвигает решение таких проблем на более отдаленные сроки.

Тезис Кларка ныне, по нашему мнению, выглядит лишь как продукт некоей абстрактной веры во всемогущество научно-технического прогресса, связанный с трактовкой этого прогресса как непрерывного, поступательного, чисто количественного развития. Поэтому его следовало бы подкорректировать: «Если что-либо теоретически возможно... будет осуществлено», если будет продиктовано общественной целесообразностью.

Нет сомнений, что рано или поздно человечество создаст крупные космические объекты в космосе с целью решения разнообразных научных и прикладных задач. Безусловно, они будут важным подспорьем в решении человечеством своих земных проблем. Но едва ли они когда-нибудь станут основным местом и средством развития земной цивилизации.

Но давайте посмотрим на космические колонии с другой стороны. С точки зрения возможностей их создания.

В качестве базы для строительства автор предложил использовать «богатую рудами» Луну. Если допустить, что Луна ими действительно богата, необходимо, чтобы эти руды были добыты и превратились в металл. Таким образом, прежде чем начать строить первую колонию, необходимо создать на Луне горнодобывающее производство, металлургию и производство стройматериалов и конструкций. А это, со своей стороны, требует наличия химической промышленности и машиностроения. То есть прежде придется «всего-навсего» освоить Луну. Но мы уже говорили, что пока тенденции к этому не просматриваются. Даже с перспективной энергетикой, транспортными средствами будущего освоение Луны потребует очень больших затрат и длительного времени. По оценкам известного американского специалиста К. Эрике, только начальные капиталовложения в индустриализацию Луны потребуют 60—70 миллиардов долларов (по курсу пяти-шестилетней давности).

Однако и при наличии возможности отправлять с Луны в «лагранжевые точки» строительные материалы и конструкции, возникает сложная проблема их транспортировки. Методы, предлагаемые О'Нейлом, вызывают большие сомнения. Следует ожидать большого рассеяния «брошенных» грузов в месте их приема. Собрать их будет непросто, нужно будет снова затрачивать энергию и решать сложные задачи управления. Доставлять же грузы с Луны с помощью ракет оказывается явно невыгодно по сравнению с доставкой с Земли.

Есть и еще ряд сложных вопросов. Каким образом осуществлять заселение колоний? Как организовать их снабжение, ведь наверняка в течение какого-то времени они не смогут существовать автономно. Как защищаться от радиационного излучения и метеоритов? Каков путь к реализации замкнутого экологического процесса? На все эти вопросы при утверждении того, что колонии технически реальны, нельзя не давать ответы...

— Итак, мне снова приходится встать в позицию скептика. Думаю, Константин Петрович, что колонии-поселения в космосе создаваться не будут.

— Пока не видно никаких предпосылок к тому, чтобы в них возникла необходимость. Но с технической точки зрения проект О'Нейла выглядит вполне реали-

стично. Хотя многие вопросы требуют тщательного расчета, а иные из предлагаемых решений — пересмотра.

— Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы колонии когда-нибудь стали реальностью. Хотя красиво, романтично и экзотично. Что-то вроде научно-фантастического проектирования. В этом смысле проект очень интересен — будит воображение, рождает споры. Но абсолютно нереален.

— Все зависит от того временного упреждения, на которое мы способны. О'Нейл говорит о развертывании строительства в восьмидесятые годы. Это совершенно неоправданно. Но если иметь в виду более отдаленное время, то ничего бессмысленного и нереалистичного я не вижу. Нужно или не нужно — это другой вопрос.

— На мой взгляд, человечество никогда не будет расселяться в космосе. Ему это будет не нужно. Ресурсы Земли и окружающего пространства человечество постигло лишь в минимальной степени. Всегда будут находиться новые возможности на Земле, куда более экономичные и удобные, чем уход в космос. Будучи скептиком в отношении космических поселений, я крайний оптимист в смысле веры в неисчерпаемые возможности нашей планеты, в которую включаю околоземной космос. И еще. Весь опыт развития земной цивилизации показывает, что человечество движется по пути прогресса в тесной связи с накопленным веками богатством мировой культуры. Человечество будущего не сможет жить в отрыве от этого богатства, оно тогда деградирует. И наконец, расселение, по моему убеждению, никогда не окажется возможным. Если прирост населения уменьшится, скажем, до процента в год (сейчас почти два процента), то это все равно будет несколько десятков миллионов человек. Невозможно себе представить перевозку в космос даже годового прироста населения. Если же оно стабилизируется, тогда это будет тем более не нужно.

— В отношении культуры вы правы лишь отчасти. И сейчас абсолютное большинство землян пользуется (если пользуется) ею, так сказать, вторично — через средства массовой информации. Эти же средства с тем же успехом в будущем могли бы обслуживать космические колонии. Другие перечисленные вами аргументы в последнее время смущают и меня. Я бы добавил сюда и такой фактор, как ностальгия. Все в колонии будет искусственным, включая реки и горы. И в жителях ее, особенно первых поколений, будет жить тоска по настоящему, земному. Может быть, последующим поколениям будет проще, но и у них будет ощущение некоторой неполноценности существования, связанное и с этой искусственностью и с ограниченностью окружающего пространства. Если признаться честно, лет пять-шесть назад я был почти убежден, что человечество действительно не останется вечно на Земле и неизбежно начнет в будущем расселяться в космосе. Однажды, помню, году в шестьдесят первом, выступал я на космодроме перед специалистами, которые готовили к полетам космические корабли. И, формулируя цели космонавтики, я назвал ее наилучшим средством от грядущей перенаселенности Земли. Но потом как-то посчитал, «порисовал», подумал и понял, что ничего из этого не получится. Сейчас мне хочется только, чтобы расселение людей в космосе стало хотя бы когда-нибудь возможным. Ведь не переведутся же искатели приключений, которые могут вдруг захотеть жить в столь экзотических краях! Если же будет возможность, думаю, человечество от нее не откажется.

— Честно говоря, мне тоже хотелось бы, чтобы это когда-нибудь было...

РЕНТАБЕЛЬНЫЙ КОСМОС

Мы хотели бы попросить читателя эти наши размышления не рассматривать как попытку прогнозировать развитие космонавтики. К сожалению, слишком часто в нашей литературе интуитивные соображения специалистов (а иногда и неспециалистов), если они еще подкреплены простейшими расчетами, необоснованно объявляют научным прогнозом. А затем не задумываясь и программой развития.

На наших глазах в последние годы складывается новое научное направление — прогностика, которая вырабатывает разного рода аналитические и статистические методы оценки будущего. Пока научные методы прогнозирования научно-технического прогресса хорошо работают на сравнительно небольшие периоды времени: до пяти — восьми лет. То есть как раз на те сроки, которые уходят на крупную техническую разработку. Удачи в таких прогнозах связаны с достоверным знанием состояния этих

разработок. На большие сроки предсказания делаются лишь в виде вариантов — для различных условий развития. На срок более восьми — десяти лет прогнозирование в большинстве случаев (мы имеем в виду, разумеется, развитие техники в плане достаточно крупных задач) проводится уже только интуитивное. Нередко с привлечением к этому больших групп специалистов.

И тем не менее всякое интуитивное предсказание, даже опирающееся на детальное знание области прогнозирования и оценочные расчеты, рискует не оправдаться. Слишком сложно оказывается предусмотреть на эти сроки все случайные события: открытия, изобретения, частные разработки, руководящие решения, изменение различных социальных факторов. Вот, например, уже упоминавшийся нами Артур Кларк, известный ученый, а также писатель-фантаст и киносценарист, человек с энциклопедическими знаниями и богатейшей интуицией (это он в 40-е годы предвосхитил появление спутников связи), в 1962 году сделал специальный анализ и предсказал практическое появление ядерных ракетных двигателей в 1970 году, а высадку человека на Марс — до 1980 года. Как мы знаем, оба прогноза, как и многие другие, не сбылись.

В 1964 году известная американская фирма «Рэнд», создав специальную рабочую группу и применив новейший тогда метод экспертных оценок «Делфи» и ЭВМ, работала прогноз развития космонавтики. Как оказалось, оправдалась только небольшая часть из 30 позиций, да и то та, что была ориентирована на ближайшие три — пять лет. В целом же картина, построенная на конец 70-х годов (то есть прогноз на пятнадцатилетие), значительно отличается от реальности.

Все это к тому, что и наши соображения о будущем космонавтики, быть может, через несколько лет кому-то покажутся неубедительными или даже забавными. И тем не менее мы решились на этот маленький риск. И в оценке будущего освоения Луны, и в рассмотрении возможности полета на Марс, и в своих точках зрения на орбитальные колонии. Правда, мы нигде не пытались называть более или менее точные сроки и этим надеемся уберечь себя от будущих сарказмов наших вынешних молодых читателей...

Придя к кое-какому согласию в отношении космических колоний, мы остановились в некотором смятении. Куда теперь направить наш разговор? Еще дальше? К полетам на спутники Юпитера и Сатурна? А может быть, поразмышлять о возможности создания корабля для посещения окрестностей звезды Альфа Центавра? Но нет. Мы решили отказаться от этих заманчивых экскурсов в космическую экзотику и... вернуться назад. Поближе к Земле и ее заботам.

Поговорим о некоторых из тех задач, которые видятся нам в освоении космоса человеком хотя и не в близкой перспективе, но достаточно реально. И в решении которых к тому же истинно нуждается наша планета.

Мы полагаем, что после получения достаточного опыта долговременных полетов на орбитальных станциях предстоит создание на орбитах существенно более крупных объектов. И в первую очередь гигантских солнечных электростанций для снабжения энергией наземных потребителей.

В настоящее время на Земле выявился примерный оптимум мощности единичных объектов, будь то тепловые, гидравлические или атомные электростанции, — несколько миллионов киловатт. Поэтому для оценки возникающих проблем имеет смысл рассматривать космическую станцию того же порядка мощности.

Как известно, солнечную энергию можно преобразовать в электрическую разными способами, в частности используя тепловой поток. Но наиболее простым в нашем случае представляются полупроводниковые преобразователи светового солнечного излучения, то есть солнечные батареи. В принципе те же самые, которые нашли применение на абсолютном большинстве современных космических аппаратов. Это, кстати, фактор немаловажный — получен уже огромный опыт длительной эксплуатации их в условиях космоса.

Применяются обычно кремниевые элементы — тонкие, небольшого размера, площадью несколько квадратных сантиметров слоистые пластинки из кремния (по существу, стекло, только очень дорогое), при попадании на которые солнечного света возникает всем известный фотоэффект: образуется разность потенциалов. С одного элемента можно снять очень небольшую мощность, причем КПД преобразования энергии у такого элемента невелик — максимум 10—12 процентов (у экспериментальных

до 18). Чтобы получить практический источник питания, элементы в большом количестве соединяют последовательно и параллельно. В результате с одного квадратного метра солнечной батареи можно получить мощность максимум 140—170 ватт (мощность солнечного потока за пределами атмосферы около 1400 ватт на квадратный метр). На станции «Салют-6», например, смонтировано три панели площадью по 20 квадратных метров.

Понятно, что такие батареи дают ток только при наличии солнечного освещения и тем больший, чем отвеснее падают лучи на их поверхность. Поэтому для повышения токосъема на многих космических аппаратах устанавливают механизмы ориентации батареи на Солнце, работающие независимо от ориентации аппарата. Такие механизмы имеются, в частности, на многих спутниках «Космос» и станциях «Салют». Для получения тока в период прохождения в тени применяют буферные химические аккумуляторы, которые в остальное время подзаряжаются от солнечных батарей, а также демпфируют возможные колебания нагрузки.

Понятно, почему солнечные батареи считаются выгодными для снабжения энергией Земли. Отсутствие вращающихся частей делает их эксплуатацию предельно простой, а ресурс практически неограниченным. Хотя со временем кпд батареи постепенно падает под воздействием ультрафиолетовых излучений и метеорной эрозии.

Столь подробно мы рассказали о принципе работы солнечных батарей еще и потому, чтобы помочь читателю самому оценить достоинства космической электростанции большой мощности и сложности ее создания. Важнейшие, кстати, из принципиальных ее отличий от обычных бортовых солнечных батарей — это отсутствие необходимости в буферных аккумуляторах и наличие системы передачи на Землю выработанной энергии. Для этой цели выгоднее всего оказалось применить микроволновое излучение. Станция должна иметь, таким образом, специальный преобразователь и передатчик энергии с остронаправленной антенной, а также, конечно, средства ориентации на Солнце и аппаратуру управления.

На Земле должны быть сооружены приемник волн и преобразователь их в промышленную энергию. Чтобы станции могли иметь непрерывную и кратчайшую связь с наземными приемниками, их следует создавать на стационарной орбите, то есть на высоте 36 тысяч километров в экваториальной плоскости.

Главное на пути создания орбитальных электростанций — научиться строить в космосе гигантские конструкции, которые должны быть легкими и легко трансформируемыми после выведения на орбиту. Начинать, по-видимому, придется со сборки ажурной панели-блока размером, скажем, 100 на 100 метров. А затем, постепенно соединяя между собой такие блоки, наращивать площадь панели до десятков квадратных километров. С панели площадью около 50 квадратных километров можно будет снимать мощность до 10 миллионов киловатт. Наземная приемная антенна будет иметь диаметр порядка нескольких километров.

Возможно, не только сборку, но и изготовление блоков окажется выгоднее осуществлять прямо на орбите. То есть доставлять туда рулоны металлической ленты и потом ее резать, паять из нее стержни и собирать в ферменные блоки. Существуют и другие варианты технологии их изготовления.

Разумеется, на эти гигантские конструкции невозможно будет наклеивать обычные солнечные элементы — пластинки. Но в последние годы широко и не без успеха ведутся работы по созданию тонкопленочных рулонных солнечных батарей. Такие пленки будут просто натягиваться на фермы. Если сейчас каждый квадратный метр солнечных панелей имеет массу 5—10 килограммов, то масса пленочных солнечных батарей в перспективе будет несколько сот граммов на квадратный метр. С учетом массы фермы общая масса составит примерно килограмм на квадратный метр.

Каждый киловатт мощности вновь построенных космических станций согласно предварительным прикидкам может стоить около 2—3 тысяч рублей, что оказывается в полтора-два раза дороже, чем у наземных атомных электростанций, в 2—2,5 раза, чем у ГЭС, и в 4—6 раз, чем у тепловых. Но это учитывая затраты на постройку. Однако солнечная электростанция совсем не расходует невозобновляемых природных ресурсов. И это ее достоинство оказывается очень существенным: через пять—семь лет эксплуатации орбитальные источники энергии окажутся уже рентабельнее и тепловых и атомных.

Расчеты показывают, что со временем при некоторых условиях с помощью космических электростанций, быть может, удастся решить проблему энергоснабжения нашей планеты едва ли не полностью.

Важнейшей из проблем создания таких станций является экономичная доставка на орбиту материалов или элементов конструкции для их монтажа. Общая масса станции мощностью 10 миллионов киловатт составит примерно 50—80 тысяч тонн.

— Возникает, Константин Петрович, вопрос: а реально ли создание крупных космических электростанций с точки зрения длительности и стоимости процесса транспортировки на орбиту элементов конструкции и сборки их там? Ведь для станции мощностью 10 миллионов киловатт понадобится не менее двух тысяч рейсов транспортных кораблей. Если запускать даже по 100 кораблей в год, получится, что только доставка материалов займет около двадцати лет, не считая окончательной сборки и отладки. Нельзя же так долго строить столь важный объект!

— Вопрос транспортировки — ключевой вопрос этой проблемы. Простой расчет показывает, что для того, чтобы станция окупилась за пять лет, необходимо, чтобы стоимость ее конструкции не была выше 150—200 долларов за килограмм, из которых только часть уйдет на доставку материалов. Кроме того, носители должны быть гораздо более мощными, чем существующие, чтобы выводить зараз до 500 тонн. Тогда их понадобится лишь 100—150 и все грузы можно будет запустить за три — пять лет.

— Значит, всего лишь полтораста носителей, которых и в природе-то еще нет... А легко ли будет огромные ферменные панели ориентировать на Солнце и не будут ли они быстро тормозиться за счет трения в атмосфере?

— Круговая скорость на стационарной орбите мала, а разрежение чрезвычайно велико — проблем с поддержанием орбиты не возникнет. Хотя момент инерции конструкции будет очень большой, ориентация тоже может быть вполне обеспечена.

— Для постройки станции там же, на высокой орбите, придется создать специальное производство. Значит, в космосе понадобится много людей. Для них нужно будет построить жилище. Колонии?

— Все производство должно быть автоматизировано и стандартизировано. Поэтому людей понадобится не очень много. Работать на орбите они смогут не более полугода за одну «командировку», и, следовательно, искусственная сила тяжести не понадобится. Современный опыт работы в открытом космосе (помните ремонтную операцию, проведенную Рюминым и Ляховым?) позволяет надеяться на эффективное участие человека и в непосредственных сборочных операциях.

— Надо полагать, огромные панели, находясь на высокой орбите, не будут затенять большие площади на Земле?

— Это совершенно исключено.

— А наземные приемные антенны? С ними не будет проблем? Большие площади, огромные концентрации энергии...

— Проработки показывают, что все проблемы лежат в области реального.

— И последний вопрос: не потому ли вам нравится эта идея, что, как вы сами рассказывали, в детстве вы думали о передаче энергии без проводов? Кстати, тогда вас смущало, что на микроволновый луч может наткнуться самолет и сгореть. А как теперь?

— Идеи космических электростанций меня привлекают, потому что они способны внести существенный вклад в земную энергетику. Создание их — один из самых перспективных путей получения от ракетно-космической техники весомой отдачи в интересах всего человечества, превращения космонавтики в высокорентабельную сферу хозяйственной деятельности землян. И еще потому, что реализация этой цели — интереснейшая проектная задача. Хотя наверняка осуществлять ее будут те, кому сейчас на двадцать — тридцать лет меньше, чем мне. Что же касается самолетов, то им придется летать подальше от приемной станции...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЛАЗАРЕВ



ДОЛГ И МУЖЕСТВО

Заметки о поэзии Константина Симонова

В 1964 году в предисловии к выходившему в Болгарии сборнику стихов Симонов писал: «Мне немножко неловко перед моими болгарскими читателями, что последние из включенных в эту книгу стихов имеют десятилетнюю давность, но, к сожалению, те стихи, что я от времени до времени писал после этого, кажутся мне хуже тех стихов, что я писал раньше, и, может быть, в этом причина того, что я почти не пишу больше стихов. Не стоит насиловать себя, когда не получается. И лучше начать догадываться об этом самому раньше, чем об этом начнут догадываться твои читатели».

Многим своим корреспондентам, приславшим в эти годы ему стихи на отзыв, Симонов отвечал, как правило, предваряя свои суждения оговоркой — разной по форме выражения, но неизменной по смыслу: «Наверное, Вам было бы надо показать свои стихи не мне, в общем-то человеку, от стихов ушедшему, а тому, кто сегодня живет стихами, может быть, Вознесенскому, может, другому, — но поэту нынешнему, действующему. Моя жизнь сейчас совсем в другом, в других делах, главным образом в истории войны. И стихам я сейчас судья неудачный...»

Отдав последние четверть века, если не больше, почти целиком работе над прозаическими вещами о Великой Отечественной войне, видя в этом смысл своей литературной деятельности, считая прозу — художественную и документальную — для себя главным и истинным призванием, Симонов судил о своих стихах (и о пьесах тоже) весьма решительно и несправедливо. Он вообще в самооценке, не делая исключения и для прозы, был склонен к очень строгому счету, в любом случае предпочитая умаление и даже самоуничижение самообольщению и самовосхвалению, которые представлялись ему одной из самых жалких и неспасительных человеческих слабостей, всегда был готов перегнуть и постоянно перегибал палку только в эту сторону. Вот характерное для него признание, сделанное в интер-

вью, которое он неоднократно перепечатывал в своих книгах — значит, это не случайное высказывание, не вдруг оброненная фраза: «У меня, честно говоря, нет ощущения, что есть поэзия Симонова. Есть некоторые более или менее популярные стихи. И есть стихи, которые я сам люблю. И есть несколько стихотворений, которые совмещают то и другое...»

Конечно, это не так, конечно, Симонов не прав. Можно утверждать это с тем большей уверенностью, что главные достижения поэзии Симонова уже отделены от нас несколькими десятилетиями — образовалась внушительная временная дистанция, возникла историко-литературная перспектива, столь необходимые для объективного суждения. Для современного читателя Симонов не только был автором «Живых и мертвых» и «Разных дней войны», появившихся в наше время, он оставался и поэтом, написавшим «Жди меня, и я вернусь...», «Если дорога тебе твой дом...», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Родину», «Словно смотришь в бинокль перевернутый...», «Майор привез мальчишку на лафете...» и многие другие стихи, сохранившие и ныне живую силу чувства и поэтическое обаяние.

Да, последние четверть века он почти не писал стихов для печати. Но не потому, что утратил поэтическое мировосприятие и остроту поэтического видения: сколько бы он ни убеждал в этом своих корреспондентов и прежде всего себя самого, это не так. Л. Жадова, его вдова, рассказывает: «...он жил поэзией и с поэзией, начиная с детства (сохранились его стихи, написанные в семилетнем возрасте) вплоть до самых последних дней жизни... Он был «человеком поэзии» в том самом прямом смысле, что, собственно говоря, писал стихи всегда в свободные, самому себе предоставленные часы, дни, месяцы...»

Симонов считал, что работа над прозой требует от него самоограничения, — он был человеком твердых решений. Но поэтическое чувство, не поглощавшееся целиком

его прозаическими вещами, нет-нет и про-
бывало себе дорогу. Лучше всего, наверное,
об этом говорят стихи, написанные во
Вьетнаме в тревожную военную ночь:

...Не пишется проза, не пишется,
И, словно забытые сны,
Все рифмы какие-то слышатся
Оттуда, из нашей войны.

Прожектор, по памяти шарящий,
Как будто мне хочет помочь —
Рифмует «товарищ» с «пожарищем»
Всю эту бессонную ночь...

Симонов начинал свой литературный путь
как поэт и в литературу вошел стихами. Да-
же занявшись уже драматургией и прозой,
он довольно долгое время считал себя — и
читатели так его воспринимали — прежде
всего поэтом, остальное было «сопутствую-
щим», хотя и пьесы его, и рассказы, и по-
весть «Дни и ночи» имели шумный успех.
Стихи и поэмы Симонова — ранние, довоен-
ные — были довольно быстро замечены ли-
тературной критикой и любителями поэзии,
оценившими то новое, что несли в себе эти
не всегда совершенные строки, в которых
обнаружило себя еще неведомое поэзии, ни-
как не освоенное ею время с его только вы-
рисовывавшимися историческими задачами,
тревогами, страстями.

А вскоре после начала Великой Отече-
ственной войны стихи принесли Симонову
не просто известность и популярность, а са-
мую настоящую славу. Случай не частый в
истории литературы, но можно даже на-
звать дату, когда это произошло: 14 янва-
ря 1942 года «Правда» опубликовала стихо-
творение «Жди меня» и Симонов сразу же
стал обладателем одного из самых громких
литературных имен. Это стихотворение, как
и напечатанное через полгода другое, начи-
навшееся строкой «Если дорог тебе твой
дом...», затем десятки, если не сотни, раз
перепечатывалось во фронтовых и армей-
ских газетах, выпускалось как листовка, по-
стоянно читалось по радио и с эстрады. Его
переписывали друг у друга, отсылая с фрон-
та в тыл и из тыла на фронт, эти листочки
хранили вместе с самыми дорогими релик-
виями — люди военного поколения отлично
это помнят. Для многих из них появление
симоновских стихотворений было событи-
ем — и не только литературным, а глубоко
задевшим их лично, потому и врзалось на-
всегда в память. Вот что пишет в своих вос-
поминаниях маршал И. Х. Баграмян: «В этом
замечательном лирическом повествовании
(речь идет о стихотворении «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины...»). — Л. Л.),
столь кратком по количеству строк и столь
емком по силе чувств и мыслей, говорилось
о России, о русских женщинах, но я, армя-

нин, отступавший по украинской земле, пе-
режил совершенно те же чувства... Это лиш-
ний раз подтверждает ту простую и глубо-
кую мысль, что истинно национальное од-
новременно и интернационально».

Если бы Симонов не написал ничего, кро-
ме этих стихотворений, и то его имя вошло
бы навсегда в историю отечественной поэ-
зии. Мы порой упрощаем характер влияния
литературы на читателя, преувеличиваем
силу этого влияния, но в данном случае,
когда речь идет о войне, о лучших произ-
ведениях тех дней, воздействие поэзии было
столь глубоким и действенным, прямым и
открытым, расстоянием между прочувство-
ванными читателем строками и поступками,
к которым толкали стихотворные строки,
таким коротким, что сегодня молодым по-
колениям читателей все это может показаться
невозможным, неправдоподобным. А бы-
ло именно так, здесь нет ни малейших пре-
увеличений.

Литература военных лет была не просто
хроникой сражений и летописью пережито-
го — она сама тоже сражалась мужествен-
но и беззаветно. Сегодня мы часто вспоми-
наем, что по горячим следам событий Си-
монов и Гроссман писали о стоявших на-
смерть защитниках Сталинграда, а Тихонов
и Берггольц — о подвиге осажденного Ле-
нинграда и редко (во всяком случае, реже,
чем, наверное, следовало бы) о том, чем бы-
ли эти произведения для людей, сражавших-
ся и в Сталинграде, и в Ленинграде, и на
всех других фронтах. Эдуардас Межелайтис
вспоминает: «Каждый чувствовал, что он,
как любимой, лишился родной земли.
И каждый повторял: «Жди меня...» Но до
этого никто не написал этих слов. Их на-
писал русский поэт. Угадал наши мысли...
Если поэты угадывают эти мысли, они ста-
новятся пророками». Межелайтис верно по-
чувствовал глубину и многозначность этого
любовного послания: «Созданное русским
поэтом, оно, конечно, предназначалось в
первую очередь русскому читателю. В под-
тексте ощущалась великая вера поэта в не-
стигаемую силу своего народа. Но мысль
была общечеловеческой, близкой каждому».

К художественной литературе в те дни
обращались не для того, чтобы скоротать
свободное время, — от писателя ждали по-
мощи, поддержки, его книги служили ду-
ховным оружием для защитников родины.
Сейчас иногда рассказывают как об удиви-
тельном парадоксе, что фронтовики не жа-
ловали фильмы про войну потому, мол, что
войны им и без того хватало. На самом де-
ле ничего парадоксального здесь не было и
причина была в другом: в бышинстве вы-

пускавшихся тогда лент война мало походила на ту, какую они знали. Те же, в которых грозное время было запечатлено правдиво, смотрели с интересом.

И в литературе успехом пользовались лишь произведения, которые вобрали в себя реальный жизненный опыт жестокой битвы с фашистами. Признание читателя, очень чуткого к правде (он, хлебнувший на фронте, да и в тылу, горячего до слез, хорошо знал ей цену), дорогого стоит, редко он ошибался в оценке произведений, прочитанных в большинстве случаев только что на газетной полосе. И отсев, который потом всегда производит в искусстве время, эти четыре года дали куда меньший, чем любые другие. Все тогда было на последнем пределе, и напряжение духовной жизни, от которого зависят в конечном счете и уровень литературы и взыскательность читателей, тоже было предельным. Вот почему литературные оценки того времени, опиравшиеся на читательское мнение, заслуживают внимания и доверия.

Как же относились тогда к стихам Симонова самые строгие ценители—поэты старшего поколения, разделяли ли они энтузиазм читателей? Несомненно. Поэзия Симонова воспринималась ими как явление бесспорно значительное. Поэзия в войну была так близка к жизни, а то, что происходило в жизни, было так серьезно, что меньше чем когда-либо давало себя знать литературное соперничество, о котором Хикмет насмешливо говорил: поэты ревнивы, как красивые женщины.

В 1943 году Алексей Сурков, выступая со своим (хочу это особо подчеркнуть) творческим самоотчетом на заседании военной комиссии Союза писателей, рассказывал: «Я в августе месяце 1942 года приехал в порядке очередной командировки под Ржев. Тогда мы под Ржевом наступали. В двух с половиной километрах от переднего края наших войск, на развилке дорог, стоял столб. На столбе была огромная фанера, и на этом огромном фанерном щите были написаны четыре строки из стихов одного из наших советских поэтов, напечатанных три дня тому назад в газете «Красная звезда» (стихотворение Симонова «Убей его!», о котором идет речь, было опубликовано 18 июля 1942 года.— Л. Л.). Уже на этом щите были следы от минных осколков и пулевые следы. И когда я на этот щит посмотрел (мне об этих стихах в Москве говорили, что у них несовершенная рифма, что у них нет равновесия между первой и второй частью, что в них слишком много повторяется слово «убей»), когда я посмотрел на этот щит, я

решил для себя: хорошо бы, если бы эти четыре строчки были мои». Примечательна тут и почти мгновенная реакция читателей на только что появившееся стихотворение, она объясняется тем, что автор уже был очень популярен, к нему относились с особым вниманием, потому что он вел с читателями прямой разговор о том, чем они все тогда жили, что больше всего их волновало. Имена некоторых писателей и названия лучших их произведений остались в нашей памяти, а для людей молодого поколения встали в один ряд с тревожными сводками Совинформбюро, голосом Левитана, читавшего победные приказы, грозной мелодией «Священной войны», с названиями знаменитых сражений и именами прославленных военачальников. Среди них имя Константина Симонова и названия его стихотворений. Они были неотъемлемой частью великой войны, они заняли почетное место в ее славной истории.

Само собой разумеется, поэзия Симонова не ограничена годами войны и не исчерпывается ее темами. Но ее главное содержание и самые большие удачи (ведь место и значение творчества поэта определяются его вершинными завоеваниями) связаны именно с этими годами, с этим жизненным материалом. Впрочем, то было время высочайшего творческого взлета не только в его судьбе. Отвечая на вопросы редакции одного зарубежного журнала — уже через тридцать с лишним лет после войны, когда время совершило свой отбор и выбор в поэзии,— Симонов отмечал: «Если же говорить вообще о поэзии нашей времен войны, то по справедливости можно сказать, что многие поэты написали в ту пору самые лучшие свои стихи, и в этом нет ничего удивительного: сила отчаяния, сила надежды, огромность испытаний и тяжесть потрясений — все это отпечаталось в поэзии того времени, не только лирической, но и в эпической. Достаточно вспомнить хотя бы „Василия Теркина“».

Из произведений самого Константина Симонова мы немало узнали о том, какой война была, чего стоила, что принесла с собой. Но это еще не все, может быть, даже не самое главное. Стихи его многое открыли нам в человеке, то, что прежде не бросалось в глаза, чего не знали и что могло проявиться только в неимоверно жестоких испытаниях кровавой войны. Ведь человек, его жизнь, его духовный мир — вечный и неисчерпаемый предмет искусства, и каждый крупный художник обнаруживает здесь ранее неведомое. Вот почему литературу так часто называют человекосведением...

Симонов рассказывал, что родился как поэт, узнав о гибели в Испании Мате Залки, командовавшего там интернациональной бригадой, и написав об этом стихотворение «Генерал» — «мои первые настоящие стихи». Это кажется случайностью, хотя на самом деле здесь присутствовала закономерность. Стихи Симонова, написанные в том же году и до и после «Генерала» («Новогодний тост», «Рассказ о глотке воды», «Рассказ о спрятанном оружии», «Сережин сон»), тоже навеяны испанской войной. Для поколения, к которому принадлежал Симонов, фашистский мятеж в Испании и последовавшая за ним гражданская война, в которой приняли участие и советские добровольцы, были событиями чрезвычайной важности, сыгравшими огромную роль в духовном развитии молодых людей 30-х годов.

Война с фашизмом, до франкистского мятежа воспринимавшаяся как неизбежность лишь умозрительно, в далекой перспективе, вдруг стала реальностью, отдаленной только границами и расстоянием, стремительно приблизилась во времени, перенеслась в нынешний день, заставляя проверять себя: а ты готов к такому испытанию, хватит ли у тебя мужества? Эти вопросы были скрыты в стихотворении «Генерал». Об этом напрямую, с вызовом первая же строка симоновского стихотворения «Новогодний тост»: «Своей судьбе смотреть в глаза надо...» Своей военной судьбе — так это тогда читалось. Поэт предлагает в первый раз выпить «за тех, кому за пулемет братья», за тех, кому с винтовкой быть дружным», кому, быть может, следующий год придется встречать где-нибудь «в чужой земле и под чужим небом», сражаясь с фашистами. «Новогодний тост» получился во многом декларативным, угловато-неуклюжим, но рождено стихотворение искренним и горячим чувством, до испанских событий написать его было невозможно, мироощущение еще было иным... В этом можно убедиться, обратившись к первому варианту «Новогоднего тоста», написанному накануне 1936 года и опубликованному в газете «Известия» 1 января. Здесь тоже возникает тема последнего, решительного боя, но это некая историческая предопределенность, давно установленная и ясная, и воспринимается она поэтом вне связи с тем, что сегодня, сейчас происходит в мире. Не случайно исходной точкой для размышлений по этому поводу ему служит образ, почерпнутый в поэме Маяковского «150 000 000». Симонов пишет: «Есть на планете только два цвета, других цветов планете не осталось». Это все и определяет:

«И если так, то, значит, нет мира. Еще походным котелком грохать!»

В мирные предвоенные годы Симонов нащупал тему, которую история выдвигала как главную. Он понял ее подлинное значение, ее жгучую актуальность раньше, чем многие другие. Острое чувство современности — органическое свойство таланта Симонова, проявившееся очень рано и многое определившее и в его писательской судьбе, и в характере его произведений разных жанров. Однако до поры до времени вовсе не так просто было молодому поэту найти жизненный материал для выражения не обманывавшего его предчувствия приближающейся развязки — именно так воспринималась тогда будущая война. Она ведь еще обнаруживала себя главным образом в речах политиков и нотах дипломатов, таилась в конструкторских бюро, где создавались новые образцы военной техники, и в строго засекреченных планах генеральных штабов. Это хлеб для публициста, а не для художника.

Наверное, стихотворение «Генерал» оказалось лучшим из всего написанного им тогда потому, что поэтическая энергия здесь возникла от личного прикосновения к материалу (что для Симонова, как показала вся его дальнейшая работа, было в высшей степени важно): воображение автора поразило то, что «легендарный Лукач—это писатель Мате Залка, человек, которого я не раз видел и которого еще год назад запросто встречал то в трамвае, то на улице». Выяснилось, что его герой, которого он, как каждый молодой художник, настойчиво искал, был где-то совсем рядом, жил, что называется, по соседству. Это было тогда для Симонова серьезным открытием, но ведь требовалось еще найти этих хотя и живущих на соседних улицах, но неизвестных героев (а может быть, им вообще еще только предстояло стать героями) — задача непростая, нелегкая...

Нет ничего удивительного, что сама жизнь настойчиво толкала тогда искусство к историческим темам. Потребность оглянуться на прошлое, чтобы увереннее глядеть в будущее, возникла тогда у многих художников. Внимание их было сосредоточено на тех исторических событиях и героях, которые могли служить примером и духовной опорой в грядущих испытаниях. Все это носилось в воздухе. Выступая на обсуждении «Ледового побоища», Симонов говорил: «Желание написать эту поэму у меня явилось в связи с ощущением приближающейся войны. Я хотел, чтоб прочитавшие поэму почувствовали близость войны и что за нашими плечами, за плечами русского народа,

стоит многовековая борьба за свою независимость».

Ощущение это было истинным, задачу молодой поэт ставил перед собой верную и актуальную, но решалась она в поэме публицистическим способом, с помощью монтажа, который должен был выявить в событиях далекого и близкого прошлого общую закономерность, служащую ключом к современности. По видимости это был путь прямой и простой, сразу приводящий к цели, но он таил подводные камни, и не все из них удалось благополучно миновать автору. Чтобы при такой публицистической структуре исторические картины и лица не превратились в иллюстрации, они должны быть пронизаны лиризмом, растворены в лирическом потоке. Видно, автор с достаточной ясностью не отдавал себе в этом отчета. Правда, он пытается сделать повествователя как бы причастным к изображаемым событиям прошлого («Два дня, как Псков потерял н а м и...», «Мы перед боем руки грели...»), но делается это робко — столь необходимый поэме внутренний, лирический сюжет едва-едва намечен. Историческим главам явно недостает лирического напряжения, в полной мере оно проявилось в одном лишь эпилоге, где автор, размышляя о том, что «не нынче-завтра грохнет бой, не нынче-завтра нас разбудит горнист военною трубой», обращается к обнадеживающим урокам истории. Как отмечалось тогда в критике, Симонов «одним из первых в советской поэзии указал на связь боевых традиций Красной Армии с героическим прошлым русского народа». Теперь это может показаться само собой разумеющимся, общеизвестным, тогда это было открытием: заново осваивался материал, который в предыдущие десятилетия не воспринимался как достойный поэтизации, и здесь автор «Ледового побоища» действительно был одним из первых...

Если бы Симонову представился случай рассказать о том, как он писал поэму «Суворов», наверное, он повторил бы то, что говорил о «Ледовом побоище»: «Желание написать эту поэму у меня явилось в связи с ощущением приближающейся войны». Импульс был один и тот же, общим был и пафос, а вот художественным решением, поэтическим строем «Суворов» существенно отличался от предыдущей поэмы. Если в «Ледовом побоище» поэта занимали по преимуществу сами события, знаменитые баталии, так сказать, страницы истории («За годом годом перелистаем», — говорилось в эпилоге поэмы), то в «Суворова» внимание автора сосредоточено на характере героя, вся

образная система произведения настроена в соответствии с этим. Рассказывая о последних годах великого полководца — опале при Павле, легендарном походе через Альпы, болезни и смерти в Петербурге, — Симонов раскрывает его характер многосторонне и с изобретательностью опытного повествователя. Фигура героя вписана в быт, погружена в реалии той поры — он человек своей эпохи, своей среды, сотнями нитей он прочно связан с ними. Но при этом он возвышается над своим временем и своим кругом. И хоть велик, но не приподнят, не вознесен над обыденно житейским. Его странные эскапады и своенравие, ошарашивавшие порой современников, породившие множество анекдотов, истолкованы в поэме Симонова не как чудачества, не как экстравагантность — это вызов раболепию и лжи, издевка над скудоумием, утверждение своей независимости. Ракурсы изображения в поэме незаметно меняются — то повествование ведет автор, то он отступает в тень и мы видим старого фельдмаршала глазами солдат, глазами его верного денщика Прошки, то разворачивается внутренний монолог самого Суворова. Образ становится объемным, характер Суворова обретает ту сложность, которая делает героя живым, вызывающим не только почтительное восхищение, но и горячее сочувствие.

Лирический сюжет поэмы, напряженный, исполненный драматизма, призван раскрыть чувство любви к родине как проявление высшего нравственного долга. Это то, что соединяет в поэме Суворова и его солдат. Это чувство дает силу переступить — им через свои беды (ведь дома солдат, сражающихся за тридцать земель от родного края, ждет не «теплый кров, жена и дети, жар соломы, березовое пенье дров», а казарма, плац, палочная муштра), ему через свои обиды (Суворов не выносит насаждаемый Павлом в армии прусский дух). Что бы ни выпало на твою долю — даже несправедливости, даже гонения, — как бы тяжело тебе ни жилось на родной земле, этому долгу изменить нельзя. Сейчас нетрудно понять, что в поэме отозвались — конечно, не прямо и без авторского намерения — и некоторые сложные драматические коллизии того времени.

Перечитывая довоенные стихи Симонова, мы то и дело обнаруживаем мотивы, ставшие затем сквозными в его творчестве. Самый глубокий из них, повлиявший на многие другие, связан с понятием и образом «малой» родины, которые в сознании читателей оформились и утвердились под прямым воздействием симоновских произведе-

ний. Стоит проследить, как выкристаллизовывалось это понятие, как поэт шел к этому образу. В стихотворении «Генерал» «родные венгерские липы» всюду, куда забрасывала героя судьба революционера-эмигранта, напоминали ему о родине, за свободу которой он сражается. В стихотворении «Изгнанник» три лавровых листка становятся символом родины. Подобный же образ, только на отечественной основе, — в «Суворове». Отсюда и те березы из стихотворения «Родина», которые, опять возникнув в «Русских людях» в монологе Вали, стали образом крылатым. Этот мотив по-особому зазвучит в стихотворении «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», к нему Симонов обратится и в «Живых и мертвых» в эпизоде, где Синцов, увидев близ дороги старое сельское кладбище, пережил «острое и болезненное чувство родной земли». И дело здесь не в счастливо найденном образе, который затем варьировался, а в исковшем себе выхода, поэтического выражения новом мироощущении, новом восприятии родины, рожденном грозно нависшей военной опасностью. Симонов чувствовал ее особенно остро и очень рано начал осознавать. Но для большинства читателей это время было переломным: представления оставались прежними — они более устойчивы, — а чувства, восприятие под давлением действительности незаметно менялись.

В 1940 году Симонов опубликовал стихотворение «Родина». Затем, уже в войну, несколько сокращенное и отредактированное, оно было снова напечатано и воспринималось как только что написанное. Поразительное дело: тогда, до войны, мало кто обратил внимание на стихотворение, которое, и двух лет не прошло, стало необычайно популярным, — читатели, видимо, еще не были готовы к восприятию такого образа родины.

Стихотворение начиналось строфой, словно бы перелагающей известную песню Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная», — тот же масштаб, тот же образ:

Дойдя до трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Вся в черных обручах меридианов
Огромная земля. Огромная вода.

Эта родина одаривает тебя — вместе со всеми — лучами своего величия и славы, ты за ней, огромной и могучей, как за каменной стеной. Но рядом с традиционным у Симонова сразу же возникает другой образ родины:

Но есть еще, есть родина другая,
Воясь так громко называть ее,
От посторонних глаз оберегая,
Считаем мы за личное свое.

Клочок земли, припавший к трем
березам,

Далекую дорогу за леском,
Речонку со скригучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Тут все меняется местами: не ты находишься под покровительством родины, облагодетельствован ею, а она нуждается в тебе, в твоём покровительстве, в твоей заботе. Однако первые две строфы стихотворения выдают неуверенность поэта: поймет ли читатель его, сможет ли он увидеть в «горсти земли» приметы всей страны? От этой неуверенности Симонов избавится лишь в годы Великой Отечественной войны, убедившись, что читатель настроен на одну с ним эмоциональную ноту. Он выбросит из первоначальной редакции «Родины» только что процитированную строфу (начинающуюся строкой «Но есть еще, есть родина другая...»), ибо она растолковывала то, что читателю было ясно.

В стихах, сочиненных в годы войны, Симонов будет писать как о само собой разумеющемся: «Если дорог тебе твой дом...» или «проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил», потому что все это родина, разные ее лики...

Столь сосредоточенный на проблемах современности, столь близко принимающий их к сердцу, поэт хочет выяснить, крепок ли его ровесник на излом, способен ли выдерживать перегрузки, готов ли к лишениям боевой походной жизни. Он испытывает героя тяжким трудом, в рискованных экспедициях:

Да, прямо скажем, этот край
Нельзя назвать дорогой в рай.
Здесь жестоко спать, здесь трудно жить.
Здесь можно голову сложить.

Это строки из поэмы «Мурманские дневники» (1938). Она, как и все, что пишет Симонов в эту пору, посвящена мужеству. Это мужество особого рода: лучше всего его характеризует слово, тогда еще не бывшее широко в ходу, — солдатское мужество.

Воинская честь, солдатский долг — это основа тех нравственных понятий, которыми руководствуется герой симоновских «Дорожных стихов». Долгие командировки куда-то на край света, дальние и трудные дороги, подвижническая самозабвенная работа, суровый, аскетический быт («мужское беспокойное жильё») — вот чем заполнена его жизнь.

Не случайно разлука — главная тема симоновской любовной лирики. Как часто тут возникают и какое большое место занимают в жизни героев вокзалы, короткие минуты прощания, письма, которые идут издалека... Лирический герой Симонова не принадле-

жит самому себе, в любой момент без долгих сборов ему приходится отправляться за тридевять земель навстречу опасностям и бедам, оставляя в тоске и тревоге близких. Эти расставания надолго были для Симонова не только особой приметой бытового уклада тех лет, но и свойством героической действительности:

Наше время еще занесут на скрижали.
В толстых книгах напишут о людях
тридцатых годов.
Удивятся тому, как легко мы от жен
уезжали,
Как легко отвыкали от дыма родных
городов.

Взаимоотношения героя и героини в симоновской любовной лирике тех довоенных лет сложны и драматичны — не обошлось тут и без вмешательства житейской прозы, надо справиться с нелегким, плохо устроенным бытом, перешагнуть через пороень приобретенные привычки («...как недолго и просто влюбиться и как сложно с тобой с глазу на глаз нам век вековать»), но в их любовной драме — и это главное — незримо всегда присутствует время, так властно и безраздельно распоряжающееся их судьбой. Это был своеобразный любовный треугольник, в котором время играло роль рокового соперника. Вот почему в финале поэмы «Первая любовь» (1936—1941) возникает образ времени, жестко определяющего жизненный маршрут героя:

Сквозь время тоже ходят поезда,
Садимся без билетов и квитанций.
Кондуктор спросит:— Вам куда?—Туда.—
И едем до своих конечных станций.

Такой уж путь. На счастье ль, на беду,
Но, выехав за первый дачный пояс,
Не выскочишь, раздумав, на ходу,
Не пересядешь на обратный поезд.

Этот мотив приобретает потом крайнее драматическое напряжение в известном цикле лирических стихов «С тобой и без тебя». История трудной любви, которая стала содержанием этого цикла, потому нашла такой горячий отклик у читателей, что для них третьим, вставшим между героями, был не он и не она, а кровавое время, война. В житейской ситуации, когда он бросил или она разлюбила, ушел к другой или поменяла на другого, кто-то неизбежно обречен на сердечные муки и боль. И все-таки это не то, что война-разлучница, которая приносила в дом непоправимую беду и безутешное горе: жена становилась вдовой, а дети — сиротами. Вовсе не каждого подстерегает в жизни сердечная драма, а война-разлучница не обошла никого. И когда Симонов писал «Жди меня, и я вернусь...», или «Выпили за свадьбы золотые, может, еще будут чуде-

са...», или «Как мелкочно все было это перед лицом большой беды...», это касалось всех, эту драму переживал каждый — тема интимная, камерная оказывалась по-настоящему общезначимой.

Я без всякого перехода заговорил о стихах Симонова, написанных уже во время Великой Отечественной войны. Это разрешает сама логика творческого развития поэта. Надо, конечно, не упускать из виду, что начатая фашистской Германией война была страшным рубежом всей нашей жизни. Была она, естественно, и крутым рубежом в литературе, в писательских судьбах — все перестраивалось на войну, все она подчиняла себе. Но дело в том, что Симонов стал военным писателем в самом точном смысле этих слов почти за два года до того, как разразилась Великая Отечественная война. И для него очень важна еще одна дата — 1939 год...

В 1939 году на Халхин-Голе Симонов, оказавшийся в районе боевых действий в качестве сотрудника газеты нашей группы войск «Героическая красноармейская», увидел лик современной войны. Именно там перед Симоновым со всей остротой встал вопрос о том, как писать о войне, как ее изображать. Впрочем, этот вопрос вставал перед многими писателями и предлагаемые ответы были иногда прямо противоположного свойства. Об этом свидетельствует хотя бы тот острый спор, который там, на Халхин-Голе, произошел у Симонова со Ставским. «...мне пришла в голову мысль, которую я сейчас же высказал Ставскому, — вспоминал Симонов, — что хорошо бы, когда кончится конфликт, вместо всяких обычных памятников поставить в степи на высоком месте один из погибших здесь танков, избитый осколками снарядов, развороченный, но победивший. Ставский резко заспорил со мной, говоря, что зачем же как монумент победы ставить ржавое, разбитое, то есть потерпевшее поражение, железо!»

Конечно, памятник был лишь поводом для спора, хотя, наверное, стоит все-таки напомнить, что участвовавшие в боях танки и броневики поставлены на постаменты в нескольких местах на Халхин-Голе — и в госхозе, и в колхозе «Ялалт» («Победа»), и в пограничном отряде, и на Баин-Цагане, где прославились танкисты комбрига Яковлева, — и что подобного рода памятники (не только танки, но и самолеты, орудия, торпедные катера) увековечивают и подвиги, совершенные в Великую Отечественную войну. А по сути спор шел о проблемах более общих и глубоких, столкнулись разные точки зрения на то, какой должна предстать

война в искусстве (и какой она может быть в действительности)—парадно-благополучной или суровой и трудной.

Эти тенденции уже обозначились в литературе, для спора были серьезные основания. В одной из рецензий, написанной в январе 1941 года (уже позади были не только Халхин-Гол, но и трудная финская кампания), Симонов, размышляя над этими проблемами, решительно выступает против ложной романтики в изображении войны: «Два-три года тому назад наша поэзия изобиловала стихами, кончающимися на «а если»: «если завтра бой», «если враг нападет». В этих стихах звучало законное чувство гордости за свою страну, за мощь своего народа. Но была в них некоторая доля непонимания того, какое трудное дело — война».

Так было не только в поэзии: «на чужой территории», «могучим молниеносным ударом», «и в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим» — это стало бравурным лейтмотивом выходявших тогда романов, повестей, кинофильмов. Конечно, сегодня, задним числом, полемика Симонова может показаться слишком мягкой, но я воспользовался для характеристики противоборствующих тенденций в литературе словами Симонова, сказанными тогда, чтобы не злоупотреблять преимуществами, которые нам сегодня дает знание событий Великой Отечественной войны.

Тенденция «ложной романтизации» (буду называть ее так, обратившись к формуле Симонова) была отнюдь не безобидным заблуждением, она принесла ощутимый вред нашему искусству и, самое главное, мешала правильной духовной подготовке современника к суровым ратным испытаниям. И становление ряда наших писателей как писателей военных (назову, кроме Симонова, хотя бы еще Суркова и Твардовского, участвовавших в финской кампании и написавших правдивые стихи о «той войне незначительной») проходило, по словам Симонова, в «сознательной полемике с приподнятым романтизированным изображением войны», которое было в предвоенные годы весьма влиятельной тенденцией литературного развития.

То, что Симонов увидел на Халхин-Голе, подтвердило и укрепило его позицию — война ничем не напоминала парад, она тяжела и страшна.

Внутренняя полемика с ходячими «литературными» представлениями о войне, о солдатской доблести, с глянцевыми картинками, с псевдоромантическими поэмами постоянно присутствует в цикле стихотворений «Соседям по юрте», написанном после Халхин-Го-

ла. И если в стихах Симонова возникает поле боя, где мы разгромили японцев, то оно не только «победное», но и непременно «ужасное»:

Еще вчера в батальные картины
Художники по памяти отцов
Вписали полуночные равнины
И стан птиц над грудой мертвецов.

Но этот день я не сравню с вчерашним,
Мы, люди, привыкаем ко всему,
Но поле боя было слишком страшным;
Орлы боялись подлетать к нему.

В стихотворении «Танк» — том самом, которое родилось после спора со Ставским, — поэт утверждает, что не так просто дается в бою победа, что за нее порой приходится платить очень дорогой ценой и враг может быть не только вероломен, но и силен, не только коварен, но и отважен. Поэт уподобляет танк солдату, в атаке его ранили, от боли он даже попытался назад, но потом опять ринулся вперед, «на раненую ногу припадая», его снова и снова ранили, и он, ничего не видя, «полз по собственному следу», пока не «рухнул, обессиленный от ран», — он погиб, иначе нельзя было добыть трудную победу. Так она доставалась — кровью, муками, тяжелыми жертвами. Да и могло ли вообще быть по-иному?

Да, нам далась победа нелегко.
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава.

Это сказано с полемическим вызовом, с той страстью, которой дано претворить публицистику в поэзию: «раскаляясь», публицистика оказывается способной к поэтической «излучению».

Халхин-Гол, где боевые действия велись в очень тяжелых условиях, сразу же открыл поэту, что война — это не только кровь, но и пот, она требует не одной лишь доблести, но и изнурительного труда, не только отваги, но и выучки. Симонова занимают будни фронтовой жизни, быстро сложившийся быт действующей армии. Следствие этого — прозаизация стиха, ощутимо сказывающаяся и в лексике и в обыденной интонации; «презренная проза», то, что по традиции считалось непозитичным, очень многое определяет в образной системе симоновских стихов.

Уже в монгольском цикле проявилась в полной мере одна важная особенность симоновского поэтического дара. Он как будто бы не слишком заботится о том, что Маяковский называл «приемами обработки слов», вроде бы не отличаются у него особой свежестью и разнообразием рифмы — то и дело попадают «твоей — мной», «других — твоих». Все это, конечно, не от неумения или небрежности. Скажем, в пе-

реводах и «домашних» стихах Симонов куда более изобретателен и по части рифмовки и по части словесной инструментовки, он порой демонстрирует самую изощренную поэтическую технику. Но в тех его стихах, о которых идет речь, поэтическая задача и установка иные. Попробуйте, мысленно, разумеется, в стихотворении «Если дорог тебе твой дом...» убрать или заменить часто повторяющееся слово «убей» — стихотворение лишится эмоциональной силы, его просто не будет. Стоит подумать и о том, что даст не представляющая особого труда для человека, владеющего даже на ремесленном уровне версификацией, замена банальной рифмы «собой — тобой», — не обернется ли она утратой безыскусности, которая как раз и сообщает особое обаяние симоновским стихам. Поэтике Симонова органически чуждо какое-либо щегольство, нет в ней ничего форсированного. И при этом он поэт с яркой индивидуальностью, его ни с кем не спутаешь — у него свой художественный мир, своя интонация, его лирический герой обладает самобытным характером.

Симонов избегал какой-нибудь экстравагантности — словесной и образной, стремился к тому, чтобы «обработка слов», метафоры не выпирали, не бросались в глаза, не отвлекали читателя от сути. Поэзия в представлении Симонова заключена в лирическом сюжете, в том задушевном чувстве, которое легло в его основу. Симонов целиком полагается на силу этого поэтического чувства — от этого и зависит удача или неудача его стихотворений. Он стремится к воспроизведению тех обстоятельств, которые вызвали у него поэтическое переживание, без них для него чувство не чувство, оно блекнет, обезцвечивается. Обычно его стихотворение вырастает из какого-то жизненного эпизода, из каких-то реалий пережитого. Читая его воспоминания о Халхин-Голе и дневники Великой Отечественной войны, то и дело натыкаешься на ситуации и подробности, которые воспринимаются как реальный комментарий к стихам. Примечательно, что Симонов не находит праздными, посягающими на свободу поэтического воображения вопросы некоторых своих корреспондентов, выясняющих, о смоленских или белорусских селах идет речь в одном из его стихотворений, на какой из улиц Вязьмы стоял дом, воспетый им в другом, действительно ли он видел в июле сорок первого артиллеристов из-под Бреста, которых поминает в третьем. Поэт иного склада, наверное, не стал бы отвечать на подобные вопросы, сочтя их профанацией.

После Халхин-Гола, обрушившего на Си-

монова целый пласт неведомых впечатлений, ему стало «тесно» в поэзии. Он пробует свои силы в драме, а с началом Отечественной войны и в прозе — пишет очерки, рассказы, потом повесть. Как это ни странно, обращение к драматургии и прозе помогло Симонову точнее определиться в поэзии, осознать, что он по преимуществу лирик, отрешиться в стихах от повествовательных элементов — они были поглощены прозой. Вершинные достижения Симонова в поэзии принадлежат, несомненно, лирике. Рассказ в стихах (назову в качестве примера «Сына артиллериста») становится у него редкостью и не приносит ему удовольствия.

В годы войны существенно изменялись представления о содержании таких понятий, как гражданское и интимное в поэзии, — их переставали воспринимать как полярные. И сама поэзия становилась в те дни не только суровее и строже, но и человечнее, теплее, она избавлялась от предубеждения к частному, «домашнему», хотя по «довоенным нормам» эти качества — общественное и частное, гражданственное и человеческое — были очень далеко разведены друг от друга.

Сейчас, когда мы говорим о самых лучших произведениях поэзии военных лет, рядом с патетически-публицистической «Священной войной» без тени сомнения, ни на минуту не задумываясь, ставят интимнейшие «Землянку» и «Жди меня». Но это сейчас... А тогда — не поразительно ли! — сами авторы не собирались печатать эти стихи, сыгравшие такую большую роль в духовном «обеспечении» солдата Великой Отечественной войны, — им казалось, что они камерны, лишены гражданского содержания, не представляют общественного интереса. «Я считал, что эти стихи — мое личное дело... — рассказывал Симонов осенью 1942 года. — Но потом, несколько месяцев спустя, когда мне пришлось быть на далеком севере и когда метели и непогода иногда заставляли просиживать сутками где-нибудь в землянке или в занесенном снегом бревенчатом домике, в эти часы, чтобы скоротать время, мне пришлось самым разным людям читать стихи. И самые разные люди десятки раз при свете керосиновой копилки или ручного фонарика переписывали на клочке бумаги стихотворение «Жди меня», которое, как мне раньше казалось, я написал только для одного человека. Именно этот факт, что люди переписывали это стихотворение, что оно доходило до их сердца, и заставил меня через полгода напечатать его в газете».

Все стихи Симонова военных лет прони-

заны лирикой. Когда-то цикл «С тобой и без тебя» имел подзаголовок «Из лирического дневника». Незадолго до смерти, готовя первый том нового собрания сочинений, Симонов над стихами, не входившими в этот цикл, поставил заголовок «Из дневника»; в сущности, и эти стихи тоже были частью его лирического дневника. И нет ничего удивительного в том, что некоторые стихи у Симонова так легко переходили из одного цикла в другой, что откровенно публицистическое «Если дорог тебе твой дом...» по образному строю, по типу лирического сюжета, по жанровой структуре очень близко интимному «Жди меня». И то и другое написано как личное письмо, и там и там прямое обращение к читателю.

Конечно, Симонов сразу же со свойственной ему чуткостью ощутил вызвавшуюся уже в первые месяцы войны острую общественную потребность в откровенном, задушевном — с глазу на глаз — разговоре поэта с читателем, объясняющую ошеломляющий успех «Жди меня» и других его стихотворений, он понял то, что недавно с афористической выразительностью сформулировал Евгений Винокуров: «Единственный способ дойти к миллионам — это быть интимным, обращаться к каждому в отдельности, к одному отдельно взятому лицу».

Этот эстетический принцип в годы войны выдерживается Симоновым очень последовательно — многие его стихотворения строятся на обращении к какому-то человеку, на место которого может себя поставить и читатель: «Опять мы отходим, товарищ...», «Не плачь! — Все тот же поздний зной висит над желтыми степями...», «Когда в последний путь ты отправляешь друга...», «Когда тыходишь в город свой...» и т. д. Даже обличительные стихотворения представляют собой послание определенному лицу: «Я знаю, ты бежал в бою...», «Я вас обязан известить, что не дошло до адресата письмо...» В стихах Симонова преобладают разговорные интонации — это разговор один на один с собеседником, когда нет нужды повышать голос, когда патетика неуместна, завоевать собеседника можно только искренностью и серьезностью рассказа о пережитом.

В том, что писал Симонов о Халхин-Голе, был и такой пусть негромко звучащий, но все-таки различимый мотив: я это видел, я через это прошел, я это выдержал, а сумеете ли вы, это вам придется еще доказывать и себе и другим. Здесь слышны и киплингеские ноты, в молодости Симонов был горячим поклонником поэзии Киплинга, ему

импонировало солдатское мужество его героев, увлекала киплингеская военная романтика. «Все это, — признавался он позже, — в 41-м году вдруг показалось далеким, маленьким и нарочито напряженным, похожим на ломающийся мальчишеский бас».

Поэзия Симонова выходит из сферы эстетического притяжения Киплинга, он ориентируется в своем творчестве прежде всего на Толстого, на его художественный опыт изображения народной войны, ее трагедия и величия. Оказавшись в первые дни Отечественной войны в Белоруссии, там, где гитлеровская армия наносила самый жестокий удар, поняв, что понадобятся неимоверные усилия и бесчисленные жертвы, чтобы выстоять, одолеть врага, Симонов словно бы подводит черту под недавним прошлым — и своими представлениями о войне и некоторыми своими эстетическими пристрастиями: «Да, война не такая, какой мы писали ее, — это горькая штука...» Это чувство, эта мысль, что все перевернулось, что былые мерки не годятся, снова и снова появляется в его стихах:

Что-то очень большое и страшное,
На штыках принесенное временем,
Не дает нам увидеть вчерашнего
Нашим гневным сегодняшним зрением.

(«Словно смотришь в бинокль перевернутый...»)

В этом написанном в самом начале войны стихотворении сразу же был определен тот новый нравственный счет, который стал глубинной основой его поэтического мироощущения. «Перед лицом большой беды» все видится теперь иначе: и жизнь («В ту ночь, готовясь умирать, навек забыли мы, как лгать, как изменять, как быть скупым, как над добром дрожать своим»), и смерть («Да, мы живем, не забывая, что просто не пришел черед, что смерть, как чаша круговая, наш стол обходит круглый год»), и родина («Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, не той, что была по учебникам пройдена, а той, что пылала в глазах воспаленных, а той, что рыдала, — запомнил я Родину»), и дружба («Все тяжелее груз наследства, все уже круг твоих друзей. Взяли тот груз себе на плечи...»), и любовь («Но в эти дни не изменить тебе ни телом, ни душою»).

И себя Симонов уже не ощущает поэтом одного поколения. Война сразу же стала всенародным делом и горем, стирая возрастную иерархию, различия поколений; в его стихах все сильнее проступает чувство всеобщности переживаемых испытаний. Это было естественное выражение накопленного им в те дни духовного опыта. А опыт этот был огромен. Куда только не бросала Симо-

нова военная судьба. с кем только не сводила на фронтовых дорогах... И войну он узнал и вширь и вглубь. Знал, о чем думал, что было на сердце у фронтовика и в мрачное лето сорок первого года и в победную весну сорок пятого...

Для читателя, который в те нелегкие дни если обращался к поэзии, то невольно искал в ней прежде всего хоть какого-то подтверждения того, что он пережил на фронте, стихи Симонова были страстно ожидавшимся откровением. Читатель был покорен тем, что чувства поэта и его чувства совпадали, что пережитое им оказалось достойным поэтизации. Сегодня в этих стихах открывается и другое: человеческая душа в них застывнута поистине в минуты роковые, в обстоятельствах трагических, она проявляется и в любви и в ненависти с напряжением и обнаженностью, неведомыми обычному течению жизни, все тут, перед лицом ежеминутно подстерегающей, никого не щадящей смерти, перед лицом народной беды, на самом крайнем пределе — и мужество, и боль, и сострадание, и слитность с общей судьбой. На том пределе, который вряд ли доступен человеку в повседневности и до которого поэзия поэтому редко добирается...

Отечественная война была для Симонова, как и для многих, кто прошел через ее испытания, ни с чем не сравнимым потрясением. Но чтобы осознать это, нужно было время. А жизнь не остановилась, она обрушивалась множеством забот, неотложных дел, не давала ни минуты покоя. Еще не возникла перспектива, не определился масштаб, недавнее прошлое заслонялось сегодняшним...

Когда кончилась война, Симонову еще не было тридцати. Все главное в жизни, казалось, впереди. Работавший всю войну, не зная отдыха и передышек, он и теперь не имеет времени, чтобы оглянуться, осмотреться, прислушаться к себе — тоже не последнее дело для художника, для поэта. Мирное время сразу же навалилось новыми — большими и трудными — обязанностями: Симонов становится одним из руководителей Союза писателей, главным редактором «Нового мира», а затем «Литературной газеты», общественным деятелем. К этому прибавлялись следовавшие одна за другой продолжительные зарубежные командировки. На этой основе и сложилась книга стихов Симонова «Друзья и враги» (1948). Затем она еще в течение нескольких лет пополнялась новыми стихами.

Это было время «холодной войны», начавшейся вскоре после победы над фашистской Германией и вызвавшей резкое противопостоя-

ние недавних союзников по антигитлеровской коалиции. Ударной силой этой войны были средства массовой информации. Естественно, что Симонов, обычно ездивший за рубеж в качестве корреспондента газет, сталкивался прежде всего с явлениями этого рода.

Как известно, журналист сосредоточен главным образом на злободневном, на новостях — такова суть его деятельности. В этом его сила. И слабость: нередко сегодняшнее ему кажется более значительным, чем есть в действительности. Эта aberrация сказалась и в стихах Симонова: вольно или невольно дипломатические и газетные баталии «холодной войны» приравнены к кровавым сражениям недавно отремевшей Отечественной. Корреспондентский клуб, в котором жили в Токио советские писатели и журналисты, видится поэту как «дом на передовой», зарубежные командировки воспринимаются как выполнение воинского долга: «...просто за семь тыщ верст и еще три версты этой ночью мне вышло на пост заступать...» Все это, разумеется, расхожие сравнения, но и они выдают смещение перспективы.

Выражали ли они истинное душевное состояние поэта, трудно сказать — он был человеком твердых решений и, раз решив, что писать нужно так и об этом, упорно гнул свою линию, даже когда для этого ему приходилось наступать на горло собственной песне. Вообще это было для Симонова сложное, кризисное время — пройдут годы, и на своем пятидесятилетии он скажет: «Не все мне в моей жизни нравится, не все я делал хорошо — я это понимаю, — не всегда был на высоте. На высоте гражданственности, на высоте человеческой». Относилось это к тем годам и не могло не иметь последствий для его творчества, в котором поэзия еще занимала большое место, во всяком случае была равнозначна прозе и драме (он признавался тогда в одной беседе: «Я как-то еще, как говорится, не определился, в каком жанре окончательно работать, и еще не знаю, когда определюсь»). Из-за долгих поездок за рубеж многие «домашние» дела проходили мимо Симонова, не так его задевали, а может быть, это отстранение было вызвано и несправедливой уничтожающей критикой повести «Дым отечества», в которой изображение послевоенной Смоленщины было сочтено слишком мрачным.

Но так или иначе Отечественная война возникала в симоновских стихах лишь для сравнения или уподобления битвам войны «холодной», а большинству его читателей военное лихолетье ежедневно и ежеминутно

напоминало о себе неизбывным горем вдов и сирот, костылями инвалидов, разрухой, тяжелой работой и еще более — тяжелым, скудным бытом. То, что поглощало тогда Симонова, что казалось ему самым важным в нашей жизни — сжесточившиеся международные отношения, конечно, интересовало и тревожило его читателей, они со вниманием следили за газетными сообщениями, но каждодневные дела, ближайшие заботы, связанные с устранением разрушительных последствий войны, право же, значили для них не меньше, нежели вопросы глобального порядка.

Впервые читатели и Симонов оказались настроены не на одну и ту же эмоциональную волну. Преодолеть этот возникший разрыв, сделать в стихах свои переживания общезначимыми было не так просто. И не всегда удавалось. Симонов уже хорошо знал, что подлинная публицистика требует лирического наполнения — иначе она становится ходульной. Но в искусстве нет раз и навсегда усвоенных решений, годных на все случаи, новый материал требует нового подхода. То, что в одном случае принесло успех, в другом может обернуться неудачей. Некоторые стихотворения в книге «Друзья и враги» Симонов строит на привычном ему доверительном обращении к какому-то конкретному лицу («В корреспондентском клубе», «Улица Сакко и Ванцетти», «Три точки», «Новогодняя ночь в Токио»). Но таких стихотворений немного — возникшее между поэтом и читателями расстояние не всегда преодолевалось с помощью лирического послания, надо было искать иные пути, да и в названных здесь стихотворениях, пожалуй, лишь в двух, первом и последнем, эта форма органична, в остальных она оставляет ощущение необязательности, искусственности: доверительность вытеснена риторикой.

Как и прежде у Симонова, все зависело от глубины переживания, силы чувства. Одно из лучших стихотворений книги — «Военно-морская база в Мейдзуре»: такая сердечная тоска у автора от разлуки с родиной, с близкими, оттого, что вокруг чужая жизнь, от неотступно следующего за ним соглядатая из американской разведывательной службы, настолько он душевно сильнее, чище, выше наших противников, что вряд ли даже была нужна в заключительном публицистическом четверостишии, сводящем дело к общей формуле. Романтика интернационализма, революционной солидарности — то, что для Симонова всегда было овеяно поэтическим ореолом, — одухотворяет такие стихи, как «Немец», «Ночь перед бессмертием». Здесь тоже он добивается успеха.

Но есть в книге стихи (например, «Хлеб» или «История одной ошибки»), содержание которых, в общем, не выходит за рамки публицистической статьи или газетного очерка — в них отсутствует поэтическое обобщение, они привязаны к одному событию и им исчерпываются. Правда, ему казалось, что, опираясь на опыт Маяковского, он сумеет извлечь из «простого газетного факта» поэзию. И все вроде должно было сойтись самым лучшим образом: Симонов любил и высоко ценил Маяковского, впечатления его от зарубежных поездок были сродни тем, что вынес Маяковский. Но не сошлось, не могло сойтись. Симонову, преклонявшемуся перед Маяковским, не были свойственны его открытый пафос, его громкость, его способность художественно укрупнить факт. Там, где Маяковский превращал публицистику в поэзию, Симонову далеко не всегда удавалось добираться до поэзии; безоглядно и восхитенно следуя за Маяковским, он срывал голос, утрачивал собственную поэтическую интонацию.

Зависимость от Маяковского ощущается и в сатирических стихотворениях Симонова («Дружба — дружбой, а служба — службой...», «Жил да был человек осторожный...», «Улыбка»), посвященных уже «домашним» делам и вещедных в книгу «Стихи 1954 года». Поэт облачает приспосабличество, трусость, выдающую себя за благоразумие, казенное равнодушие, загроможденное под принципиальность. Объекты сатиры у него не то чтобы неизвестны, но взята под обстрел их наисовременнейшая модификация. Однако они недостаточно укрупнены, не доведены до гротеска, не выставлены в убийственно смешном виде — и в этом случае путь, по которому поэт двинулся вслед за Маяковским, был все же не по нему.

Но сам круг нравственных проблем, к которым он искал сатирические подходы, для него необычайно важен, задевает за живое. В его лирических стихах на эту тему («Дом друзей», «Чужая душа», «Борису Горбатову», «Друг-приятель», «Анкета дружбы») дается более глубокий срез явления, чем в сатирических, оно приближено к читателю, раскрывается изнутри. Да, случалось и лирическому герою отступать под натиском беспринципности, прикидывавшейся принципиальностью, и он шел на компромиссы, считая, что плетью обуха не перешибешь, и он не всегда вставал горой за друга, попавшего в беду, оскорбленного несправедливостью. Послевоенные годы омрачены и тем, что подверглись девальвации такие понятия, как дружба и друг, которым до войны и в войну в симоновской

иерархии человеческих ценностей отводилось очень высокое место — для него это была святая святых. И суд его тем строже, что начинает он его с самого себя.

Настоящая дружба покосится на принципиальности и человечности, твердости убеждений и душевной щедрости, верности и прямоте. Ее разьедает «эластичная» нравственность, потребительское отношение к жизни, дружба не может быть от сих до сих. Тема дружбы, обычно числящаяся по разряду так называемых личных, в стихах Симонова истолкована как принципиально гражданская. Она привлекла поэта и тем, что обнажала человеческий план наступивших перемен в общественном климате страны.

Эти годы были поворотными в духовном развитии Симонова. Он принадлежал к тем натурам, которые преподносимые им жизнью уроки усваивали раз и навсегда. Понятно, что поворот этот произошел под влиянием тех изменений, тех сдвигов в общественном сознании, которые знаменовал собой XX съезд КПСС. А для Симонова он означал еще и возвращение в творчестве к Великой Отечественной войне. И дело не в том только, что начиная с середины 50-х годов почти все, что написал Симонов в прозе, да и большинство стихов, к которым он, правда, обращается уже все реже и реже, — о войне. Более существенно другое. Грозное время, бескомпромиссное, не терпящее уклончивости, становится снова фундаментом нравственных представлений Симонова. его взгляда на жизнь, его отношения к людям. Об этом в одном из самых гениальных поздних стихотворений Симонова сказано с той убежденностью, которая укреплена предположением и собственных заблуждений:

Не чтобы ославить кого-то,
А чтобы изведать до дна,
Зима сорок первого года
Нам верною меркой дана.

Пожалуй, и нынче полезно,
Не выпустив память из рук,
Той меркой, прямой и железной,
Проверить кого-нибудь вдруг!

(«Зима сорок первого года...»)

Как важна для Симонова эта мерка, можно судить хотя бы по тому, что в стихотворении, посвященном памяти погибших космонавтов, он сравнивает их трагически закончившийся полет с разведкой, отправленной в тыл врага, где кому-то придется сложить голову, «вновь та жизнь перед тобою — ее закон, ее устав». Симонов будет свято чтить этот закон, этот устав, но не ностальгия по боевой молодости, не элеги-

ческое чувство движет им, а вера в то, что иначе нельзя жить и сегодня.

Эти перемены не означали, что все, что писал затем Симонов, непременно приносило ему успех, они были лишь одним из условий успеха. Из двух его последних поэм по-настоящему хороша только одна — «Отец». Здесь поэтизируется спартанское воспитание, благодаря которому человек обретает солдатское и гражданское мужество — для Симонова они теперь неразделимы.

Другая поэма — «Иван да Марья» (1954) — удалась меньше. Замешанная, в сущности, на тех же дрожжах — она о людях, с достоинством и мужеством проживших вместе нелегкую жизнь, выдержавших и безжалостные удары судьбы, и бытовое неустройство, и разлуки, — отличающаяся дотошным знанием военной среды, уклада армейской жизни, поэма своей художественной структурой напоминает рассказ или повесть. Ей недостает лирической открытости. Лирический сюжет то возникает, то надолго пропадает, вытесненный рассказом о жизненном пути героев, обстоятельными описаниями. Чувствуя это, автор, чтобы усилить лирическое начало, делает себя одним из действующих лиц произведения, обращает свой рассказ к героине поэмы, но в такого рода его присутствия нет необходимости, а однообразные обращения к героине становятся назойливыми — эти внешние приемы лирического претворения жизненного материала не достигают цели.

В последние годы у Симонова преобладает медитативная лирика. Это размышления о жизни и смерти, о памяти, о войне — никогда не оставляющей нас Великой Отечественной и о войне во Вьетнаме, где довелось побывать Симонову, на каждом шагу она заставляла вспоминать нашу войну. С годами все острее и острее осознает он трагическую сторону войны, неотступно думает об этом. Одному из своих корреспондентов он писал тогда: «...как бы ни были высоки наши побуждения, война все равно оставалась для нас человеческой трагедией от своего первого и до своего последнего дня, и в дни поражений, и в дни побед. Она все равно оставалась противоестественным состоянием для каждого человека, не потерявшего людской облик». Во вьетнамских стихах он находит для выражения этого поразительную по глубине поэтическую формулу:

Напоминает море — море.
Напоминают горы — горы.
Напоминает горе — горе;
Одно — другое.

Чужого горя не бывает,
Кто это подтвердить боится —
Наверно, или убивает,
Или готовится в убийцы...

(«Чужого горя не бывает...»)

Среди последних стихов Симонова немало печальных — он много болел в эти годы и не мог не думать о приближающемся конце. Но печаль эта часто смягчается то улыбкой, то иронией не специально, не намеренно — это было естественным проявлением его характера, присущего ему мужества и жизнелюбия. Он любил жизнь — не гнулся под ее ударами, радовался ее дарам. Когда-то прозвучавшее в его стихах с молодой лихостью и беспечностью: «Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья, никакой, самой малой малости на земле бы не бросил я» — на склоне дней не угасло в нем, не отступило под натиском болезней и предписаний врачей:

Диетой
лишенные
свободы,
Едва его
успели
упросить:
Оставить нам
хоть спирт
и углеводы —
Чтоб с горя —
выпить,
С горя — закусить!

С юных лет Симонов считал, что нет ничего важнее для человека, чем его дело, его призвание. Что бы ни было, как бы ни приходилось туго, какие бы препятствия или соблазны ни возникали на пути, он должен, невзирая ни на что, трудиться до седьмого пота, выполнить свой долг. Он утверждал это, когда ему едва перевалило за двадцать, — это было еще намеченной жизненной программой:

Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы...

В его поздних стихах это уже итог прожитой жизни:

Кто в будущее двинулся, держись,
Взад и вперед,
Взад и вперед до пота.
Порой подумаешь:
Вся наша жизнь
Сплошная ледокольная работа.

Такой ему представлялась настоящая жизнь. Так он и прожил свою...

Он завещал, чтобы прах его развеяли под Могилевом на Буйническом поле.

В фильме «Шел солдат...» снято это поле — лето, высокие хлеба, простор, на го-

ризонте лес. И Симонов рассказывает: «Одному человеку этот мирный сейчас пейзаж ничего не говорит, а для другого — это поле боя... Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом, но и у меня есть кусок земли, который мне век не забыть, — вот это поле за Могилевом, где я впервые видел в июле сорок первого, как наши сожгли тридцать девять немецких танков и бронетранспортеров».

На всю жизнь запомнил он это поле и этот день. И потому, что после первых приводивших в отчаяние фронтовых впечатлений нашел наконец «точку опоры», увидел людей, которые остановили врага, выдержали его удар и нанесли ему ответный. И потому, что чудом отсюда выбрался. Наверное, он тогда, пережив первые самые страшные три недели унижительного отступления и неразберихи, хотел там остаться — с теми, кто решил не отступать, стоять насмерть (в романе «Живые и мертвые» это его желание осуществляет Синцов). Но газета требовала материала, он обязан был делать свое дело... Под носом немецких танков они выскользнули из очередного окружения... Разве такое забудешь?.. «Места, где ты был тридцать лет назад, иногда совершенно не узнаешь, а иногда узнаешь сразу, — писал Симонов. — Приехав в Могилев и бродя по местам боев сорок первого года, я совершенно точно вспомнил, где что было... Неподалеку при дороге стоит теперь обелиск с надписью, говорящей о том, как 388-й стрелковый полк в июле 1941 года «с беспримерной стойкостью» отбивал здесь атаки немецких танков. Имен погибших на обелиске нет, да в данном случае вряд ли и возможно было написать их все: 388-й полк лег здесь, в боях за Могилев, почти целиком».

Почти все, что написал Константин Симонов — в стихах, в прозе, для театра и кино — о войне. В этом он видел свой долг перед павшими. И жил он все эти годы с чувством, которое выразил в одном из последних стихотворений. Стихотворение это о войне:

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

Он ощущал неразрывную связь с теми, кому судьба не подарила, как ему, этих послевоенных лет, кто навеки остался на поле боя, как мог бы остаться там и он. Прах его смешался с прахом погибших в сорок первом году. Он вернулся к ним — навсегда...

ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Камянов. Из первых рук.— Ст. Рассадин. Биография легенды.— Сергей Чупринин. Дар бескорыстия.

ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Тихвинский. Древнекитайская философия и политическая борьба в КНР.— А. Преображенский, М. Курмачева. История и публицистика

Литература и искусство

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Виталий Семин. Плотина. Роман. «Дружба народов», 1981, № 5.

Вид новой книги нередко возбуждает нашу читательскую пронзительность. Просматривая открытые наугад страницы, мы уже прикидываем, как и к каким итогам поведет нас автор. Особенно тверды такие прогнозы, если книга сразу просится в знакомый тематический ряд. О чем она? О минувшей войне? Об узниках третьего рейха, прошедших круги лагерного ада? Угадав тему, мы уже как бы владеем информацией, полученной в опережение текста.

Или обнаружена другая тема, другой, но столь же популярный сюжет — скажем, о буднях ударной стройки, меняющей лицо целого края. И снова приток, а вернее, оживление информации, почерпнутой раньше: участок литературы достаточно приметный и сложившиеся здесь каноны оставили свои дорожки в нашей памяти.

В романе Виталия Семина «Плотина» обе названные темы на самом виду, сведены вместе силой и порядком обстоятельств, определивших судьбу героя-повествователя. Но роман «Плотина», оборванный на полуслове скоростной смертью автора, никак не поощрит читательскую дальновидность, которая оттачивалась на других образцах. Каждая семинская строка — под напряжением. А духовное напряжение отлично предохраняет текст от посторонних вкраплений и налета повторности.

...Вначале было чувство, которое большинству сегодняшних читателей надо подробно разъяснять, — чувство угасания, как бы остаточного тления жизни в молодом, здоровом, но дошедшем (доведенном!) до крайнего истощения человеке. Очередная пайка зрзц-хлеба для него — возобновление надежды еще какой-то срок продер-

жаться на ногах. И тепло барачной печки, чуть быстрее погнавшее кровь по жилам, и примотанная куском провода подметка — тоже добавочный шанс, приращение к надежде.

В нем, истощенном узнике, словно бы тайный счетчик работает, отмеряющий всякую убыль накопленной телом (и духом) энергии либо, напротив, свежий ее приток. Неотвязное это прислушивание может обернуться неврозом, обострением сторожевых рефлексов (откуда и какая грозит опасность?), а может — особым качеством зоркости к основе, скрытому пульсу явлений и процессов, недоступных рассеянному взгляду.

Семинского героя-повествователя лагерный опыт наделил именно такой зоркостью. И не случайно ключевое место в его речи принадлежит двум глаголам — «накапливаться» и «вытекать» (варианты: «спадать», «отхлынуть», «выветриться»). Душа подростка — узника арбайтслагеря — накапливала страхи; американцы, под чей контроль уцелевшие лагерники попали на пороге победы, производили диковатое впечатление первозданным неведением (что тут раньше происходило, до них), «младенческой откормленностью» и пристрастием к скоростной езде: «Война кончилась, а лихость осталась нерастраченной»; спустя годы герой ловит себя на «ощущении утекающего времени» и намерен противиться его утечке, «накапливать чистые усилия» духа и воли, а размах грандиозной стройки начала 50-х, участие в ней подсказали ему вывод, что напряжение военной страды не успело схлынуть, производит свою подспудную работу: «Энергия, вспыхнувшая во время войны, не демобилизована. И удовлетвориться

она может только сопоставимым напряжением».

Итак, вначале было чувство, напрягающееся у последней черты. Обратившись вонне, оно стало чутьем, приметливостью к тому, что малоприметно, к накоплению или прорыву скрытых энергий. Стало беспокойством и напряжением мысли, которая резко берет в сторону от накатанных путей.

«Я это чувствовал, но не мог объяснить» — устойчивый в «Плотине» мотив, как, впрочем, и в романе «Нагрудный знак OST», к которому «Плотина» тесно примыкает. Зрелость и позднейший опыт героя-повествователя заново пропускают сквозь свои фильтры запас главных впечатлений отрочества и послевоенной молодости, неподъемных для его тогдашнего сознания.

В большинстве критических откликов на «Нагрудный знак OST» цитировались заключительные строки романа: «...мне потребовалось тридцать лет жизненного опыта, чтобы я сумел кое-что рассказать о своих главных жизненных переживаниях». При цитировании отчетливее всего звучало число лет — тридцать. Остальное прочитывалось скороговоркой.

Между тем заключительные слова «Нагрудного знака...» не о порядке событий, не о фактах, заждавшихся огласки, а о Петре ж и в а н и я х, которые зрели весь этот срок, не поддаваясь точной расшифровке. Дозревали они и позже, если судить по «Плотине», где так настойчив мотив «я чувствовал, но не мог объяснить».

Мысль повествователя гораздо упорнее движется по неясному следу чувства, чем по отчетливым следам фактов. И это в ту пору, когда искусство стало все охотней опираться на твердую основу факта, документальное свидетельство, особенно если факт и документ бросают свет на драматические участки прошлого.

Что же до Семина, то весом документа у него обладают показания души. Память чувств.

Чьих именно? Персонажа или автора? Разграничить непросто.

Биографически тот и другой достаточно близки. Известно, что Виталий Семин четырнадцатилетним подростком был угнан в Германию из оккупированного Ростова и вплоть до весны 1945-го тянул каторжную лямку в нацистском арбайтслагере. Такова же судьба Сергея Рязанова, центрального лица ранней семинской повести «Ласточка-звездочка», перешедшего в «Нагрудный знак...» и «Плотину», но в новом качестве героя-повествователя.

Если вести речь о расстоянии между ав-

тором и его героем, то это скорее расстояние десятилетий, разделяющее их, чем обычная в искусстве дистанция авторского наблюдения над персонажем.

Семин менее всего занят лепкой характера. Повествователь ему не свойствами интересен и не характером, а прежде всего опытом чувств, душевных сверхнапряжений, подсказанных чрезвычайным временем.

В движение приведены столь капитальные начала человеческого в человеке, что их активность, брожение, прорыв на арену открытого действия не дают персонажу вместиться в твердую рамку характерности.

И вот что выходит по художественной логике Семина: вся эта взвихренность, критические напряжения души если не вызваны, то поощрены оловянной невозмутимостью, скопившейся на том краю вывернутого мира, где всем все ясно.

С просторов третьего рейха, обступившего каторжный лагерь, во все лагерные щели течет застойный казарменный дух. Умы, вышколенные ведомством Геббельса, буквально распирает всеведением. Оно легко различимо и в окриках охранников, и в радостных голосах подростков, которые изловили русского, бесконвойно проходившего мимо, и в злобном оскале бюргера, трамвайного пассажира, шокированного соседством с людьми в лагерной одежде, уже вольными к этому моменту, и во взгляде перепуганной фрау — сожительницы некоего нацистского бонзы. Впрочем, с фрау случай особый. И о нем чуть подробнее...

Вчерашние узники арбайтслагера решили захватить матерого фашиста, который, по слухам, скрывается где-то неподалеку. Запаслись оружием. Выбрали глухую ночь. Застали враслох хозяев дома с их секретными постояльцами. Но... хоронившийся от чужих глаз неопознанный немец остался цел-невредим, хотя и провел несколько зябких минут под наведенным на него листолетом. А уже после, когда все кончилось, вернее ничем не кончилось, героя-рассказчика стал преследовать взгляд той самой немки. В нем было ожидание выстрела и «какое-то признание или даже согласие», нечто вроде готовности к страшной развязке. Но минуты текли, а развязка не наступала. «И в выражении глаз немки что-то изменилось... Будто она презирала нас за то, что мы упускаем такой случай». Из дальнейшего следует: презирала как «неполноценных».

Взгляд немки потому жжет память рассказчика, что во взгляде этом устойчивость

и укорененность бредовой нацистской фантазии, согласно которой человечество, не уместаясь в рамках одного биологического вида, подлежит сортировке: тех сюда, этих туда, в разряд «низших существ».

Взгляд перепуганной немки, быть может, потому так сильно ранит рассказчика, что в этом взгляде — признание фантастической здоровой нормой. И хотя не в пример рассказчику другие лагерники обязательно за всяким фактом отыскивают принцип, но к высокомерию своих тюремщиков тоже доста точно восприимчивы.

Когда напор нацистского высокомерия на душу лагерников достигает последней черты, тут уж — пропадай моя головушка! Сжатая пружина распрямляется, и барачный доходяга, которого чуть ли не ветром колеблет, бросается на охранников, выхватывая по пути доску из-под тюфяка, а нет доски, так с голыми руками. «Это было под ногтями, в позвоночнике, в ослепших глазах — убить!» — сказано в «Нагрудном знаке...» о состоянии узника, доведенного до крайности.

В лагерных картинах Семина жизнь предстает как целое, управляемое единым внутренним законом, подверженное колебаниям, приливам и отливам. «Я был очень молод, — вспоминает рассказчик, — и, несмотря на истощение, жизнь не могла не приливать ко мне». Таков угол зрения на себя как подданного Жизни.

Эта проза символична без символов и многозначна без претензий на многозначительность.

Чтобы рассказать о прямых соприкосновениях человеческой души с коренными началами бытия, Семину не требовался язык условностей и философических остротений, не требовалось напрягать голос и заботиться о высоте тона. Напряжением его текста распоряжаются обстоятельства, положенные в основу рассказа.

Странность семинского воспроизведения чувств — в самой природе обстоятельств.

Еще в «Нагрудном знаке...» шла речь о ненависти, расправившей душу лагерника, как о чувстве, словно бы отдельном от души («Это была уже не моя ненависть. Потому что сам я, истощенный и лихорадящий, так страшно, так сильно ненавидеть не мог»).

Тот же мотив отчетлив и в «Плотине», где ненависть к сонму тюремщиков с их заматерелой спесью — одна из важных пружин сюжета.

Читая, ждешь: вот-вот освободится энергия ожесточения, копившаяся день за днем, и когда под напором советской и союзниче-

ских армий рухнет третий рейх, то худо придется лагерной охране, фабричным мастерам с поддипалами, всей этой дьяволовой челяди...

«Три года истошающих страхов и ненависти, — сказано у Семина, — это было покрепче клятв. Оружием отнимали у нас судьбу. Оружием надо было ее вернуть... Три года унижений нельзя было везти домой». Все как будто встает на свои места. В том числе история ночной вылазки к пристанищу нациста... Только цитату надо продолжить. За словами о трех годах унижений в тексте следует: «А мы упустили случай за случаем, будто воля к возмездию с каждым днем слабеет».

И верно: гитлеровский сановник и его спутница стделались легким шоком, и бюргер, оравший в трамвае на ребят в лагерных обносках, тоже был отпущен с миром, и еще похожий пример, и еще...

Отчего «воля к возмездию... слабеет»? Не станем спешить с ответом и вновь вернемся к тексту...

«Но я не знал еще, — продолжает рассказчик, — что злоба и мстительность у обычных людей спадают, как спадает зубная боль. Они поддерживались насильно. И возбудить их в себе по желанию невозможно. А жалость, любопытство тут как тут».

Еще важнее жалости и любопытства была «преграда человеческого чувства», о которой некогда писал Толстой, внутренний запрет: «Не тебе решать, кто вправе жить, кто нет. Пусть они были палачами. Ты не палач!»

А как же, спросим мы, «три года унижений, которые нельзя было везти домой»? Выходит, «пугали» кое-кого из коричневой братии и тем утешились, сняли груз с души? Если и сняли, то часть груза. Малую.

Глава, повествующая о возвращении Сергея домой, начинается так: «Кричал я, кажется, дня два». Окружающие этим криком смущены. Призванная для совета родственница авторитетно заключает: «Они все сейчас кричат. Перекричит и будет нормальным пареньком».

Предположим, она права: будет нормальным. А пока? Где столь привычные нашему слуху мотивы обретения очага, пусть относительного, но покоя после бурь и потрясений? Нет этих мотивов. И нет, добавлю, авторской заботы о душевных удобствах читателя, которому, возможно, хотелось бы рассеяться немного после насады лагерных картин.

А заметен ли след такой заботы у К. Воробьева («Убиты под Москвой», «Крик»), Д. Гусарова («За чертой милосердия»), В.

Быкова («Сотников»), А. Адамовича («Карагели»)? Вообще у тех авторов, кто самим стилем, жанром своих повествований о войне откликается на ее трагедийную природу?..

Семина пишет о крикё, не касаясь в эпизоде возвращения лирических струн, потому что возвращением ничто не сбалансировано и не избыто, скорее даже обострено: довоенный домашний мир, оказывается, стоит как стоял, а за спиной у Сергея черным провалом — арбайтслагерь, и ему неизвестно, как обе эти реальности в себе совместить.

Среди прозаиков антифашистской темы у Семина особое место уже потому, что его герой — подросток, затем юноша, задающий трудные вопросы в условиях исторического разлома.

Душа ребенка, на которую навалился кошмар беззакония, в какой-то мере защищена неведением и неготовностью трудиться в полную силу; взрослый вооружен словом, умением незнакомое сводить к знакомому — его не сразу собьешь. Подросток уже всюю трудится душой, но пока некрепок в словах и четких определениях. Война, угон в рабство, три года унижений — все это навалилось на душу семинаского рассказчика, когда она нащупывала главные для себя ориентиры среди сложностей взрослого мира.

Душа подростка, которую били влет, отвечала мгновенным, еще доопытным пониманием главного и х расчета и прицела: они, нацисты, вытравливают из жизни смысл. Изгоняют как подрывной элемент. Именно нацистское глумление над смыслом, признается рассказчик, порождало «выворачивающую душу ненависть» («Нагрудный знак OST»).

Семина пишет историю души, которая, едва успев осознать себя, испытала острейший кислородный голод: там, где рушатся опорные представления о мире, ей нечем дышать.

Нынешнему искусству приходится вновь и вновь зондировать сферу исходных, вековых основ людского общежития, в частности, потому, что самые кровавые полицейские режимы XX столетия как раз отсюда и начинают — с отрицания нравственных и духовных основ.

Годы отрочества приучили семинаского рассказчика за любым сцеплением фактов различать работу закономерностей, естественную норму, способную служить для сознания началом отсчета, мерой должного и разумного.

...На строительстве Куйбышевской ГЭС центральному герою романа, исполнявшему обязанности техника-комплектовщика, не очень повезло с прямым начальством. Пер-

вый прораб, в подчинение к которому он попал, о деле пекся мало, себя щадил и с других особенно не взыскивал; его преемник, напротив, оказался яростным «погонялой», авральщиком и горлохвatom: на подчиненных налетал ястребом, ничьих резонов не слушал. «У старшего прораба Титаренко, — замечает рассказчик, — худые щеки втянуты так, будто его застали во время сильнейшей затяжки. Видеть эти гневно втянутые щеки не могу».

Значит, видеть не может. И тем не менее: «С Титаренко было тяжело. Со старым старшим прорабом невыносимо. При нем... смысл распался». Таков итог и таково предпочтение: «Титаренковский гнев все связывал смыслом».

Конечно, Семина пишет не похвальное слово прорабу-громовержцу, а историю современника, который побывал, можно сказать, по ту сторону разумного мира, испытал на себе гнет узаконенного, торжествующего абсурда и теперь болезненно бдителен к любому разрушению смысла.

Спрашивая себя, с какими главными ожиданиями он отправился на стройку, рассказчик вновь и вновь повторяет — смысл, прежде всего смысл: «...здесь, как в горной обсерватории, к нему ближе».

В тех главах романа, где речь идет о стройке, совсем не часто встречается слово «война». Отдалившись от нее на восемь-девять лет, персонажи старались без нужды не беречь себя воспоминаниями. Однако подспудная работа войны над людскими душами не угасает, формируя особый, скрытый план этих глав, да и в самих ритмах ударной стройки, как уже говорилось, рассказчику слышен гул, напор энергии грозного четырехлетия, преобразенной, но не «демобилизированной».

Что было с ним, Сергеем, сразу после Германии, во второй половине 40-х? Об этом очень глухо. Есть беглое упоминание о скольких-то годах студенчества, затем — отчислении из института. Какой-то пробел, промежуток, пауза, когда нить времени провисала.

И вот — порыв, бросок следом за волной исторического возбуждения, с гребня которой хорошо видно вширь. И можно «накапливать усилия», соизмеримые с прежним критическим напряжением, но теперь усилия иного качества.

«...мы страшно торопились и часто ошибались», — замечает рассказчик о себе и других новобранцах стройки. Или чуть дальше: «Сами себя подхлестывали». «Страшно торопились», «подхлестывали» — это прежде всего о состоянии души, которая, проходя на скорости зону второстепенных для нее,

чисто житейских интересов, ищет для себя высоких испытательных напряжений.

Быт рассказчика сверхаскетичен — всего лишь карандашный набросок быта. Мысль о простейших удобствах отмегаются с порога. Время даже между сменами несется вскачь: поход за походом почти наугад, куда дорога приведет, лишь бы впечатления посвежей и поярче; споры до поздней ночи; лыжные пробежки, да еще с азартной борьбой за лидерство; спортивные схватки на износ, на измор — кто кого пересилит.. Кажется, это обобранная юность рассказчика вдруг пробилась сквозь заслонившие ее годы, чтобы хоть и с запозданием, да взять свое.

Но есть у него и другая потребность — вытеснить из души, нейтрализовать, обезболить едкую память лагерных унижений, выставив против нее теперешний волевой напор и активность.

Прослеживая так подробно эти скрытые мотивировки и психологические сюжеты потому, что именно здесь при внешней фабульной незавершенности романа особенно отчетлива сквозная линия авторской мысли.

Помните начало главы о возвращении Сергея домой: «Кричал я, кажется, дня два»?.. В «Нагрудном знаке...» рассказано о том, как накапливался, зрел, искал выхода этот крик, в «Плотине» — как человек годами избывал его в себе, заново привыкая к небу и солнцу, ненакрененному горизонту, к здоровой норме как регулятору людских отношений, к осмысленной горячей работе, когда новый день означает движение вперед и понемногу инженерные замыслы обретают плоть.

В повести «Ласточка-звездочка» (1963) история Сергея Рязанова обрывалась на самом пороге лагерного трехлетия. Продолжение читатель находит в «Нагрудном знаке...», который отделен от ранней повести тринадцатью годами.

Мы, конечно, не забыли, что «Нагрудный знак...» — роман о «главных жизненных переживаниях» и мысль рассказчика гораздо упорнее движется по следу чувства, нежели следит за перипетиями чьих-то отношений или за логикой характеров. Вся художественная работа познания и преломления мира идет в романе через героя-повествователя. По-иному строились произведения Семина, написанные в промежутке между «Ласточкой-звездочкой» и «Нагрудным знаком...».

Для авторской субъективности здесь гораздо меньше простора. На первый план выходят характеры, обычаи, привычки наблюдаемой прозаиком микросреды, бытовой и психологический колорит. Семин отлично справлялся с быто- и нравописательными

задачами, чему наглядное подтверждение — широкий успех (включая сюда оживленные критические дебаты) повести «Семеро в одном доме» (1965).

Фигура героя-повествователя (автором избрана форма повествования от первого лица) тут полуосвещена. Он не столько участник действия, сколько авторский соглядатай, заинтригованный внутренним укладом, домашними, уличными нравами людей предместья, посадских, как именовались бы они в старину, — уже не крестьян, но еще не горожан. Занятый накоплением впечатлений — одно интересней другого, — герой-рассказчик даже не очень стремится охватить их связующим взглядом. Отсюда ощущение переизбытка однотипных подробностей и некоторой праздности повествующего лица.

В очередной большой вещи, романе «Женя и Валентина» (1972), Семин отказывается от услуг персонажа-посредника, давая материалу выговориться самому, без чьих-либо попутных комментариев. Роман населен очень серьезными, занятыми и рассудительными людьми, которых впереди ждет не только полоса драматических испытаний (время действия — канун и самое начало войны), но, кажется, и утрата внутренней уравновешенности, тоже не лишняя для них драматизма. Как все это произойдет, нам узнать не дано, ибо, едва выведя героев на пути-дороги войны, романист поставил точку и продолжение писать не стал. А разветвленная экспозиция «Жени и Валентины» предвещала неторопливую эпическую сагу тома на два-три. Художественный талант Семина справился бы, вероятно, и с таким заданием, однако ломая и перетруждая себя при этом.

Между тем «главные жизненные переживания» все настойчивей просились в эпическую форму, только иную — форму рассказа от первого лица. Путь «Жени и Валентины», слишком академичный для Семина, оставался в стороне. Но продран он был не без пользы для главных семинских книг. Или скажем так: отходя и медля, прозаик тем вернее подступал к ним.

Взять хотя бы пестрый состав узников арбайтслагеря, с которыми знакомит нас писатель. Состав этот при всей пестроте тяготеет к двум полюсам. На одном — те, в ком жива энергия сопротивления, готовность служить делу победы и кого даже лагерные фараоны избегают слишком ожесточать; на другом — блатные и приблатненные, своего рода каста сверхчеловечков среди лагерного люда. А промежуток? Он у Семина под особым контролем.

Писатель чутко следит за колебаниями нетвердого, едва пробудившегося духа, для которого притягательны то грех, то святость, то чужой авторитет, то безначалие и которому какой-нибудь кустарный догмат может показаться твердой опорой.

Семина и раньше присматривался к людям социального и духовного «промежутка», к тем же посадским, например, к прихотливой смеси ходячих представлений, предрассудков, житейских максим, недоосвоенных книжных истин, которую многие готовы обнародовать как ценное свое достояние. Наблюдая эту среду, художник как бы делал заготовки впрок. Укреплялся в знании, упражнял свой дар объективного психолога.

Только в середине 60-х — начале 70-х он писал своих героев на фоне размеренных будней, а в двух последних романах — на фоне беспощадной лагерной костоломни, где каждому приходилось заново знакомиться с собой, заново решать многое. Или впервые. И если впервые, могло быть всякое. Колебание совершалось на острой грани, где духовная невнятица, безопорность становились опасным грузом.

В «Нагрудном знаке...» рассказано о группе лагерников, которые «перед войной не успели ни о чем подумать. И отсталость их вдруг припала к месту. Тяжелая мысль заработала: и вот исступление и злобная уверенность: „Все понимаю! Теперь не обманут!“».

Война, арбайтслагер, побудка, тревога по всему фронту жизни и... темнота, «отсталость» совершают поворот к исчерпывающему знанию, то есть полный поворот вокруг себя.

Для Семина отчетлива связь между живучестью экстремистских идей и духовной спячкой бюргера, который совсем не прочь перескочить от неведения к всезнайству, между взглядом перепуганной фрау и озлобленностью неразвитого малого («Теперь не обманут!»), связь между застойным «порядком» в сознании и всесветным хаосом, между ясностью и абсурдом.

Реальность таких связей — одно из самых тревожных свидетельств автора «Нагрудного знака...» и «Плотины».

Сталкиваясь с теми, кто ухитрился здесь, в лагере, навсегда отделаться от любых вопросов («Все понимаю!»), повествователь чувствовал, что они для него «ненавистнее полицейских». Ненавистнее потому, что застывшее всепонимание фатально поощряло абсурд.

В той же атмосфере другие, в ком лагерь не погасил ни волю, ни разум, испытывали моральное удушье, приливы ожесточения,

копившегося «под ногтями, в позвоночнике», готовность броситься на вспышки полицейских «вальтеров», преодолеть унижение. И бросались. А если выпадала удача выжить, то долгие годы вытесняли, выкашливали, выталкивали из себя то, что давило там.

И не только людям лагерной судьбы было трудно преодолеть действие огромных напряжений, словно бы оплававших душу. В одной из глав «Плотины» рассказано о железнодорожной проводнице, отражавшей в дверях своего вагона отчаянный натиск толпы. Истекал 1945-й, несчастные поезда брались с бою, и пассажирам, сошедшим при остановке на перрон, было совсем не просто пробиться назад. Проводница, не различая ничьих лиц, яростно отталкивала наседавших. Она «слепо упиралась руками в грудь летчика, державшегося за поручни одной рукой. „Голубчик! — ласково сказал ей летчик. — Голубушка!“». И проводница, так и не узнав в летчике своего пассажира, все-таки пропустила его. Казалось бы, всего лишь беглая зарисовка. Штрих к портрету времени. Похожие зарисовки встретим и неподалеку от этой. В контексте целого каждая из них — психологический микросюжет, где нам дано уловить первый отток или спад колоссального напряжения, владевшего тогда людскими душами. То есть и на локальных, казалось бы, участках повествования, в малых клеточках текста ощутима работа скрытых исторических энергий («волн большого движения», если воспользоваться образом Толстого, чьи творческие уроки настойчиво осваивал автор «Плотины»), которая формирует дальний и общий планы семинских картин.

Свое возвращение на родину после лагерного трехлетия повествователь называет чудом: совсем ничтожны были его шансы выжить и вернуться. Война, беспощадная сортировщица людских судеб, чуть ли не сразу отвела ему место в нескончаемом ряду жертв, статистика которых будет позднее предъявлена преступному режиму как одна из тяжчайших улик. И вот жертва взяла слово.

Для свидетельских показаний?

У последних романов Семина есть и такое качество: они свидетельствуют о цене победы, обвиняют палаческий режим. Однако настоящий вес этим романам сообщает соответствие масштабов — авторского мировидения и трагических событий второй мировой войны, трагедийного состояния мира, которое прозаиком запечатлено.

Оказывается, ж е р т в а, помеченная для опознания нашлепкой «OST» и трехзначным

порядковым номером, не только вынесла предельные нагрузки, но и на свой лад воспользовалась ими, не упустив момент, когда историческая почва ходуном ходила и скрытое вырвалось наружу. Никакими классификациями не предусмотренный тип узника, который добывает уникальную правду о человеке и мире чуть ли не из адского пламени, из пекла, где ему скорее всего предстоит сгореть вместе с остальными. У такой роли особый вес и достоинство.

Охранники, бюргеры, фабричные мастера, уголовники, не подозревая о том, позировали истощенному подростку, чья память

все главное о них откладывала впрок. То был своеобразный реванш, взятый им уже тогда. В тех условиях. И если по-настоящему принять в расчет тогдашние условия, перед нами подлинное торжество человеческого духа над духом войны и уничтожения.

Образ этого торжества, начисто свободный от налета литературности, принятый нами из первых рук, отбрасывает свет на все наследие замечательного советского художника Виталия Семина.

В. КАМЯНОВ.



БИОГРАФИЯ ЛЕГЕНДЫ

М. Туровская. *Бабанова. Легенда и биография*. М. «Искусство». 1981. 351 стр.

«**Я** на сцене любовь никогда играть не умела. И не любила. И Шекспира вашего не любила, Джульетту...

— Мария Ивановна, а что же мне-то делать прикажете, если я до сих пор думаю, что мальчиком видел на сцене самую великую любовь. И пьеса-то была не бог знает какая: «Таня»...

— Ну, вы из меня дуру не делайте. Я знаю, что говорю. Это потом легенд насочиняли...

— Тогда позвольте один вопрос. А кто же, по-вашему, умел играть на сцене великую любовь? Из актрис?

После долгой паузы, тонким голосом:

— Ду-узе...

— Ну, Дузе никто ведь не видел. Даже и вы не видели. Может быть, тоже легенд насочиняли. Из наших кто умел?

Длительная пауза, постепенно переходящая в другую тему...

Эпиграф, да еще такой громоздкий, не по чину скромной рецензии, где успеть бы сказать о том, что тебе кажется главным, а то бы эти строки на такую роль сгодились; потому и сгодились бы, что нечто из этого главного, замеченного и доказанного книгой, успело мельком проявиться в «случайном разговоре с гостями за именинным столом у М. И. Бабановой», даром что он, разговор, Майей Туровской всего лишь услышан и записан.

Проявилась, например, непринужденность стиля, который способен вобрать и вот такую полузабавную запись и беседы, и письма, и подробности «личной жизни», и детали быта, особенно былого и уже как бы экзотического, вплоть до комсомольского поста на репетициях тех же «Ромео и Джульетты» («...театр выпускал ударную

плавку, то бишь постановку») и того, сколько стоила артисту стирка модно-обиходных белых пикейных штанов и рубашек с пристяжными воротничками на запонке. Сказалось само слово «легенда», проглянуло это понятие, неуступчиво сопротивляющееся попыткам ее переоценки с помощью прозаических «фактов». А попытки, как видим, совершает сама Бабанова, отвергающая то, что «насочиняли», и тем самым являющая свой негладкий нрав: «Поверьте, я успеху своему цену знаю — что это за успех. В «Люле» — там все дело в танцах было... Ну, что «Ромео» я провалила, это вы мне поверьте...» — и т. д.

Перечитывая эти категорические резолюции самосуда (или самоговора), не удивляешься, что Майя Туровская написала о любимой артистке суровую книгу. Можно бы сказать — суровую по-мужски, но комплимент ли это для женщины? И мало, что ли, «портретов» приторных и мягких, как предупредительно разжеванная жвачка, написано представителями сильного пола? Признаюсь, я и себя спрашиваю, решился ли бы (уж не говорю — смог бы) быть таким бесстрашно-прямым в исследовании характера и судьбы человека, слава богу, здравствующего, да еще женщины, да еще знаменитой, — и не уверен, что могу ответить: да. Вероятно, Мария Ивановна Бабанова хоть раз да всплакнула, читая эту повесть своей славной судьбы, тон которой, впрочем, сама она и задала: «Жизнь моя загублена наполовину Мейерхольдом, наполовину Охлопковым — и она прошла» (из письма Б. Львову-Анохину).

Конечно, в подобных случаях возникает вполне автоматическая реакция объяснить

это достохвальной скромностью взыскательного художника, стремящегося к высотам самосовершенствования, да и попросту возразить, притом разумно: ну можно ли говорить такое, когда впереди столько лет и столько ролей (письмо о «загубленной» жизни отправлено в 1955 году и в ответ на похвальные слова о бабановской Офелии)? Но Туровская преодолевает автоматизм вежливости и сочувствия, зная, что судьбы художника не бывает без драмы, а легенду можно опошлить, в угоду ее неприкосновенности обходя прямую правду биографии. Потому что легенда (слава, репутация) биографии не противостоит — она из нее растет, завершая и гармонизируя, как гармонизирует и завершает «сырую» действительность искусство.

Книга о Бабановой не из разряда тех, что делаются на «жизнь» и «творчество», где герой первой части — примерный семьянин, душа-человек, общественник, не обделенный милыми слабостями (рыбалка, вышивание), а герой второй — создатель высокохудожественных образов; тут все всерьез, тут жизнь творчества, неделимая на общее и частное, крупное и мелкое.

В книге много, непривычно много для монографически-портретного жанра того, что, кажется, не имеет прямого отношения к «созданию образов», но нет, оказывается, имеет, если же не прямое, а косвенное, то тем лучше. Потому что если, предположим, в книге о поэте, особенно давнем, можно встретить понимание, что его творческое самовыявление зависит и от событий, не имеющих отчетливо общественного звучания, от любви, от семейных несчастий, от предательства друга, то об актерах пишут академичнее, а вернее сказать, параднее, не пробуя рассматривать их творчество как творчество со всеми его составными, не всегда публично очевидными.

Сказать, что книгу Туровской, написанную талантливо и вдохновенно, читаешь, как роман, значило бы унифицировать романский жанр, где есть и прекрасное и бездарное, — не чтение ее книги в самом деле «романно», эмоционально, и перипетии жизни Муси Бабановой, постепенно превращающейся в М. И. Бабанову, народную артистку СССР, порою заставляют волноваться так, как читателю критической монографии волноваться вроде бы не пристало. Когда, например, тебе раскрывают подоплеку ошибки и несправедливости Мейерхольда, ты kloпочешь обидой и гневом; не стану утверждать, что и са-

ма Майя Туровская, безжалостно и честно изсбрасывая причины, по каким бесспорно лучшая, единственная актриса ТИМа (Бабанова, впрочем, всюду была единственной) сперва отгеснялась в тень, а после была изгнана любимым Мастером, сохраняет спокойствие. Но это не мешает объективности автора, даже напротив: объективность и есть вся правда.

Дело, однако, не только в этом; вот автор рассказывает о Гоге из «Человека с портфелем», о, «может быть, самой личностной и самой личной» бабановской роли, сыгранной вскоре после драматического разрыва с Мастером, о драме предательства и сиротства, — и позняя догадка осеняет старую роль. Потрясение от разрыва, предполагает Туровская, «открыло какие-то эмоциональные шлюзы души, склонной к самообузданию». «Она отдала Гоге свой испуг, недоумение, потрясение. Свое сознание отторгнуто, сиротства, которое пряталось под скорлупой безлично официальных и жалобно повторных формул, какими она извещала о своем уходе от Мейерхольда... Ежеминутная работа души, стремящейся удержать дистанцию между собой и жизнью, была вложена в маленького Гогу».

Сложный, «всякий», жестокий и прекрасный мир театра встает в книге; мир, способный отпугнуть изнанкой «публичной профессии» и все же неудержимо притягательный, — недаром булгаковский «Театральный роман» обрывается словами нежности к ненавистному театру, и даже Чапек в язвительнейшем памфлете «Как это делается» признается в любви к нему. Театральный человек, Майя Туровская может «отчужденно», по-брехтовски, даже холодно-иронически увидеть тщету самолюбий и разрушительность посторонних соображений, посягающих решить суверенные вопросы искусства, но видит она и другое, главное. Жизнь творчества подчинена своим законам, все-таки независимым — хотя бы в итоге — от волевых разрывов и расчетливых комплотов, и как логично (для этой книги, для театра, для жизни вообще), как неотвратимо, что самому Мейерхольду в неосуществленной постановке «Годунова» будет мерещиться лик царевича-отрока, будет слышаться его чистый голос, оттеняющий и обвиняющий темный кошмар происходящего, — то, без чего режиссер не сможет представить будущего своего спектакля.

«Мастер не просто фантазировал, — уверенно пишет Туровская, помня о бабановском мальчишке-бое, чей хрустальный

голосок одухотворял агитспектакль «Рычи, Китай!», — он знал, что хотел бы услышать, он слышал этот отроческий голос и уже не раз... Во всем русском театре не было другого такого голоса.

Что ж, это тоже победа искусства, печальная победа Бабановой, ее роль на сцене и в жизни, катарсис не только ее искусства, но судьбы, проходящей очищение многим, даже «драмой неосуществленности», и рождающей значительность человеческой темы, также выходящей за рамки одного только искусства.

«Жизнь моя загублена...» — слова, которым нельзя не откликнуться сердцем. Но есть в них и потайной смысл, характеризующий высокую бабановскую судьбу...

Недавно в том же издательстве вышел сборник, посвященный Андрею Михайловичу Лобанову, между прочим постановщику «Тани» (эта книга — последняя и прекрасная работа покойной Г. Г. Зориной), режиссеру, чья судьба казалась, да и была трагически несложившейся и к кому сегодня уже примеряют эпитет «великий». В книге не раз идет речь о том, что Лобанов родился слишком рано, что его предвидения были бы поняты и подхвачены через годы, когда возник «Современник», появился Эфрос и Любимов.

Родился слишком рано... Что говорить, это источник беды, драмы, но и основание для глубочайшего уважения, от которого сам Лобанов, может быть, с горькой улыбкой отмахнулся бы.

Люди театра проходят особое, тяжелейшее испытание. Зная некоторых актеров, дружа с ними, за что-то уважая, что-то прощая (как, возможно, они снисходительно прощают мне налет моей профессии), я больше всего ценю в них способность, такую не частую, не зависеть прямо от непосредственного успеха — от того, что является, казалось бы, единственным критерием их работы. Желать его, мечтать о нем — да, но не зависеть, хотя бы полностью. (Как это трудно, говорит пример некоторых литераторов, радостно уступающих первородство, отказывающихся от своего преимущества — иметь право рассчитывать на неспешный путь читателя к смыслу созданного ими — и предпочитающих секундность чисто актерского успеха.)

Судьбой Бабановой стало являть собою прекрасный и трудный человеческий пример — участь, слишком тяжело достающаяся. Отсюда жестокость самооценки. Отсюда особенность побед, побед бабановских, всякий раз становившихся событием не театрального года, но времени, в кото-

ром она жила, времени, всегда несущем в себе будущее.

Майя Туровская цитирует полуудивленную рецензию Ю. Юзовского о бабановской Анке из «Поэмы о топоре», словно бы обогнавшей действительность («Проекция Анки в социалистический быт?» — догадывался критик). И сама прекрасно замечает парадоксальность — нет, естественность артистического существования Бабановой, которая не то что опережала, но торопила жизнь и выражающий ее движение театр. «Скучное неукрашенное время (начало 30-х. — Ст. Р.) сделало своим кумиром актрису изящного, филигранного рисунка. Время добровольного растворения индивидуальности во всеобщности отдало свою нежность артистке, замечательной своей уникальностью, несхожестью...» Парадокс? Повторяю, нет: просто, выходит, люди и сами не догадывались, что им нужно и к чему они тянутся. Бабанова становилась их догадкой, их взыскующим духом.

Что делать, потерянному не вернуть, несыгранного не сыграешь; это мучило и будет мучить любого актера, от жалкого чеховского Калхаса до Качалова и Бабановой, и довольно слабое утешение для актрисы — узнать в посвященной ей книге, что зато теперь ее традиция воскрешена и что «сыграй она свою Ларису в наши дни — она не нуждалась бы ни в защите, ни в оправдании». Все так. И все же:

«Теперь можно было услышать, что Алиса Фрейндлих с ее очаровательной музыкальностью, тонким, изысканным и беспощадным рисунком ролей — актриса бабановского толка.

Ольга Яковлева, наивная и опытная, нелогичная и нервная, с ее прихотливыми, как бы синкопированными ритмами и сызывающимся дыханием — современная девочка-женщина, сильная и слабая одновременно, Джульетта и Таня шестидесятых — семидесятых годов, — примеривала на выпуклый лоб бабановскую корону.

Они играли куда больше, чем успела за свою долгую жизнь Мария Ивановна. Для них ставили спектакли. Вокруг их индивидуальности складывался театр.

...Но великой была Бабанова.

Была — значит, есть; подобные категории уже непреходящи. Слава подтвердилась судьбой, легенда выдержала испытание биографией. Бабанова выразила свое немилосердное к ней время, но не отошла в прошлое вместе с ним, потому что была и заложницей будущего.

Майя Туровская написала... суровую? —

да, но и очень нежную книгу. Книгу справедлившую, потому что в конце концов время судит справедливо и, я думаю, Марии Ивановне Бабановой, что там ни говори,

выпало совсем не частое счастье: прочесть о себе правду, не урезанную ни лестью, ни несправедливостью.

Ст. РАССАДИН.



ДАР БЕСКОРЫСТИЯ

А. л. Михайлов. Тайны поэзии. Книга критических эссе. М. «Современник». 1980. 335 стр.

А. л. Михайлов. Два ключа. Литературные споры. М. «Советский писатель». 1981. 367 стр.

Завидую критику Ал. Михайлову. Его профессиональному стажу, насчитывающему уже десятилетия: выслауга лет не меньше значит для литературной критики, чем для практической медицины или педагогики; необходимого авторитета не набирают одним только талантом, так как талант, не обеспеченный и не проверенный опытом, здесь всего лишь заявка на беспорочное служение ие...

Завидую твердости его профессиональных убеждений, тому, что за все эти десятилетия он ни разу, ни на секунду не усомнился в абсолютной художественной значимости современного стихотворства, в его принципиальной сопоставимости со всем объемом и уровнем классического наследия (а если и усомнился, так великодушно не подал виду, чтоб не смутить, не расхолодить читателя, не размыть веру в то, что и ныне вершится великий пир вдохновения, мечты, поэзии)...

И завидую, наконец, профессиональному бескорыстию автора книг «Тайны поэзии» и «Два ключа»: его обычаю любить не себя в искусстве, а искусство как таковое...

Последнее чрезвычайно важно, хотя, пожалуй, и нуждается в уточнениях. Имеется в виду то, что Ал. Михайлова словно бы и не затронула новейшая (модная) тяга критики к максимальному «раскрепощению», «эмансипации», обрубанию обременительных причинно-следственных связей между литературно-критическим анализом и литературно-художественной реальностью. Возможность верно, с убеждающей точностью прочесть и истолковать стихи для него всегда важнее возможности критического самовыражения, «исповеди». Ясно, что ни о каком навязывании автору-поэту своих концепций, как водится зачастую, здесь и речи идти не может; стихи в глазах Ал. Михайлова хороши не тем, что они дают критику повод к интеллектуальному самоутверждению, к рефлексии, отталкивающейся в своем свободном парении от почвы искусства, а тем, что они хороши, тем, что они стихи.

Прочтем вместе! — вот приглашение, с которым критик Ал. Михайлов неизменно обращается к читателю. Прочтем медленно, внимательно, «вычитывая» в стихах лишь то, что в них действительно содержится. Прочтем непредвзято, не связывая свои оценки и суждения с поминутно меняющейся «вкусовой конъюнктурой», с местом, которое занимает тот или иной поэт в нынешней «табели о рангах», с его — всегда ли справедливой, оправданной? — литературной репутацией. Прочтем — и будем благодарны поэту, пусть даже самому неблизкому, за то, что он в чем-то расширил наш социально-нравственный и эстетический кругозор, открыл нечто новое, любопытное, и наконец, просто за то, что стихи эти доставили нам радость непосредственного переживания.

Критик, вне всякого сомнения, превосходно разбирается в рельефе нынешней литературной реальности, в том, сколь разно масштабны и даже разноталантливны Ю. Кузнецов и В. Фирсов, А. Вознесенский и В. Гордейчев, Б. Слуцкий и В. Коротяев, с деликатной, но настойчивой последовательностью отличает абсолютные художественные достижения от удач относительных, заметных только при очень хорошей осведомленности в делах нашего поэтического хозяйства. И все же он умеет быть благодарным, к а ж д о м у, умеет радоваться всякому шагу и шажку вперед, всякой удаче. Если требуется параллель, то Ал. Михайлова можно уподобить поисковику, который обращает внимание не на одни лишь полновесные самородки, но самоотверженно, не жалея труда, роется и в отвалах пустой будто бы породы, торжествуя, когда удается найти хотя бы единую крупичку золота...

Такова сознательная установка. И именно в ее сознательности — ответ на упреки, которые не раз и не два, наверное, приходилось слышать автору книг «Два ключа» и «Тайны поэзии». Слишком, мол, широки вкусы Ал. Михайлова, слишком легко одаряет он своей симпатией ни в чем — даже

в степени одаренности — не схожих друг с другом поэтов.

Что здесь сказать? Круг поэтов, в той или иной мере привлекающих заинтересованное внимание Ал. Михайлова, и впрямь обширен. На полную тождественность его с кругом симпатий того или иного конкретного читателя тут рассчитывать трудно. Мне, читателю, досадно, к примеру, что в рецензируемых книгах критика не нашлось места (и повода) для разговора о стихах Б. Ахмадулиной и А. Кушнера, В. Леоновича и Ю. Мориц, вряд ли менее интересных и менее характерных для нынешнего дня поэзии, чем стихи О. Шевченко или Г. Касмынина. Мне досадно, что как-то незаметно, быть может, для самого автора оказались уравниваемыми в книгах Ал. Михайлова яркие, отличные друг от друга поэтические индивидуальности, словно бы стихи О. Чухонцева или А. Тарковского, Д. Самойлова или И. Шкляревского ничем не выступают над нынешним общелитературным рельефом. Претензии в данном случае вызывают не суждения и оценки, что высказаны критиком в связи с творчеством этих или иных поэтов, а пропорции, усредняющий масштаб, к которому приведены все эти оценки и суждения, ибо кому ж не ясно, что в литературно-критической практике многое значит даже количество строк (абзацев, страниц, глав), посвященных тому или иному художественному явлению. Вот почему критик, стремящийся во что бы то ни стало к внятной объективности, рискует, что на создаваемой им карте карликовое княжество Монако окажется вдруг равным по абсолютной величине Индии или Канаде. Нелепо было бы полагать, что опытный литературный боец — автор книг «Тайны поэзии» и «Два ключа» не осознает или не учитывает этой опасности. Очень даже осознает и очень даже учитывает!

Спор с возможными оппонентами (то есть в данном случае и со мною) заложен в программном вступлении Ал. Михайлова к книге «Тайны поэзии»:

«С самого начала, с замысла (а книга, как нетрудно догадаться, писалась по частям и в течение нескольких лет), был обусловлен сознательный отказ от иерархического подхода к материалу в честолюбивой надежде стать первооткрывателем некоторых явлений поэзии.

Громко сказано?

Повторю поспокойнее. Выбирая те или иные произведения известных, менее известных и совсем мало известных поэтов для анализа, мне хотелось показать, как

можно и надо находить истинно поэтическое там, где его еще не нашли и не указали на него другие, то есть пройти с читателем школу чтения и восприятия поэтических текстов».

Сказано твердо, недвузначно, с полным пониманием цели и всех возможных опасностей, затруднений. И не без некоторой, признаюсь, тревоги приступая к знакомству с конкретными разборами Ал. Михайлова, я стремился прежде всего уяснить для себя: удастся ли автору найти золото там, где другие либо уже закапались искать, либо просто недогадали по лености ума и вкуса, по нелюбопытству? Нехитрое ведь, согласитесь, дело в который уж раз доказать, что Николай Заболоцкий или, к примеру, Ярослав Смеляков — крупные, несрдинарные поэты, мастера, читатель готов поверить вам заранее, еще до того, как вы начнете приводить аргументы, разворачивать цепочку силлогизмов и доводов. И не в пример труднее убедить подготовленного читателя, ревниво относящегося к своему личному пантеону, что удачные, достойные внимания стихи есть, скажем, и у Ольги Фскиной, и у Василия Казанцева, и у Романа Солнцева, что перспективны, многообещающие совсем еще недавние дебютанты — Алексей Королев, Алексей Прийма, Геннадий Красников...

Сразу скажу, что в большинстве случаев критик Ал. Михайлов побеждает в незримом споре с читателем-привередой, убеждает в своей правоте — подчас даже вопреки вашей, читатель, воле, вашему, читатель, вкусовому пристрастию. И берет он здесь не красноречием, не эмоциональностью, увлекающей «разогретостью» тона, даже не безупречностью своей логики. Берет конкретностью разговора о конкретных стихах, о конкретных поэтах.

Сила Ал. Михайлова-критика именно в этом — в конкретности, в неизменной обращенности к фактам, в опоре не на общие, пусть самые верные представления о поэзии, а на достоверное, исчерпывающее знание того, какова нынче поэзия, что в ней нынче происходит, к каким горизонтам она движется.

Полемически сфокусированное утверждение художественной значимости тех или иных нынешних стихов, крупности тех или иных нынешних поэтов преследует, мне кажется, у Ал. Михайлова и еще одну — более дальнюю, более общую — цель: убедить недоверчивого читателя в мысли о неоскудевшем богатстве современной литературы, современной духовной жизни. Вопреки всем, кто с разной степенью пылкости

заявляет, будто в нашей лирике сейчас «время недорода», Ал. Михайлов смело набрасывает такую впечатляющую картину современного состояния поэтического искусства, что им, искусством, так и хочется гордиться!..

Не все, понятное дело, устраивает Ал. Михайлова в стихах, что во множестве роятся сегодня. Здесь можно выразиться еще определеннее: мало кто из современных критиков высказал современным поэтам столько горьких истин, мало кто так неуклончив в разговоре о недостатках и промахах нынешних лириков, как автор книг «Тайны поэзии» и «Два ключа». Но мало кто идет с такой решимостью, с такой неустанностью наперекор всяческим судам-пересудам, любому недопониманию, любой предвзятости, как Ал. Михайлов!

Это знают читатели. Это знают и поэты, видящие в Ал. Михайлове не постороннего умника-наблюдателя, что с желчным высокомерием или обидной снисходительностью изрекает необжалуемые приговоры, а сотоварища. Видят профессионала, видят стихолоба. А это, поверьте, отнюдь не последнее дело. Особенно в ту пору, которую переживает теперь критика поэзии.

Вот уж к чему воистину приложима хлесткая характеристика А. Вознесенского «время недорода»: к критике поэзии! Где ныне

первые перья, над чьими статьями, обзорами, рецензиями прилежно склонялись головы читателей, поэтов, коллег по критическому цеху? Увы, «иных уж нет, а те далече...». Одни переквалифицировались в поэтов или прозаиков. Другие занялись более «престижными» в текущем десятилетии разборами прозы. Третьи и вовсе удалились в заповедные просторы отечественной классики, где не надо заботиться о выборе верного масштаба, нет нужды рисковать, незачем горячиться... Даже если и совсем новое поколение критиков взять, то и тут, перечислив три-четыре подлинно ярких имени, сразу же запнешься, защелкаешь пальцами, припоминая...

Все это тревожит Ал. Михайлова, главного редактора журнала «Литературная учеба». Все это не позволяет Ал. Михайлову критику и у черты шестидесятилетия самоуспокоиться, дать себе передышку, отвлечься от хлопот, которые всем нам доставляет сегодняшняя поэзия.

Впрочем, о какой передышке вообще может идти речь? Ал. Михайлов — из фронтового поколения. Из тех, кто раз и навсегда посвятил свою жизнь служению. Из тех, кто привык к атакующему стилю письма, к атакующему образу мысли.

Это — судьба.

Сергей ЧУПРИНIN.



Политика и наука

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В КНР

Л. С. Переломов. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М. «Наука», 1981. 333 стр.

Одной из характерных черт идеологии и политической практики маоизма является произвольное, грубо нарушающее принцип историзма обращение с философскими, историческими, экономическими и литературными памятниками прошлого, ссылки на прошлое для придания дополнительного веса спекулятивным теоретическим построениям, для подкрепления нападок на политических противников. Им, этим противникам, огульно приписывали приверженность тем или иным порочным, с точки зрения маоизма, взглядам древних и средневековых китайских авторов, реальных исторических деятелей и даже персонажей китайских литературных произведений феодальной эпохи.

Уже вскоре после образования КНР Мао Цзэдун провел одну за другой ряд идеологических кампаний, в ходе которых, исполь-

зуя критику кинофильмов на исторические сюжеты («Тайны цинского двора»), исторических персонажей (просветитель конца XIX века У Сюнь), средневековых литературных произведений («Сон в красном тереме», «Речные заводы»), вел расправу с неугодными ему представителями китайской интеллигенции и отдельными партийными работниками. Фальсификация истории для оправдания экспансионистской внешней политики китайского руководства также принимала и принимает в КНР характер массовых кампаний, находящихся свое отражение на страницах центральной и провинциальной печати; к участию в этих кампаниях в приказном порядке привлекается широкий круг историков, преподавателей, студентов.

Особенно широкий размах маоистская установка «использование древности на службе современности» получила в годы

пресловутой «культурной революции», связанной в КНР в 1966 году по личному указанию Мао Цзэдуна и прекратившейся лишь с его смертью в 1976 году.

Непосредственным предлогом для развертывания «культурной революции» Мао Цзэдун избрал кампанию по критике исторической драмы видного современного китайского историка и общественного деятеля У Ханя «Разжалование Хай Жуя», сюжет которой развертывался в XVI веке, а также работ по истории крестьянской войны середины XIX века (тайпинского восстания), принадлежащих перу видного китайского ученого Ло Эргана. В драме У Ханя Мао Цзэдун усмотрел завуалированную критику по своему адресу и выступление в защиту устранившего им министра обороны Пэн Дэхуая; в трудах Ло Эргана — неуважительную аналогию с вождем тайпинов Хун Сюцюанем.

Но, пожалуй, самая масштабная политическая кампания КНР была инициирована Мао в 1972—1976 годах и получила название движения «критики Линь Бяо и Конфуция». В нее были вовлечены многомиллионные массы членов КПК и беспартийного населения.

Фактически объектами критики стали не только сторонники Линь Бяо, к тому времени уже год как погибшего якобы в авиационной катастрофе, но и все другие противники маоистского режима. Кампания также преследовала цель оправдания массовых репрессий ссылками на примеры борьбы древнекитайских «революционеров-легистов» с «реакционерами-конфуцианцами». Всестороннему разбору псевдонаучного камуфляжа этой кампании, в ходе которой внеисторически, вкривь и вкось толковались вопросы идеологической борьбы в древнем Китае VI—III веков до нашей эры, в частности соперничество конфуцианцев и легистов, и посвящен рецензируемый труд известного советского специалиста по древней истории и идеологии Китая, доктора исторических наук Л. Переломова.

Книга состоит из двух частей. В первой автор прослеживает историю возникновения конфуцианства и легизма, борьбы между представителями этих двух школ древнекитайской общественной мысли, историю империи Цинь и политику ее основателя Цинь Шихуана. Во второй части книги показано, как события столь далекого прошлого трактовались и использовались маоистским руководством КПК в 70—80-х годах XX века.

На основе внимательного, глубокого изучения многочисленных памятников древнекитайской философии, а также историче-

ской литературы КНР первого десятилетия (1949—1959), когда политика еще не столь сильно влияла на освещение истории и идеологии древнего Китая, Л. Переломов воссоздает объективную картину истории Китая в VI—III веках до нашей эры. В те времена территория страны после упадка царского дома Чжоу была разделена на ряд самостоятельных царств, главенствующее положение в которых занимали семь крупнейших: Цинь (которое к концу III века до нашей эры поглотило все остальные), Чу, Ци, Хань, Чжао, Вэй и Янь; население всех семи царств составляло около 20 миллионов человек. Китай этого периода переживал значительный экономический подъем в связи с широким распространением железных орудий. Развивались ремесло, торговля, совершенствовались пути сообщения, быстро росли города, наблюдалась тенденция к созданию прочных экономических связей между отдельными районами, совершенствовалась денежная система, происходило культурное сближение отдельных царств. Заметным стало и стремление к консолидации власти в руках правителей царств — ванов, которые начали оттеснять наследственную аристократию и привлекать в качестве своих советников и руководящих сановников людей, не связанных кровными узами с чжоуской наследственной аристократией, преимущественно выходцев из семей богатых общинников.

Для подавляющего большинства китайских мыслителей этой эпохи характерно увлечение политическими теориями, проблемами управления государством и народом. Из основных философских школ того времени — конфуцианцев, моистов, легистов, даосов, логиков и натурфилософов — наибольшее влияние на формирование теории государства и права оказали представители конфуцианства и легизма. В VI—III веках до нашей эры они вели между собой весьма острую борьбу, которая сопровождалась не только уничтожением книг противников (книги в те времена писались на бамбуковых дощечках, связанных друг с другом посредством шнурков), но и авторов и владельцев книг (как это было, например, в 213 году до нашей эры, когда по приказу императора Цинь Шихуана 460 видных конфуцианцев были заживо закопаны в землю). Лишь в эпоху Хань во II—I веках до нашей эры конфуцианство и легизм слились в единое учение — ханьское конфуцианство, с более или менее незначительными изменениями прусуществовавшее на протяжении последующих двух тысяч лет в качестве офици-

альной идеологии правящего феодального класса.

Основатель конфуцианства Конфуций (Кун Цзы — учитель Кун) родился в 551 году до нашей эры на востоке Китая, в царстве Лу (на территории современной провинции Шаньдун), в семье мелкого чиновника, ведавшего одной из самых низких административных единиц царства. Лишившись отца в самом раннем детстве, а затем и матери, Конфуций с юности был вынужден зарабатывать себе на жизнь, поступив на службу приказчиком в зерновой амбар аристократического клана Цзи. Конфуций обладал хорошими математическими способностями и успешно справлялся со своей работой. Перейдя затем на службу к другому аристократическому клану, Конфуций занимался надзором за разведением скота и продолжал самообразование, уделяя основное внимание изучению старинных ритуальных церемоний и ритуальной музыки. В возрасте двадцати семи лет он был принят помощником руководителя жертвенных церемоний при главной кумирне царства Лу, а в тридцать лет открыл частную школу у себя дома, в которой преподавал церемониальные обычаи и традиции чжоуской династии, чем привлек к себе внимание правителей царства Лу, а затем царства Ци.

В древнекитайских царствах, где был распространены культ старины и почитания предков, церемониальные обычаи, ритуальная музыка и танцы занимали весьма важное место в повседневной жизни как правителей — ванов, так и представителей аристократических кланов и общинной верхушки и носили ярко выраженный политико-идеологический характер. Поэтому нередко Конфуций становился не только руководителем тех или иных церемоний, но и консультантом по вопросам, связанным с путями и методами государственного управления. Некоторое время он занимал также ряд ответственных постов в административном аппарате царства Лу, но вследствие враждебных происков аристократов, недовольных быстрым возвышением неродовитого философа, вынужден был покинуть Лу и более тринадцати лет провести в скитаниях по другим царствам вместе со своими ближайшими учениками, тщетно предлагая свои услуги правителям различных царств. Преподавательская деятельность Конфуция привлекала к нему большое количество учеников из различных общественных слоев: среди них были и простолюдины и аристократы. (Историк Сыма Цянь, живший во II—I веке до нашей эры, писал, что у Конфуция было свыше 3 тысяч учеников.) Ученикам Конфуция и

принадлежит запись изречений учителя — «Луньюй» («Суждения и беседы»). В этой книге, которая в течение двух с лишним тысячелетий, вплоть до XX века, заучивалась наизусть всеми мало-мальски образованными людьми Китая, содержатся основные положения конфуцианской философии. Л. Переломов подробно анализирует «Луньюй», взгляды Конфуция на человека, общество, государство.

Представление о почитании старшего поколения, бытовавшее в общинах, было вынесено Конфуцием за рамки мелких социальных ячеек и инкорпорировано в общество, в структуру государственной модели. Государство — это та же семья, только большая; правитель, ван, у Конфуция возвышался лишь на несколько ступенек над главой семьи. Во времена Конфуция в отдельных царствах с целью укрепления власти царя — вана — впервые стали вводиться законы, что встретило резко отрицательную реакцию со стороны Конфуция, полагавшего, что концепция всеобщего равенства людей перед законом уничтожает различия между благородными и простыми людьми, которые, он считал, необходимо сохранить. Во взглядах Конфуция на устройство государства закон заменяли правила поведения, безоговорочно воспринимаемые и неукоснительно выполняемые всеми людьми. Идеальные правила согласно учению Конфуция существовали в древности. Поэтому он призывал всех к самосовершенствованию, к неукоснительному соблюдению норм и правил поведения, рекомендовал изучать «Шуцзин» («Книгу истории») и «Шицзин» («Книгу стихов»), в которых отражалась жизнь древнего китайского общества. Идеальное прошлое должно было, по замыслу Конфуция, играть роль идеального будущего.

Создавая модель идеального государства, Конфуций использовал традиционное верование в божественную силу Неба, зародившееся еще в царстве Чжоу. Наместником Неба на земле был сын Неба — чжоуский правитель. Ко времени Конфуция в связи с ослаблением реальной власти чжоуского правителя, распадом страны на ряд самостоятельных царств пошатнулась и вера в Небо. Конфуций старался восстановить эту веру. В его учении о государственном устройстве Небу отведена особая роль. «Оно, — как поясняет Л. Переломов, — выступает в качестве высшей направляющей силы, от которой зависит судьба всех жителей Поднебесной — от простого общинника до правителя. Оно определяет и жизнь всего государства». В роли земных интерпретаторов небесной воли у Конфуция выступают «совершенные

мужи», т. е. кто в совершенстве овладел правилами поведения человека в семье, обществе и государстве. Именно благосклонность Неба помогает правителю стать «совершенным мужем». Но поскольку волю Неба, выражавшуюся через различные природные явления — появление кометы, землетрясения, затмение Солнца или Луны и т. д. и т. п., — могли постичь и объяснить народу лишь люди, получившие конфуцианское образование, то есть, как правило, сановники, их роль в политике и государственных делах неуклонно росла. Правитель фактически подпадал под контроль своих сановников, которым нетрудно было истолковать в пользу той или иной придворной группировки то или иное природное явление, «выдать его за голос Неба и пустить в народе слух о недовольстве Неба правителем». Именно поэтому учение Конфуция впоследствии встретило такую горячую поддержку у наследственной аристократии, а затем и у представителей государственной бюрократии.

В суждениях и высказываниях Конфуция об идеальном государственном устройстве страны бюрократии уделялось гораздо большее внимание, чем народу, роль которого была сведена к чисто исполнительским функциям. Конфуцианство, как, впрочем, и школа легистов — «сторонников закона», не допускало и мысли о том, что простой народ имеет право на соучастие в управлении страной или решении крупных государственных задач. В то же время в отличие от легистов Конфуций считал необходимым, чтобы каждый член общества стремился к грамоте, знаниям, и прежде всего к знанию истории своей страны, учений выдающихся правителей прошлого, которые возводились Конфуцием в образец для подражания современникам. Конфуций также высоко ценил воспитательные функции общинных органов самоуправления и выступал за сохранение остатков внутриабчинной демократии.

Основоположником школы легистов считается Шан Ян (390—338 годы до нашей эры), выходец из обедневшего аристократического рода царства Вэй, ставший советником правителя царства Цинь и проведший в нем ряд реформ, укрепивших могущество этого царства. Учение Шан Яна было направлено главным образом на абсолютизацию царской власти, создание мощного государства, способного поглотить своих соседей, и носило ярко выраженный антиконфуцианский характер. Экономическое благосостояние государства Шан Ян связывал с развитием земледелия и разрешением зерновой проблемы за счет использования целинных земель.

Эта политика давала возможность укрепить экономическое положение правителя — ва-на, поскольку переселенные на целину землевладельцы попадали в непосредственное подчинение царскому двору и взимаемые с них налоги поступали прямо в распоряжение казны. Для освоения целинных земель Шан Ян широко привлекал безземельных общинников других царств, чем способствовал росту численности населения царства Цинь. Он же ввел широкую торговлю должностями и рангами знатности, что открыло доступ в новый, привилегированный слой общества прежде всего богатым общинникам и лишало аристократию традиционного права наследования высших административных должностей. Шан Ян предложил также ввести государственную монополию на разработку естественных богатств, передав доходы правящему дому, что впоследствии сыграло важную роль в укреплении экономической основы китайского централизованного государства.

Критикуя конфуцианское учение о гуманном, совершенномудром правителе как нереальное, Шан Ян утверждал, что хорошее правление возможно лишь там, где правитель опирается на единые, обязательные для всех законы. Правитель — это творец законов, он не обязан с кем-либо обсуждать свои планы. В отличие от конфуцианцев, допуская критику или даже смещение царя в случае нарушения им норм морали, Шан Ян не допускал и мысли о каком-либо наказании правителя, нарушившего закон. Закон должен был стать опорой деспотичной власти. Введение единых, обязательных для всех государственных законов лишало аристократию ее привилегированного положения, а правитель устанавливал непосредственную связь с общиной, наделяя руководство общин правом контроля над местными чиновниками, на поведение которых община могла жаловаться непосредственно правителю. Шан Ян стремился создать новый управленческий слой, полностью подвластный правителю.

Одновременно с мерами, направленными на укрепление экономического положения царства Цинь, Шан Ян выступал страстным пропагандистом ведения агрессивных войн против соседних царств с целью их поглощения, считал идеальным образ такого правителя, который может заставить «народ внутри государства заниматься земледелием, а вне царства помышлять о войне»: «...путь к богатству и знатности должен идти только через ворота войны». Правителю, утверждал он, необходим ограниченный, но преданный подданный, интересующийся лишь

земледелием и войной. Чем меньше подданный знает — тем лучше. Шан Ян решительно выступал против гуманитарных знаний и музыки, призывал сжигать неудобную литературу, в первую очередь пропагандировавшиеся конфуцианцами «Книгу стихов» и «Книгу истории».

Наиболее эффективным способом воздействия на массы Шан Ян считал введение единой системы наказаний и наград, предлагал ввести в стране систему круговой поруки, разбив население на группы семей, обязанных постоянно наблюдать друг за другом и доносить властям о любом нарушении закона и об инакомыслиях.

Реальное воплощение легистской модели государства в пределах всего Китая имело место в результате осуществления реформ Шан Яна в царстве Цинь и последовавшей за ними полосы непрерывных войн против соседних царств. В 246 году до нашей эры на циньский престол вступил Ин Чжэн, известный в истории под именем Цинь Шихуана, к 221 году создавший на месте разрозненных китайских царств единую империю с централизованной властью и правивший страной легистскими методами с необычайной жестокостью. Легистская империя просуществовала всего четырнадцать лет; через год после смерти ее правителя вспыхнуло мощное народное восстание, в котором принимали участие и уцелевшие от репрессий Цинь Шихуана конфуцианцы. Сменившая циньскую империю империя Хань отказалась от легизма в качестве идеологической основы государственной политики, однако ханьское конфуцианство, отражавшее идеологию новых общественных слоев и призванное укрепить управление централизованной империи, инкорпорировало в свое учение многие догматы легизма. Как отмечал известный ханьский философ Ван Чун (27—100 годы нашей эры), в его время «уже исчезла какая-либо существенная разница между легистами и конфуцианцами».

Парадоксально, но через две тысячи лет, в 70-х годах XX века, в КНР по личному указанию Мао Цзэдуна развернулась массовая кампания критики Конфуция и его учения и безудержное восхваление воззрений легистов.

Л. Переломов в своей книге показывает влияние легизма на формирование политических воззрений Мао Цзэдуна, которому импонировали основные легистские положения — антиинтеллектуализм, культ войны, система массовой слежки, доносов и террора, культ прагматизма. В 1958 году в одном из своих выступлений Мао Цзэдун заявлял: «Нельзя придерживаться только

демократии, надо сочетать Маркса и Цинь Шихуана». В том же 1958 году на другом совещании руководящих работников Мао Цзэдун призывал к повсеместному распространению дацзыбао — стенных газет, написанных крупными иероглифами, понятными малограмотному читателю, — ссылаясь на то, что идея дацзыбао принадлежит легистам.

Цинь Шихуан, по приказу которого в свое время подвергались массовым казням конфуцианцы и сжигалась гуманитарная литература, был одним из самых любимых героев Мао Цзэдуна.

Автор монографии прослеживает историю возникновения массовой кампании «критики Линь Бяо и Конфуция», показывает степень участия в этой кампании научных кругов страны. Л. Переломов подробно излагает распространявшиеся в КНР концепции о времени становления феодальных отношений, доказывая, что Мао Цзэдун поддерживал тех ученых, которые старались в духе его указаний представить Конфуция реакционером, защитником отживающего рабочего-владельческого общества, а Шан Яна и Цинь Шихуана — представителями нового, прогрессивного феодального строя.

В конце 1973 — начале 1974 года центральная печать КНР и органы массовой информации были буквально наводнены статьями, где на все лады восхвалялись легистские трактаты, отдельные легистские концепции, реформы Шан Яна, деятельность Цинь Шихуана и велась активная критика Конфуция. В ходе этой кампании легистам приписывалась также «заслуга» борьбы с «северными агрессорами» — сюнну (гунны) и проводилась надуманная параллель с современной «угрозой с севера» КНР в лице Советского Союза.

2 февраля 1974 года «Жэньминь жибао» открыто признала, что «критика Линь Бяо и Конфуция» развернута самим Мао Цзэдуном и что последний лично руководит ходом кампании. Газета обвиняла Линь Бяо в том, что он был «стопроцентным поклонником Конфуция. Как и идущие к гибели реакционеры всех времен, он почитал Конфуция, выступал против легистов, обрушивался с нападка на императора Цинь Шихуана и в своих попытках узурпировать руководство партией, захватить власть и реставрировать капитализм использовал учение Конфуция...».

Линь Бяо официальная маоистская пропаганда обвиняла в ведении тайных дневников, в которых якобы содержались различные изречения Конфуция, интерпретировавшиеся маоистами как стремление восстано-

вить порядки в партии и государстве времен VIII съезда КПК в 1956 году, исключившего, как известно, «идеи Мао Цзэдуна» из Устава КПК и призывавшего к поддержанию дружбы с КПСС и Советским Союзом.

Книга завершается главой о судьбе конфуцианства и легизма после смерти Мао, в которой убедительно показано, что и нынешние пекинские руководители не отказались от маоистского приема «использования древности на службе современности». Хотя после смерти Мао Цзэдуна в КНР появились отдельные критические оценки кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» вроде заявления о том, что «эта кампания была, по существу, политическим заговором, цель которого заключалась в узурпации верховной власти в партии и государстве; оценке же древних в данном случае отводилась лишь роль ширмы»; однако вину за развертывание этой кампании в КНР теперь пытаются свалить на «банду четырех» и выгородить самого Мао Цзэдуна. Приверженность маоистской доктрине «использования древности на службе современности» официально закреплена в докладе Хуа Гофэна на XI съезде КПК. Уже после выхода в свет монографии Л. Переломова эта установка была вновь подтверждена в «Решении по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР», принятом в июне 1981 года VI Пленумом ЦК КПК.

Ознакомление с «Решением...» не дает никаких оснований считать, что в КНР произошла подлинная критическая переоценка провалов и ошибок последних двадцати лет, тесно связанных с деятельностью Мао Цзэдуна. Как метко заметил пекинский корреспондент агентства Рейтер в связи с «Решением...», «китайцы вечно переписывают свою историю, и это еще одна попытка заново оценить прошлое с точки зрения нынешней династии».

Только отказ от политики гегемонизма и антикоммунизма, милитаризации страны, преодоление маоизма, а не его «модернизация», только марксистско-ленинский путь развития на основе теории научного социализма могут вывести Китай из нынешнего тупика, обеспечить китайскому народу прогресс и процветание.

Книга Л. Переломова написана в духе лучших традиций советского китаеведения. Всесторонняя филологическая подготовка автора, глубокое знание китайского языка и истории Китая, а также личное знакомство автора с рядом ведущих китайских ученых за время научной командировки в КНР до «культурной революции» позволили ему создать оригинальный, серьезный научный

труд по доселе крайне слабо изученной теме.

Л. Переломов опирается в своем исследовании на труды советских китаеведов, широко привлекает работы китайских историков, философов и филологов, а также западных авторов, убедительно ведет с ними научную полемику, дает аргументированный отпор маоистам, фальсифицирующим историю и пытающимся поставить историческую и философскую науку на потребу сугубо гегемонистским, великокитайским шовинистским целям.

Книга обильно иллюстрирована китайскими политическими карикатурами периода «культурной революции», портретами исторических персонажей древнего Китая.

В настоящей рецензии нельзя не отметить и некоторые недостатки рассматриваемого труда. Автор допускает известную идеализацию побочного эффекта проводившихся в КНР массовых идеологических кампаний вроде подробно разобранных в книге кампании «критики Линь Бяо и Конфуция». Этот эффект он видит в том, что «расширяется уровень исторических знаний народа», что государство «вынуждено (ради своих политических целей, точнее, целей группировки или группировок) издавать массовую историческую литературу, а также переиздавать сами источники...». Вряд ли уровень исторических знаний в КНР повысился в результате издания такого рода «целеподправленной», по определению самого же Л. Переломова, литературы.

Автор также, на наш взгляд, преувеличивает, утверждая, что «одна из характерных национальных черт китайцев — относительно высокий уровень исторического самосознания, знание истории своей страны», объясняя это явление не только влиянием конфуцианства, но и «специфической национальной культуры, ориентированной во многом на древность и историю». Дело в том, что официальное конфуцианство в Китае в целях популяризации своих догматов среди народа, во имя беспрекословного подчинения его правящему классу создало обширную литературу, идеализировавшую не только личность основателя учения, но и его учеников, видных пропагандистов учения, отдельных правителей прошлого, ретиво внедрявших конфуцианство и преследовавших его противников. В этих условиях можно было бы говорить не о «знании истории своей страны», а о знании широко распропагандированной конфуцианской версии этой истории, версии в своей основе антиисторической, китаецентристской. Как справедливо пишет сам автор, «прагматизм

в отношении к истории, доходящий подчас до аккуратной полуподтасовки, а то и прямой фальсификации исторических событий и фактов, стал также одной из характерных черт политической культуры; пройдя через тысячелетия, он сам превратился в традицию и сохранился вплоть до наших дней».

Нельзя также согласиться с категорическим утверждением автора о том, что и в XX и в последующие века «китайские политики... неоднократно будут пересматривать и использовать» конфуцианство и легизм. Если

развитие Китая в будущем пойдет по социалистическому пути и КПК удастся преодолеть тяжкое наследие маоизма, то вопросы идеологической борьбы, имевшей место в Китае более чем две тысячи лет назад, конечно, будут привлекать внимание специалистов по истории древнекитайской философии, но вряд ли окажут какое-либо существенное влияние на политическую жизнь страны.

С. ТИХВИНСКИЙ,

член-корреспондент АН СССР.



ИСТОРИЯ И ПУБЛИЦИСТИКА

Ф. Нестеров. Связь времен. Опыт исторической публицистики.
М. «Молодая гвардия». 1980. 239 стр.

Эта интересная книга написана в необычном жанре, который определен автором как «опыт исторической публицистики». Ф. Нестеров поставил перед собой большую и сложную задачу — показать национально-исторические особенности развития России.

Работу отличают широчайшие хронологические рамки. Автор построил изложение в острой полемической манере, свободно оперируя многообразными фактами русской и западноевропейской истории. Возмущенно и горячо пишет он о героических страницах отечественной истории, о борьбе народа за независимость своей страны, о противоборстве с классовыми врагами трудящихся масс, о развитии связей русского народа с другими народами, населяющими нашу страну.

Своего рода итогом книги служит очерк «Октябрьская буря», в котором раскрыта всепобеждающая сила рождающегося в огне революционных боев и гражданской войны советского строя. При этом Ф. Нестеров подчеркивает международное значение опыта Великой Октябрьской социалистической революции, неизбежное повторение ее черт в революциях других народов. Автор справедливо указывает на то, что постановка вопросов об общих закономерностях и особенностях нашей революции имеет огромное значение в идеологической борьбе, в ходе которой некоторые буржуазные исследователи пытаются оторвать русскую историю от всемирной, представить Великий Октябрь как чисто русское явление. Так, одним из характерных «русских» признаков они считают «извечную отсталость» России. То открыто злобные и клеветнические, то прикрытые мнимой объективностью и внешней «ученостью», писания этих советоло-

гов сеют семена недоверия к Стране Советов и ее истории. Весьма распространенным и характерным приемом таких «специалистов по России» является антирусская направленность для сочинений по дореволюционному периоду, перерастающая в антисоветизм при освещении жизни нашей страны после Октября.

Против подобных концепций зарубежных авторов и направлена книга Ф. Нестерова. И поныне злободневно звучат приведенные автором слова Ф. Тютчева в ответ на обвинение со стороны германских русофобов середины прошлого века в апологии «варварской» России: «Апология России... Боже мой! Эту задачу принял на себя мастер, который выше нас всех и который, мне кажется, выполнял ее до сих пор довольно успешно. Истинный защитник России — это история».

Значительное место в книге занимают вопросы исторического взаимодействия русского народа с другими народами России. Книга всем своим содержанием подводит к мысли о том, что к русской нации с давних времен вряд ли применимо без всяких оговорок понятие «господствующая нация». Трудовые массы русских и сами жили в условиях «тюрьмы народов». Они не имели каких-либо преимуществ перед другими нациями и народностями государства, как это было в колониальных странах Запада, где белые во всех областях жизни были поставлены в привилегированное положение по отношению к цветному населению.

Ф. Нестеров широко использует самую разнообразную литературу, приводит высказывания многих деятелей прошлого, выдающихся мыслителей, писателей, дипломатов, полководцев. Книга пробуждает интерес к поучительным урокам отечест-

венной истории. Думается, закрывая ее, многие читатели останутся благодарными автору и убедятся, сколь был прав Пушкин, когда писал: «...клянуся честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков...»

Отмечая заслуги автора книги в постановке и рассмотрении важных исторических проблем, нельзя не указать на некоторые недочеты и слабые места его труда. В самой общей форме можно сказать, что недостатки книги подчас являются как бы прямым продолжением ее достоинств. Ф. Нестеров временами изменяет чувство исторического масштаба описываемых событий.

Свои взгляды на национально-исторические особенности России автор связывает с известными высказываниями В. И. Ленина, относящимися ко времени победы над интервентами и белогвардейцами в гражданской войне. Оценивая это величайшее по своему значению событие, В. И. Ленин указывал, что победа добыта благодаря «централизации, дисциплине и неслыханному самопожертвованию». Ф. Нестеров распространяет действие этих факторов на всю многовековую историю нашей страны. По мнению автора, именно централизация, дисциплина и народный патриотизм — это три «могущественных фактора величия России», «ответ Москвы» на вызов сильнейших противников, необходимое и достаточное условие ее побед. Возникает вопрос: верна ли попытка выделить в прошлом то, что В. И. Ленин связывал с определенным историческим этапом, когда народы России отстаивали и защищали первое в мире Советское государство? Не допускает ли автор отклонений в сторону одностороннего освещения национальных особенностей, в известной степени противопоставив Россию и Запад?

С другой стороны, рассматривая процесс политической централизации и связанные с ним вопросы политической дисциплины и характера русского патриотизма, автор учитывает в основном внешний фактор. То есть тот факт, что Русское государство на протяжении длительного времени вынуждено было защищать свою национальную самостоятельность. «Политическая централизация при экономической децентрализации» отмечается как особенность русской истории XV—XVI веков. При этом Ф. Нестеров пишет: «Историческая цена, заплаченная русским народом за могущество и величие своей родины, была и в самом деле поистине огром-

ной. Помимо рек крови, пролитых на полях сражений, он вынужден был отдать Москве и еще кое-что чрезвычайно важное: свои вольности, свое вечевое устройство, свои возможности политического развития по пути городов-республик».

Но можно ли и верно ли ставить вопрос таким образом? Возвышение Москвы, превращение ее в центр объединения русских земель имело реальную социально-экономическую основу. Дело вовсе не в том, что эти земли отдали Москве вольности, вечевой строй, возможности развития по пути городов-республик (что не исключало острой социальной борьбы, присущей любому феодальному государству независимо от его формы). Развитие феодальных отношений повсюду на Руси вело к сближению классовых интересов господствующих слоев общества, для которых крепкая центральная власть была, объективно, выгодна как в военно-политическом, так и в социально-экономическом плане (следовательно, едва ли справедливо говорить об экономической децентрализации). Эта ведущая тенденция прокладывала себе дорогу в обстановке социальных конфликтов, в хаосе средневековых междоусобиц, осложненных внешней опасностью. История образования Русского централизованного государства с учетом социально-экономических процессов обстоятельно разработана в трудах академика Л. Черепнина (в книге на эти работы ссылок нет).

Газуется, говоря о Русском централизованном государстве, Ф. Нестеров отмечает его классовую сущность, что, в частности, предполагает резкую противоположность в правовом положении господствующего и угнетаемого классов. Между тем автор пишет, что Московское государство было «неправовым государством». Использование этого термина по отношению к Русскому государству вообще является, на наш взгляд, явно неприемлемым.

Недостаточное внимание к указанным факторам приводит автора к другим весьма узким выводам и положениям. Ф. Нестеров пишет о «политически сплоченном Русском государстве», о его поддержке «всеми социальными слоями русского народа — от феодального боярства, покидавшего дворы удельных князей ради службы московскому государю, до простых смердов, решивших исход битвы на Куликовом поле». Без авторского отношения цитируется высказывание Черчилля о том, что русские всегда страдали идолопоклонничеством по отношению к своему госу-

дарству. Вот еще некоторые выдержки из книги: «государственный интерес» в России «как бы доминировал над интересами сословными, местными, семейными и личными»; «долг перед государством беспримечен в принципе, а практически определяется нуждами обороны»; «особенностью русского патриотизма стала безусловная и безграничная преданность своему государству». Вариации этой мысли встречаются в книге довольно часто. Говорится также о «великом смирении» перед самодержавием, о том, что чувство патриотизма «сплошь да рядом сковывает классовую борьбу» (это в стране, где за неполных два века польхали четыре крестьянские войны).

Правда, автор указывает на то, что было главным для феодальных и капиталистических общественных отношений: русский патриотизм не был надклассовым, «благородное сословие» всегда сплоченно выступало как против внешних, так и против внутренних врагов (примеры — борьба с восстаниями Болотникова, Булавина, Разина, Пугачева). Однако эти положения высказаны как-то мельком и выглядят схематично.

Русская история наполнена народными движениями. В ходе борьбы с угнетением в народе рождались идеалы справедливого общественного строя. В исторической литературе показано, что эти идеалы бесклассового общества, выношенные в ходе социальной борьбы и развития духовной культуры, составляют многовековую предысторию научного социализма в нашей стране.

В книге «Связь времен» народ остается по сути дела в кругу «царских иллюзий». Ф. Нестеров пишет, что «до определенного исторического момента вся Россия (народная, в частности) оставалась целиком и полностью царистской даже в лице Пугачева—Петра III», что народ вплоть до революции 1905 года находился в плену «слепой веры» в «батюшку-царя», что «царистская идеология укоренилась в сознании крестьянства ничуть не менее глубоко, чем в сознании дворянства». Это, по мнению автора, воспрепятствовало успеху декабристов и тому, что революционная ситуация начала 60-х годов XIX века не вылилась в крестьянскую революцию. Однако следует помнить, что «царистские» настроения народных масс были далеко не равнозначны идеологии господствующего

класса. За кажущимся внешним сходством скрывались глубокие различия, восходящие к противоположности общественных интересов дворянства и крестьянства.

Еще несколько замечаний.

В книге затронута проблема отсталости России в разные периоды истории и в сравнении с разными странами. Например, автор утверждает, что народное ополчение России уступало «в смысле боевого качества п ордынцам, и литовцам, и Ордену, и шведам» и в целом «по всем статьям военно-экономического потенциала» Россия уступала каждому из своих главных противников — Золотой Орде и великому князю Литовскому.

Все это далеко не так. На Руси складывались экономические предпосылки для противоборства с внешними врагами. И в военном отношении наши предки в критические моменты истории оказались на высоте положения не только благодаря дисциплине, стойкости и патриотизму. Скажем, согласно Ф. Нестерову народное ополчение Дмитрия Донского «представляло собой некоторую силу лишь постольку, поскольку составляло плотную массу...». Между тем в ряде исторических исследований последних лет приводятся убедительные доказательства того, что пешие полки Дмитрия имели достаточно грозное вооружение, реконструированное военными историками.

Что касается собственно патриотизма и его национальных признаков, то Ф. Нестеров, думается, порой увлекается противопоставлениями. В данном случае важно определить соотношение общего и особенного в оценке патриотизма русского народа и других народов. Конечно, каждому народу, большому и малому, присуще чувство любви к своей родине, желание видеть ее свободной. В этом отношении Уот Тайлер и Жанна д'Арк сродни нашим Разину и Сусанину. И героизм во многом понимается сходно у разных народов. Вот этот общий в международном масштабе корень как-то недоучтен в книге, эмоционально и точно повествующей о непревзойденных примерах патриотизма и верности воинскому долгу русских людей.

При переиздании этой интересной книги на злободневную тему хотелось бы пожелать автору принять во внимание высказанные замечания.

А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
доктор исторических наук.

М. КУРМАЧЕВА,
кандидат исторических наук.

КОРОТКО О КНИГАХ



Д. Е. ФУРМАН. Религия и социальные конфликты в США. М. «Наука». 1981. 256 стр.

Те, кто занимается изучением Соединенных Штатов Америки, неизбежно сталкиваются с любопытным парадоксом: история и современность страны изобилуют острейшими социальными и политическими конфликтами, многие американцы — представители как низов, так и верхов — во всеулышание, порой самозабвенно обличают пороки общества, в котором живут, и в то же время мало кто выступает против системы в целом, а идеологии, призывающие к радикальному переустройству общества, не становятся подлинно массовыми.

Такая противоречивость в отношении американцев к господствующей социальной системе порождена всей сложной экономической, политической и идеологической структурой американского капитализма, поэтому ей невозможно дать единое исчерпывающее объяснение. Автор рецензируемой книги рассматривает эту характерную для буржуазного общества США особенность с позиций социологии религии. Д. Фурман стремится показать, как религия влияет на идеологическое и политическое оформление социальных конфликтов в США. А влияние это велико и традиционно, имеет глубокие исторические корни.

Уже среди первых колонистов Северной Америки было много религиозных групп, чаще всего протестантского толка, спасавшихся от преследований на родине. Оказавшись на американской земле, протестанты-эмигранты могли начать жизнь с нуля, последовательно проводить принципы протестантизма с его демократическим, недогматическим в толковании теологических вопросов духом, гибкой организацией религиозной жизни и большой ролью мирян, значением отдельной личности вообще. Наложение такой религиозной ситуации на социальные условия колониальной жизни, в которой отсутствовали традиции и пережитки феодализма были незначительны, давали важные результаты для жизни светской. Специфические теологические принципы протестантизма способствовали формированию светских ценностей, таких, например, как уважение к знанию (знанию эмпирическому, приносящему результат уже сегодня, при пренебрежении к теоретическим, мировоззренческим проблемам), юридическое

равенство людей, стремление к успеху, которые дали колоссальный импульс именно буржуазному развитию в его наиболее полном виде.

Одновременно возможность строить жизнь в соответствии с божественным предписанием заставляла американцев чувствовать себя народом избранным, выполняющим Очевидное Предназначение, отмеченным печатью божьей. И возникавшие из потребностей экономического и социального развития светские демократические институты если не обожествлялись, то, по крайней мере, представлялись единственно правильными, угодными богу, становились чуть ли не религиозными символами. Да и в наше время многие американцы придерживаются, в сущности, тех же взглядов (вспомним слова Д. Эйзенхауэра: «Я самый религиозный человек из всех, кого я когда-либо встречал, — я верю в демократию»).

Исходя из этих посылок, автор и помогает нам разобраться в американском парадоксе: да, американцы привыкли считать свое общество богоизбранным, лучшим из существующих, но не идеальным (в чем они убеждаются каждый день), грешащим и потому постоянно нуждающимся в моральной критике, самоочищении; именно критике, а не отрицанию. И хотя в наше время эти представления оторвались от своей теологической основы, они прочно закреплены в национальном сознании, характере и в таком виде ограничивают попытки разрешить социальные конфликты рамками существующей капиталистической системы.

Один только пример. Д. Фурман анализирует деятельность сект и отношение к ним американского общества. Секты, которых в наши дни в США множество, образуют, как правило, люди обездоленные, угнетенные, несчастные, то есть те, для кого существующее общество — объект ненависти. А оно между тем относится к ним крайне терпимо, даже «бережно», как пишет автор, доказывая это фактами. Причина такой терпимости — не только выполнение социального заказа, выгодного буржуазному обществу, но и прочно укоренившееся почтение к любому рода религиозности, верованиям как таковым, как бы чужды и странны ни казались его догматы. В результате члены секты, которая освобождена от политического давления, от борьбы за существова-

ние и выживание своей идеологии, довольствуются сознанием избранности, тем, что именно они будут спасены (это непреходящий элемент сектантской идеологии), и пассивно ждут прихода царства справедливости на смену нынешнему «греховному обществу». Таким образом, отмечает Д. Фурман, общество «превращает идеологическую организацию, возникшую как антибуржуазная и антиамериканская организация протеста, в инструмент усвоения американских буржуазных ценностей».

Автор рассматривает влияние религии на рабочее движение, на формирование и функционирование двухпартийной системы, причины политической активности духовенства, раскрывает социальную роль нетерпимости к атеизму, столь же высокой, как высокая веротерпимость, и объективно имеющей антикоммунистическую направленность.

Отличное владение материалом, самостоятельный подход к нему помогли Д. Фурману написать книгу раскованным, образным языком, что не так часто встречается в нашей обществоведческой литературе.

А. Павкин.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ (Проблемы реставрации). Предисловие и общая редакция Д. С. Лихачева. М. «Искусство». 1981. 232 стр., 59 л. илл.

Эта книга заинтересует не только специалистов-реставраторов, но и самые широкие круги читателей, ибо проблемы сохранения и реставрации памятников отечественной культуры волнуют всех.

Авторы сборника взялись за решение не легкой задачи — сформулировать и утвердить те принципы, которыми должны руководствоваться сегодня реставраторы исторических памятников в любой сфере культуры. При этом они основываются не только на последних данных науки, но и на богатом опыте как личном, так и коллективном реставрационных центров и музеев, что придает выводам и положениям авторов особую ценность и убедительность.

Составляющие сборник статьи Е. Михайловского, Г. Штендера, А. Гессена посвящены проблемам реставрации памятников архитектуры; Д. Лихачева и М. Тихомировой — реставрации садов и парков; Н. Перцева, И. Мокрецовой, М. Рябовой — восстановлению памятников древнерусской живописи, книжной миниатюры и шитья; О. Яхонта — реставрации скульптуры из камня. Д. Лихачеву принадлежит также статья о восстановлении литературных текстов Древней Руси и обстоятельное предисловие к сборнику.

Подчеркивая огромное значение историко-культурных памятников как неотъемлемой части той культурной среды, которая формирует характер и мировоззрение человека, авторы сборника едины в своих требованиях: памятник должен быть сохранен в его первоизданном (или максимально приближенном к первоизданному) виде; тщательное его изучение, исключаящее всякую

фальсификацию, погоню за внешним, экспозиционным эффектом, должно непременно предшествовать любым реставрационным работам; даже высококвалифицированный и опытный реставратор не вправе единолично решать принципиальные, спорные вопросы — решение их требует коллективного обсуждения, научных дискуссий.

В редакторском предисловии оговорено, что авторы сборника не касались специально сложных проблем реставрации мемориальных объектов — заповедников, домов, квартир, связанных с жизнью и творчеством выдающихся деятелей отечественной культуры (таких мемориальных домов и квартир-музеев, музеев-заповедников по стране очень много, и количество их все возрастает). Однако академик Лихачев сделал несколько весьма важных замечаний, относящихся к мемориальным музеям. Он справедливо отвергает получившее широкое распространение в последнее время увлечение «театрализацией», «театрализованными уголками, обычно дурного вкуса», когда в мемориальном музее «условно, но настойчиво воссоздается быт примерно в том виде, в каком он мог существовать при жизни владельца. Подлинные вещи тонут в обстановке «стиля эпохи»... Эти промахи тем более досадны, что они устраиваются иногда в музеях, где есть что показать и без этих уголков: в прекрасных пушкинских музеях».

Ссылка именно на пушкинские музеи, конечно, не случайна. Широко известные, любимые, посещаемые миллионами экскурсантов, они должны служить образцами для других, но на деле это далеко не всегда так. Скажем, в Пушкинском заповеднике наряду с удачно воссозданными на серьезной научно-документальной основе домами в Михайловском и Тригорском, домиком няни и некоторыми другими объектами, к сожалению, есть немало уголков дурного вкуса типа «кельи Пимена», ветряных мельниц, беседок, часовен, построенных без всяких оснований, вопреки элементарным законам реставрации. Первый из этих законов: реставрация прекращается там, где начинается гипотеза. Иногда об этом забывают. И если, к примеру, восстановление здания пушкинского лица — результат многолетней кропотливой исследовательской работы, то последняя квартира поэта на набережной Мойки в Ленинграде в настоящем ее виде — яркое свидетельство того, как мемориальный музей подменяется просто музеем быта определенной эпохи, где минимум подлинности, достоверности и максимум театральной декоративности.

В том-то и заключается большое значение сборника «Восстановление памятников культуры», что научно аргументированные, обобщающие большой, ценный опыт статьи его позволяют трезво оценить достижения и недостатки огромной работы по реставрации памятников культуры, которая ведется в нашей стране. Мысли, высказанные авторами сборника, указывают реальные пути совершенствования этого важного государственного дела, служат хорошей основой дальнейших исследований и научных дискуссий.

А. Гордн.

Ленинград.



ТИМУР ЗУЛЬФИКАРОВ. Поэмы странствий. М. «Молодая гвардия». 1980. 479 стр.

Свои тексты автор назвал поэмами, это не случайно. Проза Т. Зулфикарова сродни поэзии: ритмизованная проза переходит в вольный стих, стихотворная строка находит продолжение в прозаическом абзаце. Текст очень плотен, спрессован, насыщен. Натяжение стиля таково, что читать Зулфикарова подряд без предварительного вживания в его поэтику, без постепенного свыкания с непривычной графикой и синтаксисом, без терпеливого вслушивания в музыку причудливой приподнятой речи затруднительно. Речь автора то понижается до жаркого шепота, то взлетает до страстного возгласа, то переходит в крик, обрывающийся заклиниванием, призывом или молитвой. Часто голосов несколько. Они переключаются, спорят, зовут друг друга, полифонически построены иногда даже отдельные абзацы, и нужно внимание, чтобы научиться отделять один голос от других.

Подчас текст напоминает изысканную декоративную ткань. Узоры строк тягучи, томны, но таят разнообразие и фантазию подлинного вдохновения, как орнамент старинного восточного ковра. Пластичный русский язык пересыпан, как пряностями, тюркскими и арабскими названиями и именами. Повторы, длинные ряды эпитетов, глагольные синонимы, ритмические фуги помогают автору задержать изображение, продлить действие, сделать его более зримым и объемным.

Не сразу можно охватить взглядом весь замысел. Поначалу может показаться, что живопись Зулфикарова самоценна, что автор тклет узор в состоянии транса и самоочарования, как птица поет. На самом же деле рисунок подчинен твердой воле, единому плану, ткань плотно натянута на жесткий каркас сюжета. Архитектоника поэмы строго рассчитана, композиция выверена.

Т. Зулфикарова часто относят к мифотворцам, точнее, истоки его произведений ищут в мифе и сказке. Для этого мало оснований. Быть может, критиков вводит в заблуждение некая очищенность сюжетов, фабульная первородность поэмы. Автор пишет о юности («Книга детства Мушфики», «Первая любовь Ходжи Насреддина»), и неизменно являются ситуации: потеря родителей — кончина матери при родах, скоростная гибель отца; первое столкновение с грубой силой враждебного мира и мушук — дважды сила эта является в образе «байской охоты»; первые уроки мудрости — встреча на дороге со странствующим дервишем; утрата друга, гибнущего от руки богатого злодея; наконец, любовная неудача — невозможность для избранницы героя мезальянса с ним — и конец юности, начало служения своему призванию, данного в образе дороги, странствий. Эти же ситуации в двух других поэмах. От вещи к вещи они меняются местами, незначительно трансформируются, к ним прибавляются другие, менее обязательные, но автор как бы и не ищет особого сюжетного разнообразия. Ему достаточно назвать узнавае-

мую ситуацию, лишь обозначить положение, не требующее особой сюжетной разработки из-за своей знакомости и общепонятности. Не важны ни мотивы, ни подробности, важно столкновение как причина движения образного и языкового потока. Эта драматургическая особенность придает поэмам особый внутренний «кинематографический» динамизм.

Есть соблазн говорить о поэмах Зулфикарова как об эпических. Центральными персонажами здесь являются поэты, пророки, мудрецы, суфии и тираны. Но движение жизни народов, дыхание истории отсутствует в этих вещах, они скорее камерны, чем эпичны, они насквозь лиричны, исповедальны. Поэмы целиком о жизни одного героя, чувствующего себя перед невзгодами жизни и несовершенством общества отдельным от других людей, сливающегося подчас с природой, но всегда прозительно неудовлетворенного этим слиянием, одинокого, ищущего чужого участия и человеческого тепла. Таковы Насреддин и Амир Тимур, мудрец и тиран, волею судьбы вместе возвращающиеся к истоку, к своей кормилице («Возвращение Ходжи Насреддина»). Таков Омар Хайям, на смертном одре вспоминающий свою жизнь («Книга откровений Омара Хайяма»). Может быть, в этой безрезультатности попытки вырваться на простор чистой мудрости, надземной красоты и несомневающейся веры и есть исток драматического напряжения последней поэмы, самой бессюжетной из четырех и самой, однако, заряженной. А удивительное постоянство автора в стремлении изобразить такого рода попытки и дает ощущение духовной актуальности его творчества, экзотического по материалу и языку, отдаленного от нас временем действия его вещей.

Н. Климонтювич.



РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Редкий дождь. Стихи. М. «Современник». 1980. 80 стр.

«Живу, пишу и думаю по-русски» — один из сквозных лирических мотивов в книге молодого татарского поэта Равиля Бухараева. Но к сказанному имеется добавление: «Как пасынок родного языка...» Для литератора два родных языка — двойное богатство. И удвоенное творческое беспокойство. Кровно важная для автора тема — встреча, слиянность и самостоятельность двух поэтических стихий, двух художественных культур в собственном поэтическом мире. Из детства доносятся к поэту звуки «Тадтиялу» — народной песни на слова Тукая:

Испуганная нянечка моя
поет и плачет тонким голоском.
Ночи Татарчонка лепит из меня
татарна в первом платье городском.

Но вот раскрыты слух и душа для иной речи:

Ярятся соловьи славянского верлибра
под алчный волчий рыск и соколиный
лет

не в нашем ли саду, где пасмурно и
сыро,
где царствует сирень и жимолость
цветет?

Угадывается прямо-таки физическое наслаждение автора от прикосновения к русской речи, отстоявшейся в поэзии. И далее видишь, как Бухараев стремится овладеть первичной естественностью языка, в котором он родился как поэт. Он идет в своих стихах от богатства стихотворной традиции; у него встретишь и изысканный стихотворный оборот и просторечие... Любознато принимает Бухараев в свою лирику и тютчевский «паутины тонкий волос», и мандельштамовский «обморок сирени». Картина ночи на речном пароме дана по-чеховски — мелким штрихом: блестит рыба чешуя на отвороте сапога (чем не знаменитый осколок бутылочного стекла?). Очевидно ревностное, даже ревнивое сбережение в собственном стихе драгоценных завоеваний русской литературы. Порой автора можно упрекнуть даже в некоторой робости перед традицией.

Но это отнюдь не пассивное впитывание, не подражание. В русскую поэзию вживается питомец и наследник татарской культуры со своим лирическим опытом, художественным видением. И вот привычный русский, тютчевский осенний пейзаж видоизменяется одной чертой: «...пробито сердце лета короткой азиатской стрелой» — ее напомнила острая болотная трава. Да и любовь поэта окружена татарской народной символикой: «Белая, белая осень... Белая девочка — ты...» Сменился ракурс — обновилось поэтическое видение, не потревожив, однако, целостности стиховой ткани. Здесь творческая дерзость и чистое, детское преклонение:

Так в детстве, от избытка сил,
во взрослых женщин я влюблялся
и был уверен, что любил.

Детскость — заметная черта духовного облика лирического героя Бухараева. Некоторые стихи книги «Редкий дождь» — словно ясные озера чистого, серьезного детства. Таков демон, рухнувший посреди бабушкиного двора, — выброшенная из сарая картина. Но детскость — это и конструктивная позиция автора, ядро мироощущения. От изначальной целостности и сознания неслучайности, невариантности собственной судьбы:

И каждый год происходило,
и навсегда произошло!

Отсюда и мотив — «да пребывает в равновесье», вечное слияние неслиянного, самоценность явлений жизни. И человек самоценен в жизненном потоке: «Счастлива я — со мною не погубит эта жизнь, принявшая меня!» Повторяющийся мотив: «Судьбы и любви паутина уже не отпустит меня»...

В это состояние — неизменности перемен — вовлечены природа, чувства, быт. Во всем счастье существования, минутное и вечное. Бухараев по своему лирическому складу поэт переживаемого настоящего: он откликается на то, что перед глазами, под рукой, его ощущения вещны. Он охотно

изображает заурядный быт и в нем не ощущает помех воображению художника:

Чиркнет спичкой в кухоньке пустой —
и, смеясь, как маленькие дети,
в темноте взлетают над плитой
голубые ангелы и черти.

При всей определенности авторского мироощущения его лирика далека от умиротворенности. Есть в ней вспышки страсти и отчаяния, наносимые и получаемые обиды, метания встревоженного ума, чувство беспредельности; есть восторг и раскаяние. Но, повторю, автор «держит равновесие»:

Огни ночные строго
над берегом горят.
Руслан, поэт от бога,
идет на земснаряд.

И нынче непременно
все прочее — труха!
Грядет ночная смена
свободного стиха!

Верлибра, кстати, нет в книге «Редкий дождь». Но много говорится о нем в размеренных, рифмованных строчках...

Ирина Шевелова.



А. Л. ОСПОВАТ. «Как слово наше отзовется...» О первом сборнике Ф. И. Тютчева. («Судьбы книг») М. «Книга», 1986. 112 стр.

Едва ли есть в русской литературе другой поэт, который был бы столь демонстративно небрежен к публикации, а подчас и хранению своих стихов, как Тютчев. Эта небрежность у него как бы выростала из недоверия к изреченному слову вообще, была своеобразным проявлением такого недоверия. Необычность отношений Тютчева со словом в каком-то смысле предопределила его литературную судьбу: за семь десятилетий жизни у поэта вышло два сборника стихов (рецензируемая книжка уточняет: первое упоминает о «писях» Тютчева относится к неполным четырнадцати годам поэта). Если же учесть, что второй (1868) прошел почти незамеченным, то можно заключить, что при жизни Тютчев воспринимался как автор единственного сборника.

А. Осповат — в соответствии с духом и буквой названия серии, в которой вышло его исследование, — рассматривает историю возникновения первого сборника (1854), явившегося событием в художественной жизни России, хотя, конечно же, исследование гораздо шире только «судьбы книги». Автор анализирует широкий историко-литературный фон, в одном созвучный, в другом звучащий диссонансом тютчевской лирике, в структуре восприятия поэта современниками отыскивая подходы к разрешению «вопроса о Тютчеве».

По справедливому мнению А. Осповата, отношение к поэту закономерно показательно менялось в разные эстетические эпохи. В благоприятные для стихов 20—30-е годы восприятие Тютчева тормозилось многозначительной забывчивостью Пушкина («Из молодых поэтов немецкой школы г. Кире-

евский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим»; в 40-е, «прозаические», годы Тютчев лишь мимоходом упоминается в печати; в 50-е годы лирика Тютчева поднимается на щит, служа интересам новой поэтической эпохи (недаром имя поэта в современном сознании связывается прежде всего с этим периодом); в 60—70-е, годы стихотворного безвременья, он вновь предается забвению, с тем чтобы второе восхождение произошло после физической смерти — в конце столетия и начале новой русской поэзии XX века. Однако речь здесь идет о переменах в оценивающем сознании одного рода. Автор внимательно вчитывается во все выявленные тютчеведением отзвуки, упоминания о поэте в печати, переписке, мемуарах — и обнаруживает, что восприятие его было, как правило, резко неоднородным. Оно, по мысли А. Осповата, как бы расслаивалось на литературное (критика, эссеистика) и внелитературное, «по прочтению» (дневники, письма, частные беседы). И если в литературных суждениях единогласного признания роли Тютчева исследователь не находит, то в частных мнениях, выявленных им, обнаруживается удивительное единомыслие. И юноша Василий Елагин, представитель круга братьев Киреевских, и П. А. Плетнев — все они в частной переписке вводят Тютчева в круг безусловных поэтических авторитетов. По разным поводам они цитируют тютчевские строки так же естественно, как если бы это были их собственные возвышенные максимы.

А. Осповат выдвигает свою версию одной из причин известной тютчевской беспечности, «ленивого равнодушия к внешней судьбе своих стихов» (Г. Чулков). Он допускает, что «уже в юности ему открылось „умолчание“ — то особое творческое состояние, при котором поэтическое чувство, достигнув накатного уровня, страшится растраты в слове и избирает „вдохновенную невысказанность“».

Вполне вероятно, что литературная «подпочва» и лирика Тютчева оттого были связаны прочными нитями, что их сближало повышенное чувство ценности слова и почти суеверная боязнь его девальвации.

Свою концепцию автор документирует широко, но разборчиво. В работе учтены все важнейшие исследования творчества Тютчева и приводятся материалы из полузабытых печатных источников, публикуются архивные документы (наиболее важные из них — отрывки писем П. А. Плетнева, письмо И. С. Аксакова Ю. Ф. Самарину, фрагмент неизвестной статьи 1903 года Н. В. Недоброво), введение которых в широкий обиход представляет собой, как, впрочем, и вся книга, безусловный вклад в тютчеведение.

Е. Хомутова.



ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Вып. 9. М. «Музыка». 1981. 248 стр.

Автор предлагаемой рецензии уже писал на страницах журнала об одном из предыдущих выпусков этой серии сборников,

представляющих в полном смысле слова панораму исполнительского искусства XX века. Выпуск, о котором теперь речь, включает в себя воспоминания и размышления о музыке трех крупнейших музыкантов, с искусством которых советские слушатели хорошо знакомы. Это два пианиста — Маргерит Лонг и Артур Рубинштейн, и баритон Дитрих Фишер-Дискау. Все они в разное время гастролировали в нашей стране, нам хорошо известны их многочисленные грамзаписи. И вот теперь с еще большей полнотой их искусство, их человеческий облик раскрылись в собранных здесь высказываниях и рассуждениях.

Из литературных работ Маргерит Лонг, знаменитой французской пианистки, педагога, главы целой школы французских пианистов (кстати, ее именем назван один из наиболее авторитетных международных конкурсов пианистов, в котором каждый раз с неизменным успехом принимают участие советские исполнители), кое-что было переведено ранее на русский язык. В данном сборнике представлены новые для нас материалы. Это мысли об исполнении произведений Форе, Дебюсси и Раваля. Исключительная ценность приводимых ею замечаний в том, что они отражают пожелания и требования самих этих композиторов. М. Лонг посчастливилось быть первой исполнительницей многих их произведений, она была дружна с этими композиторами, пользовалась их советами и вот теперь донесла до последующих поколений то, что мы никогда не узнали бы без этих записей. Попункто М. Лонг воссоздает облик авторов этой изысканной и утонченной музыки. Не могу сказать, что все в индивидуальности, скажем, Дебюсси представляется столь же привлекательным, как и его музыка. Вот, например, такой эпизод: «Некий пианист, приехавший сыграть ему что-то из его произведений (очевидно, за советом, — А. М.), остановился на одном пассаже и сказал: „По-моему, мэтр, это можно сыграть в свободном“. Дебюсси метал громы и молнии: „Одни созданы, чтобы писать музыку, другие, чтобы ее издавать, а этот господин создан для того, чтобы делать с ней то, что он хочет“. Я спросила, что он ответил этому пианисту. Он сказал с огромным презрением: „О, ничего! Я смотрел на ковер, — но ноги его больше не будет на этом ковре!“». Странно и грустно, что такой большой художник мог с уничижающим презрением отнестись к музыканту, решившемуся обратиться к нему как автору за советом.

Об Артуре Рубинштейне замечательно сказал Т. Манн в «Истории „Доктора Фаустуса“»: «Наблюдать жизнь этого виртуоза и баловня судьбы мне всегда просто отранно. Галаант, повсюду вызывающий восторг и поклонение и путя справляющийся с любыми трудностями, процветающий дом, несокрушимое здоровье, деньги без счета, умение находить духовно-чувственную радость в своих коллекциях, картинах и драгоценных книгах — все это, вместе взятое, делает его одним из самых счастливых людей, каких мне когда-либо случилось видеть». Но таким А. Рубинштейн был в зрелые годы своей феноменально долгой артистической карьеры, продолжавшейся 78 лет! Невозможно без волнения слушать

его поздние записи произведений Шопена, сделанные им недавно, в середине 70-х годов (родился пианист в 1887 году). Воспоминания, отобранные для публикации в настоящем сборнике, взяты из книги А. Рубинштейна «Дни моей молодости». Перед читателем проходят интересные картины музыкальной жизни начала нашего столетия, целая галерея выдающихся композиторов и исполнителей, с которыми так или иначе общался пианист. Захватывающие страницы посвящены участию музыкантов в конкурсе имени его великого русского однофамильца — Антона Рубинштейна. Фрагменты, выбранные для публикации на русском языке и переведенные профессором Г. Коганом, хорошо сгруппированы и демонстрируют самое главное из этих обширных мемуаров.

Многим памятна выступления Дитриха Фишера-Дискау в Советском Союзе, его ансамбль с С. Рихтером. Теперь мы узнали певца как глубокого и тонкого исследователя песен Шуберта. В сборник включены фрагменты из его книги «По следам песен Шуберта». «Какой вдохновенный, благородный художник! Какой громадный природный талант! И какое необыкновенное владение голосом!» — восклицает Н. Дорлиак в своем предисловии к этим фрагментам. И действительно, записавший на пластинки все песни Шуберта, неоднократно исполнявший их в концертах Д. Фишер-Дискау теперь говорит о дорогой для него музыке как проницательный художник и основательный музыковед.

Как и в предыдущем выпуске серии, труд отбора и комментирования материалов взяла на себя профессор Я. Мильштейн. Ему же принадлежит содержательное предисловие к книге.

А. Майкапар.



В. П. КОЗЛОВ. Колумбы российских древностей. М. «Наука». 1981. 168 стр.

Граф и государственный канцлер Н. П. Румянцев, сын фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского, уйдя в отставку, собирает и возглавляет «ученую дружину». Меценат. В первой четверти XIX века это было не в диковинку. Но меценатство меценатству рознь. Румянцевым руководило не тщеславие, не желание обратит на себя внимание царя и даже не честолюбие и стремление остаться в истории. Им двигала искренняя озабоченность судьбами просвещения и науки, личная заинтересованность научными вопросами. Румянцев не только субсидировал разыскания и публикации. Он был инициатором большинства из них, намечал основные направления работы, вел и улаживал все дела с гражданскими и духовными должностными лицами, ведомствами, типографиями. В историографии «ученую дружи-

ну» принято называть Румянцевским кружком. В. Козлов именует его членов Колумбами российских древностей. Это, возможно, навеяно пушкинским сравнением: «Древняя Россия, казалась, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».

В 1812 году один из основателей литературного «Арзамаса», Д. В. Дашков, сетовал: «...должно признаться, что, невзирая на труды многих почтенных и знающих людей, у нас нет еще отечественной истории. Татищев, Щербатов, Болтин и в наше время Шлецер оказали великие услуги, собрав и по возможности объяснив наши летописи и таким образом приготовив отчасти материалы для будущего историка, но сами не получили права на сие название... Единственные путеводители наши в древности суть Нестор и его последователи... В других землях недостаток сей вознагражден по крайней мере множеством источников, и трудолюбивый писатель может иногда познавать истину сличением разных летописей и времени, в которое они сочинены были...» Здесь излишне строгое суждение о Татищеве и других сочетается со справедливым недовольством односторонностью имевшихся сведений, с верной оценкой возможностей, открываемых сопоставлением источников, и справедливым отзывом о тогдашнем состоянии источниковой базы. Главные усилия возникшего вскоре Румянцевского кружка и были посвящены ее расширению. Приблизительно за двенадцать лет членами кружка осмотрено на территории империи от Сибири до Литвы, от Архангельска до Астрахани свыше 130 государственных архивов, церковных и частных документальных фондов, библиотек, коллекций. Составлены подробные описи. Сделано несколько тысяч копий. Впервые в истории русской науки предприняты систематические и настойчивые поиски в зарубежных архивах и библиотеках, найдены, описаны либо скопированы тысячи неизвестных или малоизвестных документов, относящихся к прошлому России и ее соседей. Чтобы эти документы стали доступными специалистам и массовому читателю, кружок уделил много времени и сил их публикации. И если б не цензурные преследования, он мог сделать больше. Но и сделанное достойно признательности.

Кружок пополнял источниковую базу и вещественными находками, добытыми в археологических и этнографических экспедициях. Среди членов Румянцевского кружка были такие известные ученые, как А. Х. Востоков, К. Ф. Калайдович, П. М. Строев, И. Лелевель, П. И. Кепшен и другие. В их числе знаменитый И. Ф. Крузенштерн — мореплаватель и историк мореплавания, географ. Обо всем этом книга В. Козлова — молодого историка, знатока жизни и творчества сподвижников Румянцева.

Эр. Ханпира.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Задачи русских социал-демократов. 46 стр. Цена 5 к.

В. Куродов. Религия и церковь в Советском государстве. 263 стр. Цена 40 к.

В. Лазарев. Классовая борьба в КНР. 312 стр. Цена 1 р. 30 к.

Национальная политика КПСС. Очерк историографии. 256 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Гусев. Память и стиль. Современная советская литература и классическая традиция. 351 стр. Цена 1 р. 40 к.

П. Куусберг. Бульвар свободы. Перевод с эстонского. 400 стр. Цена 2 р.

Л. Одинцова. Синева апреля. Стихи. 63 стр. Цена 30 к.

И. Рядченко. Капля меда. Стихи. 95 стр. Цена 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Р. Бабаднан. Избранные произведения. В 2-х тт. Перевод с узбекского. Т. 1. Стихотворения. 480 стр. Цена 2 р. 20 к.

М. Гали. Обращение к родине. Стихи. Перевод с башкирского. 254 стр. Цена 95 к.

Р. Дарис. Избранные. Переводы. Никарагуа. 319 стр. Цена 1 р. 50 к.

Я. Парандовский. Избранные. Перевод с польского. 624 стр. Цена 3 р. 80 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Красный день. Повести, рассказы. Библиотека юношества. 495 стр. Цена 2 р. 10 к.

Г. Пряхин. Интернат. Повесть. 192 стр. Цена 60 к.

С. Сартаков. Свинцовый монумент. 335 стр. Цена 1 р. 40 к.

А. Харитонова. Дороги к людям. Очерки. 223 стр. Цена 40 к.

Ф. Шахмагонов. Ликуя и скорбя. Исторический роман. 431 стр. Цена 1 р. 80 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. Азаров. Островиянин. Повести. 176 стр. Цена 75 к.

В. Беляев. Вишневые аллеи. Повесть, рассказы, памфлеты. 398 стр. Цена 1 р. 60 к.

С. Гагарин. Три лица Януса. Повести. 415 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Пагуловский. Двое с нашей стороны. Повести. 159 стр. Цена 55 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Дробикина. Меня не узнала Петровская. Повесть. 144 стр. Цена 55 к.

И. Коршунов. Бульвар под ливнем (Музыканты). Роман. 304 стр. Цена 65 к.

В. Леонов. Подкова на счастье. Повесть. 180 стр. Цена 50 к.

Родни. Стихи и поэмы азербайджанских поэтов. Составление и перевод А. Ахундовой. 95 стр. Цена 55 к.

«СОВРЕМЕННОК»

М. Бессараб. Сухово-Кобылин. («Любителям русской словесности») 304 стр. Цена 1 р.

К. Некрасова. Судьба. Книга стихов. Вступительное слово С. Шипачева. 143 стр. Цена 1 р.

Л. Олзоева. Полумесяц Байкала. Предисловие Е. Винокурова. («Новинки «Современника») 47 стр. Цена 25 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Г. Кайтунов. Я с гор пришел. Стихи и поэмы. Перевод с осетинского. Предисловие Н. Тихонова. 240 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Фадеев. Вессмертие. Предисловие В. М. Озерова. Составление Н. И. Дикуншиной. 384 стр. Цена 1 р. 90 к.

Д. Хармс. Стихи. 44 стр. Цена 45 к.

«ПРОГРЕСС»

Г. Атанасов. Провинциальная история. Роман. Перевод с болгарского. 311 стр. Цена 2 р. 10 к.

Из современной канадской поэзии. Сборник. Переводы с английского и французского. 190 стр. Цена 1 р. 30 к.

Из современной швейцарской поэзии. Сборник. Переводы. 182 стр. Цена 1 р. 20 к.

П. Лагервист. Карлик. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с шведского. 446 стр. Цена 3 р. 40 к.

Д. Нолль. Киппенберг. Роман. Перевод с немецкого. 560 стр. Цена 3 р. 80 к.

«НАУКА»

Взаимосвязи советского и чехословацкого искусства. Сборник статей. 200 стр. Цена 3 р. 60 к.

Из афро-азиатской поэзии. Избранные переводы М. Курганцева. Вступительная статья В. Левика. 255 стр. Цена 1 р. 10 к.

История советского театроведения. Очерки. 1917—1941 г. 365 стр. Цена 1 р. 70 к.

Поэтика древнегреческой литературы. (Ответственный редактор С. С. Аверинцев) 367 стр. Цена 1 р. 70 к.

Г. Свиридов. Японская средневековая проза сэшува. Структура и образ. 232 стр. Цена 1 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Лебедев. Маков цвет; Наследник; Столновение; Жизнь прожить. Повести. («Повести ленинградских писателей») Лениздат. 558 стр. Цена 1 р. 90 к.

Р. Тамарина. Жизнь обычная. Стихи, поэмы и переводы. Вступительная статья О. Сулейменова. Алма-Ата. «Жазушы». 267 стр. Цена 1 р. 40 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видраньку (зам. главного редактора), Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного редактора), Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь), А. Е. Релемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевкелян

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 26/X 1981 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 4/XII 1981 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 27,13 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
А 10629 Тираж 350.000 экз. Зак. 3533.

Набрано и сматрировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Гадяньска Украина», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 05653.

Цена 1 руб. 20 коп.

70636